

VISIT...

LANZAROTE
Caliente.COM

НИК. ШПАНОВ

Заговоришки

Annotation

Роман «Заговорщики» представляет собою продолжение романа «Поджигатели». Переработанные автором пролог и эпилог прежних изданий романа «Поджигатели», посвящённые событиям 1948-1949 годов, перенесены в роман «Заговорщики».

- [Николай Николаевич Шпанов](#)
 - [Часть четвёртая](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)

- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13

○ Часть пятая

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7

- 8

- Часть шесть

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- Часть седьмая

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11

- notes

- 1



**Николай
Николаевич Шпанов
Заговорщики
Книга вторая
Перед расплатой**

Часть четвёртая

*Вершина мачты
корабля — Нового
Китая — уже
показалась на горизонте,
рукоплещите,
приветствуйте его!
Радуйтесь, Новый
Китай принадлежит нам!*

Мао Цзе-дун

В монгольской степи, всхолмлённой беспорядочно сталкивающимися грядками плешивых бугров и изрезанной морщинами каменистых оврагов, стоял одинокий, заброшенный монастырь.

Глинобитная стена вокруг монастыря местами обрушилась. Под приземистой пагодой ворот давно не было решётчатых створок. Квадраты окон с выломанными переплётами глядели в степь чёрными провалами.

Никто не помнил, когда последний лама пользовался этим убежищем.

Долгое время после ухода лам вокруг этого места растекалось зловоние — неразделимая смесь вековой копоти, тлеющих тряпок, чеснока и тухлятины. Но со временем пронзительный ветер пустыни очистил щели, из которых не могли вытащить падаль шакалы и крысы, солнце прокалило развалины.

Днём над черепичной крышей поднимался мощный столб воздуха. Он был ещё более горяч, чем над пустыней вокруг. К этому столбу слетались степные орлы. Восходящий поток давал им возможность парить целыми часами. Орлы кружили над каменным квадратом, высматривая барсуков и

полевых мышей.

Ночами обвалившиеся своды храма и длинных переходов, как огромный каменный рупор, посылали в молчание степи заунывный плач шакалов.

Некоторое время из монастыря доносился ещё мелодичный перезвон колокольцев. Иногда даже глухо гудел большой бронзовый гонг. Это случалось, когда ветер пустыни врывался в кумирню.

Среди ночи этот звон казался не только удивительным, но и страшным.

Ламы, бежавшие во Внутреннюю Монголию и в Тибет под крылышко далай-ламы,

попробовали было пустить слухок: боги, мол, прячутся в недоступных глазу закоулках своего жилища; боги выходят по ночам и дают знать, что живы. Не спеша позванивает бубенчиками тихий Наго-Дархи, суля богатые пастбища; потрясает сразу всеми шестью золотыми руками свирепый Джолбог-Кунаг, грозя напустить на нечестивцев злого духа в дороге, лишить их богатства и своей защиты от пуль на войне.

Но как ни старались ламы, их шопоту не за что было зацепиться в Новой Монголии. Порыв ветра пронёс слух по степи мимо людских ушей и бесследно развеял его вместе с тучей колючего песка над

раскалёнными камнями Гоби.

Боги всё-таки умерли.
Колокольцыгодились пастухам.

Перезвона в храме не стало слышно даже в самое ветреное время. Ни горячий гобийский вихрь, ни морозный буран с Забайкалья не заставляли больше греметь большой бронзовый гонг Чеподыля.

Так вместе с богами умерли и последние «священные» звоны в степи. Она жила теперь только теми звуками, какие рождает земная жизнь. Как голос далёкого прибоя, шуршала под ветром трава, доносился из-под облака орлиный клёкот, и истошно плакали ночами шакалы.

Прислушиваясь к их лаю, Бельц время от времени машинально хватался за пистолет. То и дело он спотыкался об острые камни и посылал проклятия темноте и бесшумно двигавшемуся впереди Хараде.

Ещё больше проклятий приходилось на долю гоминдановских механиков и американских моторов. Бельца не покидала уверенность: будь на месте китайских механиков немцы, не было бы аварии. Он сбросил бы Хараду над указанной точкой и не тащился бы теперь по этой чёрной пустыне, навстречу смерти в монгольской тюрьме.

Бельц вытащил раздавленную парашютной лямкой пачку сигарет. Но тут же убедился в том, что на ходу закурить не удастся, а остановиться — значило отстать от Харады. Слуга покорный! Он уже испытал удовольствие искать японца в темноте после посадки.

Теперь он старался не терять из виду едва различимый силуэт майора.

— Алло, Харада-сан! — сказал Бельц. — Давайте передохнем.

Японец пробормотал что-то неразборчивое. Бельц не мог понять, остановился Харада или нет. Лёгких шагов японца не было слышно и на ходу.

— Харада-сан! — раздражённо повторил Бельц и тут же неожиданно увидел силуэт майора рядом с собою.

— Решаюсь привлечь ваше благосклонное внимание к моему скромному мнению, — сказал японец. — Я бы не позволил себе зажигать спичку.

— На пятьсот километров в окружности нет ни души.

— Моей ограниченности не дано знать, на каком расстоянии от нас имеются живые люди.

— Люди в пустыне? Не валяйте дурака! — грубо сказал Бельц.

— И все же позволяю себе заметить: мы находимся в чужой стране...

— Благодарю за открытие.

— Притом в весьма враждебной стране.

— Весьма полезная справка.

— Эти скромные соображения дают мне основания думать, что зажигание огня даже в виде маленькой спички было бы несвоевременным, — уже не скрывая раздражения, повторил Харада.

— Будь трижды проклято все это дело и все ваши соображения! — сквозь зубы пробормотал Бельц.

— Я очень сожалею о ваших мыслях...

— Когда порядочный человек попадает в такую паршивую историю, он имеет право выкурить

сигарету, даже если из-за этого могут повесить его уважаемого спутника, — насмешливо сказал Бельц.

Харада вежливо втянул воздух сквозь зубы и тихо рассмеялся.

При этом Бельц представил себе выпяченные вперёд, большие, как у лошади, жёлтые зубы японца и всю его опротивевшую лётчику физиономию. Просто счастье, что её не видно в темноте!

Своё раздражение против подведшего его мотора Бельц переносил на Хараду, которого должен был сбросить на парашюте над территорией Монгольской Народной Республики. Теперь Бельцу

казалось глупостью собственное
опрометчивое предложение отвезти
этого зубастого майора.

Вот плоды немецкого усердия! В
этой стране они, повидимому, вовсе
неуместны.

— Вы уверены, что идёте
именно туда, куда нужно? — спросил
Бельц тем же недовольным тоном.

По молчанию японца он
заключил, что тот колеблется. В этом
колебании не было ничего
удивительного. Бельц помнил, с
каким трудом они выбирали точку
для выброски парашютиста. Эта
точка, помеченная на карте трудно
произносимым словом
«Араджаргалантахит», вероятно,

находится несколько к юго-западу от места, где они потерпели аварию. Но было ли до неё десять километров, или тридцать, или, может быть, все сто, немец не мог теперь сказать. Он потерял ориентировку в момент падения самолёта, последние данные маршрута вылетели у него из головы.

Если бы не тупая уверенность, с которою семенил впереди него японец, Бельц попросту лёг бы в какую-нибудь яму и подождал рассвета. Ему казалось, что при свете дня он мог бы ориентироваться.

— Собственно говоря, что такое этот Араджар...?

Он запнулся.

Добавляя к каждой согласной

гласную, Харада старательно выговорил:

— Арадажарагаранатахита?..

Храм, покинутый вследствие разрушения веры в богов.

— За каким же чортом вы идёте именно туда?

— Так сказано в моей инструкции.

— Эта инструкция для вас одного.

— Ваше присутствие не имеет для меня значения... Я бы совсем не хотел, чтобы меня нашли монголы.

— Идёмте к границе, там нас найдут свои.

Японец опять звучно втянул воздух.

— Решаюсь заметить: «свои» нас искать не будут.

— Вас не будут, а меня будут, — презрительно возразил Бельц.

— Позволяю себе думать: вас тоже никто не будет искать.

Бельц понимал, что это правда, но с такой правдой сознание не хотело мириться. Нужно было верить, что кто-то о нем заботится. За ним пошлют самолёт. Вопреки доводам разума и реальной возможности, Бельц должен был этому верить. Иначе нужно было бы сейчас же пустить себе пулю в лоб. Слишком нелепо было бы допустить, что всё должно кончиться именно так и именно тут. Столько лет

благополучно прослужив в немецкой авиации, закончить карьеру в роли наёмника какого-то гоминдановского генерала, и даже не в бою, а из-за глупейшего недосмотра китайского механика...

Вдруг ярко сверкнувшая мысль заставила Бельца остановиться: «Небрежность механика?» А что, если дело вовсе не в небрежности и даже не в неумении обращаться с американской техникой? Что, если это умысел?..

Чем дольше Бельц над этим думал, тем больше ему вспоминалось всяческих мелочей, свидетельствовавших о том, что на большой авиационной базе,

американо-чанкайшистской авиации, которой так хвастались когда-то японцы, а теперь хвастаются Ведемейер и Ченнолт, далеко не все обстоит так блестяще, как кажется американцам. Сотни самолётов, базирующихся на аэродром Цзиньжоу, содержатся чорт знает как. Тысячи тонн боеприпасов разбросаны открыто по всему аэродрому в блаженной уверенности, что у красных нет бомбардировочной авиации. А эти постоянные аварии при взлётах и посадках из-за ям, неожиданно-негаданно появляющихся по всему лётному полю! А вечно портящиеся в воздухе моторы, отказывающие взрыватели!.. И так

без конца! На одну бы недельку пустить сюда молодчиков Гиммлера, они навели бы надлежащий порядок. Чан Кай-ши понял бы, что недостаточно налево и направо раздавать заподозренным пули в затылок, недостаточно выворачивать им руки, ломать ребра, отрезать языки и уши. Тут нужно что-то потоньше примитивного средневекового устрашения. Если Бельцу удастся вернуться в Цзиньжоу, а это должно удался, он настоит на том, чтобы в его секторе были введены немецкие способы слежки за техническим персоналом. Непременно нужно будет ввести заложничество механиков, может

быть даже круговую поруку всех механиков полка за каждый испортившийся в полёте самолёт. Это будет надёжно. Хотя, впрочем, что надёжного может быть в такой удивительной стране, где даже кровожадный палач Чан Кай-ши не может никого запугать?! Господи, только бы вернуться в Цзиньчжоу!

— Послушайте, Харада-сан... Я больше не желаю искать эту проклятую кумирню! — крикнул Бельц в темноту.

В ответ послышалось спокойно-равнодушное:

— Как вам будет угодно.

— И вы тоже не пойдёте к ней.

— Я позволю себе не

согласиться... — японец прошипел:
— почтительнейше не соглашаюсь с
вами.

— Повторяю: вы не пойдёте
туда!

— Именно пойду.

Японец приблизился. Бельц
смутно различил его лицо.

— Я иду обратно. И вы идите со
мной, — сказал лётчик.

— Моя инструкция... — снова
начал было японец, но Бельц не стал
слушать.

— Мой приказ...

— Позволю себе напомнить,
тёсё какка, приказывать мне может
только тот, кто послал меня сюда.

— Тут старший я!

— Извините, но вы для меня только шофёр. — Японец, словно извиняясь за такое сравнение, особенно сильно потянул воздух. — Именно так: шофёр, позволю себе сказать с особенной настойчивостью, — Харада поклонился.

Ударить его по темени или пустить в это темя пулю — вот чего больше всего на свете хотелось сейчас Бельцу. Но он не мог себе позволить такого удовольствия. Только сказал:

— Вы не сделаете дальше ни одного шага.

— Мы можем опоздать к цели.

— Когда я отдохну, мы пойдём к

границе... Садитесь!

Харада послушно опустился на корточки. Его силуэт стал похож на кучу камней, о какие поминутно спотыкался Бельц. Немец сразу успокоился: он заставит японца вывести его к границе. До всего остального ему нет дела.

Бельц пошарил вокруг себя ногою, пытаясь отыскать что-нибудь, на что можно было бы сесть. Ничего не нащупав, опустился прямо на землю.

— Как хотите, а я должен закурить, — сказал он через несколько минут, снова вынув смятую пачку, и стал на ощупь расправлять сломанную сигарету.

Так же на ощупь Бельц чиркнул спичкой и прикурил из горсти.

— Хотите? — спросил он японца, протягивая сигареты.

Харада не дотронулся до пачки и ничего не ответил.

Бельц, докурив, повторил:

— Отдохнём и пойдём к границе.

Он сказал это больше для самого себя, чем для японца.

И снова не получил ответа.

Бельц передвинул кобуру с пистолетом на живот. Он пожалел, что в темноте японец не может видеть его движения: это было бы полезно.

Бельц опустил голову на руки,

упёртые в неудобно растопыренные колени. Он задумался. Одна мысль была противнее другой. Было просто удивительно, сколько прожитых лет может пробежать в памяти человека за несколько минут. В эти мгновения, когда, борясь с усталостью, Бельц пытался отогнать овладевавшую им сонливость, его взор уходил в прошлое.

Как в окне мчащегося поезда, мелькали события детства, кадетский корпус, служба в авиации. Западный фронт первой мировой войны, поражение и скучная работа в Люфт-Ганзе, год почти ничегонеделания рядом с запутавшимся в своих сомнениях

Эгоном Шверером, и опять война. Тут воспоминания сделались более отчётливыми: Польша в развалинах от немецких бомб, горящая Варшава, оккупация Франции, воздушный блиц над Англией, оказавшийся кровавой опереткой, рассчитанной на обман простаков, которым незачем было знать о том, что творится за кулисами этой «битвы за Англию»... Возвращение в транспортную авиацию, вызов к рейхсмаршалу и посылка в личный отряд фюрера; за этим снова приятная служба пилотом рейхсмаршала, производство в генералы и командование личным отрядом Геринга, многочисленные

полёты во все страны Европы и неизменное возвращение с трофеями. Потом пожар от бомбы, уничтожившей квартиру вместе со всеми трофеями, метание между ставкой и Восточным фронтом... Тёмные слухи, идущие с востока; превращение немецкой авиации из ястреба, безнаказанно клюющего добычу, в затравленную ворону, от которой во все стороны летят окровавленные перья. Немцы, которые хотели и отважились следить за передачами радиостанций «Свободная Германия», могли слышать советские сводки. А эти сводки говорили, что события развиваются с молниеносной

быстротой. 21 апреля слово «Берлин» уже упоминалось в связи с действиями советской пехоты и танков.

«...Гитлеровцы пытались любой ценой не допустить выхода наших войск к Берлину. Они сняли с других участков фронта ряд дивизий и ввели в бой все запасные части. Гитлеровцы построили огромное число долговременных сооружений, а также широко разветвлённые полевые укрепления. Наши войска мощным ударом сломили ожесточённое сопротивление противника... Места боев завалены тысячами трупов немецких солдат и офицеров... Немецкое командование,

стремясь преградить путь советским войскам, бросило в бой все имеющиеся силы. Берлинские военные школы прекратили занятия, а курсанты и обслуживающий персонал посланы на фронт. Гитлеровцы объявили в Берлине поголовную мобилизацию мужчин от 15 до 65 лет...»

Эфир все чаще доносил до слуха немцев слово «Берлин». Оно звучало уже не только в устах дикторов-подпольщиков «Свободной Германии», а и в сообщениях самого гитлеровского командования. Но нацисты умудрялись так затемнять истинный смысл событий, что подчас создавалось впечатление,

будто осталось несколько минут до окончательной победы Германии. Однако тот, кто хотел знать, что его ждёт, закрывал двери подвала, втайне прижимал к ушам наушники радио и слушал суровую правду возмездия:

«Слушайте сводку Советского информационного бюро...

Наши танки и пехота, наступающие с северо-востока, заняли пригороды Берлина Бланкенбург, Мальхов и ворвались в пригород Вейссензее. Весь день шли ожесточённые бои. Советские штурмовые группы, усиленные орудиями, очищали квартал за кварталом, подавляя вражеские узлы сопротивления».

«Вражеские» узлы
сопротивления... «Вражеские»!

Мысль берлинца, дрожащими пальцами прижимающего наушник, спотыкается об эти слова. Он старается понять смысл термина «вражеский», пропускает несколько слов сообщения и, окончательно освоившись с тем, что «вражеский» — это значит гитлеровский, слушает дальше:

«Заняты фабрика „Ределер“, трамвайный парк, электростанция и ряд промышленных предприятий, превращённых немцами в опорные пункты обороны. К исходу дня наши части...»

Такие знакомые места!

«Наши части»... «наши»?.. Ах да, ведь это же русские!

«...наши части полностью заняли пригород Вейссензее и ведут бои в районе окружной железной дороги. Наши войска, наступающие с востока, мощным ударом прорвали долговременную оборону немцев в полосе озёр и заняли пригороды Берлина Мальсдорф, Фихтенау и Вильгельмсхаген. Ожесточённые бои произошли также за Фюрстенвальде — мощный опорный пункт обороны немцев юго-восточнее Берлина. Сильными ударами советские части выбили гитлеровцев из северной части города. К исходу дня вражеский гарнизон был полностью

разгромлен и отступил в беспорядке. Противник несёт огромные потери. По неполным данным, за день уничтожено до восьми тысяч немецких солдат и офицеров. Бои на Берлинском направлении продолжаются днём и ночью, не стихая ни на час...»

Господи боже, восемь тысяч немцев в день! Восемь тысяч... Ещё восемь тысяч к тем миллионам, которые уже заплатили своей кровью за безумие Гитлера... Кровь, кровь, кровь!..

Обессиленные пальцы берлинца выпускают наушники, и, уронив голову на приёмник, он разражается истерическим рыданием. Но его

рыданий никто не слышит. Они заглушаются грохотом канонады, громом авиабомб, воем мин и рокотом непрекращающихся обвалов. Падают стены, рушатся дома, горят кварталы и целые предместья. Германия платит камнями и кровью Берлина по последнему счёту народов.

С этой адской музыкой смешивается стук ротационной машины в подземной типографии геббельсовской газетёнки «Ангрифф». Полумёртвый от страха и голода печатник глазами сумасшедшего смотрит на мчащуюся ленту бумаги. Краска оставляет на ней последние паскудные следы

творчества пьяницы Роберта Лея:

«Священная миссия фюрера.

Вчера, в день рождения фюрера, я думал об этом несравненном муже, об его исторической миссии и о сверхчеловеческих усилиях, затраченных им для спасения германского народа.

Что было бы, если бы Адольф Гитлер не принёс нам свою идею? Что случилось бы с германским народом, если бы провидение не подарило нам этого человека?

Сопротивление германского народа не будет сломлено, ибо нельзя сломить Адольфа Гитлера».

Ни «Ангрифф», ни какую-либо другую газету уже нельзя разносить

по Берлину. Штабеля свежих номеров, распространяющие клозетную вонь краски-эрзаца, загромождают улицу возле типографии. Проползающий мимо взвод фольксштурмистов расхватывает газеты и тут же, под стеной, утилизирует их для своих надобностей. У солдат почти непрерывный понос от животного страха, эрзацев хлеба, эрзацев масла и эрзацев правды, которыми их пичкает Гитлер.

— Бумага теперь такая редкая штука в Берлине! Если она есть, нужно её использовать!..

— Эй, Ганс, — кричит один фольксштурмист другому, — лик

дорогого фюрера оставил у тебя чёрный след...

Но ни один из них не решается произнести, хотя оба думают про себя. «Господи, хоть бы нашёлся кто-нибудь, кто пустил бы в эту рожу пулю. Может быть, я ещё остался бы тогда жив...»

Такие мысли в головах девяти из десяти берлинцев уже катастрофа для гитлеровского режима, но господа на нацистском Олимпе ещё не представляли себе её истинных размеров или сознательно закрывали на неё глаза, хотя и самый Олимп уже переехал под землю и скрывается в бункере Гитлера. Потерявшие рассудок божки ещё

грызутся за власть. Едва ли не все действующие лица кровавого фарса являются тайными соперниками друг друга.

Гиммлер настороженнее чем когда-либо следит за Герингом, намереваясь использовать момент, когда «наци № 2» всадит нож в спину «наци № 1». Тогда Гиммлер попыбует влезть на вершину кучи, повесив Геринга.

Борман следит и за Герингом и за Гиммлером.

Втихомолку наушничает Гитлеру на всех трех адмирал без флота Дениц, рассчитывая принять от фюрера власть в приближающийся неизбежный день, когда Гитлер

должен будет исчезнуть.

Все это в большей или меньшей степени ясно уже всякому наблюдательному человеку, который, подобно Бельцу, повседневно трётся среди кукол берлинского гиньоля. Можно было только удивляться тому, что Геринг был ещё способен острить:

— Чорт побери, если бы в своё время покушение на фюрера удалось, мне ведь пришлось бы теперь действовать!..

Слушатели опускали глаза. Ни у кого нехватало духу ответить, хотя все понимали, почему именно теперь рейхсмаршалу приходят на память панические дни сорок четвёртого

года. Только Гиммлер шептал на ухо Деницу:

— Не знаю, что знает Геринг, а я-то знаю: только не он!

Но и Дениц молчит. Он знает то, чего ещё не знает и Гиммлер. Гитлер сказал адмиралу с глазу на глаз в своём бункере под имперской канцелярией:

— Только не Геринг и не Гиммлер!.. Я говорю это вам, так как хочу, чтобы именно вы были готовы ко всему.

Дениц слушает теперь Гиммлера с неподвижным лицом. Он ещё боится рейхсфюрера СС. Он не хочет стать объектом его охоты.

Геринг мечется между

имперской канцелярией и Каринхалле, где Эмма Зоннеман наблюдает за укладкой всего, что её «милый Герман» хочет спасти от русских. Багаж все сокращается и сокращается. Сначала его упаковывали в огромные ящики, которые хотели вывезти на грузовиках: тут было всё, что свозилось в замки Геринга на протяжении пяти лет войны. Потом эти ящики были заброшены: не осталось шофёров, которым можно было доверять, не стало и грузовиков. Под надзором Эммы заготовили длинные чехлы и кожаные сумки для картин и драгоценностей — единственного,

что уже можно было вывезти на нескольких легковых машинах; наконец, прижимая к себе испуганную восьмилетнюю Эдду, Эмма принялась сортировать и драгоценности, чтобы решить, что можно увезти на самолёте. И вот наступил час бегства Геринга с Эммой и Эддой. Гитлер принял это бегство за попытку рейхсмаршала захватить власть, сговорившись с американцами...

Борман с радостью поддержал слух об измене Геринга. Он тут же, 23 апреля, позвонил Гитлеру в подземелье имперской канцелярии:

— Герман организовал путч. Он намерен обосноваться на юге. Он

приказал большей части
правительства, переехавшей на север,
немедленно явиться к нему. Мы
должны помешать вылету членов
правительства на юг. Необходимо
лишить Германа всех постов и чина
рейхсмаршала. От вашего имени я
уже поручил генерал-фельдмаршалу
Грейму командовать воздушными
силами.

— Он не генерал-
фельдмаршал! — сварливо заметил
Гитлер.

Это было единственное, что он
нашёлся возразить.

— Ваш приказ об его
производстве в генерал-
фельдмаршалы уже передан по

телеграфу, — ответил Борман. И так, поспешно, чтобы не дать Гитлеру перебить себя, продолжал: — Через офицера связи вице-адмирала Фосса Деницу уже приказано принять меры к тому, чтобы ни один самолёт на севере не мог подняться без его личного разрешения.

— Расстреливать в воздухе... — прохрипел Гитлер. — Сейчас же, немедленно отдайте приказ: «В случае моей смерти все лица, совершившие предательство 23 апреля, должны быть расстреляны без суда и следствия там, где будут застигнуты». — И после минутного молчания продолжал: — Борман, составьте документ, о котором

должны знать мы двое: если я умру. Геринг должен быть уничтожен, где бы его ни нашли. Слышите, Борман: уничтожен во что бы то ни стало! Власть не достанется ему, даже в случае моей смерти, не достанется!

— Будет сделано, — с готовностью согласился Борман.

Можно было подумать, будто ни Гитлер, ни Борман, ни остальные не имеют представления о творящемся на фронте. Но даже если бы им не говорили правды их генералы, то перед всеми главарями нацистской шайки лежали немецкие переводы сводок советского командования за то же самое 23 апреля:

«Войска 1-го
Белорусского фронта,
развивая успешное
наступление, ворвались в
столицу Германии Берлин.
Противник яростно
сопротивляется, но под
ударами советских войск
оставляет одну позицию за
другой. Ожесточённые бои
происходили в северо-
восточной части Берлина.
Немцы ввели в бой
несколько пехотных полков
и до 40 отдельных
батальонов. Опираясь на
укрепления, построенные у
линии окружной железной

дороги, противник неоднократно переходил в контратаки. После сильного артиллерийского обстрела вражеских позиций наши войска прорвали вражескую оборону. Занят газовый завод и ряд городских кварталов. Занят аэродром. Места боев завалены трупами немецких солдат и офицеров.

Немецкое командование принимает самые крутые меры к усилению сопротивления своих войск. Вчера

немецким артиллерийским частям был передан по радио приказ — стрелять по своей отступающей пехоте осколочными снарядами. На все просьбы командиров частей разрешить отход немецкое командование неизменно отвечает: «Держитесь при любых обстоятельствах. Кто отойдёт — будет расстрелян».

И Гитлер, и Борман, и Геринг, и остальные — все они знали, что на улицах Берлина появились виселицы: на них болтаются немцы, не

желающие больше защищать эту шайку; все они знали, что эсесовцы тратят почти столько же зарядов на расстрел отступающих солдат, сколько на стрельбу по наступающим русским. Сидя в своих бункерах, разбойники знали все...

Теперь, раздумывая среди чёрной, как чернила, монгольской степи, Бельц отлично понимал, что Геринг и не помышлял об «измене». Он никогда не решился бы на неё, боясь пули Гиммлера, только и искавшего повод отделаться от самого сильного соперника. Геринг, вероятно, вздохнул бы с облегчением, если бы знал, что случилось на севере после его бегства на юг. Уже

30 апреля Дениц получил
радиограмму из имперской
канцелярии:

«Раскрыт новый заговор.
Согласно сообщению
неприятельского радио, рейхсфюрер
СС Гиммлер сделал через посредство
Швеции предложение союзникам о
капитуляции. Фюрер не был об этом
информирован и с этим не согласен.
Фюрер ждёт, что вы будете
действовать против всех изменников
молниеносно и решительно.
Борман».

Геринг плясал бы от
удовольствия, если бы мог видеть
Деница в минуту получения этого
радиоприказа: «действовать

молниеносно и решительно» против Гиммлера, в подчинении которого находились полиция, СС, гестапо, вся армия запаса, все силы внутренней охраны! Чем мог действовать Дениц: артиллерией стоявших на приколе старых броненосцев? Торпедными аппаратами подводных лодок? Чего стоила вся власть Деница? Борман, под влиянием уговоров Шпеера, 30 апреля послал все-таки депешу о назначении адмирала преемником фюрера, который уже не мог об этом и знать, так как был мёртв.

Телеграмма от имени трупа гласила:

«Гроссадмиралу
Деницу.

Господин
гроссадмирал! Вместо
бывшего рейхсмаршала
Геринга фюрер назначил
вас своим преемником.
Письменные полномочия
высланы. Отныне вы
должны принимать все
необходимые меры,
вытекающие из нынешнего
положения.

Борман».

«...Меры, вытекающие из
нынешнего положения»! — если бы

адмирал имел хотя бы приблизительное представление о положении! Что-нибудь, кроме того, что на него свалился весь позор и ужас Германии, груза которых не выдержали другие главари.

Наконец на следующее утро прибыла ещё одна радиограмма:

*«Гроссадмиралу
Деницу.*

Завещание вступило в силу. Я прибуду к вам как можно скорее. До тех пор, по моему мнению, опубликование следует задержать.

Борман».

Это было запоздалым сообщением о том, что Гитлер больше не существует. Дениц окончательно растерялся. Его руки дрожали, принимая столь долгожданную власть. Он вызвал для совещания Кейтеля и единственного находившегося поблизости члена правительства министра финансов Шверина фон Крозиг. Шверин фон Крозиг согласился возглавить кабинет министров, но при условии, что будут немедленно арестованы Геббельс и Борман. Дениц обещал. Но когда Кейтель и Крозиг ушли, он сказал своему флаг-капитану:

— Мне вскоре придётся вступить в контакт с противником, быть может через того же Бернадотта, которого не сумел использовать Гиммлер Риббентроп для этого не годится. Из-за его тупости мы и оказались втянутыми в войну. Учитывая предстоящие переговоры, на посту министра иностранных дел необходим человек, с которым согласятся говорить иностранцы. Узнайте, где находится фон Нейрат.

Попытки найти Нейрата ни к чему не привели. Он тщательно скрывался, очевидно стараясь остаться в стороне от развязки, неизбежность которой понимал.

Дениц приказал привлечь к этим поискам Риббентропа. Обеспокоенный таким поручением, Риббентроп тотчас явился к Деницу. Адмирал объяснил ему, зачем понадобился Нейрат, и приказал, в случае если так и не найдут Нейрата, назвать другую кандидатуру.

Риббентроп вернулся в тот же вечер и предложил в качестве единственного кандидата самого себя. Но Дениц приказал ему сдать пост министра фон Крозигу и велел установить неотступное наблюдение за самим Риббентропом, чтобы не дать ему возможности войти в контакт с Гиммлером. Дениц боялся, что эти двое, сговорившись, сумеют

не только устранить его самого, но и физически уничтожить.

За час до времени приёма, назначенного Гиммлеру, к Деницу пришёл гаулейтер Вегенер и предупредил, что, по имеющимся у него данным, Гиммлер не намерен сдаться без боя.

Тотчас был образован отряд из надёжных подводников-нацистов и размещён в комнатах рядом с той, где Деницу предстояло принять бывшего рейхсфюрера СС. Под бумаги, разложенные на письменном столе, Дениц сунул пистолет. Гиммлера ввели в кабинет два адъютанта Деница. Адмирал колебался несколько мгновений, прежде чем

решился отпустить адъютантов и остаться с глазу на глаз со «страшным Генрихом». Затем Дениц дал ему телеграмму Бормана. Гиммлер прочёл, смертельно побледнел, но после некоторой задумчивости встал и официально поздравил Деница.

— Позвольте мне в таком случае, — добавил он, — быть вторым человеком в государстве.

Чувствуя, как холодеют у него кончики пальцев, Дениц решился ответить:

— Нет, я обойдусь без вас.

— Едва ли, — нагло заявил Гиммлер. — Капитуляция неизбежна, это должно быть вам

ясно.

— При чем тут вы? — уклончиво спросил Дениц.

— У меня уже налажена прочная связь с Эйзенхауэром и Монтгомери.

— Через Швецию? — вырвалось у Деница.

Гиммлер усмехнулся:

— Теперь Швеция мне не нужна.

— Я вас не понял.

— Я имею непосредственную связь с американцами.

— Каким образом?

— Это моё дело... Я же вам сказал: вам без меня не обойтись. Кроме того, вы должны учесть, что я

и мои войска СС незаменимы как фактор общественного порядка в среднеевропейском пространстве... — И после некоторой паузы Гиммлер добавил: — Я тут хозяин и ещё долго им останусь.

— Вы переоцениваете своё положение, — попробовал осадить его Дениц, но Гиммлер ещё более многозначительно возразил:

— Боюсь, что из нас двоих в худшем положении вы. Сотрудничество со мною...

— Вы хотите сказать: ваше сотрудничество со мною... — обиженно поправил Дениц.

— Если вам так больше нравится, но теперь дело не в

церемониях: если вы хотите, чтобы американцы говорили с вами, как со своим человеком, вам нужен я.

— Попробую договориться с ними и без вас. Йодль уже действует по моему поручению.

— Йодль, Йодль! — насмешливо проговорил Гиммлер. — Что он может, этот Йодль! Если вы не найдёте общего языка с Эйзенхауэром, он не станет больше принимать тех, кто хочет сдать в одиночку, он угрожает оставить на произвол русских всех, кто очутится восточнее американских линий.

Дениц знал, что это верно, и с удивлением посмотрел на Гиммлера: откуда тому могут быть известны

условия, выставленные американским командованием ему, Деницу? Он резко сказал:

— Если мы согласимся объявить о своей капитуляции до двадцати четырех часов восьмого мая, дело будет спасено. Эйзенхауэр согласится принять наши войска, какие успеют оторваться от русских, и перейти за линии англо-американцев.

— Без меня и моих СС у вас не будет возможности перегнать максимум войск и беженцев за линии американцев, — упрямо повторил Гиммлер.

— Вы больше не рейхсфюрер СС!

Гиммлер снял пенсне и

несколько мгновений глядел на Деница удивлённо вытаращенными близорукими глазами.

— Вы уверены? — спросил он наконец.

— Я отрешаю вас от всех должностей! — крикнул Дениц.

— Попробуйте объявить об этом... — насмешливо сказал Гиммлер. — Или вам хочется оказаться в руках русских?.. Я ещё могу это организовать. За вас американцы цепляться не станут.

— Вон, сию же минуту вон! — больше от испуга, чем в негодовании, закричал Дениц.

Гиммлер исчез, и больше никто его не видел.

Дениц приказал подготовить радиопередатчик для обращения к войскам с призывом сложить оружие на западе и решительно продолжать борьбу на Восточном фронте, против русских.

Но из-за неисправности радиоаппаратуры это обращение не попало бы в эфир, если бы на помощь не пришёл дотоле не известный Деницу группенфюрер СС Вильгельм фон Кроне. Этот эсесовский генерал каким-то образом оказался обладателем новенького американского военного радиопередатчика, по какому-то счастливому стечению обстоятельств сброшенного на парашюте

американским самолётом именно в то место, где находился названный Кроне.

Седьмого мая Дениц получил известие из Реймса: в ставке Эйзенхауэра Йодль подписал капитуляцию. С этим делом спешили: немцы, чтобы дать англо-американцам «легальную» возможность продвинуться как можно дальше к востоку, навстречу советским войскам; англо-американцы, чтобы захватить под свою охрану возможно большее число германо-фашистов, которым не приходилось ждать, что советские солдаты дадут им возможность ускользнуть от справедливого суда

народов.

Но из попытки сепаратного сговора Йодля с западными участниками антигитлеровской коалиции ничего не получилось. Подлинный победитель нацистского зверя — советский народ потребовал, чтобы гитлеровская Германия склонила знамя ужасной войны не в случайном пункте, Реймсе, как того хотелось Эйзенхауэру и Монтгомери, и не рукою случайно подвернувшегося гитлеровского подручного, а в самой берлоге фашистского зверя — в Берлине, и руками высшего немецкого командования; не втихомолку, а в подобающей обстановке.

После некоторого сопротивления англо-американского командования и дипломатии им все же пришлось принять советское требование, и капитуляция была подписана по всей форме, как того требовала политическая обстановка, в самом Берлине.

Когда вскоре к месту расположения ставки Деница прибыли американский и британский представители Мэрфи и Рукс, Дениц пригласил их к себе. Он торопился свидеться с ними, прежде чем приедет советский представитель в контрольной комиссии. Дениц очень боялся, что американец и англичанин откажутся

разговаривать с ним без своего советского коллеги, но эти опасения оказались напрасными. Мэрфи и Рукс прибыли со всею доступной им поспешностью. Час продолжалось обсуждение животрепещущей проблемы «запад-восток» и вопросов передачи максимального числа нацистских войск в плен западным союзникам.

Лишь после того как прибыл советский уполномоченный и можно было без открытого нарушения элементарных приличий взять под англо-американскую защиту Деница и его окружение, они были перевезены во Фленсбург, на борт немецкого пассажирского парохода

«Патриа», бывшего когда-то гордостью линии «Гамбург — Южная Америка». Там и разыгралась заключительная сцена крушения того, что кучке гитлеровских последышей ещё хотелось считать Германской империей.

Деница и прилетевшего из Реймса Йодля ввели в «зал заседаний», ещё вчера бывший попросту судовым баром. Вдоль переборок стояли сдвинутые в сторону высокие стулья, на стойке сверкали кофейники и приборы бармена. Длинный стол посреди салона был накрыт простой белой скатертью. Ничего не подозревавший Дениц не сразу решился положить на

эту прозаическую скатерть свой жезл
гроссадмирала. Йодль первый
почувствовал неладное в холодной
официальности, с которой к ним
обращались американские офицеры.

— Боюсь, как бы русские нам не
напортили, — сквозь зубы
проговорил он так, что его мог
слышать только Дениц.

Адмирал не реагировал на это
замечание, он не разделял опасений
Йодля. Его недавний разговор с
Мэрфи и Руксом вселил в адмирала
уверенность, что достичь
договорённости с союзниками
нетрудно, лишь бы удалось оттереть
в сторону русских.

Когда в каюту вошёл Рукс,

Дениц сделал было попытку улыбнуться, но тот отвёл взгляд. Дениц понял, что американца связывает стоящий рядом с ним советский генерал. Рукс сухо проговорил:

— Джентльмены! Я получил инструкцию от штаба верховного командования союзников на европейском театре сообщить вам, что действующее ныне германское правительство и верховное командование берётся под стражу вместе с рядом их сотрудников. Генерал Кейтель уже находится на положении военнопленного. Действующее ныне германское правительство распущено. Офицеры

союзных армий проводят вас отсюда в ваши каюты, где вам надлежит сложить вещи, позавтракать и закончить все дела. После этого вас доставят на аэродром для дальнейшего следования к месту назначения на самолёте.

Куда лететь, зачем? Неужели русские всё-таки добились своего и Деница ждёт тюрьма?! Похоже на то... Если бы ещё дело шло об одном Йодле — куда ни шло. Но он, Дениц! Нет, это немыслимо!

Адмирал ещё старался кое-как держать себя в руках, но потрясение было слишком велико. Он весь поник. Ему хотелось тут же подняться и сказать что-нибудь

высокомерно-резкое, однако ноги не повиновались ему, он беспомощно продолжал сидеть в кресле.

Не меньше, а может быть, ещё больше, чем Дениц, был потрясён Йодль. Его лицо покрылось мертвенной бледностью, потом пошло красными пятнами. Особенно красным стал острый нос. Генерал силился что-то сказать, но дрожащие губы его не слушались. Его ненавидящий взгляд остановился на лице советского представителя в контрольной комиссии. Да, значит, предчувствие не обмануло Йодля: русские сделали-таки своё дело, они заставили американцев и англичан покончить с попытками гитлеровцев

удержаться на ногах. Их нокаутировали.

Это было предательством со стороны американцев. Не для того он, Йодль, спешил в Реймс, не для того он убеждал оттуда своё командование не тянуть с капитуляцией перед западными державами...

Йодль обвёл взглядом стоявших вокруг американских и английских офицеров, и снова вспыхнула надежда: не может быть! Этот спектакль только игра американцев. Они не могут принести его в жертву русским требованиям возмездия! Не могут! Он нужен американцам. Он и все офицеры его штаба. Другое дело

— Дениц. Пусть русские делают с адмиралом, что хотят. Но он, Йодль! Он же совершенно ясно договорился с американцами.

И тем не менее американцы были вынуждены посадить его в самолёт и отправить в тюрьму.

С этого момента одно за другим прибывали известия об исчезновении или поимке нацистских главарей. Одним из первых исчез без следа Мартин Борман, покончил с собою Геббельс, вскрыл себе вены судетский гаулейтер Хенлейн, был схвачен Штрейхер, арестован в Праге Далюге... Целой вереницей шествовали они в американские

тюрьмы, чтобы укрыться от гнева народов, чьи страны залили кровью, и от гнева своего собственного немецкого народа.

Когда Бельц потерял следы Геринга, он сам перелетел в американский тыл. За коротким пребыванием в плену последовало предложение выбирать между Вьетнамом и Китаем. Под словом «Вьетнам» Бельцу мерещились джунгли, москиты и неуловимые мстители с кривыми ножами; к тому же это означало бы службу у французов, которые сами не знали, что они будут есть завтра. В Китай же, как было известно, золотым потоком лились американские

доллары; там делались хорошие дела на контрабанде, говорили, будто Ченнолт, командовавший американской авиацией у Чан Кай-ши, сколотил на контрабанде целое состояние.

Бельц выбрал Китай.

Уже много позже из разговоров с американскими офицерами Бельц узнал о судьбе несостоявшегося кандидата в фюреры Генриха Гиммлера: бежав из штаба Деница, Гиммлер решил один пробраться к американцам. Он переоделся в штатский костюм, сбрил усы и закрыл один глаз чёрной повязкой. В путь он отправился под именем Гиценгера, путешественника.

Однако это путешествие было внезапно прервано на мосту в Бремерферде. Хотя маскарад Гиммлера не возбуждал никаких подозрений, но солдату английской

военной полиции что-то не понравилось в документах «путешественника Гиценгера». Патруль хотел подвергнуть «путешественника» допросу в своей караулке, однако «герр Гиценгер» отказался разговаривать с простыми солдатами. Очевидно, он рассчитывал, что офицеры окажутся к нему более снисходительными. Но на его беду «путешественника» привели не к какому-нибудь высокопоставленному политику в военном мундире, а к рядовому офицеру разведки 2-й английской армии генерала Демпси. Там Гиммлеру пришлось довольно скоро расстаться со своей чёрной повязкой

и сбросить очки. Когда явился вызванный старший офицер разведки, он нашёл «путешественника» уже раздетым догола. Быть может, решив, что долго его маскарад продолжаться не может, а может быть потому, что рассчитывал, открыв себя, найти более ласковый приём, Гиммлер назвался. К его ужасу, простым офицерам оказалось очень мало дела до тех обещаний, которые Гиммлеру давали американские политики при прежних тайных переговорах. Ему даже не вернули его платья. Он получил солдатские брюки, рубашку и одеяло. Завернувшись в это одеяло, он и сидел все дальнейшее время

допроса. Пройдя через руки ещё двух офицеров и будучи ещё дважды раздет и обыскан, Гиммлер, наконец, очутился в автомобиле. Его повезли в штаб 2-й армии.

Тут у него воскресла надежда добраться до высокопоставленных чинов союзного командования, со стороны которых он рассчитывал встретить полное понимание и более тёплый приём, нежели тот, какой оказывали простые британские офицеры.

Но и эта надежда исчезла: на вилле армейской разведки его в четвёртый раз раздели и подвергли ещё более строгому осмотру при содействии врача. Гиммлер понял:

его хотят лишить возможности пустить в ход яд. Врач осмотрел его волосы, уши, подмышки, пальцы ног и рук, все части тела, где только можно было скрыть яд. Наконец врач приказал ему открыть рот Гиммлер исполнил и это. Все, казалось, было окончено. Но тут у врача возникло какое-то подозрение: он без церемонии засунул палец в рот возмущённому, яростно сопротивляющемуся на этот раз «страшному Генриху». Однако было поздно: зубы бывшего рейхсфюрера СС уже раздавили крошечную стеклянную ампулу. В ту же минуту он рухнул на пол. Немедленно прибегли к выкачиванию желудка.

Пленного долго держали вниз головой над ведром. Но все оказалось напрасным: цианистый калий сделал своё дело...

Бельцу было совершенно безразлично: отравился Гиммлер, повесили его или даже четвертовали. Его занимало в этом деле совсем другое: если правду говорил Гиммлер, будто американцы обещали ему жизнь и безопасность в обмен на содействие капитуляции Германии, то с их стороны было свинством не предупредить слишком старательных офицеров о том, как следует обращаться с таким важным нацистом, если он попадёт в плен

Мало ли, что Гиммлер нарвался на англичан. Англичане — союзники американцев. И американцы, как старшие партнёры, отвечают за действия англичан. Раз так — жизнь Гиммлера должна была быть в безопасности. Впрочем, если бы Гиммлер не отравился, может быть, сыграли бы его головой так же, как пожертвовали головами одиннадцати нюрнбергских подсудимых. Тогда западные союзники русских ещё не считали нужным раскрывать миру свои карты. Они строили из себя демократов, из кожи вон лезли, чтобы доказать свои «честные намерения», подыгрывали русским, лебезили перед всеми

антифашистами. Небось, теперь кусают себе локти, что сумели спасти только Шахта, Папена, да этого кретина Гесса... Ведя с ними дело, не имеешь никакой уверенности в том, что и тебя самого не продадут за несколько центов. Дрянные лавочники!.. Да что там «суверенность», «продадут»? Разве они уже не обманули его, заманив в Китай? Правда, сначала все шло хорошо, даже, пожалуй, блестяще. Быть может, так могло бы продолжаться, если бы не вчерашняя глупая выходка с решением лететь самому для выброски диверсанта, чтобы доказать своё усердие. Неужели эта ошибка непоправима?

Не может этого быть! Он, Бельц, нужен американцам, они постараются его спасти! Конечно, он не так нужен им, как Шахт или Папен, но все же они понимают: он мог бы принести много пользы. И именно здесь, где американцам хотелось зажечь ссору между Китаем и Монголией, чтобы втянуть Россию в водоворот дальневосточной войны, — именно здесь он мог быть полезен. И вот...

Порыв ветра донёс плач шакала.

Бельц не пошевелился, не поднял головы. Он спал.

Напротив него сидел майор Харада. Японец был неподвижен и молчалив. Но он не спал. Он вовсе не

чувствовал себя усталым, подобно этому европейцу. Он мог спокойно думать. Воспоминания ему не мешали. Единственное, что он считал нужным сейчас помнить, — приказания американского полковника Паркера. Ему подчинён майор Харада: Паркер — американский резидент. Сегодняшнее приказание было простым и ясным, и чтобы его выполнить, Хараде следовало добраться до заброшенного монастыря. Для этого Бельц не был ему больше нужен. Напротив, немец мог только помешать. Очень досадно, что самолёт, на котором Бельц вёз Хараду, потерпел аварию

так, что немец остался жив. Это вынуждало Хараду решать теперь задачу: что с ним делать?

О том, чтобы возвращаться к границе, не могло быть и речи. Такое путешествие безнадёжно: пройти несколько сот километров по безводной степи!

Тащить немца за собою в Араджаргалантахит, чтобы он помешал Хараде делать порученное ему дело?.. Нет! Значит, бросить немца тут, пока он спит, и одному итти к монастырю?.. Но и этого не следовало делать. Кто знает, что случится после восхода солнца? Как далеко отсюда проходит дорога, по которой в любую минуту может

проехать автомобиль? Кто знает, не раскинулось ли поблизости стойбище монгольских скотоводов? Пастухи обнаружат обломки самолёта и по ним доберутся до неуклюжего немца. А добравшись до немца, они, конечно, найдут и Хараду.

Имеет ли Харада право рисковать?

Нет!

Выводы из этого краткого ответа были ясны: нужно лишить немца возможности говорить, даже если его найдут пастухи или стража. Харада прислушался к прерывистому сопению немца.

Тот спал сидя, уткнув лицо в

колени.

Харада вынул из-за пазухи маленький пистолет и отвлёл предохранитель. Но, подумав, положил пистолет обратно. Осторожно пошарил вокруг себя.

Нащупав камень, показавшийся ему достаточно тяжёлым и острым, Харада зажал его как можно удобней. После этого он стал приближаться к Бельцу.

Харада продвигался к нему, не поднимаясь с корточек и совершая едва уловимые, бесшумные движения. С каждым шагом согнутых ног расстояние между ним и Бельцем сокращалось на несколько сантиметров.

Приближаясь к немцу, Харада не спускал с него немигающих глаз.

Тем временем поезд, на котором Бельц во сне возвращался в Европу, вошёл под шатёр вокзала во Франкфурте-на-Майне. Несколько офицеров радостными взмахами рук приветствовали Бельца. Он отлично знал каждого из этих старых сослуживцев по гитлеровской военной авиации и не мог понять, в какую форму они теперь одеты: чужую и вместе с тем странно знакомую. Позвольте! Бельц оглядел себя и увидел, что на нём такой же не немецкий мундир, как и на других...

Майору Хараде оставалось сделать ещё четыре или пять крошечных шажков, чтобы дотянуться до склонённой головы Бельца. После этого Харада сможет спокойно отправиться к цели, чтобы выполнить приказание полковника Паркера. За его выполнение Хараде обещано возвращение в Японию. Если верить известиям с островов, дела там идут так, как и хотелось бы майору Хараде: все становится на прежние места — и Хирохито и дзайбацу^[1]. И даже те же самые генералы, что прежде подписывали приказы.

Хараде оставалось сделать два крошечных шажка, чтобы дотянуться

до Бельца.

Харада сделал последний шажок и крепче сжал камень.

...Давно уже наступил день, а Харада не решался двигаться. Лучше потерять день, чем рисковать быть обнаруженным. Майор Харада очень хорошо знал, что его ждёт в случае встречи с монголами. Он вовсе не желал такой встречи, прежде чем удалится на большое расстояние от остатков самолёта и от трупа Бельца. Даже если встречными окажутся не цирики военной стражи, а простые пастухи.

Звери быстро уничтожат останки немца — одним следом

станет меньше. Потом, через несколько дней, подальше отсюда, Харада сможет появиться. Но не теперь. Сейчас он должен лежать в своей ямке и издали наблюдать за окрестностями Араджаргалантахита. Если он убедится в том, что монастырь необитаем и не служит пристанищем пастухам, Харада проберётся туда и исследует вопрос о пригодности монастыря как базы для главного задания. Если майор признает монастырь для этого подходящим, то приступит к осуществлению задания, которое американский полковник Паркер назвал «запасным». Харада должен будет под видом одинокого путника

переночевать в двух-трех юртах. В этих юртах он оставит дары своего соотечественника, доблестного генерала императорской армии, великого врача и бактериолога господина Исии Сиро. Эти дары заключены в запаянные маленькие ампулы. Перед уходом из каждой юрты, где ему дадут ночлег, Харада должен раздавить по одной ампуле. Хараде неизвестно, что в них заключено, он только знает, что сам он должен немедленно и как можно дальше уйти от стойбища. Кроме того, у майора Харады имеются три ампулы побольше. Они не уместились в поясе и хранятся у него на груди. Содержимое этих сосудов

он должен будет влить в водоёмы, где пастухи поят скот.

Собственно говоря, называя эти смертоносные ампулы дарами Исии, Харада был не совсем прав, хотя содержимое ампул действительно было изготовлено по рецептам японского бактериолога. Ампулы, выданные Хараде Паркером, были им вынуты из железного ящика, доставленного на американском самолёте из Кэмп Детрик, штата Массачусетс США. Но для Харады все это не имело значения: задание оставалось заданием, где бы ни изготавливались средства для его выполнения.

Такова была маленькая,

«запасная» задача майора Харады на тот случай, если он признает окрестности Араджаргалантахита непригодными в качестве базы для более широкой диверсии. Из этой второй части плана Хараде тоже сообщили ровно столько, сколько ему, по мнению американцев, следовало знать, чтобы действовать сознательно. Но даже по тому, что он знал, японцу было ясно, что операцию задумывал не Паркер и даже не американские советники из штаба Чан Кай-ши. Может быть, план этой диверсии зародился и разрабатывался в штабе самого Макарчера, в Токио, или даже ещё дальше — в Штатах, где сидели

начальники Паркера, начальники американских советников Чан Кай-ши и даже начальники самого самого большого начальника — Макаρχера.

Итак, Харада был посвящён только в ту часть плана, осуществление которой зависело от его исполнительности. Он знал, что должен отыскать возле Араджаргалантахита место, подходящее для создания посадочной площадки. В точно обусловленный час точно обусловленной ночи он обозначит место своего нахождения световыми сигналами. Самолёты, ведомые самыми опытными американскими лётчиками-ночниками из соединения мистера

Ченнолта, сбросят по сигналам Харады парашютистов. Одна часть парашютистов будет по ночам заниматься подготовкой аэродрома на месте, которое отыщет Харада. Другая часть парашютистов — это будут ламы — тотчас покинет место посадки.

Харада не был посвящён американцами в то, что ламы пустятся в далёкое странствие по просторам Монгольской Народной Республики. Его не касалось, что они должны участвовать в восстании, приуроченном ко дню большого народного праздника надомы, который будет происходить в Улан-Баторе. Переодетые пастухами,

заговорщики должны установить свои юрты среди тысяч других пастушеских юрт, ежегодно появлявшихся к надому на площадях монгольской столицы.

В разгар праздника заговорщики должны начать мятеж и уничтожить руководителей монгольского правительства и Народной партии.

План этот был далеко не оригинален и почти десять лет во многих деталях известен Хараде. Ведь уже в 1939 году он, в чине поручика, наряжённый в зловонное тряпье ламы, был переброшен через монгольскую границу, чтобы принять участие в мятеже, имевшем целью совершенно то же самое:

уничтожение народного
правительства во главе с
Чойбалсаном и возвращение в Улан-
Батор Богдо-Гогена, обязавшегося
открыть границы Монголии для
пропуска японских войск в советское
Забайкалье, чтобы перерезать
Сибирскую железнодорожную
магистраль.

Тогда этот план был сорван
благодаря бдительности работников
службы безопасности МНР и
мужеству советско-монгольских
воинов на её границе. Чойбалсан
разгромил заговор в самом его
зародыше, а советско-монгольские
войска уничтожили японские войска
на берегах Халхин-Гола.

Впрочем, и диверсия 1939 года была лишь неудачным повторением столь же неудачного ламского заговора 1933 года.

Теперь американо-чанкайшистские заговорщики пытались осуществить этот потрёпанный план потому, что им нужно было во что бы то ни стало выйти в тыл северо-западной группе войск Народно-освободительной армии Китая, уже очистившей почти всю Маньчжурию от войск Чан Кай-ши, блокировавших главные центры Маньчжурии Чаньчунь и Мукден, ворвавшихся в провинции Чахар, Гири́н, Жэ́хе и угрожавших со дня на день захватить важнейшую базу

материального снабжения и авиационный центр американско-чанкайшистских войск Цзиньчжоу. Взятие Цзиньчжоу войсками Дунбейской народно-освободительной армии генерала Линь Бяо означало бы окружение почти миллионной северной группировки Чан Кай-ши и захват неисчислимых запасов боевой техники, полученной им от американцев. Цзиньчжоу был как бы крышкой котла, где перемалывались армии Чан Кай-ши. Для него раскупорка этого котла означала спасение миллиона солдат и огромного богатства; для народных армий окончательная закупорка

цзиньчжоуского котла означала ликвидацию Маньчжурского фронта и вступление всей Дунбейской армии в Северный Китай.

Удача диверсии американской секретной службы против МНР дала бы возможность армейской группе чанкайшистского генерала Янь Шифана прорваться через МНР в тыл войскам Линь Бяо. Это могло быть спасением для армий Чан Кай-ши, запертых в мукденско-чаньчуньском мешке.

Провокация как повод для вторжения в МНР — таков был смысл появления близ Араджаргалантахита майора Харады, маленького исполнителя плана

огромной диверсии.

Наконец в этом плане был ещё один смысл, неизвестный даже его ответственным американским исполнителям. Его лелеяли в Вашингтоне и в токийском штабе Макарчера: появление гоминдановских войск на территории МНР послужило бы сигналом к вовлечению СССР в события на востоке. Верность Советского Союза договору о дружбе и взаимопомощи с МНР не вызывала у американцев сомнения. А вовлечение СССР в дальневосточную войну было мечтой, даже не очень тайной, руководящих кругов США.

Вот каков был большой смысл

такого маленького на вид события, как появление на монгольской земле незаметного японского разведчика майора Харады, облачённого в изодранный ватный халат монгольского ламы, точь-в-точь такой, какие были напялены и на остальных диверсантов, ждавших сигнала на юго-западной границе МНР.

Если бы, разделавшись с мешавшим ему Бельцем и спеша удалиться от места убийства, Харада мог знать, что происходит в нанкинской резиденции генералиссимуса Чан Кай-ши, вероятно, это сильно укрепило бы веру японца в успех его предприятия.

Хозяин дома, Чан Кай-ши, отсутствовал. Он был в Мукдене. Там он пачками расстреливал солдат и офицеров и рубил головы своим политическим противникам. Этим способом он пытался вернуть бодрость отчаявшемуся гарнизону Мукдена. По приказу американских советников Чан должен был во что бы то ни стало заставить свои войска разорвать кольцо блокады и спешить на выручку осаждённому Цзиньчжоу. От того будет или нет раскупорена «маньчжурская пробка», зависела судьба одной из крупнейших операций во всей истории

гражданской войны в Китае.

Поэтому в тот вечер, когда Харада пробирался к монастырю Араджаргалантахит, в загородной резиденции Чан Кай-ши, близ Нанкина, гостей принимала одна Сун Мэй-лип. Этот маленький «совершенно интимный» вечер был ею устроен по случаю прибытия инкогнито из Японии самого большого американского друга её мужа, генерала Дугласа Макарчера и сопровождавшего его политического коммивояжёра Буллита. Макарчер прилетел, чтобы на месте выяснить причины медлительности, с которой генерал Баркли осуществлял порученную ему важнейшую

военную диверсию по выводу
армейской группы генерала Янь Ши-
фана в тыл Дунбейской народно-
освободительной армии генерала
Линь Бяо. Всякое появление старого
приятеля и покровителя её мужа
было для хитрой мадам Чан Кай-ши
предлогом разыграть комедию
несказанной радости. Но, увы,
почтенный гость не обращал на неё
никакого внимания. Мысли
Макарчера были заняты
нерадивостью заносчивого тупицы
Баркли. Если бы не крепкие связи
Баркли с домом Рокфеллера,
Макарчер давно выкинул бы его ко
всем чертям: этот самонадеянный
лентяй может в конце концов

испортить всю игру в Китае. Одним словом, американскому главнокомандующему было не до кокетства хозяйки. Он не без умысла шепнул ей, что один из двух прилетевших с ним штатских американцев, мистер Фостер Доллас, не просто адвокат, а своего рода «альтер эго» Джона Ванденгейма. Макарчер знал, что делает: при этом известии искусно подведённые глаза Сун Мэй-лин плотоядно сузились, и «первая леди Китая» накрепко присосалась к Долласу. Её недаром называли «министром иностранных дел Чан Кай-ши». Имя Ванденгейма тотчас ассоциировалось у неё с деньгами, которые, быть может,

удастся вытянуть из уродливого рыжего адвоката. Чтобы коснуться руки Фостера, она сама передавала ему чашку, сама протягивала тарелочку с печеньем. Можно было подумать, что прикосновение к покрытой рыжими волосами потной руке Фостера доставляет ей неизъяснимое удовольствие.

Быть может, чары китаянки и заставили бы Фостера совершить какую-нибудь глупость, если бы, на его счастье, на вечере не появились бывший премьер гоминдановского правительства, брат хозяйки, Сун Цзы-вень, и её сестра, жена министра финансов Кун Сян-си.

Между тем гости американцы,

руководимые чувствовавшим себя здесь полным заместителем хозяина (и не без оснований) Ченнолтом, отыскиали уединённый уголок, где можно было болтать, не боясь быть подслушанными.

Сегодня Макарчер выглядел сумрачнее обычного. Сдвинув к переносице густые брови, он слушал болтовню Буллита. А тот, как всегда в своей компании, говорил всё, что приходило в голову: свежие политические новости, привезённые из Вашингтона, перемежались анекдотами и сплетнями.

Вдруг Буллит хлопнул себя по лбу:

— Друзья мои! Едва не забыл,

знаете ли вы, что случилось сегодня в Тяньцзине, почти у меня на глазах?

— Знать обо всём, что умудряется «видеть собственными глазами» всякий лгун, слишком большая нагрузка для моего мозга, — с откровенной издёвкой проговорил Макарчер.

Буллит пропустил насмешку мимо ушей.

— И тем не менее, если вам дороги ваши трусы, Мак...

— Не советую вам, Уильям, проходиться даже на счёт моих трусов, — мрачно перебил Макарчер.

— Счастье, что мы с вами янки, Дуглас. Оказывается, гораздо хуже быть англичанином. Послушайте, что

случилось в Тяньцзине...

— Ну, выкладывайте, что вы там «видели собственными глазами», — снисходительно пробормотал Баркли.

— Буквально в двух шагах от сеттльмента китайцы поймали какого-то джентльмена весьма почтенного вида, сняли с него штаны и, дав ему под зад, пустили обратно, в сеттльмент.

— Белого человека?! — сквозь зубы спросил Макарчер, угрожающе приподнимаясь в кресле.

— Правда, они тут же сжалились над ним и отдали ему штаны. А когда наш консул поднял бум...

— Что вы сказали? — выходя из себя, прорычал Макарчер. — Наш консул? Так дело шло об американце?!

— Китайцы принесли извинения: толпа приняла того джентльмена за англичанина.

Все присутствующие, кроме Макарчера, рассмеялись. Генерал же сердито оглядел собеседников.

— Сегодня с американца спускают штаны по ошибке, а завтра спустят без всякой ошибки... В этих местах престиж белого человека должен стоять так высоко, чтобы никто не смел поднять на него руку.

— Всякого белого? — спросил Буллит и насмешливо сощурился. —

И русского тоже?

Макарчер сделал гневное движение рукой.

— Кроме русского, всякий белый должен быть неприкосновенен, табу! — Он порывисто обернулся к Баркли: — У вас под носом творится чорт знает что, а вы об этом даже не знаете. Вы идиотски ухмыляетесь болтовне Уильяма, вместо того чтобы повесить негодяев, позволивших себе посмеяться над янки. Эдак вы тут не продержитесь. Если бы у меня в Японии... — Он угрожающе сжал кулак, но, не договорив, опустил его и неожиданно спросил Баркли: — Какого чорта вы тянете с

МОНГОЛЬСКИМ ДЕЛОМ?

— Я хотел знать, при чем там Паркер?

— Какой Паркер?

— Из ОСС.

— А какое вам дело до Паркера и ОСС?

— Он тоже оказался участником этой истории. Тут елозят их люди.

— Тем лучше, — неохотно ответил Макарчер. — Общими усилиями мы скорее добьемся успеха.

— Или спутаем карты.

— Передо мною отвечаете вы. До остальных мне нет дела.

— Хорошо, но если игру веду я, то пусть остальные убираются с

поля.

— И тогда вы берете на себя ответственность? — Макарчер испытующе уставился на Баркли. Он не любил этого генерала, так как сам был самонадеян и не терпел ничьего вмешательства в свои дела. Если бы можно было ценою провала монгольской операции скомпрометировать Баркли, Макарчер сделал бы это, но Баркли со всеми потрохами не стоил такой ставки.

Таково было мнение Макарчера об его ближайшем помощнике по Китаю. Но не последним обстоятельством в их отношениях было то, что Баркли являлся

фактическим хозяином «Хуанхэ дамм корпорейшн» и «Янцзы электрикал продактс». От него зависело, удастся ли Макарчеру приобрести в этих компаниях то положение, к которому он стремился. Поэтому обычно несдержанный и не стесняющийся в выражениях дальневосточный вице-король его величества американского капитала старался на этот раз взять себя в руки и довольно спокойно заявил:

— Хорошо, можете дать под зад этому Паркеру и кому угодно ещё, но с тем, что не позже чем через неделю...

— Праздник в Улан-Баторе

состоится только через десять дней.

— Пусть будет десять дней. Но через десять дней самолёты Ченнолта должны начать переброску солдат Янь Ши-фана в Монголию.

— Сначала Ченнолт должен обеспечить чистый воздух на главном оперативном направлении, — возразил Баркли.

Макарчер с недоумевающим видом поднял плечи так, что погоны коснулись ушей.

— О чем вы говорите?

— У Линь Бяо есть авиация.

— Эй, Уильям, — крикнул Макарчер Буллиту, — пощекочите Баркли! Он бормочет во сне.

— К сожалению, нет, —

возразил Ченнолт, крепкий человек с грубым, обветренным лицом: — Чжу Дэ действительно послал Линь Бяо авиационный полк.

— Вы говорите о полке таким тоном, словно у этого вашего Линь Бяо появилась целая воздушная армия, — пренебрежительно заметил Макарчер.

— Вы же знаете, Мак, я вовсе не дурного мнения о моих «Тиграх», — возразил Ченнолт, — но, честнее слово, появление этого полка — неважный свадебный подарок моей старушке.

Все рассмеялись, поняв, что Ченнолт имеет в виду свою недавнюю женитьбу на китаянке. Но

сам командующий воздушными силами гоминдана оставался серьёзен.

— Могу вас уверить, что это совсем не так забавно: истребители Лао Кэ уже доставили моим парням вполне достаточно хлопот. Повидимому, канули в безвозвратное прошлое те времена, когда мы могли быть уверены, что на базу вернётся столько же наших самолётов, сколько вылетело на бомбёжку неприятеля.

Удивление Макарчера все увеличивалось.

— Китайские лётчики осмеливаются нападать на наших парней?

— И сбивать их, — пояснил

Ченнолт. — Чем дальше, тем больше.

— Так разбомбите к чорту их аэродромы! — крикнул Макарчер. — Уничтожьте их самолёты! Истребите их лётчиков! Какого дьявола вы смотрите?!

Ченнолт рассмеялся.

— Как просто!.. Нет, Мак, чтобы их разбомбить, до них нужно добраться. А они не пускают. Чтобы уничтожить, их надо найти, а они скрываются. Чтобы их истребить, нужно, чтобы они позволили это делать, а они... не позволяют — они сами норовят уничтожать наших.

Забыв о Баркли, которого он собирался пробрать, Макарчер набросился на Ченнолта и принялся

бранить его и его лётчиков.

— К чорту такую работу, Ченнолт! — зарычал он. — Если вы решили посвятить себя исключительно бабам, то уступите вашу авиационную лавочку кому-нибудь, кто ещё согласен и летать, а не только валяться по постелям китаянок. Ваши ребята окончательно распустились. Я ничего не имею и против того, чтобы они занимались контрабандой, но надо же немного и воевать. Если вы переложите все на плечи китайских лётчиков, то нас в два счета выкинут отсюда. Этого я не допущу, Ченнолт! Слышите: не допущу, чтобы из-за жадности шайки ваших воздушных пиратов дядю Сэма

выпихнули из Китая! — Тут он вспомнил, что дело не только в Ченнолте, и обернулся к Баркли: — Слышите, Баркли, я не допущу, чтобы ваши лентяи провалили прекрасный монгольский план. При первой возможности самолёты Ченнолта начнут высадку войск Янь Ши-фана в Монголии, и ваши люди в Урге должны покончить с правительством Чойбал-сана. Путь в тыл Линь Бяо должен быть расчищен.

— Это тем более существенно, — с важным видом вставил Буллит, — что если силы красных не будут оттянуты от Мукдена и Цзиньчжоу, они захватят там столько самолётов, сколько им

будет нужно, чтобы сформировать не один полк, а десять. Цзиньчжоу, говорят, набит не только нашей техникой, там ещё сколько угодно и японского имущества, не правда ли?

— Имущество ещё не всё, что нужно для создания боевых частей, — проворчал Баркли.

— Могу вас уверить, что остальное-то у красных есть, — сказал Ченнолт. — Я имею в виду желание драться.

— Очень сожалею, что у вас не бывает такой же уверенности, когда речь заходит о формировании частей для Чана, — сердито сказал Макарчер.

— Что делать, сэр, совсем

другой человеческий материал.

Макарчер пренебрежительно скривил губы:

— Те же желтокожие.

— Да, но, понимаете... —

Ченнолт щёлкнул пальцами, —
внутри у них что-то другое.
Понимаете: какая-то другая начинка.

— У тех лучше, чем у наших?

— Да... чертовски тугая
пружина!

— Вы здесь достаточно давно,
чтобы разобраться, в чём дело.

Ченнолт развёл руками жестом,
означающим беспомощность.

— Китайская душа — это
китайская душа, сэр.

— Души вы оставьте мистеру

Тьену.

— Я имею в виду идею, которая...

— Какая, к дьяволу, идея, когда им платят жалованье в долларах! — сердито воскликнул Макарчер.

Буллит громко рассмеялся.

— А вы уверены, Мак, что доллары до них доходят?

— Что вы хотите сказать?

— Ходит слух, будто Кун Сян-си перекупил у французов целый квартал самых шикарных публичных домов в Шанхае, на это, наверно, ушло жалованье армии за целый месяц.

Макарчер с досадой отмахнулся от слов Буллита и снова обратился к

Баркли:

— Вы вполне уверены в надёжности диверсионной организации в Монголии?

Баркли пустил кольцо дыма к потолку и выпятил губы с таким видом, что ответ был, собственно говоря, излишним. Но он все же сказал:

— У нас на каждых трех лам один японец, чуть что — пуля в затылок. Мы перебросим туда все лучшее, что у японской секретной службы было в Китае. Это верная игра, сэр. Я спокоен.

— Хорошо. — И после некоторого колебания Макарчер добавил: — Если Паркер и вообще

ОСС стоят вам поперёк горла, пошлите их к чорту, действуйте своими силами.

— Благодарю. Я так и сделаю.

— А от вас я категорически требую, — Макарчер всем корпусом повернулся к Ченнолту, и поперёк его лба легла глубокая складка: — авиационный полк этого...

— Вы говорите об авиации Линь Бяо?

— Ну да...

— Истребители Лао Кэ?

— Истребление этих истребителей! Если нужно, пустите в ход то, что мы до сегодняшнего дня держали в резерве: наши последние модели, наших лучших людей. Я

сейчас же дам приказ перебросить сюда эскадрилью «Иксов».

— Я бы не делал этого, сэр, — осторожно заметил Ченнолт: — нечаянная посадка «Икса» у противника — и...

— А вы не допускайте такой посадки. Я даю вам эти машины не для того, чтобы вы дарили их красным.

— Война всё-таки война, сэр.

— Мне стыдно вас слушать, Ченнолт. Снимите с работы всех китайцев, пошлите к чорту японских лётчиков, введите в действие наших парней: у Линь Бяо не должно быть авиации. Понимаете, не должно быть! Если эта его авиация мешает

нашим действиям по освобождению Цзиньчжоу...

— И Мукдена, — вставил было Буллит, но Макарчер метнул на него такой взгляд, что дипломатический коммивояжёр прикусил язык.

— Мне наплевать на Мукден! — сквозь зубы проговорил Макарчер. — Там нет ничего, кроме живой силы. Даже если капитуляция Мукдена угрожала бы персоне самого старого дурака Чана — основное внимание на Цзиньчжоу! Мы не можем за свой счёт вооружать и снабжать красных. И так уже весь мир с усмешкой повторяет слова Мао Цзе-дуна, что его основной арсенал — Соединённые Штаты, и главный

интендант — Чан Кай-ши.
Довольно!.. Я повторяю: если эта
авиация красных служит помехой
операциям в тылу Линь Бяо и
освобождению Цзиньчжоу — все
силы на её уничтожение. Все, что у
вас есть, Ченнолт, слышите?

— Да, сэр.

— Если нужно, я подброшу вам
кое-что из Японии, потребую из
Штатов, но вопрос стоит ясно: у
красных не должно быть авиации.
Это для нас вопрос жизни, вопрос
свободы маневрирования,
коммуникаций. Вы должны
понимать, господа, что если над
головами всей этой чанкайшистской
сволочи появятся самолёты красных,

то неустойчивость превратится в отступление, отступление — в бегство. Не хотите же вы потерять всё, что Америка вложила в эту проклятую страну?

— Не говоря уже о дяде Сэме, — с усмешкой сказал Ченнолт, — но не хотелось бы потерять даже ту мелочь, что вложил сюда я сам.

Никто не улыбнулся его шутке: она слишком точно выражала то, что думал каждый из них.

— Послушайте, Ченнолт! — Макарчер произнёс это таким тоном, что даже не отличавшийся чувствительностью воздушный пират нервно вздрогнул. — Не воображайте что вы и ваши паршивые «Тигры» —

нечто неотделимое от Китая!.. В общем же я хочу вам сказать, джентльмены, что следует серьёзно задуматься над происходящим: Цзиньжоу — частность, но частность очень многозначительная и влекущая за собою последствия гораздо большие, чем нам хочется. Вы хорошо понимаете: я прилетел сюда не для того, чтобы поболтать с вами о нескольких тысячах тонн снаряжения, которое попадёт в руки красных, если падёт Цзиньжоу. Речь идёт о Китае, о Китае в целом, о нашем пребывании здесь!.. У меня создаётся впечатление, что никто здесь не отдаёт себе в этом ясного отчёта, Ченнолт!

— Да, сэр?

— Завтра ваши ребята должны доставить сюда старого Чана.

— Вы же знаете, сэр: он в Мукдене.

— Хотя бы он был в преисподней! Они должны его доставить сюда. Его и всю его шайку. Соберите всех главарей. Понимаете?

— Да, сэр.

— Баркли!

— Да, сэр?

— Вы отвечаете за то, чтобы завтра не позже полудня мы имели возможность созвать совещание всей компании. Нет, нет, не семейный чай у «первой леди», а такое совещание, один созыв которого дал бы им всем

понять: речь идёт о том, что, может быть, послезавтра им выпустят кишки! Понятно?

— Да, сэр.

— Мы берёмся за дело засучив рукава, или нас выкидывают отсюда по первому классу — такова дилемма. — Он обвёл мрачным взглядом лица присутствующих. — И клянусь небом: я сумею разделаться с теми, кто отвечает за операцию тут, а отвечаете вы, Баркли, и вы, Ченнолт, и все бездельники — китайские и американские одинаково...

День пришёл так же, как приходили здесь, на северо-востоке Китая, все летние дни: стремительный поток багрового света неожиданно хлынул из-за горизонта и залил половину неба. Грозное, как ком раскалённой лавы, солнце торопливо всплыло над холмами.

Ещё багровели непогасшие краски зари, а воздух был уже горяч. Небо дышало жаром, и марево начинало подниматься над землёй. Стебли трав, казалось, извивались и дрожали в струях устремлявшегося вверх воздуха.

Тишина висела над степью: ни радостной зоревой переклички птиц, ни треска кузнечиков, — словно все живое попряталось в страхе перед надвигающимся зноем.

С холма, где попутная машина высадила Джойса, было видно далеко. Джойс в последний раз окинул взглядом оставшиеся позади неприветливые просторы Чахара и посмотрел на юг, где простирались изрезанные отрогами Иншаня более плодородные долины Жэхэ. Почти десять лет провёл он в Китае и все никак не мог свыкнуться с его пространствами. Военная и политическая обстановка в течение того десятилетия, что Джойс прожил

в этой стране, позволила ему познакомиться только с её северо-западной частью. Население там было значительно менее плотным, чем в Центральном и Южном Китае, и поэтому пространства казались Джойсу пустынными и необычайно большими.

За эти годы не только побелели виски Джойса, но серебряные нити пронизали и всю его курчавую шевелюру. Бывали минуты, когда он сам себе начинал казаться стариком. Правда, такие минуты бывали не часты. Стоило его пальцам, попрежнему гибким и проворным, притронуться к струнам любимого банджо, как забывалась седина и

голос звучал попрежнему уверенно и звонко.

Впрочем, чаще, чем со струнами, его пальцы встречались теперь с металлическими частями моторов и самолётов.

Девять лет Джойс провёл в народных войсках, странствовал по западным и северным провинциям Китая вместе со школой командиров, выполнял все обязанности, какие возлагала на его плечи жизнь.

В первые годы этих странствований Джойс при каждом удобном случае справлялся, не знает ли кто-нибудь местонахождения госпиталя, в котором работает приехавшая из Америки китайская

фельдшерица Кун Мэй.

— Такая красивая, с родинкой над переносицей, — неизменно прибавлял он, как если бы эта примета могла освежить чью-либо не в меру короткую память.

Наконец Джойс потерял надежду отыскать Мэй и перестал справляться. Для него было неожиданной радостью, когда он однажды обнаружил Мэй в одном из госпиталей Народно-освободительной армии.

Но долгожданная встреча не принесла Джойсу утешения: перед ним была не та Мэй, с которой он однажды ночью расстался в Улиссвилле. Вместо неуверенной и в

себе и в своём будущем девушки он увидел врача, исполненного энергии и веры в своё дело и в свои силы, человека с окончательно сформировавшимися взглядами на жизнь и с ясной судьбой. Джойсу даже почудилось было, что Мэй забыла своё прошлое.

— Мне хочется, — мечтательно сказала она Джойсу при их первой встрече в Китае, — когда-нибудь вернуться в Штаты, чтобы рассказать американцам не только о том, как они виноваты перед китайским народом, но на примере китайцев доказать им, что значит вера в силы народа, в силы революции, в победу над эксплуататорами, когда народ

бесповоротно решает сбросить их со своей шеи...

После этой первой встречи Мэй, по просьбе Джойса, получила перевод в санитарную часть школы. Но и Джойс и сама Мэй очень скоро поняли, что это было ненужным шагом. Джойс не сразу решился взять её руки в свои. А когда взял, то её маленькие, загрубевшие от непрерывного мытья ладони безучастно лежали в его больших чёрных руках.

Скоро Мэй попросила перевода обратно в действующую армию. Её сделали врачом формируемого авиационного полка — первой боевой воздушной части Народно-

освободительной армии Китая...

Глядя на юг, где был расположен авиационный полк, Джойс думал о Мэй, и ему казалось, что дело вовсе не в том, что между ним и ею порвалась какая-то нить, а просто они отвыкли друг от друга и, может быть, он не нашёл слов, которые должен был ей сказать. И вот сегодня, когда он снова увидит её здесь, непременно найдёт эти слова. Все станет на свои места.

На юге, где небо, сливаясь с землёю, переходило в желтовато-зелёную мглу, нет-нет, и в косом луче солнца вспыхивала полоска Ляохахэ. В её долине прятались аэродромы

полка. Острый глаз негра различал на жёлтом склоне горы тёмные норки пещер, служивших лётчикам жилыми и служебными помещениями.

Джойс сидел ссутулившись, втянув голову в плечи. Над его головой целым облаком висели комары. Их гудение было единственным звуком, который негр слышал сейчас в этой мёртвой долине. Напрасно он то и дело с досадою взмахивал рукою, — комары не улетали. От их укусов зудели лицо, шея, руки. Не спасал от них и заправленный под фуражку платок. Насекомые жадно облепили каждый клочок незащищённого тела, жалили

сквозь платок, забирались за воротник рубашки, в рукава. Их уколы заставляли механика то и дело ударять себя по лицу, размазывая кровь.

С запада, куда убегала жёлтая лента дороги, давно уже пора было появиться попутному грузовику, на котором Чэн должен был догнать Джойса. Машина, довёзшая самого механика, не могла намного опередить этот грузовик. Между тем прошёл уже целый час, как негра высадили тут на съедение комарам, а лётчика все не было.

Если бы Джойс не уговорился с Чэном ждать его тут, солнце и комары давно прогнали бы его с

холма и он отправился бы к виднеющимся вдали пещерам.

Наконец на западе взметнулось жёлтое облачко, неожиданное и кудрявое, как дым от взрыва. Оно росло, растекалось вдоль горизонта, потом изогнулось змеёй и повернуло к холму, на котором сидел Джойс. Негр сошёл к дороге и поднял руку.

Машина, скрипя тормозами, остановилась. Джойс с трудом различил её очертания в облаке пыли: серо-жёлтой была вся машина — от радиатора до колёс. Только болтавшаяся возле кабины шофёра камера с запасной водой алела мокрой резиной. Через минуту грузовик тронулся и снова исчез в

вихре тонкой лёссовой пыли. Джойс увидел стоящего посреди дороги Чэна.

Лётчик не спеша вынул платок, отёр лицо и посмотрел на грязный след, оставшийся на полотне.

— Помыться бы... — со вздохом проговорил он.

— Ванны пока ещё у янки.

После короткого молчания Чэн сказал:

— А знаете, кого я сегодня тут увидел? Смотрю, кто-то пылит на японской керосинке, пригляделся... Как думаете, кто?

— Я тугодум.

— Фу Би-чен!

— Фу? — Джойс в недоумении

пожал плечами. — Наш бывший командир, ваш незадачливый ученик?

— Да, наш «пехотный лётчик» собственной персоной.

— Наверно, работает здесь по административной или по хозяйственной части. Небось, характеристика, что вы ему дали в школе, навсегда отбила у него охоту летать.

— Вы говорите так, словно я получил от этого удовольствие. Должен сказать, что каждый неудачный ученик для нашего брата, инструктора, — большое огорчение!.. Списывая его из школы, я выполнял свой долг.

— Значит, всё-таки на

протекцию по хозяйственной линии тут рассчитывать не приходится, — шутливо проговорил Джойс.

Пока они прошли расстояние, оставшееся до пещеры штаба, Чэн успел перебрать в памяти всё, что было связано с учетом Фу Би-ченом. Пожалуй, из всех «трудных» курсантов, которые прошли переподготовку за время его инструкторской работы, этот был самым «трудным». И не потому, что, как некоторые другие учлеты, Фу был лишён данных, необходимых лётчику вообще и истребителю в частности; напротив, он быстро вспомнил теоретические предметы, в воздухе машина была ему послушна,

отработка сложных фигур высшего пилотажа всегда оценивалась у Фу отметкой «отлично». Но этот ученик, ещё прежде чем он получил хороший авиационный боевой опыт, дающий право высказывать свои суждения, заговорил о собственной «теории» воздушного боя! Он утверждал, будто первым условием победы в современном воздушном бою истребителей является не искусство индивидуального боя, а овладение групповым полётом и даже групповым пилотажем.

Это открытие удивило Чэна потому, что он видел Фу Би-чэна в роли пехотного командира и знал его спокойное бесстрашие и

рассудительность в бою. Но мог ли Чэн молчать и не сказать командованию того, что сказал тогда о Фу: «Бойтся!» И Чэн несколько не раскаивается. Его совесть перед народной авиацией, его совесть перед партией, преданность которой управляет каждым его поступком, чиста... Правда, Фу только твердил, что по мере усиления народной боевой авиации встречи истребительной авиации утратят вид одиночных боев и сделаются настоящими воздушными сражениями. Но эти настроения «теоретика» показались тогда Чэну вредными. Если бы такая «теория» заразила других учеников, они,

вместо того чтобы учиться по утверждённой программе, тоже начали бы рассуждать о предстоящей истребителям войне «в массах»...

Внезапно Чэн прервал свои размышления восклицанием:

— Вы знаете, Джойс, ваша приятельница Кун Мэй здесь.

— Товарищ Кун Мэй... — Джойс с напускным равнодушием пожал плечами: — Знаю...

Приблизившись к пещерам, они разошлись: Чэн пошёл представиться начальнику штаба.

Начальник штаба Ли Юн оказался крепким, подтянутым человеком, с широким костистым лицом. Гладко выбритый

шишковатый череп сверкал от мази, предохранявшей от укусов комаров. Лицо Ли Юна поражало собеседника неизменным спокойствием. Даже тогда, когда он говорил, суровые складки вокруг его рта, казалось, оставались неподвижными. Лишь изредка нервный тик пробежал по левой щеке. Быстрая, как молния, складочка залегала вдруг между ухом и глазом и тут же исчезала. Казалось, что начштаба слегка подмигнул левым глазом и тотчас старательно согнал с лица это слабое подобие улыбки. Черты снова обретали обычную неподвижность. Но через несколько минут Чэн понял, что подмигнуть левым глазом Ли Юн

никак не может: этот глаз был у него повреждён и оставался совершенно неподвижным.

Говорил Ли Юн спокойно, ровным голосом. Фразы его были круглые, законченные и, как показалось Чэну, не в меру причёсанные. Словно Ли Юн, тщательно продумывая их, подбирал слова. Это делало его речь медлительной.

Ли Юн показался Чэну сухарём и педантом.

Тем временем Джойс откинул циновку у входа в пещеру, служившую помещением для санитарной части полка. Мэй сидела,

склонившись над столиком, и писала. Солнечный свет, падавший сквозь деревянную решётку передней стены, освещал её волосы, наполовину прикрытые белой косынкой. Вся обстановка, запах лекарств, да и самый вид Мэй в плотно застёгнутом халате показался Джойсу необыкновенно строгим.

Мэй обернулась на шум шагов, увидела Джойса, спокойно поднялась с табурета и так же спокойно протянула ему руку.

— Надолго к нам?

Желая попасть ей в тон, Джойс с такою же сдержанностью ответил:

— Совсем.

— Совсем... сюда? —

переспросила Мэй.

— Как же иначе? — сказал Джойс. — Не быть здесь, когда подошли решительные дни?.. К тому же американской техники тут становится все больше.

— Я рада... я очень рада! — и сжала его руку. Потом тихо, как бы в нерешительности, прибавила: — Но должна тебе сразу сказать: здесь очень трудно... У тех много машин, у наших мало, да и людей нехватает.

— Справимся!.. А скажи, разве не хорошо это вышло, что я попал именно сюда, где ты?

— Да, это хорошо... — как ему показалось, рассеянно проговорила она. — А что... в школе?

— Меня больше занимает, что делается здесь.

— Народная армия сделает своё дело!.. Знаешь, только столкнувшись с американской помощью Чан Кай-ши, я поняла, что ваши фашисты хотят новой войны и готовят к этому рядовых американцев. Они используют для этого страшную школу, какой является для них война в Китае. Они превратили нашу страну в огромный полигон, на котором испытывают свою технику, даже тренируют свои американские войска. Они строят базы, аэродромы, подводят к ним дороги. Эти преступники знают, чего хотят!..

— Кстати, о войне, — сказал

Джойс: — какой-то китайский врач в дороге говорил мне, что, по его мнению, местные условия очень трудны для нашего брата. Что за нежности! Можно ли серьёзно говорить о том, что здоровый мужчина неспособен привыкнуть к любым условиям?

— Именно лётчику-то тут и трудно, — сказала Мэй. — Особенно трудно. Страшная жара днём и ночью, без малейшей передышки, тучи комаров...

— Вот-вот, только этого ещё не доставало: чтобы лётчики боялись комаров!

— А что ты думаешь! Посмотри на своё лицо: оно, наверно, зудит. А

руки...

— Но я не собираюсь бежать отсюда!

— А вот когда лётчик не может сомкнуть глаз из-за того, что жилище наполнено проклятыми насекомыми, когда он не может без содрогания надеть кислородную маску, когда натянуть перчатки для него страдание, когда комары доведут его нервную систему до того, что он станет раздражаться из-за каждого пустяка?..

— Война есть война, — жёстко ответил Джойс. — Что необходимо лётчику для того, чтобы существовать и драться в любых условиях, в любой обстановке? По-

моему, одно: знать, что это нужно. Народ, партия приказали: «Иди, дерись там!» Иди и дерись. Смалодушничал — дезертир, изменник... Точка зрения простая и ясная.

С очевидным желанием переменить разговор Мэй начала рассказывать:

— Тут один парень...

— Американец?

— Нет, индус... Он очень страдал из-за того, что его эвакуировали.

— Лётчик?

— Да.

— Его отослали?

— Командир отослал. Считал

его «воздушным гимнастам». У нас тут на этот счёт своя точка зрения.

— Ты что-нибудь путаешь, — проговорил Джойс. — В истребительной части не могут бранить лётчика за то, что он хорошо владеет машиной. Небось, парень выкинул что-нибудь неподходящее.

— Может быть. Однако здесь царит своя теория.

— Какая же?

— Командир считает, что от истребителя, в особенности от впервые попадающего на войну, требуется не только умение один на один драться с противником, а главное — умение прикрыть товарища...

— Кто же станет отрицать необходимость прикрывать товарища? Но как можно говорить, что для истребителя не является первейшим правилом боя бросаться на противника и бить его везде и всюду, во всяких условиях и в любом положении?.. — Джойс пожал плечами. — Нет, ты что-то путаешь, дорогая!

— А на той стороне много американцев, — вдруг сказала она. — Настоящие воздушные гангстеры... Сам увидишь в первом же бою.

Джойс смутился: ему не очень хотелось говорить Мэй, что хотя он и переучился на истребителя, но сюда

приехал опять простым механиком.

— Теперь приходит так много американских трофеев, что я тут гораздо нужнее как механик.

— Да, но...

— Разве мне самому приятно торчать на земле, когда я мог бы летать? Но раз нужно — значит, нужно. Коммунисту было бы не к лицу спорить с китайским командованием. Именно потому, что оно китайское. И именно потому, что янки так отвратительно ведут себя в Китае, на той стороне. Нужно же показать китайцам, что в Штатах не одни гангстеры, — сказал Джойс, кладя руки на плечи Мэй. Но тут же поспешно сбросил их: у входа в

лазарет слышались тяжёлые шаги. В пещеру, прихрамывая, вошёл лётчик. Это был высокий, крепкий парень с широким лицом, почти черным от загара.

Джойс вышел и присел на земляной валик, окружающий вход в пещеру. До него доносилось каждое слово, произносимое в пещере. Лётчик уверял, что нога у него уже «в полном порядке» и что он чувствует себя великолепно. Повидимому, Мэй тем временем осматривала ногу. Слышались её отрывистые замечания: «Прошу вас, ещё пошевелите ступнёй... пожалуйста, в эту сторону...» Потом воцарилось продолжительное молчание.

Наконец лётчик нерешительно спросил:

— Позвольте узнать: все в порядке?.. Правда?

Мэй решительно отрезала:

— Летать нельзя.

— А мне, товарищ Кун, кажется, что летать можно! — сердито буркнул лётчик.

— Вы понимаете больше меня?

— Извините, но нога моя, а не ваша, — вежливо возразил лётчик.

— Но отвечаю за неё, извините, я, — решительно ответила Мэй. — И я говорю, товарищ Вэнь И: вы не полетите.

— А я, извините, полечу! — теряя терпение, сказал лётчик.

— Вы меня удивляете, товарищ Вэнь И, — проговорила Мэй. — В носке летать нельзя, а обувь надеть вы не можете.

— Значит, в этом все дело?! — радостно воскликнул Вэнь И. — Так я через полчаса приду к вам обутой.

— И я тут же отправлю вас в тыл.

И тут Джойс услышал просительный голос Вэнь И:

— Имейте сердце, товарищ Кун.

— Летать с больной ногой нельзя.

— Уверяю вас: никто не заметит. У меня и с одной ногой Чану жарко станет!

Мэй рассмеялась:

— Прежде всего жарко станет нам с вами, когда командир Лао Кэ увидит, что вы с больной ногой лезете в самолёт.

— Позвольте уверить вас: он не увидит.

Повидимому, спор надоел Мэй.

— Придётся вам ещё отдохнуть, — строго заключила она.

Через минуту Вэнь И, хромая и морщась от боли, проковылял мимо Джойса.

Мэй показалась у входа с полотенцем в руках и кивком головы указала вслед удаляющемуся лётчику:

— Просто болезнь какая-то: боятся хоть один вылет пропустить.

— Истребитель действительно не девица, — с улыбкою сказал Джойс.

— А человек с пулевым ранением в пятку, по-моему, и не истребитель.

— Это, конечно, тоже верно, но если человек чувствует, что может вести машину...

— Это уж предоставь мне знать: может он вести машину или не может.

— В общем, видно, отличный народ, а вы его портите.

Мэй удивлённо посмотрела на Джойса.

— Что ты сказал?

— Нежности! Парень хочет

летать, значит летать может...

— Я делала и делаю то, что мне велит долг.

— Ты не фельдшерица где-нибудь в миссурийской воскресной школе для фермерских невест.

— Да, я военный врач. Я в боевой части Народно-освободительной армии, где каждый лётчик на учёте. Я это знаю не хуже, чем ты. Именно поэтому я обязана следить, чтобы каждый лётчик был годен для работы, для боя.

Мэй в раздражении отвернулась и пошла в пещеру. Джойс нагнал её и взял за руку.

— Не сердись, все обойдётся... Я действительно не вправе

вмешиваться, но лётчик, с которым я приехал, на деле покажет, что вы тут не правы...

— Ах, не все ли мне равно, с кем ты приехал!

— Это Чэн.

Джойсу показалось, что при этом имени Мэй переменилась в лице.

— Чэн?! — переспросила она.

— Ну да, Чэн.

Словно удивлённая и даже немного испуганная этой вестью, она снова растерянно, почти про себя повторила:

— Чэн!..

— Конечно, тот самый Чэн, — заставив себя улыбнуться, сказал

Джойс. Он сделал вид, будто не понимает причины растерянности Мэй, хотя эта растерянность говорила ему больше, чем если бы Мэй сказала ему все о нем и о Чэне.

А Мэй порывисто высвободила свою руку из пальцев Джойса и, делая вид, будто очень занята, стала перебирать инструменты.

Когда Джойс ушёл, Мэй вздохнула с облегчением. Она хорошо понимала, что отношения, возникшие между ними в Штатах, не налагали на неё никаких обязательств, и тем не менее что-то похожее на стыд овладевало ею всякий раз, когда приходилось над этим задумываться... А в сущности,

кем была она тогда в Америке? Одиноким китайской девушкой на далёкой, враждебной чужбине, где на неё смотрели, как на чужую не только и не столько потому, что она была иностранкой, сколько потому, что цвет её кожи был не совсем белый; потому, что она была дочерью народа, который янки привыкли эксплуатировать, как скот, народа, который они не считали и не хотели считать равным себе.

Любила ли Мэй Джойса? Не уцепилась ли она тогда за протянутую ей большую ласковую руку потому, что та была так сильна и так ласкова, не больше?.. И виновата ли Мэй в том, что думала о

Джойсе лишь до тех пор, пока не встретила в Китае Чэна?.. Вероятно, она не виновата ни в этом, ни в чём-либо другом перед Джойсом и тем не менее... Да, тем не менее при всяком свидании с Джойсом досада овладевала ею потому, что возвращалось это беспричинное чувство стыда... Уж не происходило ли это из-за того, что она всем своим существом чувствовала, что негр её любит, попрежнему любит. Быть может, даже больше, чем любил прежде, за океаном. Вероятно, ведь здесь у него нет никого, решительно никого, кроме неё...

Мэй с досадою отбросила пинцет, который машинально

вертела в руках. Ударившись о край ванночки, инструмент громко звякнул. Мэй вздрогнула и провела рукой по глазам, — этот резкий звук привёл её в себя...

Сидя в прохладной пещере штаба, Чэн ждал командира полка. Чтобы не терять времени, он попросил у начальника штаба последние сводки и стал знакомиться с боевой обстановкой, о которой со времени отъезда из школы имел лишь общее представление.

Пристроившись на ящике у входа в пещеру, он углубился в чтение. Время от времени он прерывал сам

себя сдержанным возгласом радости: события развивались самым успешным образом. Соединение Дунбейской народно-освободительной армии генерала Линь Бяо, которому и был придан 1-й авиационный полк НОА, успешно продвигалось к югу, пробиваясь к берегам Ляодунского залива, чтобы закрыть миллионной армии гоминдановцев выход из мукден-чаньчуньского мешка. Шли ожесточённые бои за Цзиньчжоу. Если бы НОА располагала бомбардировочной авиацией, то Цзиньчжоу как исходному пункту авиационных ударов противника, наверно, давно уже пришёл бы конец.

Теперь же 1-му полку было приказано парализовать действия американско-гоминдановских самолётов, продолжавших ещё базироваться на Цзиньчжоу и отбивать налёты вражеской авиации, пытавшейся прийти на помощь Цзиньчжоу с юга. Из разведсводок и из анализа боевых донесений командиров эскадрилий 1-го полка было ясно, что противник вводил в бой свежие авиационные силы. Повидимому, это были истребительные формирования, созданные на базе американской и японской техники. По данным разведки, их назначением было подавление активности 1-го полка и

уничтожение его личного состава и техники на земле и в воздухе.

Для Чэна, за время долгой школьной работы привыкшего воспринимать такого рода сообщения как нечто очень интересное, но более или менее отвлечённое, теоретическое, все звучало теперь по-новому — жизненно ярко. От чтения его оторвал возглас начальника штаба Ли Юна:

— Командир!

Чэн поднял голову и услышал за дверью пещеры чёткие шаги.

Ли Юн уже вышел. Следом за ним и Чэн пошёл навстречу командиру полка.

Лао Кэ прервал представление

Чэна радостным возгласом:

— Рад, очень рад! Нам давно нужен такой человек, как вы. Мы свалим на вас всю молодёжь. Чудесный народ, изумительный, но порой бывает сыроват. А с вашим инструкторским опытом вы сделаете из них таких бойцов!..

Чэн с трудом заставлял себя следить за словами командира. Он едва скрывал охватившее его удивление: рядом с Лао Кэ стоял... Фу Би-чен. По его виду никак нельзя было сказать, что он хозяйственник или штабист. Значок лётчика виднелся и на его выгоревшем комбинезоне, перепоясанном ремнём с пистолетом. Его кобура имела тот

характерный вид потёртости, какой приобретают кобуры лётчиков после долгого пребывания за их спинами в полётах. Рукава комбинезона Фу были немного закатаны и обнажали худые запястья, из-под шлема с завёрнутыми наверх ушами и немного сдвинутого на затылок торчала прядь прямых непослушных волос. Да, это был Фу Би-чен. Его почерневшее от солнца и ветра лицо выглядело строгим. Он без улыбки смотрел на Чэна.

— ...Вот и прекрасно... — словно издалека доносился до Чэна голос Лао Кэ. — Немного отдохнёте и возьмётесь за работу.

Но вот командир умолк. Нужно

было отвечать. Чэн с трудом собрал мысли, стремительно уносившиеся в прошлое, к школе, к незадачливому учёту Фу. Чэн ответил, стараясь попасть в добродушный тон командира:

— Я не устал. Могу сразу за работу. Только позвольте доложить: мне учебная работа очень надоела в школе. Я предпочёл бы в бой.

— Боев здесь хоть отбавляй.

— Вот и хотелось бы...

Лао Кэ весело перебил:

— Придёт время, придёт! А пока за учёбу. Других будете учить и сами поучитесь. — Лао Кэ обернулся к начальнику штаба: — Что ж, может быть, прямо и дадим ему вторую

эскадрилью?

— Вы хотите сделать для лётчика Чэна исключение? — спросил Ли Юн.

— Исключение?..

— Вы же сами приказали: каждый новый человек, прибывающий на лётную работу, независимо от звания и назначения, проходит ознакомление с обстановкой и с боевой работой в качестве рядового лётчика.

— Ли Юн всегда прав! — сказал Лао Кэ. — На то он и начальник штаба, чтобы все помнить. Такой приказ действительно существует, и выходит, что дать вам сразу эскадрилью против моих правил.

Значит, прежде чем вы начнёте учить других, придётся вам самому кое-что усвоить: обстановка тут не простая, сразу не разберётесь. — При этих словах Лао Кэ бросил взгляд в сторону молча стоявшего в течение всего разговора Фу Би-чена. — Придётся вам, товарищ Фу, новичка вывозить.

Повидимому, заметив, как при этих словах краска прилила к щекам Чэна, Лао Кэ поспешил ответить:

— Обижайтесь не обижайтесь, а должен же я подчиняться собственным приказам: в нашей стае даже старый волк считается новичком, пока не привыкнет к местным условиям. Но товарищ Фу

быстро введёт вас в курс дела — он у нас первый мастер на этот счёт. Вывезет в бой раз, другой — и сразу вывод: годен или нет. И притом предупреждаю: экзаменатор строжайший.

Лао Кэ на мгновение свёл брови и окинул Чэна коротким испытующим взглядом, потом обратился к Фу Би-чену, дружески положив ему руку на плечо:

— Что это вы сегодня такой молчаливый?

— Товарищ Чэн — мой школьный инструктор, — так же спокойно ответил Фу Би-чен. — У него начал переобучение...

Лао Кэ, не задумываясь, весело

сказал:

— Был учителем, побудет учеником... То была школа, а то война.

Горячий воздух поднимался от земли. Его струи взлетали дрожащими столбами. Развалины монастыря казались сквозь них сделанными из тонкой бумаги, колеблемой дуновением ветерка. Стены кумирни изгибались и меняли очертания. Многоярусная крыша то делалась совсем низкой, почти распластывалась по земле, то вдруг острым шпилем тянулась к небу.

Дальше у горизонта, очень далеко за монастырём, виднелись холмы. Они, как и постройка, непрерывно меняли контуры: то делались низкими, с пологими

склонами, то вдруг вытягивались ввысь и становились похожими на пагоды.

Пейзаж вокруг Харады был однообразен и суров. Трава местами уже стала бурой. На склонах холмов она под ударами ветра свалялась, как клочья немытой шерсти.

Когда Харада глядел на степь, ему казалось, будто у горизонта расстилается безбрежное море. Оно волновалось и курилось испарениями. Если Харада долго глядел на это море, то уровень воды начинал повышаться, она заливала пустыню. Нужно было закрыть глаза, чтобы вода исчезла.

Но Харада старался их не

закрывать. Стоило опустить веки, как в голову лезли совсем ненужные мысли. Однако лежать все время с открытыми глазами и смотреть то на раскалённое небо, то на степь было тоже невозможно. Достаточно того, что майор, привыкший к бумажной форменной одежде или к ещё более лёгкому кимоно, лежал теперь в засаленном ватном халате. Все его тело покрылось потом. Этого никогда не бывало с майором ни в форме, ни в домашнем кимоно. Ощущение было отвратительное.

Солнце только ещё перевалило через зенит, когда Хараде начало казаться, что вместе с потом из него испаряется самая кровь. Тело

становилось сухим и негибким, слюна — горячей и вязкой. Японец даже пощупал собственные губы, — они казались непомерно толстыми и тугими. Он попробовал облизать губы, но язык цеплялся за них, словно они были облеплены репьями. Чтобы избавиться от этих неприятных ощущений, нужно было подняться и дойти до монастыря — там должна была быть вода.

Но для этого пришлось бы уже сейчас рискнуть встречей с людьми. А открытая игра была преждевременной. Она поставила бы под угрозу выполнение задания мистера Паркера, а следовательно, и возможность возвращения Харады в

Японию.

Значит, нужно было лежать и ждать. И Харада лежал. И ждал.

Он ещё не признал себя побеждённым монгольским солнцем. Он считал, что может с ним бороться.

Чтобы отвлечь свои мысли от Японии, от солнца, от кишек, скручивающихся в животе, как в кипящей кастрюле, Харада стал наблюдать за вылезшим из норы в сотне метров от него тарбаганом. Большой, жирный, огненно-рыжий тарбаган грелся на солнце, не обращая внимания на человека.

Харада долго смотрел на него. Вот зверёк сел на задние лапы,

поднял передние к солнцу и подставил его лучам мордочку. Харада взял камень, прицелился и бросил. Тарбаган насторожился, посмотрел туда, где упал камень, и снова поднял лапы, так и не обратив внимания на человека.

Японец отвернулся.

Солнце прошло половину пути от зенита к горизонту. В степи быстро сгущались сумерки. Харада поднялся и при последнем слабом отблеске заката стал рассматривать силуэт монастыря. Когда совсем стемнело, японец пошёл.

Хвост Большой Медведицы уже скрылся за горизонтом, когда Харада вошёл под свод полуразрушенных

монастырских ворот.

Было тихо. Слышался только шорох ветра под стропилами длинного строения, где раньше помещались монахи. Харада прижался к стене. Он терпеливо ждал, пока луна, освещавшая двор, не продвинется настолько, чтобы Харада мог идти, скрываясь в тени, отбрасываемой стеной. Яркий свет, проникающий сквозь узорные отверстия, выведенные кладкой стены, голубой рябью ложился на землю. Осторожно переступая через эти светлые пятна, как будто они были стеклянные, Харада двинулся вокруг двора. Ему нужен был колодец. Вскоре он отыскал его в

глинобитной будке и нагнулся над выложенным камнем отверстием. Однако он напрасно напрягал зрение: зеркала воды не было видно, внизу царила непроглядная темень. Тогда Харада нащупал на земле камешек и бросил его в колодец. Последовала столь долгая тишина, что Харада решил: колодец сух. Но именно в этот миг откуда-то из бесконечного далека, словно от самого центра земли, донёлся слабый плеск. Харада торжествующе выпрямился.

Через несколько минут он уже крался под сводами монастыря. Заметались над головою летучие мыши. Под ногами прошуршали

вспугнутые крысы. Хрустнула раздавленная черепица. Постояв некоторое время в нерешительности, Харада раздвинул ногою мусор на полу, расстелил ватный халат и лёг, подтянув колени к самому подбородку.

Когда он проснулся, был уже день. В ярком свете, свободно проникавшем через дыры выломанных окон, Харада увидел напротив себя человека. Тот сидел на корточках, в руке его был зажат пистолет, и немигающие глаза были устремлены на японца.

Харада сразу узнал этого человека: его собственный тяньцзинский рикша. Да, да, тот

самый рябой рикша, которого он перед отлётом передал в пользование полковнику Паркеру. Это было похоже на чудо.

Японец стал медленно, едва заметно опускать руку к поясу, в складках которого был спрятан пистолет.

Неожиданная встреча с Фу, оказавшимся заместителем командира полка, вывела Чэна из душевного равновесия, которым он всегда гордился. Теперь он находился в состоянии некоторого смятения и напрасно искал выхода из создавшегося положения. Оно представлялось ему нелепым и обидным и, наконец... да, наконец, он сомневался! Сомневался в том, что некогда принял правильное решение в отношении учлета Фу Бичена. К тому же, если он мог ошибиться в доверенном ему человеке один раз, то где

уверенность, что в его прошлом нет ещё десятка или сотни таких же ошибок, о которых он не знает? Где уверенность, что он их не совершает каждый день, не совершит сегодня и завтра?..

Одним словом, внутренний мир лётчика Чэна был нарушен.

Когда его вызвали в штаб, он пошёл туда кругным путём, чтобы иметь время собраться с мыслями.

В штабе он застал Лао Кэ, Фу Би-чена и Ли Юна. Разбирали новое боевое задание, которое полк должен был выполнить попутно со своей главной задачей. Это новое задание было несколько необычным: по сведениям командования, у

противника появился новый тип истребителя, в котором подозревали опытный американский образец, не принятый ещё на вооружение даже в ВВС США. Если так, то это значило бы, что военные круги США не только рассматривают Китай как объект своих империалистических притязаний, осуществление которых поручено шайке Чан Кай-ши, но и как опытное военное поле, как полигон для испытания новых видов оружия.

Противник вводил этот истребитель в работу осторожно. Повидимому, он не хотел привлекать к нему внимание командования авиации Народной армии. В то же

время противник явно стремился выявить качества новой машины в бою. Разведка правильно называла эти машины «Икс».

«Иксы» ни разу не появлялись в воздухе значительным подразделением — только звеньями и даже одиночками. Они незаметно пристраивались к истребителям прежних типов, уже хорошо известных лётчикам Народной армии. Судя по первым впечатлениям лётчиков и по данным разведки, «Икс» представлял собою аппарат гораздо более скоростной, нежели все прежние, состоявшие на вооружении чанкайшистских частей.

Задачу, полученную от

командования, излагал Ли Юн как начальник штаба:

— Командование заинтересовано в том, чтобы подробно ознакомиться с этим новым вражеским истребителем. Нужны не обгорелые и изуродованные остатки, какие представляют собою обычно сбитые неприятельские машины, а вполне целый или, по крайней мере, мало повреждённый экземпляр. Наши лётчики должны посадить «Икс» в своём распоряжении. Поэтому задание сводится к следующему: вести тщательное наблюдение за появлением в воздухе истребителя нового типа. Когда он будет замечен,

навалиться на него, оттереть от строя и жать к земле, не позволяя ему вывернуться; жать, пока он не будет вынужден сесть!

— А если людям, летающим на опытных самолётах, дано задание: ни в коем случае не садиться на нашей территории? — негромко спросил Лао Кэ.

— Даже наверно дано, — проговорил начальник штаба.

— Один не сядет, другой не сядет, а третий и сел! — спокойно возразил Фу. — Приходится рассчитывать на то, что не всякому янки хочется умирать ради прекрасных глаз своих боссов. Но есть слух, что Макарчер прислал в

Китай много японских лётчиков. Смертники-камикадзе и ради прекрасных глаз дзайбацу или своего микадо почтут за честь вернуться на острова в урне для праха.

— Правильно, товарищ Фу, — кивнув головой, подтвердил Лао Кэ. — У этих нет ни капли ума. Но не все японцы камикадзе. Есть среди них и обыкновенные люди, предпочитающие вернуться к своим семьям живыми и здоровыми, а не горстью пепла. К тому же я уверен, что на опытных «Иксах» летают не японцы, а чистокровные американцы. Макарчер не доверяет японцам, даже если они такие отъявленные негодяи, как

воспитанники Хирохито. Да, в «Иксах» сидят янки.

— Если мы будем ждать, пока отыщется такой янки, мы рискуем выполнить наше задание нивесть когда, — сказал Фу. — Я имел только в виду, что одним из наших шансов в выполнении задания командования является и этот. Но расчёт мы должны вести на другое: заставить сесть на нашу землю всякого, — при этом слове Фу обвёл собеседников строгим взглядом и отдельно повторил: — всякого неприятельского лётчика, которого мы увидим в воздухе: будь он гоминдановец, янки или японец. Для этого его нужно поставить в такие

условия, чтобы у него не было возможности ни отразить наш натиск, ни вести самому нападение, ни искать поддержки у своих спутников. Поэтому нашим первым и главным шансом на выполнение задания является наша собственная слётанность. Слётанность прежде всего.

— Задание не лёгкое, — задумчиво проговорил Лао Кэ.

— Командующий сказал, — заметил начальник штаба, — что поэтому-то он и даёт его именно нашему полку.

— Отец так и сказал? — спросил командир и, получив в ответ утвердительный кивок головой, с

улыбкой поглядел на Фу Би-чена. — Что ж, командующий выбрал мою часть, мне остаётся выбрать бывшую вашу эскадрилью, Фу.

У Чэна мелькнула мысль, что сейчас-то ему и скажут: «Принять эскадрилью, выполнять задание!» Но вместо этого Лао Кэ сказал своему заместителю:

— И было бы совсем хорошо, если бы повели её на задание вы.

— Благодарю, — коротко ответил Фу.

Лао Кэ обернулся к разочарованному Чэну.

— Вот все и устроилось, как вы хотели, — сказал он, — прямо в бой.

— Примите двойку второй

эскадрильи, — сказал Фу Чэну. —
Будете моим правым ведомым.

— Хорошо.

— Для ознакомления с
подробностями задания и с моими
указаниями явитесь ко мне в
одиннадцать часов, — добавил Фу.

Ровно в одиннадцать Чэн
пришёл к Фу и выслушал его
наставления, касающиеся местных
условий работы, обстановки на
фронте и методики боя, принятой в
результате приобретённого здесь
опыта. Чем дальше Чэн слушал, тем
больше он убеждался, что ему
предстояло либо переучиваться
воевать, либо вступить в

противоречие с командованием и лётчиками. Но он держал себя в руках. Он слушал и молчал, полагая, что испытание будет недолгим и не сегодня-завтра он получит вторую эскадрилью. Тогда он на деле покажет Фу...

Пока Джойс проверял принятый им новый самолёт, Чэн отправился по площадкам, чтобы познакомиться с лётчиками других эскадрилий. Он переходил от самолёта к самолёту. Лётчики встречали его приветливо. Они здоровались так, словно были с ним уже давным-давно знакомы. Разговор вращался вокруг профессионально-злободневных дел либо около быта, сурового, строгого,

требовавшего отказа от многих привычек, от самых элементарных удобств.

Чем ближе время подвигалось к полудню, тем тяжелее становилось северянину Чэну. Солнце жгло невыносимо. Горизонт делался все более неверным, трепещущим от потоков поднимающегося с земли раскалённого воздуха. В мутной дали земля сливалась с побелевшим небом.

Преодолевая желание растянуться в траве, Чэн пришёл на свою площадку. Тени от крыльев истребителей, под которыми лежали экипажи, становились все короче. Истомлённые зноем оружейники и

техники безмолвно подвигались вместе с тенью, заботливо уступая самое прохладное место лётчику.

Подойдя к одной из машин, Чэн узнал лётчика Вэнь И. Тот лежал в куртке, распахнутой на широкой груди, тяжёлая голова его опиралась на закинутые под затылок огромные кулаки. От широких штанов раскинутые ноги выглядели необыкновенно массивными.

— Плохая жизнь! — с сокрушением сказал Вэнь И.

— Вам не нравится? — спросил Чэн.

— Худо... — Вэнь И сел и почти упёрся головою в крыло своего истребителя. — Разве это жизнь для

истребителя?! Пятый день без вылета. Сгнил, честное слово, заживо сгнил. Пятый день никого не сбиваю. Народ вокруг летает, а я...

— Я понимаю.

— В воздух нужно, а мы лежим. — Подумав, повторил сокрушённо: — Лежим!

— Значит, так надо, — сказал Чэн.

— Разве я не понимаю... — Не договорив, Вэнь И опять растянулся в траве и широко раскинул руки.

Но вдруг он выполз из-под крыла и уставился в сторону командного пункта. Чэн глянул туда же и увидел свисающую с неба кудреватую черту ракетного следа.

След медленно расплывался прозрачным дымком. Приглядевшись, Вэнь И полез в самолёт. Чэн побежал к своей машине.

Через минуту, сидя в кабине истребителя, Чэн застёгивал под подбородком шлем. А ещё через минуту из-под его винта вырвалась упругая и твёрдая, как бич, струя воздуха. Она стегнула по траве, и стебли пригнулись к самой земле, затрепетали и скрылись под густой пеленой взлетевшей высокими клубами сухой земли. Чэн двинул сектор и с наслаждением всем существом ощутил, как напрягается машина, как дрожат в жадном

нетерпении все её части. Он поднял руку. Техник скрылся под крылом. Освобождённый от подкладок самолёт побежал по аэродрому. Пальцы Чэна ласково обнимали штурвал. Плавно оторвавши хвост, истребитель нёсся навстречу жаркому горизонту. Лётчик покосился на разбегавшийся рядом с ним самолёт Фу и потянул ручку на себя.

Уверенно вёл свою ясную, торжественную песню мотор; какая-то шальная струйка воздуха озорно посвистывала в щёлочке колпака. Вокруг была только прозрачная синева неба. Чэн глубоко вздохнул и забыл обо всём, кроме полёта...

Часть ушла на восток. Замер
тянувшийся за нею гул моторов. С
земли те, у кого зрение было
получше, ещё могли разобрать, как
самолёты, набирая высоту,
подстраивались к своим ведущим,
потом звенья сходились к комэскам и
вся часть исчезала в ослепительном
сиянии раскалённого неба.

На земле не осталось теперь и
тех крохотных клочков тени, какую
давали крылья истребителей.
Техники надвинули шапки на глаза и,
усевшись в кружок на забрызганной
маслом траве, принялись негромко
говорить о «своих» лётчиках, словно
соломенные солдатские вдовы:

— Это мой!

Истребители шли на восток, навстречу быстро набегавшим с горизонта облакам. Далеко внизу узкой полоской блеснула Ляохахэ. Зелено-бурые волны пологих сопок потянулись к юго-востоку. По их склонам виднелись жёлтые чёрточки взрытой земли — окопы противника. Они тянулись беспорядочными линиями Линий было много. Войска Чан Кай-ши быстро откатывались к морю.

Одной части истребителей предстояло штурмовать наземные войска гоминдановцев, другой прикрывать штурмующих.

Штурмующие стремительно снизились на цель. Сквозь рёв моторов и оглушающий свист винтов воздух рванули пулемётные очереди. Словно тысячи пневматических молотков забивали гоминдановскую пехоту в землю. Пехотинцы бестолково метались: одни выскакивали из окопов в поисках места, где можно было бы растянуться, прижавшись к спасительной земле; иные, застигнутые штурмовкой на открытом месте, забивались в окопы, только что оставленные другими. Все, что было живого на оборонительном рубеже противника, искало спасения от струй горячего

металла, лившегося с неба.

Высоко барражировали свои истребители прикрытия, чтобы не подпустить к штурмующим истребителей противника.

Наплывающие с востока облака постепенно затянули небо. И вдруг, когда атака уже подходила к концу, откуда ни возмись, из облака, прямо на головное звено штурмующих вывалился гоминдановский истребитель.

Повидимому, вражеский лётчик сам не ожидал такой встречи: едва заведя самолёты с опознавательными знаками НОА, он попытался постепенно набрать высоту, чтобы скрыться в облаке. Но путь к облакам

был ему отрезан. Звено истребителей НОА гнало его к земле. Все ниже и ниже шёл гоминдановец. В поисках спасения он прижал машину к земле, змейкой заметался на бреющем. Ниже уже некуда — вот она, земля!..

Сверху застучали очереди истребителей. Серая машина сделала последнюю попытку вырваться из смертельного кольца преследующих. Напрасно — беспощадные очереди резанули её в лоб, по мотору, по бокам. Охваченный пламенем самолёт задрался, как вставший на дыбы смертельно раненный зверь, на миг повис в воздухе, перевернулся. Через несколько секунд столб чёрного дыма поднимался к небу с

того места, где вражеский самолёт
врезался в землю.

А тем временем уже завязалась
смертельная игра со вторым
гоминдановцем, так же неожиданно
появившимся из облаков и, подобно
первому, попытавшимся избежать
боя. Все разыгралось в том же
порядке. Дружной атакой врага
прижали к земле. Ещё раньше чем
исчез столб дыма от первого сбитого
самолёта, второй враг задымил,
ударился о землю, разламываясь на
части, обрызгал пылающим
бензином зелёный склон холма.

Лао Кэ сверху наблюдал за
погоней, не пуская своё звено в бой.
Заметив третий вражеский самолёт,

появившийся следом за первыми двумя, Лао Кэ решил пробить облачность, чтобы выяснить, откуда, словно слепые котята из мешка, сыплются враги. Но тут он увидел, что сбоку появилась ещё семёрка гоминдановских машин. Одна из собственных «шестёрок» Лао Кэ тотчас вступила в бой. К неприятельской семёрке спикировали на поддержку ещё два звена, словно по команде наведённые каким-то невидимым наблюдателем. Через несколько секунд в поле зрения командира было уже не меньше сорока — сорока пяти американо-чанкайшистских истребителей. В разрывы облачности

были видны барражирующие над облаками вражеские самолёты второго яруса.

В такой тактике для Лао Кэ не было ничего неожиданного. Противник всегда придерживался своего приёма выходить в бой с расположения нескольких ярусами, сильно эшелонированными по высоте. При этом самый верхний ярус, в который входило всего два-три звена, во главе с командиром всей части, держал высоту, максимально доступную данному типу самолёта. На протяжении всего боя эти звенья ходили на своём «потолке», не принимая участия в сражении, каким бы ожесточённым

оно ни было. Они, как настоящие стервятники, высматривали отбившиеся от строя или подбитые истребители НОА. Стоило одному из них отойти от звена, как разбойники оказывались тут как тут. Они бросались на одиночку и стремились растерзать его, прежде чем лётчик успевал прийти в себя от внезапного наскока врагов. Если же он, отбившись, ускользал или снова умело пристраивался к своим, вражеские лётчики, не преследуя его, не ввязываясь в общий бой, ныряли в облака. Они возвращались в верхний ярус, к своему командиру, чтобы кружиться там в ожидании новой добычи.

Но беда врагов состояла в том, что среди лётчиков Народной армии не было трусов, пытавшихся избежать боя. Даже застигнутые врасплох, они дрались с ожесточением. Чаще всего бой затягивался до момента, когда на помощь приходили свои. Тогда врагам, кто бы они ни были: гоминдановцы, американские наёмники или подневольные смертники из Японии, не оставалось ничего иного, как удирать с поля боя. С каждым днём у вражеских звеньев верхнего яруса делалось все меньше и меньше работы. Они ходили в поднебесье равнодушными наблюдателями того, как били их

сообщников.

Истребители Народно-освободительной армии почти никогда, ни при каких обстоятельствах не покидали строя. Принцип «кулака», основанный на ударе компактной массой, на совершенном взаимодействии всех звеньев эскадрильи, дающийся в результате хорошей слётанности всей части, был положен в основу тактики боевой авиации. Этот принцип взаимодействия и взаимной выручки был заимствован у воздушных сил СССР и крепко вошёл в сознание лётчиков-истребителей Народной армии. Они представляли себе цель боя в нанесении врагу строго

продуманного группового удара. Даже если лётчик сам не мог вести боя, — у него происходила задержка в оружии или кончался боекомплект, — он всё равно стремился остаться в строю. Он старался принять участие в общем манёвре, морально воздействуя своим присутствием на противника, отвлекая на себя его огонь, прикрывая товарища или оттирая врага от попавшего в трудное положение истребителя. Со временем, разгадав до конца разбойничьи приёмы, привитые гоминдановской авиации американскими инструкторами и теми воздушными пиратами

Ченнолта, которых там называли «добровольцами», лётчики НОА, входя в соприкосновение с противником, стремились сразу же завязать бой во всех «этажах». Ломая излюбленную неприятельскую тактику и смешивая этажи, лётчики НОА использовали своё умение драться в строю и, не думая о личных трофеях, добивались максимального успеха.

Лётчикам НОА удавалось дружным напором довольно быстро очистить верхний этаж от врагов и загнать их вниз, в общую кучу. Оглушённые стремительными атаками, оторванные от своего командира, утратившие привычную

ежеминутную опеку и предоставленные самим себе, разношёрстные, не спаянные ни единством цели, ни преданностью народу, и американские и китайские «воздушные тигры» Ченнолта и Чан Кай-ши становились жертвами дружно перемалывавших их истребителей.

Знакомясь с тактикой врага, лётчикам НОА удалось нащупать его слабое место: привычку действовать не самостоятельно, а по приказам старшего командира. Эти старшие авиационные командиры, как правило, старались остаться вне боя. Они вели наблюдение за ним со стороны и помогали своим лётчикам

указаниями по радио. Но стоило гоминдановским лётчикам лишиться этих указаний, как они сразу теряли инициативу. Поэтому, если лётчикам НОА удавалось выбить вражеского командира с его воздушного «командного пункта», рядовые лётчики-гоминдановцы утрачивали уверенность в себе, их действия лишались плановости и взаимосвязи.

Лао Кэ и Фу Би-чен, принимавшие участие почти в каждом вылете своего полка, внимательно изучали все ухищрения противника. По возвращении домой они производили тщательный разбор всего виденного, учитывали всякий новый приём врага.

В тот день, когда Чэн впервые оказался участником боевого вылета, противник применил совокупность всех своих хитростей.

Пользуясь надвинувшейся плотной облачностью, гоминдановцы построили трехъярусный барраж с очевидным намерением неожиданно свалиться на голову лётчикам НОА. Но они упустили из виду, что принцип взаимной выручки в народной авиации не ограничивается дружбой звеньев одной эскадрильи или эскадрилий одного полка.

Когда количество горючего в баках уже заставило Лао Кэ думать о том, чтобы во-время вывести своих людей из боя, в западном секторе

неба появились сверкающие на солнце точки. Лао Кэ сразу понял: это свои; с запада никто не позволил бы врагу подойти в таком количестве. Очень скоро Лао Кэ различил контуры истребителей, мчавшихся ему на выручку. Это была резервная эскадрилья его полка. Её натиск был настолько стремительным и дружным, что неприятельские лётчики почти одновременно, не ожидая приказа своего командира, повернули прочь.

Лао Кэ бросил короткий взгляд на бензиномер и, вместо того чтобы дать своим сигнал к отходу, повёл звено наперерез удирающему противнику. Враги оказались в

тисках. Несколько минут задержки, которыми мог рискнуть Лао Кэ со своим запасом горючего, было достаточно, чтобы истребители поддержки настигли гоминдановцев. Началась новая фаза боя: истребление панически удиравших «Тигров».

Летя ведомым за Фу, Чэн заметил, что на два истребителя НОА, в пылу боя оттертых от своих, навалилась вражеская семёрка. Прежде чем Чэн сообразил, что надо дать об этом знать командиру, он увидел самолёт Вэнь И, устремившийся на помощь товарищам.

Находясь метров на пятьсот

выше, Вэнь И решил атаковать с пикирования с последующим набором высоты. Когда он сблизился с противником, левофланговый гоминдановец не выдержал и повернул в сторону. Правый же вошёл в левый боевой разворот, явно намереваясь выйти Вэнь И в бок. Брюхо вражеского самолёта оказалось прямо в поле зрения Вэнь И. Оставалось нажать гашетку, и короткая пушечная очередь ударила по врагу. Тот сразу завертелся и пошёл вниз.

Вэнь И заметил, что с разгона оторвался от своих. Пока лётчик набирал высоту, чтобы получить превышение над вторым вражеским

самолётом, две гоминдановские машины навалились на самого Вэнь И. Он должен был набрать высоту, чтобы присоединиться к своим. Пользуясь этим, враги легко вышли ему в хвост. Они не отставали, словно вцепились в него зубами. Вэнь И почувствовал лёгкий дробный стук где-то под ногами и понял: это пули врага. Первой мыслью было: «бак!» Но бак не был повреждён. Однако положение оставалось безвыходным. Стоило Вэнь И оторваться от правого преследователя, как он попадал под пулемёты левого. Короткими очередями враги гнали его из одного разворота в другой. Вдруг сильная

струя масла ударила в лицо Вэнь И. Нагнетаемое помпой горячее масло било из простреленного маслопровода, как кровь из перебитой артерии. Новые и новые струи — по очкам, в рот, в грудь. Вэнь И сдёрнул очки, но глаза тотчас залило маслом. Несколько секунд он летел вслепую, пока не удалось перчаткой стереть масло. Вэнь И увидел, что стрелка бензиномера резкими скачками спешит к нулю. Единственной отчётливой мыслью лётчика было: «Почему же не горю?..»

Самолёт действительно не горел. Повидимому, бак или бензопровод были пробиты не

зажигательной, а бронебойной пулей. Сощурившись и отведя лицо в сторону от струи масла, Вэнь И присмотрелся к манометру, — он ещё показывал какое-то давление. Вэнь И решил, пользуясь последними вздохами мотора, набрать сколько удастся высоты и атаковать, а там будет видно. Но в тот самый миг, когда он потянул на себя, где-то сзади, за спиною, раздался довольно отчётливый металлический звон и удары по броневой спинке. Вэнь И понял, что неприятельская очередь пришлась по хвосту его самолёта и по кабине.

Мысли были короткие, ясные. Такие же быстрые, как движения

самолётов, как выстрелы, как всё, что происходило вокруг, измеряемое десятými долями секунды. Но как ни быстры были мысли, как ни отчётливы и точны были решения, что мог сделать он один против многочисленных врагов? Может быть, потому, что его больная нога на сотую долю секунды позже, чем нужно, реагировала на приказ мозга, может быть, по другой причине, которую невозможно было проанализировать в столь неуловимый отрезок времени — в тот момент, когда рука Вэнь И потянула на себя, произошло непредвиденное: трос, идущий от управления к рулю высоты, был

перебит. Напрасно Вэнь И прижал штурвал к самому животу; напрасно он старался вдавиться в броневую спинку сиденья, чтобы дать ручке ещё хоть немного движения на себя. Машина уже вышла из повиновения. Вот самолёт, вместо того чтобы устремиться свечой в голубеющее небо, вильнул хвостом, перевалился через нос и вошёл в пике. Потом снова стал задираться.

На то, чтобы все это исследовать и понять, Вэнь И понадобилось несколько дорогих секунд. За это время враги успели всадить в беспомощный самолёт ещё две или три короткие очереди.

Враги поняли: истребитель

беспомощен. Обнаглев, они безнаказанно заходили в любое положение и били по нему, удивляясь, очевидно, что он способен принять такое количество пуль и не рассыпаться в щепы. А зажатый в неуправляемой конструкции из металла и дерева Вэнь И был жив и невредим. В его мозгу текли спокойные, но быстрые мысли. И как это ни казалось невероятным в его положении, точкой, в которой эти мысли сходились, было стремление: «Ударить!» Эта мысль правильно чередовалась с другими, отмечавшими течение событий: «масло... бак... сейчас зажгут... тросы управления... почему не

горю?..» Но после каждой из них, словно бы посторонних, случайных и не обязательных, мозг повторял неуклонно и точно: «Ударить!.. Ударить!..»

Вэнь И понадобилось большое напряжение воли, чтобы заставить себя поверить: «ударить» он уже не может и должен благодарить судьбу за то, что, вопреки здравому смыслу, его машина хотя бы не горит, а только беспорядочными витками стремится к земле.

Земля быстро приближалась, зелёная, твёрдая, всеобъемлющая. Она подытоживала любой полет: и тогда, когда лётчик вылезал из самолёта, чтобы размять затёкшие в

тесном сиденье мускулы, и мысленно перебирал перипетии недавней победы, и тогда, когда он стремился к земле вот так, как сейчас Вэнь И, и, наконец, тогда, когда она принимала в свои жёсткие последние объятия того, кто уже ни о чём не думал, ни на что не надеялся, не протестовал и не сопротивлялся.

Итак, Вэнь И понял: сопротивляться невозможно. Он вспомнил о том, к кому всегда возвращалась мысль китайских коммунистов — на земле и в воздухе, в учёбе, в бою и на отдыхе. Он вспомнил о том, кто думал о них всех: больших и малых, дерущихся и отдыхающих, возвращающихся с

победой и отдавших за неё жизнь. И Вэнь И постарался себе представить, что подумал бы Мао Цзе-дун сейчас, если бы мог видеть лётчика Вэнь И в самолёте, беспомощно несущемся к земле. Ведь Вэнь И забыл, что именно он является самым ценным в этом повреждённом клубке металла и мускулов, золотым фондом авиации китайского народа, о сбережении которого обязан думать каждый человек, каждый сын партии, а следовательно, и сам Вэнь И.

Тут лётчик поглядел на себя как бы со стороны: почему теряет время? Разве не пора подумать о парашюте — единственном, что ему

оставалось? Он огляделся. Посмотрел на суету преследовавших его врагов и стал внимательно следить за движениями своего разбитого самолёта. Уловив момент, он повёл ручкой управления в сторону, чтобы движением элеронов помочь самолёту перевернуться на спину. Тут же мелькнула мысль: если он, выпав из самолёта, сразу же выдернет кольцо парашюта, враги расстреляют его на медленном падении. Поэтому, вывалившись из самолёта, Вэнь И пошёл затяжным. Его сильно завертело. Напряжением всех своих физических сил он старался выправить падение и увидел, что земля неожиданно

близка. Он крепче сжал кольцо и вдруг почувствовал, что его силы израсходованы на борьбу с вращением собственного тела. Этот большой, сильный и мужественный человек вдруг понял, что у него нехватает сил выдернуть не оказывающее никакого сопротивления кольцо. Погибнуть так глупо, бесцельно. Нет! Он поднял левую руку и ударом кулака по правой заставил её вырвать кольцо.

До земли было так близко, что Вэнь И даже не успел посмотреть на купол парашюта. Все его внимание было сосредоточено на том, чтобы как следует приземлиться. Он поджал как можно выше больную

ногу и боком ударился о землю. И именно тут, в момент этого первого спасительного прикосновения к земле, в сознание неожиданно ворвалась мысль: «Конец!» Прямо на него, с оглушающим рёвом мотора, пикировал враг. Вэнь И отчётливо видел широкую звезду его мотора, отчётливо слышал стук пулемётов.

Да, это был действительно конец, но, как оказалось, не для Вэнь И, а для врага, погнавшегося за парашютистом. Следом за неприятельским самолётом, почти в струе от его винта, расходуя последние капли бензина, пикировал Чэн и короткими, прерывистыми очередями приколачивал его к земле.

Пират воткнулся в траву в сотне метров от Вэнь И. Остатки его самолёта вознеслись к голубому небу столбом густого, чёрного дыма...

Это столкновение было для Чэна совершенно неожиданным. У него кончалось горючее, и он возвращался на свою точку. Сберегая последние капли бензина, он шёл по прямой и тут-то и наскочил на врагов, пытавшихся добить спускавшегося на парашюте Вэнь И. Встреча была настолько внезапной, что Чэн не успел испытать волнения боя. Это был его первый трофей, доставшийся ему неожиданно легко и просто.

Приземлившись на своём аэродроме, Чэн отрулил на место с повисшим на консоли радостно взволнованным Джойсом. Через час на точку вернулся Вэнь И. Он с видом заговорщика кивнул Чэну и поманил его к себе.

— Помогите, прошу вас. Никак не вылезу так, чтобы незаметно было, что я хромаю.

Опершись на руку Чэна и стиснув зубы от боли, Вэнь И подошёл к истребителю Чэна и растянулся под его крылом.

— Я не помешаю, — сказал он Джойсу. — Отлежусь немного, если позволите. А то командир заметит, как ковыляю, худо будет... А крепко

мы их ударили! — обернулся он к Чэну. — Не скажете ли, сколько набили.

— Говорят, шестнадцать, — сказал Джойс из-под капота, куда залез почти по пояс.

— Хорошо! — показывая весёлый оскал зубов, воскликнул Вэнь И. И неожиданно добавил: — До чего же есть хочется!

— Сейчас принесут, — охотно отозвался Джойс, тоже успевший проголодаться.

Чэн взглядом показал на больную ногу Вэнь И.

— Не следовало вам сюда являться.

— Заметно? — озабоченно

спросил Вэнь И.

— Во-первых, заметно, а во-вторых, вы ведь теперь без самолёта.

— Верно, конечно, но разве не может быть, что кого-нибудь из нашего народа поцарапало, на второй вылет итти не сможет, а я тут как тут?

При виде носильщика с обедом Вэнь И выполз из-под крыла, приветственно помахивая ему рукой. Не дожидаясь, пока примутся за раздачу, Вэнь И сам приподнял крышку котла и зажмурил глаза от удовольствия, когда на него пахнуло ароматом лапши, сваренной со свининой и чесноком. Он ещё густо посыпал свою порцию черемшой и,

ловко работая палочками, в один приём втянул метровую ленту лапши. Огромная гора горячего теста быстро исчезла из его чашки, и он потянулся за второй порцией.

— Извините, но так немудрёно и в весе прибавить, — с улыбкой заметил Чэн, который ел не спеша, маленькими кусочками отщипывая тесто пампушки.

— Это от душевного спокойствия, — совершенно серьёзно ответил Вэнь И: — уравновешенность и полное сгорание.

— Совершенно верно, — поддержал Джойс. — Уравновешенность — залог хорошего

пищеварения, правильное
пищеварение — залог
уравновешенности. Правильный круг.

— Я вижу, мы с вами понимаем друг друга, — сказал Вэнь И. — Разрешите, я тут сосну, а вы последите за событиями. Если кто-нибудь на второй вылет не пойдёт, сразу меня в бок — очень вас прошу. Один вылет в день — это какая же жизнь для истребителя!

Он поудобнее примостил голову на парашютном чехле и широким движением закинул руки за голову. Чэн с завистью глядел на Вэнь И. Он очень устал, но не прошедшее ещё возбуждение недавнего боя лишало его самого возможности поспать.

Вэнь И уже сомкнул было веки, когда Чэн неожиданно спросил:

— Как, по-вашему: лётчики любят Фу Би-чена?

— Любят? — Вэнь И с неохотою поднял веки. — С вашего любезного разрешения, я хочу сказать, он не девица!

— Вы меня не поняли.

— А, догадался: насчёт уважения?

— Вот именно.

— Хорошего командира всегда уважают, — снова закрывая глаза, пробормотал Вэнь И. — А Фу — хороший командир. Так мне кажется, если вы позволите.

Он умолк. Чэн ожидал

продолжения. Не дождавшись, приподнялся на локте и удивлённо поглядел на Вэнь И: тот уже спал, сладко посапывая. Чэну хотелось поговорить о только что прошедшем боевом вылете. Его впечатления были несколько противоречивы. Ему столько толковали здесь о необходимости отказаться от навыков истребителя-одиночки, а он видел, как вокруг основного узла боя завязывались одиночные схватки. Лётчики той самой эскадрильи, в которой он летал, бросались в одиночные атаки, даже когда враг превосходил их числом. Эти одиночные схватки не нарушали общего плана боя. А ведь Фу утром

несколько раз настойчиво повторил ему: «Коллектив, организованность, слётанность, удар массой!» Повидимому, истину следовало искать где-то посредине между привычным одиночным боем и местной теорией, как её понял Чэн.

Его размышления были прерваны приходом начальника штаба. Прямой и строгий, Ли Юн расхаживал между лежавшими на земле лётчиками и собирал сведения о сегодняшнем вылете для составления боевого донесения.

— Кажется, вас можно поздравить с первым трофеем, — приветливо сказал он Чэну. Чэн уже готов был поверить тому, что

начальник штаба вовсе не такой сухарь, каким показался сначала, но тут Ли Юн как бы невзначай добавил: — Но судя по тому, что докладывали очевидцы, этот трофей сам полез к вам в мешок.

Чэну показалось, что Ли Юн намерен снизить значение его первой победы: «не зазнавайся, мы знаем цену всему». И если за несколько минут до того Чэну хотелось поделиться с кем-нибудь переживаниями своего первого боевого дня, рассказать самому и услышать от других, как он сбил свой первый приз, то теперь у него пропало желание даже делать начальнику штаба официальный

доклад. «Раз ты уже знаешь все со слов других, так что же нужно от меня?» — подумал Чэн и почти то же самое сказал вслух, разумеется в более вежливой форме.

Однако Ли Юн стал подробно расспрашивать его обо всём виденном: о действиях других лётчиков звена, эскадрильи и даже всего полка. Он особенно интересовался тем, кто, сколько и при каких обстоятельствах сбил самолётов противника.

— Такой странный народ, — как бы в оправдание своей настойчивости заметил Ли Юн, — от самих никогда не узнаешь ничего ясного: «товарищи видели, они

скажут»... Я бы не решился назвать наш народ чересчур стеснительным, а тут вдруг превращаются в девиц.

— Позволяю себе думать, что у вас-то ошибок, наверно, не бывает, — не без язвительности ответил Чэн.

Ли Юн не заметил иронии или, хорошо владея собою, не подал виду, что заметил её.

— О да, я люблю порядок, — просто ответил он. И, словно взвесив ещё раз сказанное, повторил: — У меня порядок!

— А я, извините меня, наоборот, — сам не зная зачем, сказал Чэн, — не люблю слишком большого порядка.

— Это очень печально. — Ли Юн поднял брови. — Я думал, что вы, как инструктор, выработали в себе большую любовь к порядку. И, кроме того, считаю необходимым заметить: порядок никогда не бывает слишком большим. Наоборот: в любом, даже самом большом порядке всегда немного нехватает до полного.

Чэн отлично понимал правоту начштаба и знал, что сам он сказал о себе неправду: он любил порядок, умел его добиться и знал ему цену. Но Ли Юн принял его слова за чистую монету и наставительно повторил:

— Если вы не любите порядка, вам никогда не удастся достичь

хороших результатов. Командир Лао Кэ и товарищ Фу Би-чен чрезвычайно требовательны в отношении порядка. Мы очень строго относимся к нашим людям. — Ли Юн пристально посмотрел на Чэна и ещё раз отдельно повторил: — Особенно товарищ Фу Би-чен.

С этими словами он взглянул на часы и, прямой и точный в движениях, пошёл к следующему экипажу.

Густая горячая тишина висела над степью. Воздух был недвижим. Но у горизонта, словно увлекаемая могучим вихрем, стена пыли вздымалась до самого неба. Она вихрилась, как от дуновения огромного вентилятора, на некоторое время повисала в воздухе и начинала медленно оседать.

Тот, кто вместе с лучами заходящего солнца поглядел бы спереди на этот извивающийся по пустыне песчаный вихрь, увидел бы в его центре мчащийся с большой скоростью автомобиль. Вихрь измельчённого в тончайшую пудру

песка тянулся за ним шлейфом в несколько километров. Автомобиль летел к повисшему над горизонтом солнцу.

Лучи солнца ударяли прямо в ветровое стекло автомобиля. Водитель и сидевший рядом с ним адъютант опустили синие щитки.

Адъютант полуобернулся к заднему сиденью. Темносиний блик от щитка лежал на нижней части смуглого лица Соднома-Дорчжи. Хорошо видимыми остались только маленький, с горбинкой нос, широкие блестящие скулы и высокий лоб с упавшей на него прядью чёрных волос. Небольшие, глубоко запавшие, с узким разрезом глаза

Соднома-Дорчжи были устремлены вперёд, мимо головы адъютанта.

Коренастый, с широкими плечами и высокой грудью, с глубоко засунутыми в карманы пыльника мускулистыми руками Содном-Дорчжи в течение нескольких часов не сделал иного движения, кроме необходимого для закуривания папиросы. Закурив, он держал её во рту до тех пор, пока не начинал тлеть картон.

Содном-Дорчжи ни разу не посмотрел на сидевшего по левую руку от него человека. То был ничем не приметный монгол с плоским рябым лицом. Осыпь рябин была так густа, что от набившейся в них пыли

лицо стало совершенно серым. Монгол сидел, откинувшись на подушку, полуприкрыв глаза. Тонкие, почти чёрные от загара кисти его рук были зажаты между коленями.

Он сидел так же неподвижно, как Содном-Дорчжи. Его одежда состояла из одних рваных коротких штанов и куртки. Тело монгола было похоже на туго свитый жгут почерневших на солнце мускулов. Несколько больших ссадин, покрытых свежезапекшейся, ещё не успевшей почернеть кровью, виднелось на руках и пруди.

Шли часы. Нижним краем солнце уже почти коснулось гребёнки холмов на горизонте.

Содном-Дорчжи впервые, не поворачивая головы, бросил соседу.

— Гомбо, не провозись вы столько времени в Араджаргалантахите, мы были бы уже в Улан-Баторе.

— А если бы вы ещё немного опоздали к Араджаргалантахиту, я навсегда остался бы там, — спокойно ответил монгол.

Некоторое время снова длилось молчание. Потом Содном-Дорчжи бросил, ни к кому не обращаясь:

— Если лётчик не сядет в Ундур-Хане до захода солнца...

Содном-Дорчжи не договорил, но адъютант понял, что слова относятся к нему. Прежде чем

ответить, он смерил взглядом часть солнечного диска, которой оставалось ещё спрятаться за горизонтом.

— Успеет, — сказал адъютант и, чтобы отвлечь мысли начальника, указал на промелькнувшую мимо автомобиля группу глинобитных домиков и юрт. Их западные стены были облиты густым багрянцем заката.

— Мунху-Ханый-сомон, — сказал адъютант.

Лай собак на миг прорезал ровный гул мотора.

Содном-Дорчжи не повернул головы.

Шофёр поднял синий козырёк:

солнце ему уже не мешало.

— Скорей! — бросил Содном-Дорчжи.

Шофёр нажал на акселератор. Стрелка спидометра перешла за отметку «100».

Шофёр больше не сбрасывал газ на поворотах. Автомобиль угрожающе кренился, скрипели баллоны. Седоков прижимало то к одной, то к другой стороне кабины Содном-Дорчжи не менял позы.

Дорогу перерезал заболоченный рукав Хэрлэнгола. Шины прошуршали по воде. Брызги, как рикошетирующие пули, наискось ударили по стёклам, сбивая пыль. Автомобиль взлетел на пригорок.

Это была последняя гряда пологих холмов перед спуском в долину Ундур-Хане.

Дорога пошла неглубокою балкой, тесной и извилистой. Шофёр сбросил газ и через минуту остановил автомобиль: поперёк пути медленным потоком двигалось овечье стадо. Большая его часть скрывалась за завесой пыли, из-за которой доносился только многоголосый шум.

Давать сигналы было бесполезно.

Шофёр растерянно оглянулся.

— Поезжай, — сказал Содном-Дорчжи.

Автомобиль медленно тронулся,

раздвигая стадо. Ближайшие к автомобилю овцы заметались, но со всех сторон их сжимала плотная масса животных. Они давили друг друга с такой силой, что некоторые овцы взбирались на спины соседей и бежали по ним. Одинокый верблюд, неизвестно как затесавшийся в стадо, задрал голову и, высоко поднимая ноги, пытался проложить себе путь в месиве блеющих овец.

Шофёр остановился.

— Поезжай! — повторил Содном-Дорчжи.

Но автомобиль не двигался. Масса животных вращалась вокруг него, как водоворот у коряги.

Испуганный воем мотора,

верблюд совершил неуклюжий прыжок. Его большое горбатое тело повалилось на бок. Взбрыкнув, верблюд ударил ногою прямо в нос автомобиля. Облицовка была пробита, и вода потекла из радиатора весёлыми струйками, испускающими клубы пара.

Из-за песчаной завесы показался всадник. Издали узнав Соднома-Дорчжи, он пробился сквозь стадо, перешёл на галоп и на всем скаку спрыгнул на землю.

Улыбаясь и неуклюже растопырив пальцы, он протянул Содному-Дорчжи руку для пожатия.

— Далеко ли до Ундур-Хане? — спросил Содном-Дорчжи.

Пастух ласково погладил тёплый капот автомобиля.

— Твоему чорту два шага.

— Ты же видишь: «чорт» издох.

Пастух покачал головой.

— Айяха! Такая арба сломалась. — Он подумал и предложил: — Давай залепим дырки навозом.

— Сколько ходу на коне до Ундур-Хане? — терпеливо переспросил Содном-Дорчжи.

— Какой конь?

— Твой конь...

Пастух подумал:

— Может, час, может, больше.

Адъютант подбежал к засёдланному коню пастуха и, не

притрагиваясь к стремени, на лету поймал повод и вскочил в седло.

— Пришлю сюда лётчика! — крикнул он, подняв плеть.

— Нет! — резко крикнул Содном-Дорчжи. — Он не успеет сесть до темноты, самолёт сломает.

Адъютант посмотрел на закат и опустил плеть: от пурпурного диска над горизонтом почти ничего не осталось.

— Дай мне ещё трех коней, — сказал Содном-Дорчжи пастуху.

Тот надел шапку на длинный шест, которым погонял скот, и размахивая им над головой, пронзительно засвистел.

Через минуту ещё несколько

пастухов подъехало на зов. Так же как первый пастух, узнав Соднома-Дорчжи, они спрыгивали на землю и с радостными улыбками подходили для приветствия.

Повидимому, пастухи полагали, что предстоит дружеская беседа. Но по насупленным бровям и сурово сжатому рту Соднома-Дорчжи они поняли, что ему не до разговоров, и молча замерли в почтительном ожидании.

Однако после некоторого колебания старший из пастухов все же подошёл к Содному-Дорчжи.

— Я хочу сказать тебе очень важное.

— Говори, — сумрачно ответил

Содном-Дорчжи.

— Нам не нравится то, что происходит в степи: на протяжении месяца мы третий раз вылавливаем лам. Откуда им быть? Ты же сам знаешь: уже много лет, как народ изгнал их из республики. — И, недоуменно разводя руками, пастух переспросил: — Откуда им быть?

— Сколько поймали на этот раз?

— Шестерых.

— Наши или баргутские?

— Всеякие есть, даже тибетские...

Содном-Дорчжи быстро сопоставлял в уме это сообщение с теми, что уже на протяжении значительного времени поступали с

разных концов страны: ламы появлялись то тут, то там. Это не были какие-нибудь осколки прошлого, столько лет скрывавшиеся в степях Монгольской Народной Республики. После большого или меньшего запирательства все они в конце концов признавались, что перешли границу не так уже давно: одни только-только, другие с месяц, третьи с полгода тому назад. Не желая оскорблять чувства верующих, хотя и немногочисленных уже, но кое-где ещё сохранившихся в стране, органы безопасности обращались с ламами с известной осторожностью. До сих пор не удавалось ещё установить, являются ли эти случаи

нарушения границы звеньями одной цепи, которая куётся где-то за рубежом врагами республики, или простым совпадением. Но мало верилось в такое удивительное совпадение. Отдельные данные, мелкие штришки и признания давали основания предполагать, что попавшиеся ламы — только неосторожный авангард более крупной шайки. Но что это за шайка, каковы её цели, численность и кто её хозяева — изгнанные из Монголии князья, или духовные правители, или иноземные враги республики, уже не в первый раз пытающиеся руками лам нанести удар народной власти, — все это было ещё не

совсем ясно. Но опыт и выработавшееся за много лет государственной деятельности чутьё подсказывали Содному-Дорчжи, что на этот раз у лам есть другой, более сильный и искушённый в крупных диверсиях хозяин, чем незадачливый перерожденец. Добыча, которую он так поспешно вёз сегодня из Араджаргалантахита в Улан-Батор, казалась Содному-Дорчжи ключом к открытому заговору.

— Скоро ли дадут мне коней? — нетерпеливо спросил он пастуха и, как только подвели лошадей, тотчас вскочил на одну из них и движением подбородка указал адъютанту на задок автомобиля. Там к решётке

багажника был прикручен длинный тук, завёрнутый в запылённую кошму.

Адъютант быстро распутал верёвку и потянул конец кошмы.

На землю вывалился связанный по рукам и ногам Харада.

— Айяха! — с одобрительным интересом в один голос воскликнули пастухи.

Они подошли ближе, и первый из них безапелляционно сказал:

— Японец!

Пастухи помогли адъютанту поднять пленника на лошадь. Через минуту он был привязан к седлу. Адъютант перекинул повод через голову коня и подал сидящему на

другом коне Гомбо-Джапу.

Ударами своих длинных палок пастухи проложили всадникам путь сквозь стадо.

Вздымаемое копытами четырех коней облачко пыли покатилося по степи напрямик к Ундур-Хану.

В темнеющем воздухе оно казалось розовым и почти прозрачным.

Пастухи глядели ему вслед и покачивали головами.

— Японец, — сказал старший из них. — Тц-тц-тц...

Двое из них сплюнули и достали из-за поясов трубки.

На второй день пребывания Чэна в полку опять был вылет.

Чэну чудилось, будто за яркой «голубой ящерицей» на киле идущего впереди истребителя, за колпаком фонаря он видит прикрытое тёмными очками строгое лицо Фу. Хотя тот и не думал оглядываться, Чэну казалось, будто голова ведущего то и дело поворачивается к его «лисе», как бы проверяя, не потерял ли строя его бывший учитель. Это раздражало Чэна. Как он ни старался подавить в себе обиду, что вынужден равняться по своему ученику, какие разумные доводы ни приводил в

пользу того, что нет в его положении ничего зазорного, в душе всё-таки саднило что-то похожее на обиду. Чтобы не думать об этом, он старался смотреть туда, где маячила в воздухе «ящерица», не чаще, чем нужно было, чтобы держать дистанцию и заданное превышение.

Чэн стал поглядывать вниз. Сверху земля казалась не такой однообразной, как внизу. Она расстилалась бесконечным разноцветным ковром — то уходила вдаль яркими, сочными пятнами буйно-зелёных рощ, то лежала чёрными полосами рисовых полей. Дальше к югу холмились беспорядочные складки предгорий.

И вдруг из-за холмов появились озера. Они лежали рядами, как разноцветные бусы, окрашенные в неправдоподобно яркие цвета: ослепительно-голубые, ядовито-зелёные, жёлтые и красно-коричневые, в оправе обсыхающих песков.

Вот впереди блеснула лента реки Ляохахэ. Чэн мельком глянул на «голубую ящерицу» Фу, набиравшего высоту, и последовал его примеру.

Ляохахэ прошли на боевой высоте. Линия переднего края обозначалась дымками разрывов.

Чэн огляделся. Небо казалось чистым. Но едва он успел это подумать, как впереди вправо

блеснул жёлтый огонёк разрыва снаряда зенитки. Хлопья чёрного дыма метнулись в стороны и, казалось, застыли в воздухе почти неподвижной звездой. Вот разорвался ещё один снаряд, третий, четвёртый. Они рвались правильной полосой, — противник ставил завесу. Чэн отвёл взгляд от разрывов, чтобы следить за Фу. Тот все набирал высоту. Потом метнулся вниз. Чэн стал следить за движениями «ящерицы», анализируя пилотаж Фу. В Чэне проснулся взыскательный инструктор: хотелось к чему-нибудь придраться. Но он не мог уловить никакой ошибки: движения машины были правильны — Фу владел

техникой пилотажа великолепно. Как только сознание Чэна это отметило, чувство почти неосознанной неприязни, гнездившееся где-то в глубине души, оказалось подавленным другим чувством, большим и радостным, — гордостью за ученика. Что же, может быть, и впрямь, не заболеет тогда в школе забракованный им учлет, Чэн переменял бы о нем мнение. Быть может, он сам сделал бы из Фу «настоящего человека», того полноценного человека воздуха, создание которого доставляло столько радости, но которого из Фу сделал кто-то другой. А всё-таки кое-что сделал и он, Чэн! Как бы ни

сложились обстоятельства, а ведь он, Чэн, несёт частицу ответственности за Фу.

Между тем от Фу последовал приказ: «Внимание!» И тотчас же: «Собратся ко мне!» Чэн прибавил обороты, сокращая дистанцию. Любопытно: чем вызван сигнал ведущего? Но долго гадать не пришлось: прямо над головой, из густой облачности, затянувшей небо, появилось звено серых самолётов. Чэн разобрал: это не были обычные строевые машины врага, у этих оперение было необычно высоко вынесено над концом фюзеляжа.

Машина Фу стремительно полезла вверх и крутой горкой ушла в

облака, следом за пустившимся наутёк звеном противника. Чэн двинул сектор и с удовольствием почувствовал движение вверх послушной машины.

Тысячу раз испытывал он это ощущение напрягшейся в усилии, круто набирающей высоту машины. Тысячу раз его внимание бывало сосредоточено на том, чтобы не превзойти предел, на котором мотор скажет «довольно» и самолёт вдруг повиснет. Тысячи раз чутко следил он за дыханием машины, казалось всем своим существом слившись с её конструкцией, в которой для него уже не было отдельных частей, а был единый механизм, точный,

совершенный, послушный и в то же время чувствительный к малейшей ошибке, которую мог допустить лётчик, — механизм строгий и не прощающий оплошностей.

Да, тысячу раз испытывал все это Чэн, но никогда ещё это ощущение не было таким острым. Сегодня это чувство усиливалось близостью противника.

Чэн проводил взглядом самолёт Фу, нырнувший в облако. Следом в молочную муть вошёл и сам Чэн. Тонкая облачность была пробита. Над головой засияла ослепительная голубизна неба. На его чистом фоне Чэн сразу заметил рой самолётов противника. Он-то думал, что вместе

с товарищами преследует вражеское звено, а оказалось, что быстроходные новые самолёты противника завлекали их в засаду под удар своих строевых истребителей. Неприятельские самолёты, по крайней мере, вдвое превосходили их числом. Враги были близко, и Чэн ясно различал и их окраску и характерный контур. На ум пришло настойчивое напоминание Фу: «Не столько думайте о том, чтобы сбить врага, сколько о том, чтобы прикрывать хвост самолёта ведущего. Тогда трофей сам попадёт вам в прицел. Не бойтесь за свой хвост — о нем думают ваши товарищи». Как это новое правило противоречило

тому, что сам он втолковывал ученикам: «Ни на минуту не забывайте о своём хвосте. Истребитель, забывший о своём хвосте, — верная добыча противника...»

А что, если в самом деле попытаться выкинуть из головы всякую мысль о том, что у тебя есть хвост — самое уязвимое место истребителя? Что, если заставить себя непоколебимо верить: о твоём хвосте думают товарищи, так же как ты сам думаешь о хвосте другого? Не явится ли это гораздо более надёжной гарантией защиты твоего тыла, чем собственное ограниченное внимание, которое по необходимости

приходится рассредоточивать на всю полусферу вокруг себя?..

Впрочем, обстоятельства мало подходили для размышлений. Вон «голубая ящерица» Фу качнулась, призывая эскадрилью к атаке.

Чэн быстро огляделся.

Обстановка казалась невыгодной для эскадрильи — противник был значительно многочисленней. Тем не менее Чэн в душе одобрил решение Фу. Все казалось ему не страшным теперь, когда он пришёл к заключению о правильности наставлений заместителя командира полка. Как будто его собственные силы умножились. Чэн без всякого внутреннего сопротивления

послушно повёл машину за «голубой ящерицей»...

Фу Би-чен видел, как вся эскадрилья развернулась следом за ведущим звеном. Самолёты шли с набором высоты, навстречу противнику. Дистанция быстро сокращалась. Все развивалось так, как уже не раз бывало здесь. Истребители летели компактной массой, не обращая внимания на огонь, который гоминдановцы открыли издалека. Лётчики Фу Би-чена берегли патроны для верного удара.

Фу радовался выдержке своих лётчиков. На её воспитание ушло

немало усилий. Нужно было на деле доказать, что открывать огонь с большого расстояния — значит уменьшать запас патронов в стрельбе с дистанции прицельного огня, когда шанс на попадание повышается вдвое, втрое, вдесятеро. Не так-то просто было заставить лётчика снять палец со спуска, когда он видел, как враг даёт по нему самому очередь за очередью. Но Лао Кэ и Фу добились этого от всех своих людей. Фу с гордостью думал теперь о том, что в ближний бой его эскадрилья войдёт с полным боекомплектom. Но вдруг он с досадою заметил: правый ведомый открыл огонь без команды. Фу не вспомнил при этом о Чэне. Это была

для него просто «лиса» — такой же самолёт, как все остальные. Лишь секундою позже пришло на память имя — Чэн. Фу подумал: «Нервничает...» Было вдвойне досадно, что нервничает именно Чэн, его бывший учитель. Здесь, в боевой обстановке, он, Фу, превратился из ученика в учителя; он, Фу, несёт ответственность за жизнь своего бывшего учителя и за жизнь товарищей, которых этот учитель должен прикрывать. Правильно ли, достаточно ли убедительно изложил он Чэну свои взгляды на бой?.. Повидимому, нет, раз Чэн выпустил очередь без всякого толка. Да, за эту очередь, которая

может сбить с толку остальных лётчиков, отвечает он, Фу...

Противник продолжал атаковать сверху.

«Что ж, лобовая, так лобовая», — подумал Фу. Выбрав себе целью ведущий вражеский самолёт, он склонился к трубе прицела. И вдруг за привычным силуэтом командирской машины противника он различил очертания опытного американского моноплана. Машина была чрезвычайно компактна. Своим малым лбом она отличалась от окружающих её самолётов прежнего типа.

И тут произошло нечто неожиданное для ведомых Фу

лётчиков: ведущий отвернул от американца, резко увёл машину вправо и с набором высоты вышел над противником. Можно было подумать, что Фу забыл все традиции полка и собственные инструкции, многократно и настойчиво преподававшиеся лётчикам: «Не бойтесь лобовой атаки. Враг её не выдерживает. Когда наступит момент действительного риска столкновения, он отвернёт первым. Зато у вас будет выгодная возможность с кратчайшей дистанции поразить его».

Манёвр Фу был настолько необычным и неожиданным, что в рядах эскадрильи произошло

секундное замешательство. Как ни коротко оно было, Чэн не мог его не заметить, так как сам был его невольным участником.

А Фу, развивая максимально возможную скорость, уводил теперь со снижением свою эскадрилью на запад. Вот на короткий момент самолёты окунулись в облачность, вот уже пробили её. Лётчики увидели землю. Едва уловимая на быстром движении, мелькнула лента реки.

Не сбавляя оборотов и теряя высоту, Фу нёсся на запад.

Чэн старался не отставать, хотя не понимал, что заставляет Фу так спешить, когда строевые машины

гоминдановцев уже остались позади. Только новый американский истребитель следовал за эскадрильей, словно увлечённый погоней. Не было ли совершенным позором уходить от такого противника? Чэну казалось: ещё немного, и он не выдержит — вырвавшись из строя, атакует янки...

Фу временами выравнивал машину. Но как только противник приближался сзади на дистанцию действительного огня, снова двигал сектор, набирая скорость.

Река осталась далеко позади. Фу, так же неожиданно, как при выходе из атаки, сделал горку. Переход был столь стремителен, что перед

глазами Фу пошли тёмные круги. Кровь отлила от головы.

Преодолевая напряжение одеревяневшей шеи, Фу оглянулся. Ему хотелось своими глазами убедиться в том, что эскадрилья следует за ним, хотя он знал, что иначе и быть не может. Он пересчитал самолёты: все тут. С таким же усилием повернул голову и с беспокойством оглядел небо. Он был убеждён, что если новый истребитель оторвётся от массы своего сопровождения, янки не вяжется в бой.

Фу потерял скорость на горке для того, чтобы дать возможность менее скоростным гоминдановцам

нагнать американца. Не все, но, по крайней мере, пять или шесть звеньев пиратов были теперь поблизости. Фу старался не потерять американца в общей карусели. Не напрасно же Фу разыграл это позорное бегство. Теперь нужно было навалиться всеми силами, оттереть янки от всей стаи, заставить его сесть.

— Нажимать, пока не сядет! — вслух повторил Фу и даже стиснул от напряжения зубы.

Как было условлено перед вылетом, его эскадрилья рассыпалась на звенья. Звенья вышли противнику во фланги, чтобы разбить его строй и заставить бросить командирское

звено, в составе которого теперь шёл американец. Звено самого Фу, находясь над американцем, должно было заставить его сесть.

«Нажать, нажать!» — непрерывно звенело в голове Фу. Набрав высоту, он камнем устремился на противника, стараясь выбить новый самолёт из ведущего вражеского звена. Но, повидимому, враг понял, чего добиваются истребители Фу. Во всяком случае, он не рассыпал строй, как обычно, и не завязывал одиночных боев. А янки, как пришитый, висел на хвосте своего ведущего командира. Повидимому, он оставил намерение показать отменные боевые качества

нового самолёта и думал только о том, как бы вырваться из мясорубки. Вероятно, лётчик, сидевший в этом новом самолёте, разгадал, что именно он-то и был целью всей сложной игры, а может быть, это было ему передано по радио. Как бы то ни было, он жался к своим после нескольких бесплодных попыток вырваться на высоту, где он мог бы воспользоваться своей быстроходностью и улизнуть. Но звено Фу каждый раз заставляло его снова втиснуться в кучу мечущихся, как осиный рой, гоминдановцев.

Наконец момент показался Фу подходящим для решительного удара. Его истребитель сверкнул в лучах

солнца и вошёл в отвесное пике. В следующее мгновение он был уже под брюхом американца. Чэн ждал, что сейчас от носа самолёта Фу к американцу протянется пучок белых трасс и все будет кончено, но Фу сделал переворот в сторону Чэна и ушёл из атаки, не дав ни одного выстрела.

«У Фу задержка в пулемётах», — мелькнула у Чэна острая, как боль, мысль. Положение Фу показалось Чэну затруднительным. И действительно, в следующий миг американец оказался под хвостом самолёта Фу и выпустил две короткие очереди. Чэн различил

нити его трассирующих снарядов. Он не помнил уже ничего, кроме того, что сейчас, может быть в следующую секунду, сноп пламени и чёрного дыма охватит самолёт Фу. К его удивлению и досаде, Фу, не сбрасывая американца с хвоста, вошёл в пологую петлю, словно нарочно подставляя себя врагу. Американец, пользуясь выгодным положением, дал ещё одну очередь.

Чэн отлично знал, что именно этот американский истребитель — цель их вылета, именно он нужен командованию. Но как бы ни был нужен командованию этот самолёт, Чэн не мог пойти на то, чтобы щадить его в момент, когда янки

угрожал жизни Фу! Рука Чэна почти помимо его воли легла на сектор. Самолёт, гудя мотором и дрожа, выходил правым боевым разворотом в хвост американцу, продолжавшему вести огонь по Фу. Не отпуская гашеток, Чэн послал «страховую» очередь, хотя был уверен в безошибочности своих первых пуль. И действительно, дымок уже тянулся из-под центроплана американца.

Чэн перевёл взгляд на «голубую ящерицу» и с облегчением увидел, что она невредимой перешла на вираж вокруг падающего американского самолёта.

Увидев пылающий самолёт

американца, Фу с досадою ударил по колпаку. Он не заметил, кто зажёт самолёт, но было ясно: все усилия, все хитрости пошли насмарку. Кто-то помешал посадить американца, кто-то из своих погорячился.

Задание было сорвано. Оставалось драться, как всегда. Фу собрал свои самолёты. Бой продолжался по привычной программе...

Чэн прозевал приказание ведущего и не заметил, что к Фу собираются все товарищи. Увидев пламя там, куда упёрлись трассы его очереди, он забыл обо всём, кроме возможности бить ещё и ещё. Были

забыты все обещания, данные самому себе. Чэн больше не думал ни о строе, ни о товарищах. Его помыслы были заняты поисками цели, в которую можно было бы послать следующую очередь. Все, чему он учился когда-то, все, чему столько лет учил других, собралось сейчас в руке, охватившей штурвал. Тут, в этой невзрачной дюралевой трубе, оплетённой затёртым шпагатом, был сейчас весь смысл его жизни. Хотелось взять от машины всё, что могут дать полторы тысячи лошадиных сил, зажатых в моторе. Чэн испытывал полное слияние с машиной, которое приходит в восторге полёта. Крылья казались

продолжением собственных рук, каждое движение кисти, каждый нажим ступни естественными, как шаги при ходьбе. И над всем главенствовало и все подавляло одно непреодолимое, ни с чем не сравнимое желание: стрелять! Ведь он стрелял боевыми зарядами, стрелял не по холщевым мешкам конусов, не по щитам мишеней, — его выстрелы должны были настичь уклоняющегося, сопротивляющегося врага.

Ещё два раза он отчётливо видел, как под его выстрелами загорались вражеские самолёты.

Значит, сегодня три!

Три!

Целых три!

А может быть, только три? Всего три сбитые машины за целую вечность, что он кружится в жарком просторе высоко над землёй.

Чэн заставлял машину проделывать целую цепь сложных фигур, чтобы занять выгодную позицию. Эта позиция была ему нужна всего на долю секунды. Доля секунды — и тогда будет четвёртый трофей за день.

Сделав вид, будто хочет атаковать врага в лоб, и якобы не выдержав сближения, Чэн задрал нос самолёта, уверенный, что сам находится вне прицела. На себя, ещё на себя, пока машина не войдёт в

перевёрнутый полет! А там, неожиданным для врага иммельманом, оказаться у него на хвосте и прямой очередью послать жертву вслед первым трём. Четвёртого врага за день!..

Но что же это?! Крик удивления и досады едва не вырвался из груди Чэна, а может быть, и вырвался, да он сам его не услышал за рёвом мотора. Перебои, несколько коротких перебоев мотора! Быстрый взгляд на бензиномер: ноль! Как он мог прозевать, что баки пусты?! Как мог, как смел? Он, инструктор Чэн!..

Ненависть к самому себе, страх перед тем, что должно сейчас произойти, на миг заполнили мозг.

Но тотчас же все вытеснила мысль, что машина заваливается помимо его воли, что он не довёл манёвр до конца. Не отрывая глаза от прицела, Чэн держал палец на спуске, но вражеского самолёта все не было в поле его зрения. Не было и не могло быть — ведь иммельман не состоялся. Вместо того чтобы выйти в хвост противнику, Чэн сам подставил ему брюхо своего самолёта. Один миг растерянности, едва уловимая доля секунды! Но её было достаточно, чтобы внезапно просветлённым разумом схватить все и услышать звон своей бурно пульсирующей крови. Чэн понял: дробный стук, который он слышит,

не что иное, как пули врага, прямая очередь, ударившая по его самолёту!..

Чэн пошевелил педалями — тут все было в порядке. Надежда блеснула из-за тёмного занавеса, которым было закрылось уже все.

Чэн толкнул штурвал от себя, потянул на себя, из стороны в сторону. Он поддавался чересчур легко. Рука лётчика не испытывала сопротивления, и машина никак не реагировала на её движения. Что же, значит управление потеряно? Чэн оттолкнул колпак и покосился за борт. Машина шла со снижением. Под нею, сменяясь молниеносной чередой, неслись разноцветные ковры земли. Чэн смотрел на них и

ждал, когда вражеский лётчик пошлёт последнюю, заключительную очередь. В том, что эта очередь будет, он ни минуты не сомневался. Не сомневался и в том, что тогда ему останется одно — парашют.

Чэн оглянулся, желая по положению противника определить возможное время этого финала: вместо одного самолёта за ним шли уже два. Но оба были своими! Это были товарищи, повидимому вмешавшиеся в бой именно в тот момент, когда Чэну грозила верная гибель.

Он окинул взглядом приборы. Самолёт шёл поразительно спокойно в пологом, но точном планировании.

Чэну оставалось подумать только о том, чтобы посадить его в целости. Можно было сохранить не только себя, но и материальную часть, — это было хорошо!

Чэн взялся за кран выпуска шасси и потянул на себя штурвал. Но теперь штурвал не поддавался. Ещё усилие — и опять напрасно. Руль высоты был заклинен или повреждено управление. Истребитель, вместо того чтобы перейти в горизонтальный полет, ещё увеличил угол планирования. Чэн услышал усилившееся пение воздуха и сообразил, что намерение посадить машину на колеса — пустая фантазия. Не было никакого смысла

выпускать шасси при отсутствии контроля над движениями самолёта, — это могло привести только к аварии. Если самолёт подойдёт к земле нормально, то садиться нужно на брюхо. Но через секунду Чэн убедился в том, что и такой надежды у него нет, — машина не снизится правильно. К тому же движение её все ускорялось, снижение делалось все круче. Да, кажется, спасти истребитель не удастся! Эта мысль невыносимой тяжестью давила на мозг, на все существо Чэна. За годы работы в школе он привык к тому, что даже пустячная авария — несмываемый позор для инструктора. А теперь ему

оставалось только спасать собственную жизнь...

Чэн освободил защёлку колпака и снял ноги с педалей. И тут, словно почувствовав окончательную свободу, самолёт несколько раз беспорядочно рыскнул в стороны, задрался и скользнул на хвост, потом вдруг свалился на крыло и завертелся в витках штопора. Времени терять было нельзя. Тяжёлый комбинезон стеснял движения, и только тут Чэн понял, до какой степени он утомлён боем.

На малой высоте стало очень тепло, и бельё сразу облепило тело горячим компрессом.

Чэн не без труда стянул

перчатки и проверил карабины парашютных лямок. Мысли были сосредоточены на том, чтобы выброситься правильно. На память пришли наставления школьных инструкторов-парашютистов. Когда-то он слушал подобные наставления, уверенный в том, что уж ему-то, инструктору Чэну, они не понадобятся...

Чэн с трудом протиснулся в вырез кабины, ставший вдруг непомерно узким и неудобным. Центробежная сила сбрасывала тело в сторону, противоположную вращению машины. Его прижимало к стенке кабины так, что казалось, никогда не удастся от неё оторваться.

Чэн напряг все силы в единственном желании прекратить эту смертельную связь с самолётом и вдруг, неожиданно для себя, понял, что свободен. И тотчас так же отчётливо понял, что отделился совсем неправильно, вовсе не так, как учили в школе. Как бы в подтверждение этой мысли, он тут же получил удар крылом. Удар был так силен, что Чэну показалось, будто его спина переломилась. В глазах потемнело, и смутно, сквозь туман, Чэн почувствовал, как его тело, словно выброшенное катапультой, вылетело из орбиты вращения самолёта...

Если бы удар не пришёлся по туго сложенному в чехле парашюту, крыло, вероятно, переломило бы Чэну спину. Ему уж едва ли удалось бы осознать, что парашют вышел из чехла без помощи человека, освобождённый ударом крыла. Произошло то, чего избегали в этих местах все товарищи, — прыжок без затяжки, делавший лётчика мишенью для преследовавших его врагов. Мысль об этом была нестерпимо острой. Чэн даже забыл о только что виденных им в воздухе самолётах друзей. В подтверждение слышанных им предостережений чётко пропело несколько пуль, донеслись хлопки пулемётной очереди. Чэн поднял

голову и увидел стрелявшего по нему гоминдановца. Но тотчас же за ним заметил и двух своих, гнавших врага на запад.

Все три самолёта исчезли из поля зрения Чэна, скрывшись за куполом парашюта.

Лётчик пытался уменьшить снос. Но ветер гнал его очень быстро. Чэну показалось, что где-то высоко над ним самолёт сделал круг и ушёл на запад.

Чэн сосредоточил все внимание на посадке. А когда он освободился от парашюта, то вокруг царила такая томительная тишина, что на секунду показалось: именно тут, в этой тишине, наступит конец всему. Но он

тотчас совладал с этим чувством и принялся старательно складывать парашют, по всем правилам, как бывало учили в школе молодёжь...

Машина, высланная по указанию лётчиков, нашла его к вечеру.

Сквозь мутную пелену дождя очертания гор казались расплывшимися. Из жёлтых цыновки, закрывавшие входы пещер, стали темносерыми.

Дождь надоедливой дробью шуршал по промасленной бумаге решётчатых дверей. Все, что было в пещерах, — постели, одеяла, одежда, даже доски столов и ящики,

служившие сиденьями, — все стало влажным. Большинство лётчиков было погружено в сон, а кто не спал — бранил метеоролога. Если бы не его благоприятные предсказания, день наверняка был бы объявлен нелётным. Тогда состоялось бы партийное собрание, которое откладывалось со дня на день из-за напряжённой боевой работы и для которого у каждого назрели вопросы. Но удивительный оптимизм метеоролога держал командование полка и лётчиков в постоянном напряжённом ожидании возможного вылета. В таких обстоятельствах оставалось одно: спать под унылый шум дождя.

Лагерь полка казался вымершим. Даже комары приуныли, и только те, которым удалось пробиться за цыновки, прикрывавшие вход в пещеры, с обычным рвением досаждали лётчикам.

В командирской пещере, опустив ноги с кана, сидел Фу. Напротив, за маленьким столом, сидел Лао Кэ. Одною рукой он подпирал щеку, другою, вооружившись спичкой, ворошил окурки в старой жестянке.

— Вам бы, извините за мнение, учителем быть, а не истребителями командовать, — сказал Фу, продолжая разговор.

— Для меня это одно и то же... Я думал, мы с вами сходимся в мысли, что бой — школа. К тому же самая строгая школа!

— Вы чрезвычайно правы: строгости много, — усмехнулся Фу.

— И ученики в ней разные бывают — плохие и хорошие... Вам опять повезло на «трудного»... Я говорю о Чэне.

Фу сжал сигарету так, что табак рассыпался.

— Такие «индивидуалисты» высокого полёта здесь только помеха. Нам доверили это небо, и мы никому не можем позволить гоняться за личными трофеями ценою общей победы. Я настаиваю на том, что Чэн

нам не подходит.

— Вы меня радуете: на этот счёт у нас с вами одно мнение.

Фу рассмеялся:

— Вас невозможно вызвать на спор!

— А я и в самом деле с вами совершенно согласен, — с полной серьёзностью сказал Лао Кэ. — Чэн в слетанной части действительно негоден.

— Правильно.

— И наша обязанность... — Лао Кэ умолк, старательно раскуривая трубку. Когда от неё поднялась голубая струйка, он не спеша отогнал дым движением руки и договорил: — вот я и говорю: наша обязанность

сделать так, чтобы он был годен.

Фу в сомнении покачал головой.

— Он не из тех, кого переломишь: упрям и... староват.

— И мне так кажется: упрям и недостаточно молод, чтобы его ломать. Если переломится, никуда не будет годен. — Лао Кэ сделал глубокую затяжку и, прищурившись, поглядел в глаза заместителю. — Не ломать его, а гнуть будем.

Фу рассмеялся и проговорил:

— Рассердиться бы на вас, обидеться за то, что вы меня учите! А мне, как всегда после разговора с вами, легче: словно понял что-то новое, хотя знаю все не хуже вас...

— А вот поначалу, когда вас к

нам только что назначили, вы мне показались... не смею сказать...

— Ну, ну?.. — с усмешкой спросил Фу.

— Ходит человек, молчит. Словно в себя все время смотрит. Даже после боя, когда у всего народа языки ходят.

— Языки — это от возбуждения, — сказал Фу. — Но вы не правы. Я тогда не в себя смотрел, а в людей вглядывался. Понять их нужно было.

— Это вы же меня научили людей распознавать! — одобрительно сказал Лао Кэ. — Но больше всего мне сначала не нравилось, что вас ничем нельзя

было из себя вывееет». Даже показалось мне, что вам все на свете безразлично: и люди наши и дела... Это пока я вас не разобрал.

— А теперь, решаюсь спросить, разобрались?

— Думаю, да. Я благодаря вам и людей-то вдвое больше любить стал. Раньше только смотрю: ходит лётчик, живёт, дышит, дерётся плохо или хорошо. Ну, разумеется, меня интересовали их взгляды, мысли, даже семейные дела, но вот так, привязаться к каждому из них и вникнуть в их души... этому, я думаю, научился от вас, дорогой мой Фу. — Лао Кэ подумал и с оттенком сожаления сказал: — Значит, и

командиром-то я настоящим стал только после вашего приезда. — Лао Кэ встал, прошёлся взад и вперёд по тесной пещере. — И чем больше я их всех люблю, тем мне трудней... Я где-то читал, будто отец любит сына, а когда тому в бой итти, не пускает, убивается. И пишут: это от любви. Но, по-моему, это неправда! Я по себе сужу: когда нашему полку сложное одиночное задание дадут, посмотрю я на свой народ и думаю; кого же из них больше всех люблю?.. Кто мне дороже всех, того и посылаю.

Фу вскинул на него взгляд и удивлённо сказал:

— А я ведь думал, это у меня

одного...

Ему помешал договорить телефонный звонок. Лао Кэ взял трубку полевого аппарата, выслушал и отдал приказание:

— Пришлите его ко мне. — И, не глядя на Фу, сказал ему: — Чэн прибыл с места посадки.

— Боюсь я всё-таки... — начал было Фу и замаялся. Потом, сделав над собою усилие, договорил: — боюсь, не выйдет из него ничего...

— Трудный ученик.

— Пусть едет в тыл.

— Командование прислало его из тыла сюда.

— Оно ошиблось.

— А мне этого не кажется. —

Лао Кэ покачал головой. — Нет, мне этого не кажется. По-моему, отправляя в наш полк одного из самых старых инструкторов школы, командование считало, что в настоящий момент каждый лётчик здесь нужнее, чем в школе. Так же, как было время, когда командование справедливо считало, что каждый хорошо летающий человек в школе нужнее, чем на фронте, где у нас тогда почти не было самолётов... К тому же, товарищ Фу, мне казалось, что вы личный друг генерала Линь Бяо?

— Мы вместе начинали жизнь.

— Вот видите. Значит, он вам близкий человек, а вы уже забыли,

что он говорил нам совсем недавно, когда мы прибыли на этот фронт.

Фу опустил глаза.

— Мне кажется, я помню всё.

— И все же я позволю себе напомнить вам, что Линь Бяо сказал тогда: «Лётчики, от вас будет в большой степени зависеть наш успех на участке фронта, являющемся для данного времени едва ли не самым важным». Помните, Фу?

— Помню.

— И он сказал ещё: «Замкнуть кольцо окружения гоминдановской группировки возле Цзиньчжоу — значит выбить из рук Чан Кай-ши дубину, которой он хотел ударить в затылок Народно-освободительной

армии Центральной равнины
генерала Лю Бо-чена. От вас,
лётчики первого полка, будет
зависеть, удастся ли Чан Кай-ши и
его американским сообщникам
попрежнему быть хозяевами в
воздухе над головой нашей
Дунбейской армии. Я прошу ваш
полк в целом и каждого лётчика в
отдельности прислушаться к словам
председателя Мао Цзе-дуна. Он
поставил перед нами задачу
разгромить Чан Кай-ши под
Цзиньжоу и Мукденом, чтобы
открыть Дунбейской народно-
освободительной армии путь в
Северный и Центральный Китай». Разве не так сказал нам тогда генерал

Линь Бяо?.. Я спрашиваю вас, товарищ Фу, так?

— Так.

— «Прошу каждого прислушаться к словам председателя Мао Цзе-дуна». Значит, генерал Линь Бяо просил об этом и лётчика Чэна.

— Чэна тогда ещё не было в полку.

— Но он уже ехал сюда. Значит, генерал Линь Бяо имел в виду и его, обращался и к нему, требовал и от него выполнения мудрых указаний председателя Мао Цзе-дуна.

— Тем хуже для Чэна, если он этого не понял, — проворчал Фу.

— Значит, мы с вами должны ему объяснить, какое огромное

значение имеет наша борьба за воздух на фронте Дунбейской армии. А вы вместо того хотите отправить его в тыл.

— Могу вас уверить, Лао Кэ, — возразил Фу, — генерал Линь Бяо обращался к кому угодно, только не к нарушителям боевой дисциплины.

— Вот тут я теряюсь, мой друг Фу, совершенно теряюсь: а не мог ли генерал Линь Бяо иметь в виду именно их в первую очередь?

Фу смотрел на командира с недоумением, хотя в душе он и признавал справедливость этих наравоучений.

— У лётчика Чэна психология неисправимого одиночки, — сказал

ОН.

— Неисправимого?

— Мне так кажется.

— А летает он хорошо.

— Разве я это отрицаю?

— И если бы не этот «одиночка», то вы ходили бы теперь не с лёгкой контузией, а было бы у вас настоящее решето вместо спины. Ведь пирата, повисшего на вашем хвосте, именно Чэн снял!

— Позвольте узнать, — сказал Фу, — вы серьёзно полагаете, будто я мог бы изменить своё отношение к Чэну, если бы даже был совершенно уверен, что именно он спас мне жизнь? Вы так думаете?.. Впрочем, дело не в этом... Я полагал, что вы

тоже понимаете: командованию нужен был новый «Икс». Какие же тут могут быть разговоры! Если бы вы могли обеспечить исполнение задания, умерев дважды, разве вы не пошли бы на это?.. Словно я вас не знаю... Да что там: «вы, я»! Разве каждый из наших людей не отдал бы жизнь дважды и трижды за исполнение боевого приказа?! Что тут говорить!.. А вы хотите, чтобы я за то, что Чэн избавил меня от дырки в спине, простил ему нарушение этого приказа... Извините, командир, но мне кажется, что вы говорите не то, что думаете!

— Вот что я позволю себе сказать вам, товарищ Фу, — мягко

проговорил Лао Кэ. — Конечно, вы правы: каждый из нас даст себя разрезать на части, если это будет условием исполнения воинского долга. Но вспомните, чему учит нас партия о ценности человеческой жизни!

— На войне жизнь часто бывает ценою выполнения приказа, — горячо возразил Фу, — и никому из нас не дано рассуждать, стоит ли данный приказ моей жизни или нет.

Лао Кэ поднял руку, чтобы остановить Фу.

— Как вы думаете, — спросил он, — вышибая врага из-под хвоста вашего самолёта, Чэн рисковал жизнью или нет?

— Мне странно слышать такой вопрос! — Фу пожал плечами.

— Значит, спасая вашу жизнь, он готов был принести в жертву свою.

— Допустим. Что с того? Мотивы нарушения приказа меня не интересуют. Неумение или нежелание справиться с самим собою...

— Если нежелание, я на вашей стороне! А если неумение, тогда как?..

Лао Кэ, повидимому, хотел сам себе и ответить, но ему помешал раздавшийся у входа громкий голос Джойса.

— Разрешите войти? — И, получив разрешение, негр быстро

заговорил: — Инженер полка приказал обратиться к вам: можно принимать новый самолёт для лётчика Чэна?

После минутного раздумья Лао Кэ вопросительно посмотрел на Фу, но тот стоял, отвернувшись, словно разговор его не касался.

Командир сказал Джойсу:

— Своё решение я передам начальнику штаба.

— Хорошо! — упавшим голосом произнёс Джойс. — Разрешите итти?

Лао Кэ отпустил его молчаливым кивком головы.

Едва Джойс вышел, Фу, резко повернувшись к командиру, быстро заговорил, как если бы разговор их и

не прерывался:

— Даже если оставить вопрос об этом «янки-Икс», хотя отбросить его нельзя, и тогда Чэн виноват: он бросил строй вопреки моему приказу. Когда я скомандовал «за мной», он счёл мой приказ необязательным. Почему, я вас спрашиваю?

— Прозевал ваш приказ.

— Ах, прозевал! Мы не на свадьбе гуляли, а дрались с врагом.

Лао Кэ покачал головой и сказал:

— Беру Чэна в своё звено.

Несколько мгновений Фу сидел неподвижно и молча глядел на командира, потом отыскал свой

упавший с кана шлем и, сердито надев его, так же молча вышел.

Дождь все продолжался. Тёмные, плотные, как комья свалявшейся серой ваты, облака тяжело ползли над самой землёй. Они цеплялись за возвышенности, задерживались, оплывали и проливались дождём.

Фу остановился. Ему хотелось спокойно подумать. Давно у него не было такого сильного желания побыть одному. Казалось, даже собственное движение мешало его думам. Понадобилось усилие воли, чтобы заставить себя взглянуть на часы: скоро должен приехать Чэн. При воспоминании о нем в первый

раз пришла ясная мысль, что, по существу говоря, они ведь поменялись ролями со своим бывшим учителем. И не рискует ли Фу сделать теперь то, что в своё время сделал Чэн: списал из школы человека, из которого вышел и лётчик и командир. Не лучше ли было бы, если бы тогда, семь лет назад, Чэн терпеливо изучил своего ученика Фу Би-чена. Инструктор не заставил бы учлета потерять время, довёл бы его переобучение до конца...

Фу стянул с головы шлем и подставил голову дождю. Но и влага не давала прохлады. Казалось, даже дождь падает в этих местах

подогретым. Вода стекала за воротник куртки, тёплая, противная, как пот. Фу жадно втянул воздух. И он был парной, даже, кажется, пахнул гнилью.

Фу остановился: мимо него, разбрасывая грязь, проехал автомобиль. За его стеклом Фу заметил Чэна.

Фу медленно зашагал к командирской пещере. Войдя к Лао Кэ, спросил:

— Позвольте говорить откровенно?

— А разве между нами бывало иначе?

— Я знаю, моя обязанность переговорить сейчас с Чэном, но,

если можете, сделайте это вы...

Лао Кэ посмотрел на него с удивлением.

— А вы мне не расскажете, что у вас там накипело?

— Ничего особенного, — неохотно ответил Фу и, порывшись в кармане, достал сигареты.

— Где же ваша откровенность?

Фу опустил сигареты в карман, так и не закурив.

— Помните, я вам когда-то рассказывал, как меня отчислили из школы, не дав закончить переподготовку.

— Но ведь потом вы все же вернулись к полётам.

— Вернуться-то вернулся, но

такие вещи не забываются... Инструктор, настоявший на моем отчислении, — Чэн.

Оба помолчали.

Лао Кэ протянул руку:

— Давайте закурим.

Фу снова вынул сигареты. Оба не спеша закурили, словно это и было единственным, ради чего они тут встретились.

— Перестаньте думать об этом Чэне, — сказал Лао Кэ. — Он будет летать в моем звене.

— Вы должны понять, — возразил Фу: — для меня это не выход. Заняться Чэном должен я сам.

Лао Кэ внимательно посмотрел на Фу и спросил:

— А переговорить с ним?

— Это другое дело. Вам он больше поверит. Вы ведь не были его учеником. А сохранить его... нам действительно нужно.

Обнажая свои ровные зубы, Лао Кэ рассмеялся так просто и хорошо, как смеялся всегда.

Фу дружески кивнул головой и поспешно вышел из пещеры, чтобы не встретиться с Чэном.

Несмотря на сухую пору лета, рикша с трудом вытаскивал ноги из чавкающей уличной грязи, покрывающей улицы предместья Тяньцзина. Узкий след, прорезаемый в чёрном тесте грязи тонкими ободьями колёс, долго не заплывал.

Паркер машинально следил за тем, как напрягаются мускулы на спине рикши. Блуза китайца промокла от пота и облепила тело так, что оно казалось политым темносинею краской.

Паркера заинтересовало лицо рикши. Американец никак не мог его вспомнить, хотя Харада одалживал

ему этого рикшу много раз. Американец с неудовольствием отметил в себе эту новую черту: невнимательность. Он безусловно распустился. Его глаз должен был чисто механически зафиксировать лицо китайца. Пусть рикша всего только несовершенная лошадь, которой нехватает двух ног, профессионально тренированная память разведчика обязана была по первому требованию Паркера выдать статьи этой лошади. Да, он непозволительно распускается! Годы? Едва ли. Скорее, разлагающее влияние слишком большой уверенности, в которой пребывают здесь американцы даже теперь, когда

с каждым днём яснее становится, что удержаться в Китае им удалось лишь ценою новых больших затрат и усилий.

Нужно подтянуться! Недоставало ещё, чтобы он начал разъезжать на автомобилях, как все эти развязные ребята из штаба Баркли. Нет, его правило останется твёрдым: в каждой стране стараться жить так, как живёт её собственное большинство. Разумеется, не то большинство, которое впрягается в рикши, бродит по этим грязным улицам, задрав штаны до колен, и пожирает у харчевен какую-то вонючую дрянь, завернутую в капустные листья. Нет, он не

собирается разыгрывать американско-китайского Лоуренса. Но нужно жить хотя бы так, как живёт китаец-купец, чиновник, офицер. Паркеру не следует выделяться своими привычками и нравами белого человека. И очень жаль, что его костистая физиономия, обтянутая багровой блестящей кожей, словно только что пересаженной со спелого томата, не оставляла никаких иллюзий относительно его национальной принадлежности — от него на целую милю разило англо-саксом.

Паркер знал, какую важную роль эта страна призвана сыграть в американском наступлении на

Советский Союз. Но он был реалист. Он понимал, что здесь только снаружи все выглядит благополучно, и был уверен, что янки придётся много повозиться с жёлтыми, прежде чем удастся использовать их как ударную силу против Советов. Сначала нужно навести порядок в собственном хозяйстве старого разбойника Чан Кай-ши. Нужно дать ему в руки американскую метлу и научить работать по-американски. Его война с красными давно перестала быть частным делом «четырёх семейств». Теперь в борьбе с коммунистами в Китае заинтересована Америка. «Завоевать Китай руками самих китайцев» —

ЭТОТ японский лозунг стал американским. Именно в этом генеральная задача всех этих чанов, кунов, сунов, чэней и прочей падали. Баркли на днях говорил, что за один январь текущего 1948 года Чан Кай-ши передано сто тысяч тонн американского вооружения, находящегося на островах Гуам и Сайпан. А материалы, предоставленные Штатами для арсеналов в Мукдене, Чунцине, Ханькоу, Нанкине, Шанхае, Сучжоу, Пекине и Тяньцзине! Три с половиной миллиона тонн оружия, переданного старому бандиту в предыдущем году, вероятно, перешло в руки красных, а вторую половину

Чан потерял в боях с войсками Мао Цзе-дуна. Без малого шесть миллиардов долларов, которых уже стоила Штатам война в Китае, кажутся Паркеру достаточным основанием для слов Ведемейера: «Мы должны оказывать военную поддержку и вооружённую защиту нашим экономическим инвестициям повсюду, где какие-либо силы угрожают тому, что дорого нашему сердцу». Будь Паркер на месте тех, кто сидит там наверху, в Вашингтоне, он задал бы хорошую трёпку красным. Уж он не стал бы прятаться за спину старого кретина Чана, а пустил бы в ход американских парней. Городок-другой, где нет

американских вложений, он угостил бы атомным гостинцем. Знали бы китайцы, кого нужно слушаться! А то дело дошло до того, что чанкайшисты начинают поучать янки: «Ключи ко всей американской политике и к стратегическим планам Штатов лежат в оказании противодействия Советскому Союзу. Поэтому американская политика во всех частях света должна координироваться с этих позиций. А американцы рассматривают Китай как некий иной мир, как какой-то частный вопрос. Между тем именно Китай является центром построения антисоветского плацдарма в Азии!»

Каково! Будто янки сами не

знают, что и как они должны координировать. Хорош плацдарм, который расползается, как старая штанина! Негодяи из шайки Чана умеют только прятать золото, попадающее к ним из кармана американцев, а делать дело?.. Они, видите ли, надеются, что Соединённые Штаты «будут энергично и полной мерой» помогать разгрому вооружённых сил китайских коммунистов. Стюарт явно либеральничает. Разговаривать с чанкайшистской шайкой нужно так, как говорил Ведемейер после своей поездки по Китаю: «Милостивые государи, хорошее лекарство никогда не бывает сладким. Потрудитесь

браться за дело или...» У его слушателей глаза лезли на лоб от желания доказать, что они готовы на все, лишь бы не это «или»... Пожалуй, единственное толковое дело, проведённое Стюартом за последнее время, — посылка Ли Цзун-женя на пост вице-президента вопреки желанию Чан Кай-ши. Только напрасно в Америке полагают, что ставка на Ли Цзун-женя — игра на новую лошадь. Старая лиса Ли Цзун-жень — это только новый хвост от той же гоминдановской клячи. Едва ли она с этим хвостом побежит резвее, чем со старым. Как бы там ни было, на американские денежки к нынешнему

дню вооружено около ста гоминдановских дивизий, а не меньше полусотни из них Чан Кай-ши умудрился потерять в боях с красными. Туда же, к Мао Цзе-дуну и Чжу Дэ, ушло и все американское вооружение этих дивизий.

Паркер не мог не понимать того, что было очевидно всем: китайский народ против Чан Кай-ши и американцев, он за коммунистов; избежать гнева пятисот миллионов китайцев можно, но для этого США пришлось бы повернуть курс своей политики на сто восемьдесят градусов, то-есть плюнуть на все то, ради чего янки сюда явились, признать, что коммунистическая

партия во главе с Мао Цзе-дуном
есть единственный выразитель
народной воли, отступить от Чан
Кай-ши и немедленно убратъся
самим из Китая... Кто-то из
американцев писал на днях, что
Китай — комбинация зон и баз
различного стратегического
значения, необходимых американцам
для того, чтобы господствовать в
Жёлтом и Японском морях, и что нет
такой силы на свете, которая
заставила бы Штаты отказаться от
создания таких баз в Китае и Корее.
Подобный отказ был бы равносителен
отказу от окружения Советского
Союза. Он был бы признанием того,
что Штаты должны снова стать тем,

чем были полвека назад: лавочкой, торгующей со своими соседями по западному полушарию...

Слуга покорный! На это не согласен даже он, Паркер: только-только наладились тут его дела с поставками в Китай риса. Если рассказать об этом какому-нибудь здравомыслящему парню, он, пожалуй, и не поверит, а между тем это именно так: руками Чана американцам удалось почти уничтожить в Китае рисосеяние. Китайцы могут выбирать: покупать рис в Штатах или подыхать с голоду. Правда, у янки они покупают тоже не американский рис. Своего риса в Америке нехватило бы и на половину

поставок. Но до этого китайцам не должно быть никакого дела. Пусть получают японский и корейский рис из рук янки и гонят денежки...

Откинувшись на спинку колясочки, Паркер прикидывал в уме, что может ему дать последний контракт. Эти размышления так увлекли его, что он едва не проехал мимо лавки кондитера. Машинально заметив вывеску, Паркер спохватился и ткнул рикшу палкой в спину:

— Стой, дуралей!

Когда рикша положил оглобли и обернулся, чтобы отстегнуть фартук коляски, Паркер увидел, наконец, его лицо. Оно было широкое, скуластое, покрытое густой осыпью рябин.

Паркер мысленно рассмеялся над несправедливостью к самому себе: конечно же, его взор многократно отмечал эту физиономию, но чем он виноват, что лица всех китайцев сливались для Паркера в одно?

Паркер вошёл в кондитерскую Ван Сяна и едва не зажмурился. Яркоапельсинная блестящая окраска стен, лоснящееся от жира, истекающего сквозь все поры, широкое жёлтое лицо Ван Сяна, жёлтая глазурь на печеньях — все это, подобно золотым рефлексорам, отражало яркий свет ламп.

Ван Сян дружески улыбался, а Паркер щурился, будто глядел на солнце.

— Прошу заходить. У нас всегда есть свежие ти-ЭН-ши.

Ван причмокнул языком, и у Паркера выделилась обильная слюна. Его связывали с кондитером не только деловые отношения: Паркер был лакомкой и с особенной охотой заглядывал на эту точку своей сети. Он всегда уходил от Вана со свёртками жирного, тающего во рту печенья.

Потягивая холодный лимонный сок, Паркер молча указывал на то печенье, которое привлекало его сегодня. За месяц пребывания здесь он не перепробовал ещё всех изделий Ван Сяна.

Ван ловко поддевал пастью

серебряного дракона приглянувшиеся американцу печенья и клал в коробку, которую держал бой. Все трое при этом улыбались: Ван Сян любезно-снисходительно, бой восторженно, Паркер плотоядно. И все трое молчали.

Когда коробка была полна и бой ушёл в заднюю комнату, чтобы завернуть покупку, Ван Сян протянул Паркеру счёт. Полковник, не глядя, сунул бумажку в карман кителя. Его ничуть не удивило то, что счёт оказался заготовленным заранее.

Между ними не было сказано ни слова.

Только когда Паркер садился на рикшу, Ван Сян, кланяясь ему с

голубого порога, так же как при встрече, сказал:

— У нас всегда есть свежие тин-эн-ши.

Усевшись в коляске, Паркер проковырял дырочку в обёртке и достал одно печенье. Взгляд американца машинально отмечал движение мускулов на икрах рикши, но его мысли были сосредоточены на маслянистом тесте, которое разминалось по нёбу, как нежный крем.

Приятное ощущение во рту вернуло Паркера к приятным мыслям. Он ел и думал о том, что, может быть, не так уж далёк день, когда он вместо очередного

донесения пошлёт в Вашингтон заявление об уходе со службы. Ещё две-три сделки с рисом — и он будет богат и независим.

До сих пор он ограничивался импортом риса, но теперь намерен расширить свои операции и в обмен на ввезённый китайцам рис вывозить их опиум. Знающие люди уверили его, что при некоторой ловкости опиум можно тут купить вдвое дешевле, чем у англичан, вывозящих его из своих колоний. Правда, ввоз этого зелья в Штаты запрещён законом, но Паркер уже знает путь, по которому следует идти, чтобы не испытать затруднений. Все необходимые адреса у него в

кармане: англичанин — главный инспектор шанхайской таможни, инспектор таможни в Сан-Франциско, скупщики контрабанды...

Сейчас он огорошит Баркли, разыгрывающего недотрогу: Паркеру сказали наверняка, что генерал занимается опиумом. У него можно получить товар дешевле, чем у кого бы то ни было другого, так как сам он черпает его из запасов, конфискованных у китайцев. Интересно, какую цену назовёт Баркли? Или попытается корчить святую невинность?

Когда Паркер вошёл в кабинет генерала Баркли, там шло заседание.

Баркли кивком указал ему свободное кресло. Паркер тихонько уселся и, казалось, весь ушёл в пережёвывание своего печенья.

Коробка была почти пуста, когда офицеры, наконец, ушли.

Генерал сам затворил за ними дверь и остановился перед Паркером.

— У вас завелись от меня секреты...

Это было сказано так, что Паркер не сразу понял: вопрос это или утверждение. Неужели старик пронюхал про его рисовые комбинации?.. Впрочем, какое кому дело до его частной жизни!

Чтобы дать себе время подумать, Паркер стал не спеша щелчками

сбивать с рукава крошки печенья. Потом, не глядя на генерала, пустил пробный шар.

— Задание было так секретно, что... — он не договорил и выразительно пожал плечами.

Генерал с досадой ударил костяшками пальцев по столу.

— К чертям, Паркер! Можете им сообщить, что в расположении моей армии...

Паркер посмотрел на него исподлобья.

— В том-то и дело, сэр, что ваша армия тут ни при чем.

— Что вы болтаете! Не хотите же вы передавать китайским куклам то, что скрываете от меня?

— Стань я докладывать свои дела вам, вы неизбежно должны были бы за них и отвечать. Оставьте это нам.

— Пока вы не навяжете мне какого-нибудь сюрприза?

— Я не рождественский дед, сэр.

— Можете бросить игру в жмурки! Мои ребята уже донесли мне.

Баркли на минуту замолк, но, видя, что Паркер остался спокоен, закончил:

— Вы отправили самолёт в Монголию. Куда и зачем?

— Меня взгреют, если хозяева узнают, что я проговорился.

— Выкладывайте все начистоту
..

Паркер вопросительно
посмотрел на генерала.

Тот снова стукнул пальцами по столу и решительно закончил:

— ...или я пошлю вас ко всем чертям!

— Разрешите мне так и донести?

— Хоть господу-богу.

— Слушаю, сэр.

— Без шума приехали, так же
неслышно и уберётесь.

— Слушаю, сэр, — невозмутимо ответил Паркер.

А Баркли крикнул:

— Притом сегодня же!.. Мой характер вы знаете.

— Видите ли... план носит у нас условное название: «Будда». Он очень прост: когда придёт приказ, я должен послать в эфир музыкальную программу «Джонни хочет веселиться».

Баркли сидел за столом, сложив руки на груди, и следил за каждым движением губ Паркера. Когда тот замолчал, у Баркли вырвалось нетерпеливо:

— Ну, ну?!

— По первому сигналу мой человек в Монголии выкладывает знаки для посадки самолёта. Пункт

заметён по очень характерным развалинам монастыря... — И Паркер в общих чертах изложил суть поручения, возложенного на Хараду и Бельца.

— В какой стадии все это дело? — спросил Баркли.

— Человек в Монголию отправлен. Его повёз Бельц.

— Немец?

— Да.

— Он уже вернулся?

— Нет.

— Значит... авария?.. Не думаете же вы, что присутствие немца — залог успеха операции?

Теперь в голосе Баркли зазвучала нескрываемая насмешка.

Паркеру даже показалось, что Баркли рад его неудаче. Поэтому он сказал с особенной небрежностью, которую мог себе позволить человек независимого положения:

— В таких случаях осечек не дают, сэр.

— У нас с вами разное понятие об осечках, Паркер.

Словно поясняя то, что генерал должен был бы понять сам, Паркер сказал:

— Если у них произошла вынужденная посадка или что-нибудь в этом роде, немец не попадёт к монголам живым.

— Вы слишком высокого мнения о немцах, Паркер, — возразил

генерал. — Бельц не станет пускать себе пулю в лоб.

— Зато с ним есть другой человек, который...

— Кого повёз Бельц?!

— Вполне опытного японца.

— Безрассудно было рисковать им, спаривая его с немцем.

— Не мог же я доверить такое дело китайскому лётчику, сэр. В глазах каждого из них мне чудится насмешка.

— Сказали бы мне во-время, и я дал бы вам сколько угодно японских пилотов.

— В жизни не встречал японца — хорошего лётчика, — усмехнулся Паркер.

— Наши учебные центры уже дали мне партию вполне доброкачественного товара. Одна Иокосука тренирует больше лётчиков, чем сами японцы были бы способны выпустить из всех своих школ.

— Все это мусор, сэр.

— Честное слово, Паркер, это такой народ, что я спокойно доверил бы им любую операцию. — Генерал улыбнулся и поспешно добавил: — Конечно, не такую, которую я поручил бы нашему парню, но все же.

— Вот именно: «все же».

— Не пройдет и двух-трех лет, как мы создадим отличный лётный

корпус из этих обезьян.

— Через два года тут все будет кончено. Чан сам отрубит головы всем китайцам.

Баркли расхохотался:

— Это действительно то, о чём мечтает старый мошенник: отрубить головы всем, кроме самого себя.

— Нет, он согласен сделать исключение для очаровательнейшей Сун Мэй-лин.

— Иначе он никогда не почувствует себя спокойно. Но, к сожалению, вы заблуждаетесь: суматохи здесь хватит ещё надолго. Во всяком случае, мы сумеем сплавить сюда всё, что не израсходовали в войне, — до

последнего патрона и до последней банки колбасы. Будет куда девать и японских лётчиков... Найдётся дело.

— Жизнь научила меня не верить ни одному жёлтому человеку: китайцы, японцы, малайцы — они все стоят друг друга.

— Они годятся на то, чтобы бросить их в мясорубку под командованием наших собственных ребят.

— Боюсь, что среди наших ребят тоже появятся скоро слишком «сознательные», которые не будут годиться для настоящего дела.

— Однако мы отвлеклись, — прервал его Баркли. — Покажите мне место высадки.

Паркер подошёл к карте и долго водил по ней пальцем.

— Можно сломать язык с этим названием, — пробормотал он. Наконец его палец остановился: — Вот здесь: Араджаргалантахит.

Генерал через его плечо обвёл название карандашом.

— А как насчёт «Джонни» и прочего?

Паркер пожал плечами.

— Это уже вне нас, сэр.

Генерал пристально посмотрел на полковника.

— Не хитрите, Паркер.

— Честное слово...

— А как вы будете знать, долетел ли этот ваш?..

— Харада?

— Да.

— Оба его голубя уже пришли —

значит, он на месте.

— Вы не дали ему передатчика?

— Лама с передатчиком!..

Достаточно того, что у него есть приёмник, чтобы поймать мою увеселительную программу.

Генерал несколько раз прошёлся по комнате.

— Хорошо. Докладывайте мне о ходе этого дела.

— Непременно, сэр.

— В любое время: днём и ночью. Только бы китайцы пошли на эту удочку. Важно, чтобы Янь Ши-фан получил повод ворваться в

Монголию и выйти в тыл Линь Бяо. А в остальном мы ему поможем.

— Мне тоже так кажется.

— Вы правильно делали, Паркер, что скрывали это даже от меня. — И вдруг подозрительно, исподлобья посмотрел на Паркера. — Этот план — всё, что вы делали у меня за спиной? — И, словно машинально, повторил: — «Джонни хочет веселиться». Ну что же, Джонни и повеселится...

— Но, честное слово, если хоть одна душа будет знать то, что я сейчас сказал... — жалобно проговорил Паркер.

Генерал остановил его движением руки:

— Есть вещи, которые никогда не станут достоянием даже самого кропотливого историка.

Паркер знал это не хуже генерала. Именно поэтому он, внимательно просмотрев по возвращении домой счёт кондитера, свернул его трубочкой и держал над огнём свечи до тех пор, пока от бумажки не остались только чёрные хлопья. Но и на них Паркер дунул так, что они разлетелись в разные стороны.

Чэна наполняло чувством удовлетворения то, что, испытав аварию, вынудившую его к прыжку из самолёта, он все же отправился не в госпиталь, а в полк. К тому же восторженное внимание, проявленное к нему пехотинцами при посадке, укрепляло его уверенность, что и дома, в полку, он явится героем дня. Может быть, ему будут даже завидовать: не каждому удаётся за день сбить трех врагов! Правда, он потерял свою машину, но ведь её ценою он спас от верной гибели заместителя командира и его самолёт. Таким образом, баланс как

будто сведён. Ему и в голову не приходило, что его могут считать виновником срыва боевого задания, что, вырвавшись из строя, он нарушил все планы Фу в дальнейшем бою.

По возвращении в полк, выслушивая Лао Кэ, Чэн не мог отделаться от мысли, что к нему придираются незаслуженно, пока командир терпеливо не доказал ему, что он действительно виноват.

Чэн сидел перед командиром, понуро опустив голову. Когда Лао Кэ кончил говорить, наступило томительное молчание.

Наконец командир сказал:

— Для вас, лётчик Чэн, было бы

лучше, если бы вы не были так уверены в себе. Может быть, тогда вы больше нуждались бы в товарищах и сами хотели бы чувствовать близость соседа.

— Вы убедили меня в необходимости этого чувства, командир.

Лао Кэ махнул рукою.

— В том-то и беда, что вас нужно было в этом убеждать, а не сами вы ощутили правильность нашей системы. — И, подумав, добавил: — Мне кажется, что вы считаете чем-то вроде одолжения со своей стороны, когда соглашаетесь впредь держать своё место в строю.

Эти слова были сказаны без

обычной для Лао Кэ теплоты.

Поднимаясь с ящика, на котором сидел, Чэн почувствовал, как болит у него ушибленная крылом спина, — впору было бы в постель. Но он сдержал гримасу боли и, выпрямившись, откозырял командиру. Он вышел из пещеры, полный решимости идти к Фу и переговорить с ним. Это было для Чэна нелёгким испытанием, но он готов был пройти и через него.

Идя к пещере Фу, он вдруг заметил, что за время его беседы с Лао Кэ лагерь опустел. Было видно, как на ближайшей точке техники поспешно снимали чехлы с моторов. Значит, боевая готовность, а о нем

даже не вспомнили!

Чэн стоял в недоумении: забыли о нем или намеренно бросили здесь, как наказанного школяра? Ведь никто не знает, что у него ушиблена спина. Для всех он здоровый, полноценный боевой лётчик... Здоровый — конечно, но полноценный ли с их точки зрения?

Подумав, он поспешно пошёл к себе, чтобы взять шлем и планшет и как можно скорее добраться до площадки. Даже попробовал пуститься бегом, но от боли в спине вынужден был снова перейти на шаг.

По дороге он увидел грузную фигуру Джойса. Негр сидел на корточках и с меланхолической

сосредоточенностью сковывивал
грязь со своих сапог.

— Почему вы здесь?! — сердито крикнул Чэн.

— А где же мне быть?

— Почему не на аэродроме?

— А что там делать?.. — Джойс чего-то не договаривал, и Чэн ещё раз спросил:

— Да говорите же в конце концов, почему вы не у машины?

Джойс ответил медленно, словно насильно вытягивая из себя слова:

— Вам не назначили новой машины.

— Нет запасных машин?

— Есть...

— Так почему же?

Но тут же Чэн и сам понял все без объяснений: его оставили без машины.

Он процедил сквозь зубы:

— Понятно!..

— Жаль, что вы не поняли этого в бою.

— В бою?!

— Если бы не ваша ошибка, то и задание было бы выполнено нашей частью и самолёт у вас был бы.

— Случайный срыв, — сам не веря своим словам, но не желая ронять своего достоинства, проговорил Чэн. — Не мог же я в конце концов предоставить американцу расстрелять нашего

заместителя командира.

Джойс, не дослушав, зашептал торопливо, взволнованно:

— Что, если с самолётом это... не временно? Если...

— Вы с ума сошли?!

— ...говорят...

— Молчите!.. — Чэн боялся услышать, что говорят в полку.

А Джойс, грустно покачивая головой, укоризненно говорил:

— Кажется, я напрасно согласился ехать сюда вашим механиком. Болеть душой за всяких эгоистов...

— Я эгоист?!

— Неисправимый к тому же... Вы в бою, а у меня за каждый винтик

в вашей машине душа болит. Сидишь тут в травке и все вспоминаешь, вспоминаешь: болтик там проверил ли, гаечку подтянул ли, шплинтик разогнул ли, тандерчик переменял ли? Ведь механик к своему сердцу так не прислушивается, как к мотору, когда его лётчик на взлёт идёт!..

— Довольно!

— Это я вам сказать должен: довольно... — сердито огрызнулся Джойс. — Вся душа моя впереди вас в бой летела, а вы? Оттого что я тут, а не в воздухе, мне вдвое тяжелей.

— Знаете ли вы, что такое «тяжело»?.. Тяжело — это то, что сейчас со мною происходит...

— Сегодня я нечаянно услышал

разговор Лао Кэ с Фу...

Взволнованный этим неожиданным заявлением, Чэн вплотную придвинулся к Джойсу.

— Я случайно услышал снаружи то, что говорилось в пещере. — И Джойс пересказал Чэну разговор командира с заместителем.

Чэна давил мучительный стыд. Рассказ Джойса одним толчком перевернул в нём представление о заместителе командира полка. В самом деле, какое значение могло иметь то, что он спас жизнь Фу в бою? Какое отношение это имеет к нарушению им. Чэном, боевого приказа? Значит, разбираясь в своих отношениях с Фу, он оказался ещё

раз не только не прав, но и жестоко несправедлив...

Он тихо произнёс:

— Если меня отсюда отошлют, будет справедливо.

— Да... — грустно согласился Джойс. — К сожалению, это будет справедливо.

И вдруг Чэн как бы очнулся:

— Нет! Я имею право драться. Я же теперь понимаю: виноват! Возьму себя в руки, буду драться, как того требует обстановка. Не нужно мне эскадрильи, буду летать рядовым лётчиком! — И, неожиданно повернувшись к Джойсу, крикнул вне себя: — И не смейте мне больше говорить об отчислении! Не будет

этого! Не будет!

— А если так, то что ж вы тут?
Идите объясняйтесь.

— Они поймут: я исправлю свои
ошибки.

— Они-то поймут... —
загадочно начал было Джойс, но так
и не договорил.

— Что? — с беспокойством
спросил Чэн.

— Поспешить нужно с
получением нового самолёта, вот
что.

— Да, да, верно! — несколько
повеселев, воскликнул Чэн. —
Идёмте добывать самолёт!

Когда он добрался до площадки,
оказалось, что Фу уехал на

командный пункт полка. От лётчиков Чэн узнал: полковой врач Кун Мэй запретила Фу летать из-за контузии спины, полученной в последнем бою. Но со слов лётчиков выходило, что Фу все же поехал к командиру договориться: он хотел сам вести вторую эскадрилью на задание.

Без Фу ни начальник штаба эскадрильи, ни инженер ничего не могли сказать Чэну о том, когда он получит новый самолёт и получит ли вообще.

В той стороне, где находился командный пункт, в воздух метнулась красная ракета. Ноги сами подняли Джойса из травы, но ему оставалось

лишь смотреть, как винты чужих истребителей засверкали на выглянувшем солнце дрожащими, переливающимися дисками.

Один за другим вступали в работу моторы, сливая гул выхлопа в один могучий рёв. Джойс жадно раздул широкие ноздри, пытаясь уловить ни с чем не сравнимый чудесный запах перегретого масла. Ухо чутко вылавливало из стройного гула редкие хлопки выброшенной в глушитель смеси, пыталось поймать перебои. Нет, все было в полном порядке, хотя машины и были подготовлены к полёту не им, не Джойсом.

Джойс опустил на корточки и,

прищурившись, глядел, как качнулась «красная лань» на борту командирской машины. Вот она тронулась, побежала. Сквозь отбрасываемые истребителями тучи пыли Джойс видел, как между колёсами «лани» и землёй образовался просвет, как машина пошла в воздух, набирая высоту...

Самолёты исчезли в белесой дымке все ещё облачного, но быстро прояснявшегося неба. Аэродром затих.

Рядом с лежавшим в траве Джойсом опустился Чэн. Негр только покосился на него, но не шевельнулся, не сказал ни слова. Так,

молча, они лежали, впившись взглядом в горизонт, за которым исчезли самолёты.

Прошло не меньше часа. Чэн вдруг порывисто вскочил и, загородившись ладонью от солнца, стал вглядываться в небо.

— Один безусловно не наш! — сказал он наконец.

Посмотрев в направлении его руки, Джойс тоже заметил три самолёта. Они шли по прямой с заметным снижением. Через минуту уже можно было ясно разобрать, что два истребителя гонят вражеский самолёт. Всякая его попытка ускользнуть от преследования тотчас вызывала ясно слышимые на земле

очереди истребителей. Тогда американец поспешно занимал прежнее положение между преследователями.

Чэн уже понял, что если снижение будет продолжаться под тем же углом, то встреча американца с землёй — посадка или авария — должна произойти в районе аэродрома. Он прикинул расстояние и крикнул Джойсу:

— Надо его взять!

Джойс не уловил мысли Чэна, но, видя, что тот побежал к аэродрому, бросился следом.

Тем временем в воздухе происходила последняя стадия борьбы. Американец продолжал

отчаянные попытки выскользнуть из-под истребителей, но те с прежней неумолимостью жали его к земле.

Когда положение сделалось уже совершенно безнадёжным, американец, решив, повидимому, что только добровольная посадка оставит ему все же некоторую надежду на спасение, выпустил шасси и выровнял машину к посадке. Едва его машина остановилась, откинулся колпак фонаря, и фигура в жёлтом комбинезоне выскочила из пилотской кабины на крыло.

— Смотрите, смотрите! — закричал Джойс. — Он хочет поджечь машину!

Американский лётчик соскочил

с крыла и в упор выстрелил из пистолета в центроплан своего самолёта, где был, повидимому, расположен главный бак. Но прежде чем ему удалось сделать второй выстрел, кулак Джойса свалил его с ног. Всею тяжестью своих девяноста шести килограммов негр навалился на американца.

Тем временем подоспел Фу и бегом направился к американскому самолёту.

Чэн двинулся было за ним, но тут до его слуха донеслись слова, произнесённые каким-то техником:

— К нам прибыли советские «Яки» — последняя покупка дунбейского народного

правительства.

Чэн остановился как вкопанный: «Яки»! Это были советские истребители. Чэн уже летал на них в школе, а тут ещё мало кто знал эту машину. Рой радостных мыслей помчался в мозгу лётчика. Он нагнал Фу, рассматривавшего американский самолёт:

— Мне необходимо с вами переговорить.

— Хорошо, зайдите вечером, — ответил Фу.

Джойс с нетерпением ждал свидания Чэна с Фу. Как назло, тот долго не возвращался с аэродромов. Чёрная ночь давно накрыла степь,

как закопчённым дочерна котлом. В небосводе не было ни единой щёлочки. Дорогу можно было отыскать только ощупью.

Джойс, наконец, нашёл санитарную пещеру.

Мэй показалась ему взволнованной, даже растерянной.

— Ты недовольна тем, что я зашёл? — спросил он.

Она ответила неопределённо:

— Садись.

— Скажи... контузия Фу — это серьёзно? — спросил он.

При этом Джойс не глядел на Мэй и не поднял головы, когда почувствовал, что она, остановившись, удивлённо смотрит

на него.

— Почему ты этим заинтересовался?

— Говорят, ты не разрешаешь ему летать.

— Да. Строго говоря, я должна была бы уложить его в постель.

— Контузия-то пустяковая.

— Это не меняет дела. Ты лучше сделаешь, если не будешь вмешиваться не в своё дело Фу — мой пациент. — Она отвернулась и решительно сказала: — Надеюсь, тебе самому не нужна медицинская помощь?

— Нет, мне она не нужна, — сказал Джойс. — Но я не узнаю тебя, Мэй...

Джойсу не удалось договорить — совсем рядом слышались быстрые шаги, полог над входом откинулся, и негр различил фигуру Лао Кэ. Джойс козырнул и неохотно вышел.

Лао Кэ спросил Мэй:

— Говорят, вы настаиваете на эвакуации Фу?

— Он нуждается в госпитале.

— В интересах части... — начал было Лао Кэ, но Мэй прервала его:

— Именно в интересах части я должна соблюдать предписанный мне порядок.

Лицо командира осветила мягкая улыбка.

— Мне кажется, у товарища Фу пустячная контузия...

— В этом меня уже пытались убедить только что, перед вашим приходом.

— Тем лучше, — добродушно сказал Лао Кэ, — значит, кто-то и до меня уже пытался доказать вам, что очень важно в эти решающие дни не лишиться моего заместителя, не обезглавить вторую эскадрилью. Ей дано важное задание...

— Уверяю вас, Фу не должен летать. Ему нужно лежать.

— Если ему придётся полежать здесь — полгоря.

— Какой же здесь уход?! — Мэй пожала плечами. — Извините меня,

но вы первый не дадите ему ни минуты покоя.

Заметив, что в её тоне уже нет прежней решительности, Лао Кэ продолжал мягко настаивать:

— А кто же лучше вас выходит его? — И в его прищуренных глазах блеснула хитринка.

После короткого размышления Мэй не очень твёрдо проговорила, точно сама не была уверена в правильности своих слов:

— Если вы так настаиваете, пусть Фу полежит здесь! — И, оправдываясь больше перед самой собой, чем перед командиром, прибавила: — А дальше будет видно...

Через час Фу был водворён в пещеру, заботливо превращённую Мэй в нечто вроде одиночной больничной палаты. Тщательно осмотрев его, Мэй ушла. Приставленная к нему для ночного дежурства сестра отправилась за ужином для больного.

Фу было смешно слышать в приложении к себе слово «больной». Он чувствовал себя вполне сносно. Если бы не доводы Лао Кэ, он никогда и не позволил бы запереть себя в этой скучной, пахнущей лекарствами пещере. «Все равно никто не удержит меня здесь в случае боевой тревоги», — думал он.

Он беспокойно курил, мысленно

возвращаясь к последнему бою. Что, собственно говоря, случилось такого, в чём нужно было бы разбираться? В часть прибыл лётчик Чэн... Так ведь новые лётчики прибывают по несколько раз в неделю. Одни уезжают, другие приезжают... Неужели все дело в том, что он, Фу, знал его раньше? Ну, знал, ну, помнит!.. Отлично помнит, с каким суровым видом заглядывал в полётный журнал учлёта Фу инструктор Чэн.

Может быть, Фу просто выдумал эту предвзятость Чэна в отношении к нему?.. Нет, не выдумал, — Фу не может забыть дня, когда Чэн с пренебрежением бросил ему «Из

лётчика, который в бою жмётся к товарищам, не выйдет истребитель». И, словно бы в сторону, про себя, но так, что Фу не мог не слышать, прибавил: «Воздушный бой не терпит трусов». Сколько лет прошло с тех пор?..

Фу отбросил окурок и откинул циновку у входа в пещеру. Ночь пахнула в лицо душным ароматом трав. Фу глубоко вдохнул не дающий прохлады воздух, с досадою опустил полог и, одетый, повалился на постель.

Он не слышал, как принёсшая ужин сестра, нерешительно потоптавшись возле него, ушла; не слышал шагов Чэна и как лётчик,

дважды спросив: «Разрешите войти?» — и не получив ответа, отодвинул полог.

Чэн стоял в нерешительности.

Он пришёл сюда, не найдя Фу в его пещере, пришёл с намерением сказать ему всё, что сказал бы, вероятно; на его месте всякий другой провинившийся лётчик. Со дня на день — завтра, а может быть, даже на рассвете, — должны разыгаться решающие события на их участке фронта. Чтобы наравне с остальными принять участие в боях, Чэн должен переговорить с командиром. Но было очевидно, что больной спит. Отложить разговор или разбудить Фу? А может быть...

может быть, сославшись на болезнь Фу, говорить с которым Чэну не легко, пойти к Лао Кэ?

Размышляя таким образом, Чэн стоял под отодвинутой циновкой и смотрел на лицо Фу, при свете луны казавшееся шафранно-жёлтым.

Разбуженный этим светом, Фу сел на койке. Он смешно сморщил нос, и от этого движения Чэну захотелось по-дружески сесть рядом с ним и просто, ничего не скрывая, рассказать свои переживания, повиниться в своих ошибках и прежде всего в той, которую он, будучи инструктором, много лет назад совершил в отношении своего ученика. Хотелось сказать, что

ничего он против Фу не имеет, признает его правоту и готов подчиниться его опыту и авторитету, работать с ним рука об руку и помогать ему. В перерывах между боями он будет работать с молодёжью, обучать её летать на чудесном легкокрылом «Яке» и никому не станет вбивать в голову свои непригодные для здешних мест теории. Только пусть не отнимают у него права драться!..

Чэн сделал шаг к Фу, и ему показалось, что тот догадывается о его мыслях и верит в их искренность. Чэну почудилось, будто Фу улыбнулся в ответ на его улыбку и, пододвинувшись на кровати,

движением руки пригласил лётчика сесть рядом с собою. Но прежде чем Чэн успел подойти к койке, за его спиною послышался голос незаметно вошедшей в пещеру Мэй:

— Зачем вы здесь?!

— Мне нужно поговорить с заместителем командира, — растерянно ответил Чэн.

— Товарищу Фу необходим полный покой. Прошу вас уйти.

Чэн обернулся к Фу:

— Прикажете уйти?

— Нет! Нам действительно надо поговорить... Должен вам прямо сказать: ваше поведение в бою заставляет усомниться в вашем праве командовать эскадрильей. Вы

должны отказаться от старых привычек и попыток навязать их другим, или вывод будет один...

Чэн хорошо понимал и сам, о каком выводе идёт речь. Он сказал:

— Прибыли «Яки». Я хорошо знаю эту машину.

Словно не расслышав, Фу ответил:

— Можете итти.

Чэн молча вышел.

Ушла и Мэй.

Лёжа с открытыми глазами, Фу слышал, как через некоторое время перед входом замерли чьи-то шаги и началось торопливое перешёптывание. Слов не было слышно, но по репликам сестры,

сидевшей у входа, Фу понял, что пришёл кто-то из штаба полка. Это оказался посыльный. Фу поспешно зажёл фонарик и вскрыл пакет. В нем, кроме суточной сводки, была какая-то бумажка, сложенная аккуратным квадратиком. Фу прочёл её и, бросив на стол, задумался. Посыльный спросил:

— Ответ будет?

— Ответ?.. Да, да, сейчас. — Он потянулся было к планшету, но раздумал и сказал: — Доложите начальнику штаба: ответ пришлю немного погодя.

Посыльный ушёл. Перед Фу лежал рапорт Чэна о переводе в другую часть. На уголке старательной

рукой начальника штаба было выведено: «Товарищу Фу Би-чену: командир Лао Кэ приказал доложить вам, что считает необходимым задержать лётчика Чэна и назначить его исполняющим обязанности командира второй эскадрильи».

Фу вышел из пещеры. Луна стояла низко, словно и не совершила за это время своего пути по небу. Но она не была уже такой жарко-багровой; в жёлтом, как бенгальский огонь, освещении окружающий пейзаж казался мёртвым, словно затянутым дымом недавнего пожарища. Фу в задумчивости глядел вдаль, где за горизонтом едва заметно вспыхивали отблески огней.

В эту ночь деятельность артиллерии не уменьшалась. Фу ещё не доводилось видеть, чтобы отсветы артиллерийских залпов захватывали такой большой участок фронта одновременно. Они висели над горизонтом непрерывным заревом, похожим на далёкий степной пожар. Гул канонады едва доносился, как грохот далеко идущего поезда.

Задумчивость Фу прервал несмелый голос сестры:

— Извините, но вы больной!

Фу не сразу понял, что это относится к нему. Он даже переспросил:

— Вы обращаетесь ко мне?

— Вам следует лежать, —

видимо, сама не очень уверенная в том, что её слова могут иметь какую-нибудь цену в его глазах, сказала сестра. Она даже удивилась, когда Фу послушно повернулся и ушёл в пещеру.

Сидя за маленьким столиком, который, так же как все в этой пещере, отзывал аптекой, Фу думал о том, что там, куда он только что смотрел, идёт ожесточённая борьба наземных войск. Утром, едва только можно будет разобрать, что творится внизу, авиацию, конечно, вызовут. Самолёты должны будут принять участие в борьбе и оберегать свои наземные части от налётов противника. С этого часа будет

особенно дорог каждый лётчик, каждый самолёт. Так неужели же кто-нибудь может лишить его права участвовать в этой борьбе, если сам он чувствует, что способен драться?..

Он пошарил по столу в поисках спичек и, не найдя их, крикнул сестре:

— Дайте огня!

— Ведь вы больной! —

проговорила девушка, пытаюсь казаться строгой.

Но Фу не обратил на её слова внимания. Он достал из планшета кисточку и на углу рапорта Чэна, где была надпись начальника штаба, пометил: «Согласен».

Заклеил лист пластырем,

оторванным тут же от катушки, которую он сам достал из шкафчика, и отдал сестре:

— В штаб!

— Больной... — начала было та.

Но он её оборвал:

— В штаб, сейчас же!

Сестра поклонилась и выбежала из пещеры.

Фу снял трубку телефона.

— «Отца»!

Соединение происходило долго. Наконец ответил командный пункт Линь Бяо.

— Попросите «Отца» к аппарату, говорит Фу Би-чен. — И когда Линь Бяо взял трубку, лётчик сказал: — Вы разрешили мне

обращаться прямо к вам, если... если будет очень трудно... — И после некоторого колебания добавил: — Меня тут сделали больным...

— Знаю, — ответил очень далёкий голос командующего.

— Я прошу разрешения итти в бой.

— Полежите денёк, там видно будет.

— Прошу разрешить... — начал было Фу, но командующий перебил:

— Это все?

— Все.

— Тогда лежите.

— Но я здоров!

— Медицина лучше знает.

Услышав в чёрном ухе трубки

какой-то треск и думая, что командующий кладёт трубку, Фу в отчаянии крикнул:

— Тогда разрешите приехать к вам!

На том конце трубки что-то пошипело, потрещало, и, наконец, снова послышался голос:

— Если вы не нужны Лао Кэ, приезжайте. Тут тоже найдётся, где полежать...

В ту ночь Чэн почти не спал. Было ещё далеко до рассвета, когда он вышел из пещеры.

Облачность поредела и к концу ночи исчезла почти совсем. Тонкие мазки прозрачной туманности,

пересекавшие потускневшие звезды, говорили о торопливом движении высоких перистых облаков. Воздух был неподвижен. Самое чуткое ухо не уловило бы теперь в степи никакого шума, кроме стрекотания насекомых. И это стрекотание то спадало до едва уловимого тоненького звона, то усиливалось на миг и снова затухало. Словно все притаилось в ожидании розоватого отсвета зари, когда все заговорит в полный голос и степь заживает жизнью загорающегося дня.

Изредка просыпался перепел. Послав в притихшую степь троекратный свист, он снова умолкал.

Как всегда, тёпел и парен был воздух, как всегда, спокойно поблёскивали бледнеющие звезды, заканчивая свой путь. Ковш Большой Медведицы уже спрятал свою ручку за гребни холмов у реки.

Некоторое время Чэн медленно бродил по лагерю. Потом остановился. Ему не хотелось ни говорить, ни даже думать. Кажется, все стало ясно. Подачей рапорта о переводе он отрезал себе путь к бою. Да, значит, завтра он уложит свой чемодан. Куда же теперь? Как определит его судьбу командование? Мысль о том, что его могут отправить обратно в тыл, мелькнула было на миг, но Чэн решительно

прогнал её.

Он стоял неподвижно, погруженный в эти невесёлые думы, когда его внимание привлёк треск, раздавшийся со стороны ближайшего аэродрома. Тёмную синеву небосвода прорвали струи голубых сверкающих линий. Они были, как стропила гигантского купола с вершиной, теряющейся где-то там, в высоте.

Это были следы трассирующих пуль. За ними следовали новые и новые — со всех сторон. То же повторилось на другой, на третьей точке. Аэродромы проснулись. Оружейники проверяли пулемёты. Сейчас займутся своим делом мотористы. Чэну едва хватит

времени, чтобы сбегать за планшетом...

И вдруг он вспомнил, что бежать некуда и незачем: у него нет самолёта. Он не примет участия в сегодняшних вылетах товарищей. Он впервые отчётливо, до конца, понял, что порвались его связи с полком, едва успев возникнуть, что он тут уже «чужой». И ему стало остро жаль покидать и полк с таким славным командиром и товарищей. Потом он вспомнил о Фу и повернул в сторону санитарной пещеры, — он решил проститься с Фу. Бывший ученик не должен был дурно думать о нем, когда его тут уже не будет.

У шалаша связистов его

перехватил взволнованный Джойс:

— Половину ночи потратил на то, чтобы найти вас, — и протянул лётчику лист приказа о назначении его временно исполняющим обязанности командира второй эскадрильи.

Не веря себе, Чэн дважды внимательно перечитал приказ.

Вбежав к связистам, он позвонил по телефону Лао Кэ и получил разрешение вылететь в бой на новом «Яке».

Из степи тянуло холодом. До знобкости свежий воздух, как в форточку, врывался через арку въезда на главную улицу, асфальтовая стрела которой прорезывала Улан-Батор из конца в конец.

Часовые у едва белевшей в темноте стены большого дома поёживались от холода. Поглядывая на медленное движение звёзд, они ждали смены.

Звяканье приклада о камень или скрип сапога переминающегося с ноги на ногу цирика были единственными звуками, нарушавшими тишину.

Далеко за полночь в темноте слышалось мягкое цоканье нескольких пар некованных конских копыт.

Топот кавалькады приблизился к самому дому и оборвался напротив подъезда. В темноте замаячило светлое пятно плаща. Цирики скрестили было штыки винтовок, но привыкшие к темноте глаза их опознали Соднома-Дорчжи.

Адъютант и Гомбо-Джап под руки ввели в подъезд пошатывающегося на онемевших ногах Хараду...

Через час собравшиеся в кабинете Соднома-Дорчжи хмуро

слушали допрашиваемого майора Хараду. Все знали, что забрасываемые теперь в МНР разведчики работали на командование расположенных в Китае американских войск. Ширма гоминдана, которой прикрывалось это командование, никого не обманывала: ни своих, ни чужих. Знали о фиктивности этой ширмы монголы, ловившие японо-гоминдановских разведчиков; знали и сами японцы-шпионы.

Содном-Дорчжи не случайно совершил головокружительное по быстроте путешествие по пустыне для встречи с Гомбо-Джапом.

Гомбо-Джап не случайно

ежедневно, ежечасно и ежеминутно рисковал жизнью, не отставая от Харады с момента его появления в конторе Паркера.

Все говорило о том, что японскому майору поручается задание большой важности. Именно поэтому Содном-Дорчжи и хотел, чтобы суть этого задания, за подготовкой которого его люди тщательно следили в Китае, стала известна его товарищам по Совету министров МНР не в его пересказе, а из самого непосредственного источника — из уст Харады.

Японец говорил вполголоса, не спеша. Его блестящие, как уголья, глазки были полуприкрыты. Они

загорались только тогда, когда в поле его зрения попадал изловивший его Гомбо-Джап.

— Прибегая к вашей снисходительности, с-с-с, — шипел японец, — я должен ещё объяснить, что, снаряжённый таким образом, я обязан был оставаться на вашей земле столько времени, сколько понадобится, не предпринимая никаких злых дел.

— Кому «понадобится»? — спросил Содном-Дорчжи.

— Посмею обратить ваше внимание на ту гребёнку, которую этот человек, — Харада движением связанных рук указал на Гомбо-Джапа, — взял у меня, с-с-с...

Содном-Дорчжи вопросительно взглянул на Гомбо-Джапа, и тот вытащил из кармана своих рваных штанов гребёнку. Это был самый дешёвый чёрный гребешок, грубо инкрустированный металлом.

Гомбо-Джап передал его Содному-Дорчжи. Тот недоуменно повертел гребешок в руках и положил перед собой.

Харада сказал:

— Если теперь ваша благосклонность обратит внимание на походное изображение Будды, взятое у меня этим же человеком, с-с-с...

Гомбо-Джап невозмутимо выложил на стол маленький

складень, крытый черным лаком. Содном-Дорчжи хотел было раскрыть крошечные резные дверцы, но сидевший рядом с ним полковник государственной безопасности поспешно отстранил его руки и сказал Хараде:

— Открой.

Японец особенно длинно и угодливо втянул воздух.

— С-с-с... ваша

благосклонность напрасно опасается этой безобидной вещи, — он отворил дверцы складня. Все увидели изображение Будды — позолоченную деревянную фигурку, сидящую на цветке лотоса. Японец поднял его над головой и с улыбкой сказал: —

Если мне будет позволено, я покажу уважаемым господам, что представляет собой это священное изображение. Можно не опасаться дурных последствий: это прекрасная американская вещь.

Полковник встал между Содномом-Дорчжи и японцем.

— Показывай, — сказал он.

— С-с-сс... это не больше как радиоприёмник. В соединении с гребёнкой он даст мне возможность открыть вам до конца, ради чего я прибыл на вашу почтенную землю. — Харада воткнул крайний зубец гребешка в отверстие на макушке Будды. — Теперь необходима тишина и ваше

милостивое внимание.

Прошло несколько мгновений. Те, кто сидел ближе к японцу, слышали слабые звуки, похожие на приглушённую радиопередачу. Харада приблизил аппарат к уху и изобразил на лице удовлетворение.

— Всякий, кто хочет, может слышать, — сказал он, передавая аппарат полковнику.

Тот послушал.

— Английский язык.

— Америка? — спросил Содном-Дорчжи.

— Нет, китайский город, — сказал Харада. — Милостиво обозреваемый вами аппарат настроен всегда на одну и ту же волну. Он

всегда слушает эту станцию.

— А зачем ему слушать эту станцию? — спросил полковник.

Харада, словно защищаясь, поднял руку к лицу.

— Чтобы получить приказ, — сказал он. — Пусть ваше милосердие не осудит меня.

И Харада рассказал ту часть плана «Будда», которая была, по его словам, ему известна. Зачем прилетит этот самолёт, что он будет делать, куда полетит потом? Ни на один из этих вопросов он не ответил.

— Значит... — задумчиво произнёс Содном-Дорчжи, — самолёт должен был прилететь после того, как станция послала бы вам эти

сигналы?

— Ваша мудрость точно уяснила смысл моих недостойных речей, с-с-с-с...

— А когда должен был прийти этот сигнал? — спросил Содном-Дорчжи, пристально глядя на японца.

— Как мне подсказывает мой ограниченный ум, даже ни один китайский генерал не мог бы ответить на этот вопрос вашего достоинства.

Содном-Дорчжи переглянулся с присутствующими.

— Допустим, что так... — сказал он японцу. — С нас достаточно и того, что вы сказали, но вы сказали не все!

Харада закрыл лицо руками и медленно закачался всем корпусом взад и вперёд. Это продолжалось, пока Содном-Дорчжи собирал со стола лежавшие перед ним бумаги. Но как только он сделал шаг прочь от стола, Харада отнял руки от лица и тихо спросил:

— Разве те интересные вещи, которые я вам доложил, не заслужили мне помилование?

— Все это было нам известно и без вас. Вы были нам интересны как живой свидетель.

Японец съёжился на своём стуле. Он умоляюще сложил руки ладонями вместе и, склонив голову, негромко произнёс:

— Мой ничтожный ум не может решить такую трудную задачу.

Содном-Дорчжи пожал плечами и направился к выходу, но, прежде чем он достиг двери, Харада крикнул:

— Милостивейший господин! Сердечное желание помочь в вашем благородном деле...

Содном-Дорчжи гневно перебил его:

— Да или нет?

— Все, что прикажет ваша мудрость.

— Если игра будет нечестной...

Японец испуганно втянул воздух.

— О, ваша мудрость!..

И он выложил всё, что знал о заговоре лам. Слушая его, Содном-Дорчжи удовлетворённо кивал головой. Это было как раз то, что начали устанавливать его органы до поимки Харады и о чём сигнализировали пастухи, вылавливавшие в степи диверсантов-лам.

Харада мог бы ещё рассказать о том, что прежде чем растянуться на своём рваном халате в монастыре Араджаргалантахит, он вынул из пояса и спрятал в щелях стены ампулы с дарами, изготовленные по рецепту господина генерала Исии Сиро. Но, глядя, как кивает головой монгольский генерал, Харада решил

смолчать: было похоже на то, что знавшие так много монголы всё-таки знали не все. И действительно, дослушав, Содном-Дорчжи сказал:

— Теперь можно идти с докладом к маршалу.

Министры последовали за покинувшим комнату Содномом-Дорчжи.

Он отсутствовал около часа. За этот час никто из оставшихся в комнате — ни Гомбо-Джап, ни адъютант, ни Харада — не проронил ни слова.

Содном-Дорчжи и полковник вернулись. Хараду увели.

— Самолёт! — сказал Содном-

Дорчжи адъютанту.

— Вылет утром?

— Нет, через полчаса. — И Содном-Дорчжи обернулся к Гомбо-Джапу. — Ты полетишь с японцем.

Гомбо-Джап молча поклонился и вопросительно посмотрел на Соднома-Дорчжи.

— Что тебе? — спросил Содном-Дорчжи.

— Как быть... с поручением насчёт наблюдения за американцем Паркером.

Содном-Дорчжи на мгновение задумался.

— Бадма там?

— Да, он за меня теперь возит рикшу американца.

— Американец не заметит перемены?

Гомбо-Джап засмеялся:

— Он не отличил бы нас друг от друга, даже если бы нас поставили рядом.

— Будет так, как я сказал.

— Хорошо, я полечу.

— Доставишь, — и Содном-Дорчжи кивком указал на место, где раньше сидел Харада, — его в Читуту. То, чего он не сказал нам, но что он, несомненно, ещё знает, поможет советским следователям разобраться в деле Ямады, Кадзицуки и других сообщников ещё не пойманного преступника Хирохито. Иди!

Гомбо-Джап повернулся чётко,

как солдат, и вышел.

Глядя ему вслед, Содном-Дорчжи негромко сказал адъютанту:

— Пусть заготовят приказ о повышении Гомбо в звание капитана. Я сам доложу маршалу.

Когда Паркер, получив экстренный вызов в токийскую ставку Макарчера, заехал проститься к генералу Баркли, тот не без сарказма сказал:

— Говорил я вам...

Паркер насторожился.

— Все-то у вас секреты, секреты... Курите, — и генерал дружески протянул ему сигареты. — Самолёт Харады оказался неисправным?

— Виновата скверная постановка авиационной службы у вас, сэр, — отпарировал Паркер.

Но Баркли сделал вид, будто не

замечает выпада.

— Я не раз наблюдал: когда люди делают что-нибудь у меня за спиною, им не везёт.

— Приму во внимание для будущего, сэр.

— И пожалеете, что не приняли во внимание в прошлом... Во всяком случае, выражаю вам своё сочувствие.

— Можно подумать, что вы уже знаете, чего они от меня хотят там, в Токио.

— Не знаю, но могу догадаться... У Мака твёрдый характер.

— Но он трезвый человек.

— Именно поэтому он может

вам спустить штаны... Хотите выпить перед дорогой?

Паркер отказался и уехал.

Сосущая под ложечкой тоска отвратительных предчувствий не исчезла и тогда, когда он вылез из самолёта на аэродроме Ацуги.

Хотя в вызове было сказано, что ему надлежит прибыть непосредственно к главнокомандующему, Паркер решил сначала показаться в Джиту. Свои парни, может быть, помогут ему вынырнуть из неприятностей. Хотя этот штабной народ обычно охотнее тянет ко дну тех, кто уже начал пускать пузыри.

Так и вышло. Самого генерала

Билоуби, который знал Паркера по прежней работе, не оказалось на месте — отдыхал в Никко. Остальные офицеры мялись.

Однако все стало ясно с первых же фраз главнокомандующего. В заключение жесточайшей головомойки Макарчер сказал:

— Для Востока вы не годитесь.

— Я давно работаю тут, сэр.

— Все ваши прежние дела, вместе взятые, не стоят того, которое вы провалили теперь.

— Кто из нас гарантирован, сэр?..

Ноздри крючковатого носа Макарчера сильно раздулись.

— Вы отлично понимаете, что

мы ставили на эту карту. — Генерал, прищурившись, уставился на Паркера. Тот старался казаться спокойным. — Какого же дьявола вы разводите тут бобы?

— Обещаю вам, сэр: устранение монгольских министров будет проведено так же чисто, как если бы их судьбою занимался сам господь-бог.

— Но ваш господь-бог уже не может дать Чан Кай-ши благовидного предлога ворваться во Внешнюю Монголию.

— Тот господь-бог, которым управляем мы, сэр, может все... рано или поздно.

— Предлог нужен мне рано, а не

поздно... Вам придётся вернуться в Европу, Паркер, и конец.

— Это действительно конец, сэр.

Тяжёлые мешки верхних век прикрыли глаза Макарчера.

— Если не опростоволоситесь там так же, как тут, для вас ещё не все потеряно... — с недоброй усмешкой сказал он. — Но держаться придётся крепко.

Заметив, как по мере его слов вытягивается физиономия Паркера, Макарчер несколько мягче сказал:

— Здесь вы нужны меньше, чем в Европе.

Все ещё надеясь, что Макарчер переменит решение, Паркер закинул

последнюю удочку:

— Не кажется ли вам, сэр, что этот Харада...

— Какой Харада?

— Я говорю о японце, попавшем в руки монголам.

— Так, так...

— Нужно ограничить его возможность болтать.

— Запоздалая заботливость, Паркер, — иронически заметил Макарчер. По его тону Паркер понял, что все его попытки оправдаться в глазах главнокомандующего не приведут ни к чему.

— Быть может, он ещё не успел...

— К сожалению, он уже успел.

— Неприятность больше, чем я думал, сэр.

— Они повезли вашего японца в Читу, а оттуда в Хабаровск. Русские там докопались до некоторых бактериологических дел наших японских друзей и, на мой взгляд, готовят нам здоровый скандал.

— Фу, чорт побери!

Макарчер отпустил его молчаливым кивком.

Паркер был уже у двери, когда за его спиной раздался голос Макарчера:

— Постойте-ка, полковник! А что бы вы сказали, если бы я попросту отправил вас в Штаты, а?

Паркер остановился как

вкопанный. Штаты?! Это конец всему. Он знает, зачем людей отсылают домой: в лучшем случае оставалось бы написать для какой-нибудь газеты «Воспоминания секретного агента», из которых вычеркнули бы малейший намёк на правду. А потом?

Он стоял с виновато опущенной головой перед сердито глядящим на него Макарчером.

— Тут, в Токио, бежал из-под надзора полиции нужный нам джап, — сказал генерал. — Боюсь, что один он может не доехать до Штатов. Я хотел, чтобы вы показали ему дорогу... Ясно?.. Впрочем, если хотите, можете отправляться ко всем

чертям!

Забыв от радости, что на нём военная форма и устав предписывает в таких случаях приложить руку к козырьку и повернуться через правое плечо, Паркер снял фуражку и поклонился Макарчеру. А тот бросил ему вслед:

— А черти находятся в Германии!.. Ясно?

— Да, сэр...

«Что ж, Германия, так Германия! — подумал Паркер. — В конце концов и в Европе можно делать дела. Конечно, не так, как в других колониях...»

Он начинал верить тому, что отделался легко, если принять во

внимание характер
главнокомандующего... Но, чорт
возьми, хотел бы он знать, кто
подложил ему эту свинью, кто
наябедничал Маку?

Паркер, посвистывая, шёл по
коридору: оставалось решить вопрос
о том, как повыгоднее закруглить
рисовые дела в Китае.

— Здорово, старина!

Паркер оглянулся: его окликнул
старый приятель — такой же, как он
сам, разведчик из Джиту. Паркер
нехотя ответил на приветствие, но
тот весело продолжал:

— Весь отдел говорит, что вы
легко отделались. Чорт вас дёрнул
затевать дела в монопольной области

Баркли!

Паркер не понял:

— Монополия Баркли?

— Ну да. Какого чорта было соваться в дела с опиумом? Мало вам риса?

Паркер свистнул. Он так и думал: свинью подложил ему Баркли.

— Но Маку-то я не стоял поперёк дороги... — растерянно проговорил он.

Приятель быстро оглянулся и, наклонившись к уху Паркера, шепнул:

— Я в этом не уверен... — И снова громко: — Легко, легко отделались, старина! А то пришлось бы вам прокатиться в Штаты в

обществе этого блошиного
фабриканта Исии...

— Исии Сиро? — удивлённо
спросил Паркер.

— Вывозим колдуна в Штаты
вместе со всеми помощниками и с
кучей подопытного материала. А то,
говорят, у наших негров слишком
толстая шкура — блохи не берут. —
Он расхохотался и хлопнул Паркера
по спине. — Счастливого пути,
старина! Привет фрицам! Не
унывайте. Говорят, в Германии тоже
можно делать дела, и вовсе не такие
плохие. Только не становитесь на
дороге хозяевам, вот и всё. Особенно
в такие моменты, когда их гонят с
насиженных мест.

— Что вы болтаете?

— Баркли уже получил приказ убраться из Тяньцзина.

— Значит, решено бросить Тяньцзин? — с беспокойством спросил Паркер, но, тут же вспомнив, что именно в этом пункте сосредоточены главные склады опиума, награбленного Баркли, обрадованно подумал: «Так ему и нужно! Не рой яму другому!»

— Это, верно, насчёт Тяньцзина? — спросил он.

— Боюсь, что тут дело пахнет не одним Тяньцзином. Я не стал бы покупать ломов и в Нанкине. Честное слово, кажется, пора сбывать с рук недвижимость. Это я

вам говорю, как друг. Впрочем, счастливчик, вас все это уже не касается, в Германии вы своё возьмёте.

— Покупать развалины?.. — с кривой усмешкой перебил Паркер.

— Ну, старина, кроме развалин, там ещё кое-что осталось. Можете вернуться в Штаты богатым человеком.

Паркер подумал, что хорошо было бы попасть в Штаты до Германии, чтобы закруглить дела с рисом, и заискивающе тронул его за рукав:

— А может быть, всё-таки устройте мне эту поездку с Исии Сиро?

— Поздно! Никто не станет просить за вас Мака.

Приятель весело помахал рукой и исчез в глубине коридора.

Паркер вышел на крыльцо и несколько мгновений бессмысленно глядел на высившийся перед ним огромный серый квадрат императорского дворца. Его мысли были уже далеко, в знакомой ему Германии.

В одной руке Сань Тин была кастрюлька, в другой — чайник. Это вынуждало её идти по узкому ходу сообщения боком. Если она задевала за стенки хода, земля осыпалась и песок набивался Сань Тин в обувь. Тогда девушка останавливалась и тщательно высыпала песок из соломенных туфель.

Слева, будто совсем рядом с траншеей, по которой шла девушка, тяжело ударили выстрелы дальнобойных пушек, стоявших за горой. Сань Тин мигнула от неожиданности и опять приостановилась. Она проследила на

слух за полётами снарядов и, подумав, что с такими частыми остановками не скоро дойдёшь до цели, зашагала дальше.

Маленькая лампочка, горевшая от самолётного аккумулятора, едва разбивала полумрак, паривший в блиндаже командующего. Тем не менее после тёмной ночи и этот свет показался Сань Тин ослепительным. Войдя, она даже зажмурилась, но сразу же заметила среди присутствующих фигуру Люя — решительно ничем не примечательного порученца командующего. Это был не очень складный человек, среднего роста, с плоским лицом. Стоило, однако,

Люю обратиться в сторону вошедшей Сань Тин, как она вспыхнула и отвернулась.

Линь Бяо протянул порученцу только что написанный листок и коротко бросил:

— Начальнику штаба.

Проводив Люя взглядом исподлобья, Сань Тин сказала, ни к кому не обращаясь:

— Свежий лук и огурцы.

— Замечательно! — добродушно сказал командующий Линь Бяо. Это был плотный, небольшого роста человек, с загорелым молодым лицом, на котором выделялись глаза — не по возрасту спокойные глаза мудреца.

— Это хорошо — огурцы! — повторил сидевший рядом с Линь Бяо худощавый генерал Пын Дэ-хуай. — Но сначала бриться!

— Бриться потом, — твёрдо сказала Сань Тин. — Рис остынет. — И стала накрывать на стол.

Время от времени она искоса, так, чтобы не заметили генералы, взглядывала на Пын Дэ-хуая. Она впервые видела прославленного заместителя главкома, но его популярность в армии была так велика, что девушке казалось, будто она уже отлично знает этого коренастого спокойного человека со строгими карими глазами и с такими

густыми-густыми, сдвинутыми к переносице бровями, каких она ещё никогда ни у кого не видывала. Эти брови придавали его и без того энергичному лицу выражение ещё большей силы.

По тону, каким в её присутствии разговаривали генералы, Сань Тин решила, что Пын Дэ-хуай, старый друг и соратник Линь Бяо, просто по пути заехал проведать её командующего. Ей не приходило в голову, что за спокойными и как будто даже малозначащими разговорами кроется большая озабоченность судьбою огромной и важнейшей операции, для наблюдения за которой Чжу Дэ и

прислал сюда своего заместителя.

Пока Линь Бяо и Пын Дэ-хуай ели, Сань Тин не стояла без дела: она полмела в крошечном отделении, служившем командующему спальней.

Линь Бяо с озабоченным видом обратился к Сань Тин:

— Как дела с прачечной? — И тут же почтительно пояснил Пын Дэ-хуаю, хотя тот ни о чём не спрашивал, с аппетитом поедая рис с луком: — Наш начальник хозяйства уверяет, будто при таком быстром наступлении чистое бельё для солдат — дело недостижимое: воды нет!

— Втолкните ему, что именно в стремительном наступлении солдату не до стирки.

— Я и хочу, чтобы девушки ему доказали: при желании можно устроить все. Даже воду достать.

— Да, — убеждённо вставила Сань Тин. — Девушек я мобилизовала — согласны в свободное время организовать показательную прачечную.

Когда командующий отодвинул пустую плоску, Сань Тин сказала Пын Дэ-хуаю:

— Вот теперь будем бриться!
Генерал рассмеялся.

— Она у вас строгая хозяйка, — сказал он Линь Бяо.

Сань Тин внесла большой чайник, обёрнутый полотенцем, приготовила все для бритья и

перевесила лампочку так, чтобы Пын Дэ-хуай видел себя в маленьком зеркальце.

За горой сухо треснули оглушительные разрывы вражеских тяжёлых снарядов, и, покрывая их, ещё громче охнули свои дальнобойки. Снаряды, шурша, прошли над блиндажом. От сотрясения зеркальце поползло по столу. Сань Тин его с трудом поймала и снова поставила перед Пын Дэ-хуаем.

Через минуту девушка скрылась в тёмном ходе сообщения...

В блиндаже все ещё было почти темно. Лампочка, притянутая

шпагатом к самому столу, освещала кусок карты и узкую, с тонкими пальцами руку командующего. Он водил неотточенным концом карандаша по зелёному клочку карты и объяснял обстановку сидевшему напротив него Фу.

Время от времени над их головами, заглушая голос командующего, раздавался вой приближающегося снаряда. Звук менялся в зависимости от калибра. Потом слышался хлёсткий удар разрыва. Это противник, нервничая, держал под обстрелом брод на реке. В строгий, словно нарочитый черёд с разрывами раздавались свирепые, беспощадно рвущие воздух выстрелы

своих гаубиц. Они стреляли через гору. За каждым таким залпом был слышен тягостный шум удаляющихся снарядов.

От близких разрывов снарядов песчинки сыпались с потолка сквозь щели наката и до странности громко стучали по зелёному полю карты. В таких случаях командующий хмурил мохнатые брови и спокойно сдувал песчинки, не прерывая разговора.

Внезапно, точно кем-то испугнутая, зенитная артиллерия подняла судорожный лай. Пушки стреляли с такой частотой, что казалось, вот-вот они захлебнутся. Но так же мгновенно, как началась эта стрельба, она и кончилась —

словно слаженный оркестр умолк по мановению дирижёрской палочки. Командующий глянул на ручные часы, отмечая начало и конец огня. С улыбкой сказал:

— Ещё год тому назад такой концерт мог устроить только господин Чан Кай-ши, а вот теперь и мы способны задавать музыку, ласкающую слух патриота.

И снова не слышно ничего, кроме грохота разрывов и мышиного шороха песчинок о карту.

— Нет, тут долго не высидишь, — сказал вдруг Фу, выпрямляясь, словно собрался уходить: — Тоска.

— Больной! — шутливо сказал

командующий и с добродушной усмешкой добавил: — Полезно и поскучать... Если уж приехали, сидите. Не так-то часто вы доставляете мне удовольствие видеть вас.

— Да, говорят «больной»... — Фу поднял руку и сжал её в кулак.

Через голову лётчика Линь Бяо увидел входящего в блиндаж Пын Дэ-хуая, отложил карандаш и поднялся. Фу обернулся и, увидев заместителя главкома Народно-освободительной армии, тоже поспешно поднялся и одёрнул на себе куртку.

Пын Дэ-хуай, прищурившись, поочерёдно оглядел обоих.

— Вот, прошу, — с улыбкой

сказал Линь Бяо, указывая на Фу, — оказывается, с другими справляться легче, чем с самим собой.

— В молодости безусловно! — согласился Пын Дэ-хуай. И, снова посмотрев на Фу, строго спросил: — Ваши сегодня начинают?

— Да, большое дело будет, — с удовольствием подтвердил Линь Бяо. — Сегодня на них весь Китай смотрит.

— Мои товарищи открывают бой, а я не с ними... — сказал Фу. — Это первый бой в истории нашей молодой авиации, когда от неё так много зависит.

Фу была невыносима мысль: товарищи пойдут в бой без него. К

тому же его грызло сомнение, о котором не знали ни Линь Бяо, ни Пын Дэ-хуай: ведь Чэн поведёт сегодня вторую эскадрилью. Что из этого выйдет? Фу был совершенно уверен: в роли рядового лётчика Чэн мог забыться, вырваться вперёд, но теперь, когда он ведёт эскадрилью и отвечает за всех товарищей, когда он знает, как много зависит от сегодняшнего боя, Чэн не сможет хотя бы на миг забыть лежащей на нём ответственности. Он должен будет помнить: от его примера, от его дисциплинированности, от его умения и желания в любой миг стать на защиту товарища будет зависеть и поведение остальных лётчиков, их

участь, их жизнь, судьба боевого задания. И разве в конце концов не следовало ещё раз попытаться подчинить Чэна воле коллектива, которую он не сможет не чувствовать в бою, когда за каждым его движением будут следить глаза всех его подчинённых?

Фу нервно поднялся и посмотрел на часы, но Линь Бяо движением руки усадил его на место.

— У меня тут свои часы, — сказал он, указывая на узкую полоску смотровой щели: она была теперь окрашена розовым отсветом зари... — Как вы поступили с этим вашим новым... Кажется, Чэном зовут его?

Фу доложил.

Внимательно слушавший его Пын Дэ-хуай спросил:

— Как же это?.. — Он снял, протёр очки и снова надел. — А если этот Чэн опять оторвётся от своих? Ведь он им все карты спутает...

— Теперь этого не будет!

— Значит, воспитательная работа?.. — Линь Бяо задумчиво покачал головой. — Что же, это наше с вами дело, командирское. Я хочу сказать: благодаря Чэну мы увидели, что нужно внимательно заняться теми, кто не научился на лету схватывать новое. Теперь я считаю: вы обязаны удержать у себя Чэна, «доучить» его. Тогда, вернувшись когда-нибудь в тыл, он будет

передавать свой опыт и другим.

— А если к тому времени или просто в условиях другой войны жизнь перевернёт вверх ногами и наш здешний опыт и, может быть, заставит вернуться к прежним теориям? — спросил Фу Би-чен.

Пын Дэ-хуай сделал отрицательный знак.

— Нет, жизнь не пятится и не движется по замкнутому кругу. Однажды уйдя от старых теорий, мы уже не вернёмся к ним. Но вы правы, жизнь может сломать то, что мы тут почерпнули и из чего сделали свои выводы. Даже больше: наверняка сломает. Именно потому, что не стоит на месте. Но наш опыт,

почерпнутый тут, так же как наши выводы, сделанные из этого опыта, не пропадут. Наши преемники сделают новые выводы, рассмотрят наш опыт, как пройденный и отвергнутый или как составную часть новой теории, нового указания к действию. С моей точки зрения, чрезвычайно важно, даже, пожалуй, необходимо, чтобы некоторые командиры, вернувшись отсюда, с войны, пошли в школы.

— Опять учиться?! — воскликнул Линь Бяо.

— Нет, учить!.. А нам самим нужно переучиваться здесь. Американцы останутся американцами, нам ещё придётся с

ними встретиться в бою.

Фу несколько раз хотелось вставить слово, но он не смел перебивать старших и только теперь сказал:

— Может быть, я ошибаюсь и чересчур узко смотрю на свою задачу, но мне кажется, что я должен добиться, чтобы каждый лётчик до конца понял: победа зависит от его гибкости в такой же мере, как от его храбрости и лётного мастерства.

— Это верно, — сказал Пын Дэ-хуай. — Советую наизусть запомнить, как помню я, слова товарища Сталина: «Смелость и отвага — это только одна сторона героизма. Другая сторона — не

менее важная — это умение. Смелость, говорят, города берет. Но это только тогда, когда смелость, отвага, готовность к риску сочетается с отличными знаниями».

— Да, — горячо подхватил Фу, — а знания — это не только то, что преподнесено нам учителями, а и весь большой опыт жизни. Так я считаю. Поэтому и воинская доблесть лётчика складывается, по моему, из трех элементов: храбрости, мастерства и опыта.

— Смотрите! — шутливо проговорил Линь Бяо. — Он уже и новую формулу доблести изобрёл.

— Ничего, — ободряюще сказал Пын Дэ-хуай, кладя руку на плечо

Фу. — Думайте и формулы изобретайте... только правильные.

А Линь Бяо сказал лётчику:

— Вот вы уже вывели теорию отставания школы от жизни. — Командующий посмотрел на Фу так, словно видел его впервые. — А сами-то вы откуда пришли сюда, не из школы? Самого-то вас где сделали человеком — не в школе? Школа, именно хорошая военная школа сделала из вас то, что вы собою представляете: хорошего лётчика и командира.

— Хорошим-то командиром он стал давно, — заметил Пын Дэ-хуай, — я помню лет... лет... — И спросил Фу: — Сколько лет тому

назад вы явились ко мне желторотым студентом, намеревавшимся покорить небо над Китаем?

— Двадцать лет тому назад, — смущённо ответил Фу.

— И, наверно, думали, что уже никогда не подниметесь в воздух, когда партия приказала вам стать пехотинцем?.. Но скажите спасибо партии и пехоте... Нет лучшей военной школы, чем служба в пехоте, — продолжал Пын Дэ-хуай. — Мы с Линь Бяо тоже долго учились ногами. Да, да, ноги и голова сделали вас хорошим солдатом и отличным командиром.

— Нечего краснеть — не девица! — с усмешкой сказал Линь

Бяо лётчику. — Я тоже так думаю. А то, что кажется вам оторванными от жизни теориями, на деле является совершенно необходимой базой для усвоения опыта. Если из-под вас выбить эту теорию, что вы сможете понять в виденном здесь?! Сидите! — прикрикнул он вдруг, заметив, как Фу нетерпеливо подался всем телом вперёд при его последних словах. — Человек есть человек. У него в голове не солома, а мозги. Если под влиянием каких-то причин они пошли в сторону, взгляните, поверните их, куда надо. Вы командир и над своими мозгами.

Пын Дэ-хуай постучал очками по стоявшей на столе пустой кружке,

словно напоминая командующему о регламенте. Но тот уже умолк и сам.

— Ваше дело проанализировать поступок этого Чэна, — отдельно проговорил Пын Дэ-хуай, обращаясь к Фу. — Уясните себе степень его типичности или случайности и сделайте все выводы, какие должен сделать командир и член партии. — Тут Пын Дэ-хуай на мгновение задумался, словно что-то вспоминая: — Итак, как сказано, Чэн был когда-то вашим инструктором, и именно он настоял на вашем отчислении из нашей школы лётчиков, когда вы проходили там переобучение... Ведь учились вы летать в Америке?

— Да.

— А когда вас отчислили из нашей школы, где же вы закончили обучение? Ведь у нас тогда ещё не было других школ.

— Партия послала меня усовершенствоваться в Советский Союз, я там и учился.

— Остальное ясно, — с удовлетворением сказал генерал. — Тогда мне понятно и превосходство вашего метода над методом лётчика Чэна, обучавшегося только в Америке и воспринявшего американские навыки... Все понятно. — И, обращаясь к Линь Бяо: — И это нам тоже следует принять во внимание на будущее время.

— Это очень интересное

обстоятельство, — ответил Линь Бяо, — настолько интересное, что, может быть, о нем следует доложить главнокомандующему Чжу Дэ...

— Быть может, — ответил Пын Дэ-хуай. — Ибо сказано: полководец — это мудрость, беспристрастность, гуманность, мужество, строгость. А мудрость не может жить без опыта, как опыт без познания окружающего. — И тут он снова обратился к Фу: — Мы с вами обязаны знать наших людей так, как врач знает своего пациента. Для нас не должно быть тайн ни в уме, ни в душе подчинённого. Таков закон войны, дорогой Фу.

— Командир Лао Кэ именно так

и думает, — скромно ответил Фу.

— Это очень хорошо, — сказал Пын Дэ-хуай, — но это ещё не все, чего требует от военачальника положение: если знаешь врага и себя, сражайся хоть сто раз, опасности не будет; если знаешь себя, а его не знаешь, один раз победишь, другой раз потерпишь поражение; если не знаешь ни себя, ни его, каждый раз, когда будешь сражаться, будешь терпеть поражение... Я хочу вам сказать, товарищ Фу: мы не должны сами себя вводить в заблуждение неосновательными мыслями, будто, прогнав Чан Кай-ши до берега моря и сбросив его в это море, окончим дело войны. Конец Чан Кай-ши —

только пауза в деле освобождения
нашего великого отечества от пут
реакции и иностранного
империализма. Мудрость нашего
великого председателя Мао
обеспечит нам правильное
использование такой паузы для
укрепления наших сил и позиций. Но
вопросы войны и мира не будут ещё
решены окончательно, пока не
наступит такое положение, когда не
нам будут диктовать или навязывать
решения о войне и мире, а мы будем
решать эти вопросы и диктовать
волю нашего народа тем, кто обязан
ей подчиняться — пришельцам,
явившимся в Китай для обогащения
за наш счёт, для ограбления народа и

обращения его в рабство. Не только изгнание их с нашей земли, но и внушение им страха перед силою нашего оружия — вот что позволит обуздать их. А для достижения такой большой цели нам предстоит пройти ещё длинный и не лёгкий путь.

— Вы полагаете, что за войной с внутренней реакцией в Китае должна ещё последовать война с иноземными друзьями и хозяевами этой реакции — американцами? — спросил Фу.

— Не обязательно должно так случиться, — в задумчивости ответил Пын Дэ-хуай, — но мы должны подготовить себя к такой возможности. Величайшие

полководцы древности говорили: «Самая лучшая война — разбить замыслы противника; на следующем месте — разбить его союзы; на следующем месте — разбить его войска». Довершая последнее из этих положений, мы тем самым решаем, вероятно, и второе. Чан Кай-ши без армии и без тыла не будет нужен американцам. Останется решить первое положение: разбить замыслы захватчиков. Я уверен: мудрость председателя Мао и опыт главкома Чжу Дэ приведут нас к цели.

— Путём войны? — спросил Фу.

— Не знаю... Может быть. Но

могу с твёрдостью повторить слова Сунь Цзы, сказанные двадцать пять

веков назад: «Тот, кто не понимает до конца всего вреда войны, не может понять до конца и всю выгоду войны». Американцы понимают только её выгоду, не понимая вреда. Значит...

— Значит, они будут побеждены! — решительно досказал Линь Бяо. — Если товарищ Пын разрешит мне...

Пын Дэ-хуай согласно кивнул головой, и Линь Бяо продолжал:

— ...Я тоже позволю себе вспомнить некоторые положения мудрости нашего народа, имеющие непосредственное отношение ко всей нашей армии в целом и к тому прекрасному роду оружия, в рядах

которого вы теперь сражаетесь, товарищ Фу. — И, на минуту задумавшись, процитировал: — «То, что позволяет быстроте бурного потока нести на себе камни, есть его мощь. То, что позволяет быстроте птицы поразить свою жертву, есть рассчитанность удара. Поэтому у того, кто хорошо сражается, мощь стремительна, рассчитанность коротка. Мощь — это натягивание лука, рассчитанность удара — спуск стрелы». Мне хотелось бы, товарищ Фу, чтобы вы повторили эти слова лётчику Чэну. Можете добавить: «Удар войска подобен тому, как если бы ударили камнем по яйцу». Может ли истребитель-одиночка быть

камнем, а эскадрилья яйцом? Пусть он об этом подумает.

— Позвольте мне выразить уверенность, — ответил Фу, — что лётчик Чэн уже понял многое. Сегодня, надеюсь, он докажет это. Я в нём уверен. Как говорят русские, «чувство локтя» будет его шестым чувством, а в бою первым.

— Только смотрите, чтобы, выгибая его волю по своему желанию, как гнут бамбук для изделия, вы не согнули её больше чем следует. Воля к встрече с врагом — вот первое качество всякого бойца на земле и в воздухе.

— Непобедимость может крыться в обороне, но возможность

победить — это наступление, —
ответил Фу.

— Правильно сказано, Фу! — с
нескрываемым удовольствием
проговорил Пын Дэ-хуай.

Тут в дверь несмело просунулась
голова Сань Тин.

— Позвольте давать чай?

— Непременно! — весело
крикнул Линь Бяо. — Тут без чая не
обойтись. И дайте гостям ваши
прекрасные лепёшки, Сань Тин.

Темнота за смотровой щелью
блиндажа исчезла, уступив место
розовому свету, быстро
растекавшемуся по всему небосводу.

Внезапно стремительно
нарастающий гул многочисленных,

низко летящих самолётов потряс воздух над горой.

— Лао Кэ! — крикнул Фу, бросаясь к смотровой щели.

— Молодец! — удовлетворённо проговорил Линь Бяо. — Словно из-под земли вырвался. Теперь авиация противника не успеет подняться — Лао Кэ пришьёт её к аэродромам.

— Да, уж Лао Кэ! — в восхищении воскликнул Фу. — Он им даст.

Из хода сообщения донёсся торопливый говорок телефониста:

— Товарищ командующий!.. Наблюдательный доносит: противник в воздухе.

— Не может этого быть!..

Пускай проверят! — сердито крикнул Линь Бяо.

— Противник действительно в воздухе, — проговорил Фу, глядя в щель.

Линь Бяо мельком глянул и разочарованно произнёс:

— Значит, сами поднялись на задание раньше, чем подошёл Лао Кэ. Жаль...

Но Фу его не слушал. Просунув стереотрубу в щель, он, не отрываясь, следил за сближающимися самолётами.

— Сошлись!

Линь Бяо прильнул к трубе и стал крутить кремальерку, чтобы не упустить из поля зрения быстро

двигавшийся в розовом небе рой своих истребителей. И больше для самого себя, чем для присутствующих, пробормотал:

— И всё-таки он загонит их обратно в Цзиньчжоу.

Лао Кэ действительно не застал противника на аэродромах. Очевидно, гоминдановцы сами вылетели с таким же намерением: приковать народную авиацию к земле. Лао Кэ, рассчитывавший пройти над вражеским расположением так, чтобы его появление было полной неожиданностью для авиации, встретил её в воздухе тотчас по

переходе пехотных позиций.

Теперь задачей Лао Кэ было навязать противнику бой и, как всегда, провести его над своим расположением. Навалившись на врагов всей частью, Лао Кэ не давал им опомниться. Они были вынуждены принять бой. Тогда Лао Кэ стал уводить своих из боя со всею стремительностью, какая была доступна его самолётам. Этот манёвр был повторён два или три раза, пока весь рой сражающихся не был оттянут на свою сторону.

Следя за сигналами Лао Кэ, Чэн вёл свою эскадрилью правой ведомой и старался чётко и быстро повторять манёвры командира. Где-

то далеко, на задворках сознания, мелькало иногда искушение положить пальцы на сектор, прибавить обороты, вырваться над головою противника так, чтобы он не успел опомниться от неожиданности, и «дать хорошего огня» командирскому звену врага. Но он хорошо помнил недавно полученный урок.

Когда Чэн, оторвав взгляд от самолёта Лао Кэ, по установившейся привычке оглядел небосвод, он увидел, как из облака вывалился клубок серых американских машин с задранными хвостами. Очевидно, резерв вражеского командира наблюдал, как обычно, бой сверху и

теперь решил клюнуть лётчиков НОА в тот момент, когда они этого меньше всего ожидали.

Чэн видел, что американские самолёты пикировали между звеном Лао Кэ и остальными. Гоминдановцы и американцы, очевидно, намеревались разбить строй и отсечь Лао Кэ от его ведомых.

«Неужели командир не видит?» — пронеслось в голове Чэна. И тут же он уверенно ответил сам себе: «Увидит!» Однако через одну-две секунды эта уверенность сменилась беспокойством. Чем дальше, тем беспокойство делалось сильнее: вся масса вражеских истребителей,

получивших, вероятно, соответствующий приказ по радио от своего командира, пошла в бой с ведомыми эскадрильями Народной армии. Вынырнувший из облака вражеский резерв, подкреплённый ещё новыми звеньями, используя превышение, продолжал нажимать на Лао Кэ. Происходило одно из двух: либо Лао Кэ не видел верхних вражеских самолётов и тогда рисковал очутиться под их огнём, либо он знал о положении вещей и сознательно привлекал к себе внимание врага, чтобы не дать ему ввязаться в бой со всем полком. В таком случае перед Лао Кэ открывалась перспектива драться с

противником, по крайней мере вчетверо превосходящим его численностью.

Пока Чэн в течение нескольких секунд бесплодно пытался по каким-нибудь признакам в поведении командирского самолёта решить эту задачу, враги уже зашли в тыл Лао Кэ. Их основные силы обволокли первую эскадрилью, не давая ей ходу в сторону командирского звена. Ещё в прошлом боевом вылете, очутись он в подобном же положении, Чэн безусловно пришёл бы к решению, определявшему его личный, одиночный манёвр. Но сегодня, думая о себе, он уже отождествлял себя с теми, кто шёл за ним, — со

своими товарищами, с лётчиками своей эскадрильи. И поэтому всего доля секунды понадобилась ему на то, чтобы приказать второй эскадрилье следовать за ним. Если бы рёв его собственного мотора не заглушал для него всех звуков вселенной, Чэн услышал бы, как одновременно с движением его сектора увеличилось число оборотов на всех моторах его эскадрильи. На фоне облаков, висящих над горизонтом, он увидел, как все его машины, повторяя его манёвр, ложатся в вираж. Чэн скользнул взглядом по окутанной роем врагов первой эскадрилье и за нею увидел самолёт Лао Кэ. К удивлению Чэна,

командир продолжал вести себя так, будто до сих пор не подозревал о присутствии противника у себя в тылу. С этого мгновения все мысли и чувства Чэна были сосредоточены на одном: пристроиться в хвост самолёту Лао Кэ раньше противника. У врагов было преимущество: они выходили в желаемое положение с большого запаса высоты и могли использовать для манёвра скорость своего снижения, а Чэну нужно было предупредить их, проделывая манёвр с набором высоты. Рука Чэна, казалось, сама, без участия сознания, жала на сектор до тех пор, пока стрелка тахометра не подошла к максимальным оборотам, на какие

был способен мотор. На таком режиме он мог работать очень короткое время. Но мотор должен был выдать теперь всё, что было вложено в него конструктором и строителями.

Наконец Чэн почувствовал по вибрации самолёта, который должен был вот-вот провиснуть и отказаться слушаться управления, что от мотора взято все. Лётчик бросил короткий взгляд на своих ведомых и, убедившись, что все следуют за ним, вздохнул легко и свободно. Через секунду его эскадрилья с рёвом и стремительностью смерча врезалась в узкий промежуток, оставшийся между звеном Лао Кэ и

настигавшими его врагами. Хвосты своих были прикрыты. Дальше все пошло, как по расписанию. Через короткий миг, едва ли достаточный, чтобы стороннему наблюдателю осознать происходящее, звено Лао Кэ вырвалось вверх и повисло над головами неприятеля. Началась настоящая карусель.

В стереотрубе командующего эта карусель выглядела тучею комаров, которые бестолково метались в луче солнечного света. Даже опытные наблюдатели едва улавливали быструю смену положений дерущихся и с трудом связывали это в нечто объяснимое.

После неудавшегося первого

захода в тыл вражескому подразделению Чэн вывел своих на второй заход и с удовлетворением положил палец на спуск. Он был почти уверен, что именно намеченный им самолёт, который был теперь в его прицеле, должен загореться от его очереди. Он бровью не повёл, когда после его короткой очереди из-под брюха вражеского самолёта действительно брызнула струя дыма. Сначала дым вырвался тонкой, стремительной струйкой, начисто сбитой потоком воздуха. Тотчас за нею последовало густое чёрное облачко, растянувшееся в длинный траурный шлейф. От двойного переворота, которым

лётчик бесполезно пытался спастись от гибели, дымный шлейф замотался вокруг его машины, и самолёт исчез в сплошном чёрном облаке.

Чэну было некогда следить за вражеским самолётом: в поле его зрения был «Як» Лао Кэ. От него только что, на глазах Чэна, отвалился густо задымивший и перешедший в беспорядочное падение истребитель противника. И именно в этот момент Чэн вдруг почувствовал, как его собственная машина забилась, сотрясаемая беспорядочными рывками. Мысль об аварии винта или мотора раскалённой стрелой пронзила мозг. Но, как почти всегда бывает в таких случаях, на смену

этой первой мысли тотчас появилась надежда: вот он сейчас что-то сделает — на миг выключит контакт, и когда снова включит его, все будет в полном порядке — мотор загудит привычным ровным гулом. И Чэн машинально выключил зажигание, но когда он снова поднял кнопку контакта, мотор не включился.

Ещё попытка у ещё — напрасно... Самолёт превратился в простой планёр, отягощённый на носу тонной бесполезной стали.

Чэн уже не успел ответить на вопрос, заданный самому себе: «Выходить из боя?». Он всем телом, как если бы удары приходились по нему самому, почувствовал, как «Як»

вздрагивает от хлещущей по нему новой очереди. В тишине, показавшейся после остановки мотора могильным молчанием, Чэн отчётливо слышал, а может быть, все ещё только ощущал всеми нервами звон секущих пуль. Их удары отдавались в голове, словно по ней били чем-то твёрдым и звенящим. Впрочем, в следующее мгновение он с трудом сообразил, что это ему вовсе не чудится, — удар действительно пришёлся ему по голове, и из-под шлема сочилась на лоб тёплая кровь.

Чэн сделал усилие, чтобы оттолкнуть со лба шлем, огненным кольцом сжимавший голову. Но

застёжка под подбородком не поддавалась, и шлем все плотнее и горячее стискивал череп. Пытаясь напряжением воли удержать ускользающее сознание, Чэн смутно понял, что машину спасти уже не удастся. Это было последнее, что он воспринял перед тем, как мерзкое ощущение тошноты подкатило к горлу...

— Лао Кэ! — вырвалось у Фу, внимательно следившего за снижением «Яка». Он старался убедить себя в том, что это не беспорядочное падение машины, не управляемой волею человека, а всего только хитрость Лао Кэ. До боли в

пальцах, до дрожи в руке стискивая стереотрубу, Фу ждал, что вот сейчас, в следующую секунду, Лао Кэ выправит машину, включит мотор и...

Прошла секунда, другая, третья, а «Як» продолжал своё безвольное падение. Было очевидно: никто не брал в руки её управления.

Неужели некому его взять?..

Что с Лао Кэ?

Командир не может быть мёртв — тогда он не выключил бы мотор.

Ранен?

Неужели у Лао Кэ нехватает сил дотронуться пальцем до контакта зажигания? Немножко сил, чтобы взяться за управление! Ведь дальше

рука сама проделает все привычные движения, необходимые, чтобы вывести легкокрылый «Як» в правильный полет. Машина так легка, так послушна.

Одно маленькое усилие, друг!.. Маленькое усилие — и ты посадишь её, как всегда...

Фу больше всего в жизни хотелось быть сейчас там, возле своего друга, напарника, командира: одному «я» быть там, где второе...

Чэн, придя в себя, определил характер падения своего самолёта. Сделав несколько порывистых произвольных движений хвостом, «Як» нерешительно перешёл в

правильный неторопливый штопор. Преодолевая все ещё подкатывавшую к горлу тошноту, лётчик взялся за управление и убедился в его исправности: действовали рули и элероны. Он думал теперь только о том, чтобы благополучно посадить самолёт. Лётчик без труда вывел послушный самолёт из штопора и, переведя его в пологое планирование — такое, чтобы машина только-только не проваливалась, внимательно взгляделся в землю. До неё было уже рукою подать. Впереди и немного влево виднелось ровное место, поразившее Чэна свежей зеленью колыхавшейся там высокой сочной травы. Чэн чуть тронул от

себя ручку и легонько нажал педаль. Чэн знал: высокая трава хорошо затормозит машину на пробеге — посадка будет, как на смотру!

Но тут Чэну почудилось, что в просветах травы что-то блеснуло. Через секунду он был уже уверен: вода!

Под ним было болото.

Но прежде чем он мог что-либо предпринять на дотягивающей последние метры машине, он почувствовал, как по брюху «Яка» стегают высокие, крепкие, как хлысты, стебли. Стена брызг, поднятая колёсами, коснувшимися воды, застлала козырёк, обдала фонтанами всю машину.

У Чэна блеснула было надежда, что машина, по инерции преодолев болото, остановится у противоположного берега, отчётливо желтевшего впереди краями обнаженной глины. Но высокая крепкая трава и вола задержали машину. «Як» остановился в самой середине болота.

Едва Чэн успел отстегнуть парашют и расправить затёкшие ноги, собираясь вылезти из машины, как увидел, что стебли окружающей травы показались у самого его лица, вровень с краем кабины. Он с удивлением взглянул на борт: машина погружалась в болото. Он понял, что намерение выбраться на

берег нужно оставить. «А что же делать?» От неосторожного усилия тупая боль в спине заставила Чэна опустить руки, и в голове снова зазвучал мучительно громкий звон. Прошло много времени, прежде чем Чэн смог осторожно, не напрягая спину, выбраться на фюзеляж. Но единственное, что он увидел отсюда, было все то же болото и дальний берег овражка, загораживавший горизонт с той стороны, где были свои.

Чэн вытащил карту из планшета: место его посадки было вдали от всяких дорог, далеко за правым флангом народных войск...

Фу видел, как «Як» перешёл в штопор и скрылся за бугром, далеко на правом фланге.

— Лао Кэ! — прошептал Фу, отрываясь от щели. Он и не заметил, что командующий давно покинул блиндаж. Отправившись на его поиски, Фу обнаружил его на наблюдательном пункте.

— Прошу разрешения взять ваш самолёт, — сказал Фу.

— Зачем?

— Я должен быть в части, командир выбыл из строя.

— Отправляйтесь! — проговорил командующий.

Фу добежал до поворота хода сообщения, как вдруг остановился,

ухватившись за стенку: прямо навстречу ему торопливо шагал... Лао Кэ! Фу не мог ошибиться, хотя, может быть, кто-нибудь другой и не сразу узнал бы Лао Кэ в этом испачканном маслом и копотью человеке, на котором клочьями висели остатки одежды.

— Живой?! — воскликнул Фу.

И нельзя было понять: вопрос это или категорическое утверждение для самого себя.

Лао Кэ усмехнулся и совершенно спокойно проговорил:

— А то какой же?

Фу схватил друга за плечи и потряс.

— Что с вами? — с искренним

удивлением спросил командир, не понимавший причины такого восторга.

— Я же своими глазами видел, как вы только что упали.

— Я?

— «Як» штопорил до самой земли!

— Ах, вот вы о чём!.. Это там, за бугром, у болота?

— Ну да!

— Это Чэн! Если бы не он, моё звено смяли бы. Противнику больше всего хотелось обезглавить полк. И тогда неизвестно, что ещё вышло бы из всего дела. Однако, — перебил он сам себя, — нужно поскорее подать ему помощь... — Лао Кэ вынул

карту. — Я видел, где он воткнулся в болото...

Несколько мгновений Фу, колеблясь, глядел на голубое пятно, испещрённое на карте косыми частыми штрихами.

— И вы думаете, что он дел? — спросил он.

— Я отчётливо видел, что он выправил машину и посадил её.

— А где ваш «Як»?

— Тут, под горой, возле ямы, где спрятан самолёт командующего.

Фу быстро огляделся, словно боясь, что его могут подслушать, и полушопотом сказал:

— Я возьму её, слетаю на болото, а?

Но Лао Кэ молча показал на своё лицо и одежду.

— Масляный бак? — спросил Фу.

— Нет...

И командир рассказал: осколок вражеского снаряда, не перебив маслопровода, только вдавил трубку так, что масло пошло через суфлёр и залило всю кабину, пока Лао Кэ выбирал место для посадки. Пройдёт немало времени, пока заменят помятый маслопровод и проверят исправность мотора, работавшего некоторое время почти без подачи масла.

...Лёжа на крыле своего «Яка»,

Чэн следил за тем, как заканчивался бой полка, как самолёты дружной стаей прошли на юго-запад и исчезли в волнующейся дымке, поднимавшейся от нагретой земли. Вместе с ними исчезла для Чэна и надежда на спасение, но для него это уже почти не имело значения. Надо всем главенствовала радостная мысль о том, что полк выполнил задание — воздух над полем сражения за выход в Северный Китай был очищен от американско-гоминдановской авиации. Теперь Лао Кэ запрет её на её же аэродромах, и войска Дунбейской армии погонят банды Чан Кай-ши на юг, чтобы выйти к Ляодунскому заливу и к

Великой стене и повиснуть угрозой над линией обороны гоминдановцев Калган-Бейпин-Тяньцзин. Закрыв глаза, Чэн мысленно рисовал себе картину начавшегося сегодня разгрома гоминдановской группировки старого разбойника.

От нестерпимой жары все больше трещала голова. Попытка снять шлем вызвала новое кровотечение из запёкшейся было раны. Чэн не решался больше трогать его, хотя шлем давил голову нестерпимо.

Руки и лицо Чэна совершенно почернели от облепивших его комаров. Чэну вспомнились его собственные насмешки над словами

Мэй о комарах как биче лётчиков. У него не было сил сгонять их, да это было и бесполезно: вместо прежних на испачканные кровью руки и лицо тотчас устремлялись легионы новых.

Чэн сделал попытку, несмотря на головокружение, добраться до берега. Но едва он спустился с самолёта, как должен был тотчас же взобраться обратно: под ногами была такая топь, что он неизбежно погрузился бы в неё с головою, прежде чем успел бы сделать два шага. Выбор оставался небольшой: утонуть в трясине или умереть от солнечного удара...

Инстинкт заставлял Чэна цепляться за крыло. Все же это было

крыло его родного самолёта. И вот он лежал тут, и тягучие, все более медленные и трудные думы текли в его мозгу, казалось кипевшем под лучами беспощадного солнца. Это были мысли о Мэй и о Джойсе, о Фу Би-чене и о строгом командире Лао Кэ; мысли о школе, любви и боях. Стоило Чэну сомкнуть веки, и на огненном фоне рядом с образом Мэй неизбежно возникало лицо негра. Мешалось все: дружба, любовь, ошибки, победа... Мысль о победе всплывала надо всеми другими: победа, победа... Победа?

Чтобы не видеть раскалённого добела неба, Чэн перевернулся на живот. Он попытался спрятать лицо в

воротник куртки, но комары тотчас набились туда. Они проникали под одежду, яростно кусали за ушами, шею, спину. Чэну чудилось, что все тело его горит от укусов раскалённых иголок и череп распирает тесный шлем.

Он с усилием вернулся мыслями к товарищам, к полку. Перед ним встала широкая улыбка Лао Кэ, его сверкающие белизною зубы; проплыл перед глазами непослушный вихор Фу Би-чена.

...Сань Тин вошла в блиндаж и подняла циновку, чтобы сделать сквозняк: в земляном углублении нечем было дышать. Солнце стояло

высоко и словно вовсе не собиралось уходить с небосклона.

Сань Тин отёрла лицо и, тряхнув головой, принялась накрывать на стол. Потом принесла большой чайник с трубой, наполненной горячими углями. Командующий любил крепкий, свежезаваренный чай.

Сань Тин приподняла крышечку и заботливо понюхала пар. Кажется, все обстояло благополучно. Она высунулась из блиндажа и приветливо сказала, словно принимая гостей:

— Чай пить!

— Когда-нибудь, — сказал Линь Бяо, — весь мир поймёт, что в жару

нужно брать горячую ванну, а не обливаться холодной водой, пить кипящий чай, а не глотать толчёный лёд, как это делают дикари янки, — и потянулся за налитой для него чашкой.

Ловко держа её на растопыренных пальцах, он маленькими глотками отхлёбывал ароматную зеленоватую жидкость, и мохнатые брови его сильно двигались в такт глоткам.

В блиндаж вошёл ординарец.

— Генералу Пын Дэ-хуаю! — доложил он, протягивая пакет.

Пын Дэ-хуай отошёл от стереотрубы и, распечатав длинный узкий конверт, стал быстро

просматривать бумагу. Линь Бяо отставил недопитую чашку и напряжённо наблюдал за выражением лица генерала, будто пытаясь по нему угадать содержание донесения.

— Самое важное, — спокойно проговорил Пын Дэ-хуай, закончив чтение, — что авиация Чан Кай-ши больше не принимает участия в обороне Цзиньчжоу...

— Значит, маньчжурскую пробку мы заткнём накрепко.

— И второе: Фан Юй-тан выступил.

— А-а, господин католик, наконец, решился! — смеясь, сказал Линь Бяо.

— Его дивизии ударили от Калгана во фланг Янь Ши-фану.

— Эти два толстяка ненавидят друг друга. Сцепившись, они уже не разойдутся, пока один из них не падёт. А мы поможем пасть изменнику Яню.

— Что же, — подумав, проговорил Пын Дэ-хуай, — можете двигаться и вы.

Вместо ответа Линь Бяо молча перекинул через голову ремень большого маузера.

— Вам выпала большая честь, Линь Бяо, — сказал Пын Дэ-хуай. — Сегодня начинается конец Чан Кай-ши. И этот удар наносят ваши солдаты.

— С именем партии и
председателя Мао!

Фу сделал над болотом два
круга, далеко высунув за борт голову,
чтобы хорошенько разглядеть
лежавший посредине болота самолёт.
Он видел распластанного на его
крыле Чэна. Шум мотора должен
был бы разогнать самый крепкий
сон, но Чэн не шевелился. Посадив
самолёт, Фу поставил сектор на
малые обороты и пошёл к воде.
Сложив руки рупором, он покричал,
но Чэн не отозвался. Фу постоял в
раздумье и медленно зашагал
обратно к самолёту.

Солнце уже давно перешло зенит, когда над озером снова послышалось стрекотанье мотора. На этот раз из подрулившего к озеру учебного самолёта следом за Фу вылез Джойс. Они оба покричали с берега, но опять не получили ответа. Они сели на берету и молча закурили. Время от времени Фу поглядывал на часы, поднимая взгляд к солнцу, и мерил путь, оставшийся багровому диску до горизонта.

— Я так и знал: санитарному автомобилю сюда не пройти, — сказал он.

— Ему не перебраться через то второе болото. А объезжать — это до завтра, — согласился Джойс. —

Такое положение вещей нас не устраивает.

— А ещё больше его, — с горькой усмешкой сказал Фу, движением головы указав на Чэна.

— Тогда мы не должны больше ждать санитарный автомобиль, — сказал Джойс: — в нашем распоряжении мало времени.

Фу молча поднялся и пошёл к самолёту. Джойс помог ему выгрузить надувную резиновую лодку.

...Солнцу оставалось уже пройти совсем короткий путь до горизонта. От высокой травы озера на берег ложились длинные тени.

Тяжело ступая с Чэном на плече, Джойс приближался к своему самолёту. На примятой траве оставались мокрые следы. Его одежда тоже была мокрой.

Остановившись возле самолёта, Джойс осторожно снял со своей шеи руку Чэна. Вдвоём с Фу они бережно положили Чэна в заднюю кабину.

Негр отряхнулся, сбрасывая с себя налипшую траву и грязь. Глядя на него, Фу усмехнулся.

Только когда они выкурили по папиросе, Джойс сказал:

— Втроём мы с этой площадки не взлетим! — И в подтверждение своих слов ударил каблуком в пружинящую почву берега. — За

мною пришлёте завтра.

Полагая, повидимому, что другого решения не может быть, он обошёл крыло и взялся за винт.

Фу застегнул шлем и полез в кабину. Прогрев мотор, он дотянулся до Чэна и осторожно ощупал повязку, которой не очень умело, но очень старательно была обмотана его голова.

Наконец Фу уселся и дал обороты. Но тут, пересиливая вихрь от винта, Джойс бросился к самолёту и крикнул в самое ухо Фу:

— Отдайте мне ваши сигареты!.. Тут чертовски много комаров.

Пряча в карман пачку и держась за борт кабины, он ответил улыбкой

устремлённому на него с неммым вопросом взгляду Чэна. Стараясь казаться весёлым, крикнул раненому:

— Мэй ждёт вас... Ждёт, понимаете?..

Но видя, что вопрос не исчез из глаз Чэна, крикнул ещё громче:

— А Цзиньчжоу уже взят. Линь Бяо ринулся на равнину, понимаете?.. «Его превосходительство Фан» вцепился в спину толстому Яню... Одним словом, все в порядке.

При этих словах Джойс едва не упал на землю, отброшенный мощным потоком воздуха. Самолёт побежал, разбрызгивая воду, подскочил, и на фоне погасающей зари Джойсу стали видны

оторвавшиеся от земли колеса.

Джойс присел на корточки. Его большие пальцы с ярко белевшими в сумерках ногтями долго разминали сигарету. Так долго, что если бы не комары, он, наверно, и не вспомнил бы, что её нужно закурить.

Часть пятая

*...Ваша хвалёная
Америка с ног до головы
покрыта язвами, эти язвы
— вероломство, измена...*

Уолт Уитмэн

БЫВШИЙ генерал-полковник Конрад фон Шверер не верил никому. До тех пор, пока собственными глазами не увидит, как их вешают, он не хотел верить ни газетам, ни радио, ни друзьям.

Могли повесить Риббентропа, могли повесить Кальтенбруннера, Шираха, Заукеля — любого из этих каналий. Но Кейтеля! Он же был человеком его круга!.. За пределами мыслимого была для Шверера казнь Кейтеля... Повесить фельдмаршала Германской империи!

Но бывали минуты, когда Шверер понимал: сопротивление

действительности бессмысленно.
Неизбежность подчинения
действительности подтверждалась и
тем, что от его квартиры в лучшей,
западной, части Берлина остались
три комнаты, соединённые с кухней
деревянными мостками. Он, генерал-
полковник фон Шверер, вынужден
был пробираться по этим
отвратительным, шатким мосткам
всякий раз, когда нужно было выйти
из дому. А разве менее отвратительна
была эта серая охотничья куртка с
зелёными клапанами на
бесчисленных карманах и зелёная
шляпа с идиотским пёрышком —
весь этот клоунский маскарад? На
него пришлось впервые пойти с

полгода тому назад, чтобы неузнанным пробраться в восточный Берлин, где ещё показывали советский фильм «Суд народов».

Шверер отлично помнит, с каким чувством страха переступал тогда порог зала в кинематографе; помнит, как боялся поднять глаза на входивших сюда вместе с ним.

Во время сеанса Шверер только один раз внимательно, стараясь не пропустить ни секунды, посмотрел в лицо Кейтелю, когда тот вошёл в зал, где сидели союзные главнокомандующие, и, нелепо, как шут, отсалютовав фельдмаршальским жезлом, сел за стол для подписания акта капитуляции.

Позже, когда на экране появились подсудимые, взгляд Шверера был прикован к плечам Кейтеля и Йодля: там уже не было погонов, на воротниках не было петлиц. Он не решался больше смотреть в лицо Кейтелю и даже Йодлю, этому длинноголовому проныре, которому когда-то завидовал и которого боялся.

И вот все они трупы. Впрочем, нет, не все: по страшной иронии судьбы тот, кто не оправдал своей миссии парашютного дипломата, Гесс, цел и невредим!.. Что это — политическая игра англичан и американцев, награда за услуги?..

Едва ли менее страшным, чем

фильм, показалось Швереру то, что он наблюдал в зрительном зале и в фойе, пока ждал начала сеанса. Там были люди, пришедшие посмотреть картину по второму разу. И не потому, что эти немцы, подобно Швереру, не могли или не хотели поверить в правдивость показанного, а именно для того, чтобы с радостью и облегчением убедить в этой реальности и самих себя и вновь приводимых с собой родных и знакомых. Многие рукоплескали там, где Швереру хотелось кричать от страха.

Последнюю часть второго сеанса Шверер просидел с закрытыми глазами, и только тогда,

когда раздались рукоплескания, он разомкнул веки и увидел на экране труп с концом верёвки на шее.

Шверер встал и, наступая на ноги сидящим, побежал к выходу. Он не мог больше оставаться тут, его тошнило от страха, навалившегося на него и сжимавшего живот. Что, если его узнают, что, если и его...

Расставив руки, как слепой, он, шатаясь, шёл на тусклый синий огонёк над словом «выход». Выход, выход!.. Куда угодно, только подальше от повешенных!.. Ведь и он!.. Ведь и он!..

Когда Шверер вышел из кинематографа, было уже совсем темно. Он брёл, не видя ни дороги,

ни лиц прохожих, ни возвышающихся вокруг чёрных руин. Только тогда, когда за углом в глаза ему плеснуло багровое пламя, он поднял голову и остановился в удивлении и испуге. Лицо его сморщилось в жалкую гримасу, он забыл, что в руках у него собственная зелёная шляпа, и нервно мял и мял её.

Площадь была заполнена толпою подростков. Они весело суетились вокруг большого костра и что-то пели нестройным хором.

Над костром высилась освещённая пламенем тренога, к её вершине было подвешено толстое чучело с табличкой: «Геринг». От пляшущих бликов костра казалось,

что ноги уродливой куклы
совершают нелепые движения
канатного плясуна.

О, Шверер никогда не забудет
той ночи! С тех пор вид всякой
верёвки вызывал у него
воспоминание о словах, огненными
буквами горевших над входом кино:
«Суд народов»!.. Они грозно
светились на фоне погруженного во
мрак Берлина, они неслись над
городом вслед убегавшему от
ужасного видения Швереру, они, как
пылающий меч архангела, изгоняли
его из города, где хозяином стал
народ. «Суд народов»! Это было
страшно. Шверер, спотыкаясь, бежал
мимо ослепших глазниц берлинских

развалин. Он зажимал уши, чтобы не слышать гула упрёков, чудившихся в каждом возгласе; он не смотрел на людей, чтобы не встретиться с укоряющим взглядом вдовы, сироты, калеки; сердце его, как безумное, колотилось в груди, казавшейся наполненной пепелящим жаром страха: и он тоже, и он тоже... «Суд народов»! Кровь стучала в висках: «Суд народов!.. Суд... суд...»

Шверер бежал из родного города, и несколько ночей подряд его душили кошмары: палач, накидывающий ему петлю из толстой белой верёвки. Из такой самой верёвки, какую Шверер видел на шее Кейтеля, Нейрата, Йодля...

Да, народы не пожалели пеньки для помощников Гитлера! Шверер никогда не перестанет благодарить господа-бога за то, что тот помог ему остаться свидетелем этого суда, а не быть в нём объектом киноаппарата: верёвка такой толщины не может оборваться... Но почему этот же бог, к которому Шверер всегда относился вполне лояльно, не избавит его от ужаса назойливых воспоминаний? Зачем они постоянно теснятся в его мозгу? Для чего память упрямо воссоздаёт ему шаг за шагом события последних дней Берлина и империи Гитлера? К чему назойливые думы о последних совещаниях в имперской канцелярии, когда Гитлер призвал

его, Конрада фон Шверера, поборника идеи примирения с Западом любой ценой и беспощадной борьбы с Россией?.. Запоздалый призыв!..

Теснятся в памяти события, люди. Нет, уже не люди, а маски мертвецов. Из всех участников военных совещаний последних дней Берлина в живых остался, пожалуй, один Гудериан...

Шверер с трудом принуждает свою память проскользнуть мимо длинного ряда лиц, встающих перед ним с чертами, дико искажёнными предсмертным ужасом. Это те из его коллег-генералов, кто, выполняя волю американских вдохновителей

заговора 20 июля, пытался разделаться с Гитлером, чтобы заменить шайку Гитлера правительством, приемлемым для англо-американцев. Шверер видел всех их повешенными.

Когда это снится Швереру, он просыпается весь в поту: прежде, в 1944 году, ему и в голову не приходило, что сообщение, мимоходом сделанное им Гитлеру из простого желания выслужиться, по сути дела окажется доносом, роковым для нескольких тысяч человек, главным образом его сослуживцев — генералов и офицеров. Быть может, события тех июльских дней и не были бы

выжжены в памяти Шверера, как калёным железом, если бы не садистская выдумка Гитлера, приказавшего всем генералам, до которых не дотянулись щупальцы «особой комиссии 20.7.44» просмотреть фильм — отчёт о казни главных участников заговора 20 июля. Гитлер строго наблюдал за тем, чтобы никто не улизнул от кровавого зрелища. Швереру пришлось увидеть на экране, как в подвал, похожий на лавку мясника, первым втащили генерал-полковника Эриха Геппнера. Шверер был уверен, что Геппнера привели в число заговорщиков отнюдь не принципиальные соображения, а скорее всего желание

отомстить Гитлеру за жестокую обиду: ещё в 1942 году Гитлер отрешил его от командования армией на русском фронте и предал военному суду за неисполнение приказа драться «до последнего солдата». Геппнер тогда отступил под натиском советских войск. Это стоило ему отставки Шверер готов был допустить, что инициаторы заговора могли поддеть Геппнера на крючок честолюбия и мести. Да, только это... И вот перед глазами Шверера ужасные кадры развязки.

Когда Геппнера привели на место казни, он, повидимому, не сразу осознал назначение больших железных крючьев, вбитых в стены

подвала. Скованному по рукам, ему связали ещё ноги. Два эсесовца подтащили его к стене и повернули лицом к зловеще торчащему крюку. Кажется, только тут Геппнер понял, что его ждёт, — он стал биться в руках палачей. Но третий эсесовец, охватив его голову, с размаху насадил её подбородком на крюк...

В этом месте фильма Швереру сделалось плохо, и он отвернулся от экрана. Но в демонстрационном зале тотчас раздался окрик Кальтенбруннера, посланного Гитлером, чтобы следить за впечатлением, какое казнь произведёт на зрителей:

— Смотреть на экран!

Кальтенбруннер успел заметить попытку некоторых генералов закрыть глаза.

— Смотреть! — грубо орал он на весь зал.

Генералы смотрели. Смотрел Шверер. Он видел, как в подвал, где ещё судорожно передёргивалось на крюке тело Геппнера, шлёпая по лужам его крови, вели старика, в котором не сразу можно было узнать генерал-фельдмаршала Вицлебена.

Боже правый! Неужели ещё одна жизнь в уплату за неудовлетворённое честолюбие? Уж тут-то Шверер убеждён: не беззаветная преданность родине сделала Вицлебена одним из руководителей заговора, а устранение

от командования на Западе. Неужели и его?.. Неужто так ужасна участь, которой по счастливой случайности избежал сам Шверер?.. Бежать, бежать из зала!.. Но нет, взгляд Кальтенбруннера пригвождает его к креслу. Шверер не смеет даже опустить веки, он смотрит на Вицлебена: старый фельдмаршал в одних брюках. Вместо мундира на нём клочьями висят окровавленные остатки нижней рубашки, лицо представляет собою сплошной кровоподтёк. Увидев то, что недавно было Геппнером, Вицлебен забился в руках палачей.

Здоровенные звероподобные эсесовцы подняли его, чтобы

повесить рядом с Геппнером. Однако старик сопротивлялся так яростно, что палачи промахнулись. Железный крюк разорвал ему лицо и вошёл в скулу под глазом. Но в приговоре Гитлера было сказано, что заговорщики должны быть повешены за подбородок. Поэтому воющего старика сняли с крюка и снова, на этот раз более тщательно, надели нижней челюстью.

Швереру потом рассказывали, что в этом месте первого просмотра, организованного для одного Гитлера, он швырнул чем-то в изображение Вицлебена на экране, затопал ногами и, брызжа пеной, завизжал:

— Так его, так его!..

По возвращении домой с этого просмотра Шверер долго возился в уборной. Ему было стыдно показать кому-нибудь своё бельё. К тому же его долго, мучительно рвало. Перепуганная Эмма вызвала врачей...

С тех пор прошло четыре года, но стоило Швереру услышать или прочесть имя кого-либо из казнённых, как поднималось ощущение тошноты и его начинал трясти озноб.

Но до сегодняшнего дня в этом деле с заговором 20 июля для Шверера оставалось кое-что непонятное. Как могло случиться, что некий группенфюрер СС

Вильгельм Кроне, пытавшийся вовлечь его в это дело, остался цел? Как могло случиться, что этот Кроне, возложивший на него, Шверера, задачу изолировать Гитлера и Кейтеля в штабном бункере под Растенбургом, на случай, если фюрер не будет убит бомбой Штауфенберга, не только не был привлечён к ответу, но предстал перед Шверером в роли следователя страшной «особой комиссии 20.7.44»? Именно Кроне перепуганный Шверер назвал патера Августа Гаусса как лицо, сделавшее попытку протянуть к нему нить от католического крыла заговорщиков; именно этому Кроне генерал указал на доктора Зеегера, вступившего в

сношения со Шверером от имени социал-демократов, желавших принять участие в заговоре. Но вместо того чтобы немедленно дать приказ об аресте всех этих лиц, Кроне заставил Шверера подписать обязательство под страхом немедленной смерти молчать обо всём, что он видел и слышал, обо всём, что сам говорил в «особой комиссии». Кто был этот Кроне — человек Гитлера, Гиммлера или ещё кого-то, таинственного и более страшного, чем они оба?.. За что же расплатились своими жизнями Геппнер, Вицлебен, Штауфенберг и десятки других? Во имя чего были вынуждены покончить с собою

Роммель, Фромм и ещё многие — за ошибки свои или чужие? Не была ли эта смерть на крючьях и в тюремных дворах расплатой за то, что они не сумели осуществить запоздалую попытку вырвать власть из рук Гитлера? И во имя чего они добивались этой власти? Ради примирения с англо-американцами и обращения всей мощи объединённых сил Запада против коммунистического Востока, против ненавистой Швереру России? Правда ли это? Правда ли, что у заговорщиков была тайная договорённость с англо-американцами, что в случае замены гитлеровской шайки военным

кабинетом союзники прекратят военные действия на Западе и даже помогут генеральскому правительству Германии оружием, продовольствием и деньгами для продолжения войны с Россией? Ведь если так, если американцы знали о заговоре, то логично было бы допустить, что они и содействовали его успеху. Значит, и генералы-заговорщики были не кем иным, как дурачками, таскавшими каштаны для американцев. Почему американцы снюхались с ними, а не с господами из Рура!.. Значит, американцы допустили крупный просчёт с заговором 20 июля и заплатили за этот просчёт чужими головами —

головами немецких генералов! Сначала платили немецкой кровью за привод Гитлера, потом за попытку от него отделаться?!. Два дорогих просчёта...

Шверер не уставал благодарить бога за то, что всевышний уберёг его и от крючьев в подвале и от пули или петли в числе четырех тысяч девятисот восьмидесяти человек, казнённых Гитлером по спискам «особой комиссии». Какое счастье, что Кроне предложил ему тогда только скромную задачу в Растенбурге, без каких бы то ни было гарантий на будущее! Обещай ему заговорщики командование Восточным фронтом или хотя бы

руководство большой операцией против русских, и — кто знает? — устоял ли бы Шверер против такого соблазна? Не пошёл ли бы и он против фюрера и не болтался ли бы и он на крюке рядом с Вицлебенем?..

Да, события 20 июля сыграли большую роль в жизни Шверера. Они сразу выдвинули его на видное место и сделали его постоянным участником военных совещаний в имперской канцелярии. Ах, эти совещания!.. Эти последние ночи, когда уже стала ясна картина общего поражения, когда пальцы участников, подобно загнанным крысам, метались по карте, когда напрасны стали поиски выхода из ловушки, в

которую завела генералов военная безграмотность фюрера или, вернее говоря, завели себя сами генералы потворством маниакальной вере ефрейтора в то, что какие-то высшие силы дали ему знания и власть полководца...

Память Шверера жадно удерживала подробности этих ночных сборищ, которые Гитлер любил называть «разбором ситуации», хотя никаких разборов в действительности не бывало. Были доклады Гудериана, Кейтеля, позднее Кребса, Йодля, умевшего ловко обходить все неприятности. В ответ, как правило, бывал истерический крик Гитлера, противоречивые

приказы, непостижимое упрямство, позволявшее ему не видеть самого очевидного...

Длинные трудные ночи в штабе, езда в автомобиле по разрушенному Берлину, ставшему похожим на каменный лабиринт. Фоссштрассе с мрачным фасадом имперской канцелярии, построенной Шпеером по личным наброскам фюрера, такого же бездарного архитектора, каким незадачливым он оказался в роли правителя и полководца. Здание, растянувшееся по всей Фоссштрассе от площади Вильгельма до улицы Германа Геринга, уже мало походило на резиденцию правительства: стены

местами обвалились и по всей длине были выщерблены осколками авиабомб. Вместо зеркальных стёкол окна глядели на улицу слепыми щитами из фанеры или железа. Когда Шверер впервые прибыл на совещание, весь цоколь дома был уже заложен мешками с песком и изуродован покатыми бронированными входами в подzemелья убежищ. Все было уныло, грязно, обшарпано. Только молодые, огромного роста часовые, как в лучшие времена, стояли ещё у двух действующих подъездов: у одного в левом крыле для членов нацистской партии и у другого в правом — для военных. Эти парни были, казалось,

олицетворением силы армии. Но когда Шверер впервые попал внутрь здания, то увидел, что эти наружные часовые были только декорацией. По ту сторону двери Шверера встретил караул из офицеров СС, — это была подлинная охрана гитлеровской резиденции. Эти уже не только не брали на караул своими автоматами, но даже не считали нужным козырнуть генералу. Они молча протянули лапы за пропуском. Бесцеремонно сверили с оригиналом наклеенную в удостоверении фотографию, направив в лицо генералу ослепительный луч фонаря. На каждом повороте длинных переходов стояли такие же караулы,

происходила такая же тщательная проверка, пока, наконец, подавленный Шверер с закушенной от досады губой не переступил порога личных апартаментов фюрера, полагая, что сейчас он изольёт обиду кому-нибудь из коллег-генералов. Но именно тут его и задержали дольше всего. Ему прежде всего предложили сдать оружие, без церемоний взяли у него из рук портфель и с обидной тщательностью перерыли его содержимое, как будто между листами доклада или завёрнутый в оперативную карту там лежал динамит. Наконец ему предложили снять шинель, и ещё один эсесовец с

наглой мордой взглядом ощупал каждую выпуклость на генеральском мундире, карманы, бриджи. Однако даже это поразило теперь Шверера меньше, чем готовность, с которой другие участники совещания сами протягивали свои портфели для обыска и, словно ненароком, под взглядом эсесовца проводили ладонями по своим плоским карманам, поспешно вытаскивая из них единственное, что считали возможным возить сюда, — портсигары и футляры с очками. На глазах Шверера все это проделывали и Гудериан, и Йодль, и даже приехавший последним Кейтель. Повидимому, здесь не верили

никому, боялись всех.

Исключение составлял кое-кто из генералов СС да вошедший свободной походкой, уже знакомый Швереру группенфюрер Кроне. Швереру было известно, что Кроне выполнял теперь обязанности офицера связи Гиммлера при рейхсмаршале Геринге. Шверер пристально смотрел в лицо группенфюреру, готовый угодливо улыбнуться, как только встретится с его взглядом. Но группенфюрер делал вид, будто не видит маленького генерала. Кроне по-приятельски протянул руку личному адъютанту Гитлера штурмбаннфюреру Гюнше, покровительственно положил руку

на плечо подполковнику генерального штаба — военному адъютанту фюрера.

Шверер отлично помнил все слухи об источнике могущества того или иного эсесовца, о действительных причинах карьеры того или иного генерала, но подлинное лицо этого Кроне оставалось ему непонятным. О нем никто ничего точно не знал. Одни считали его креатурой Геринга, другие — соглядатаем при нем его смертельного врага Гиммлера. У Кроне, повидимому, не было близких друзей, но никто не знал и его открытых врагов.

Наконец Швереру показалось,

что он поймал мимолётный взгляд, которым Кроне обменялся с прошедшим через приёмную Борманом. Но это могло генералу только и почудиться. Не так-то просто было уловить что-нибудь на грубо-энергичной физиономии Бормана, ставшего вторым «я» Гитлера с тех пор, как ему удалось спровадить в Англию Гесса. Черты лица рейхслейтера всегда сохраняли выражение чёрствого спокойствия. Пробор его чёрных прямых волос, проходящий точно посредине головы, был всегда одинаково ровно зализан. Широкие ноздри и такие же широкие скулы делали круглое лицо Бормана ещё грубее и шире. Неуклюжая

коренастость фигуры придавала Борману сходство с борцом или боксёром.

При появлении в комнате этого диктатора национал-социалистской партии все замирали. Генералы склоняли головы в почтительном поклоне или старались спрятаться за спины соседей.

Борман остановился перед генералом СС Фегелейном, женатым на сестре Евы Браун, дружески поздоровался с ним, и они вместе направились к гитлеровскому кабинету. Гюнше поторопился отворить дверь, и все трое скрылись за нею. Откровенный вздох облегчения пронёсся по приёмной —

генералы боялись Бормана и ненавидели выскочку Фегелейна, который на правах родственника фюрера смотрел на всех сверху вниз.

Через несколько минут дверь кабинета отворилась, и Гюнше пригласил присутствующих войти. Гитлера в кабинете ещё не было. У стены сидел Геринг, навалившись на круглый стол животом, поднявшимся к самому подбородку и распиравшим голубой замшевый мундир. Начальник его штаба Коллер что-то поспешно объяснял ему, водя пальцем по карте.

Шверер окинул быстрым взглядом знакомую обстановку: не изменилось ли что-нибудь? Но нет,

все было на месте, все было так же грандиозно, так же, как всегда, свидетельствовало о мании величия, владеющей фюрером: был огромен ковёр, покрывающий весь пол просторного зала-кабинета, огромны зеркальные окна от пола до потолка, непомерно велик для одного человека письменный стол. Два пресс-папье на нём казались циклопически тяжёлыми глыбами мрамора.

Прошло ещё несколько минут в напряжённом молчании. Наконец отворилась одна из замаскированных дверей в задней стене, но вместо Гитлера вошёл его главный военный адъютант генерал Бургдорф и

объявил, что ввиду приближения воздушного противника совещание переносится в бомбоубежище.

Длинной процессией, строго соблюдая старшинство, предводительствуемые Герингом, генералы потянулись к переходу в бункер фюрера. Исключение опять составляли Кроне и появившийся Кальтенбруннер. Они стояли рядом, прислонившись к простенку между окнами. Шверер успел заметить, что Кальтенбруннер замкнул шествие, а Кроне так и остался в кабинете.

Путь генералов по длинным коридорам, едва освещённым ручными фонарями эсесовцев, был долог и неудобен.

Здесь не было уже ни натёртых паркетов, ни зеркальных окон. В большие дыры разбитых стен смутно виднелись мрачные силуэты берлинских руин, местами сквозь бреши в потолке мелькали звезды. На полу стояли грязные лужи. Шверер спотыкался о большие куски штукатурки и несколько раз чихнул, наглотавшись известковой пыли. По мере того как процессия спускалась в подземелье, воздух делался все более влажным. И это резиденция фюрера!.. По спине Шверера пробежал нервный холодок.

В части бункера, служившей спальней и будуаром Еве Браун, царил полумрак. Красное пятно света дрожало на медном листе перед камином, трепетный блик перебегал по расстеленной на полу шкуре белого медведя и, задев лакированный угол кровати, пропадал в глубине комнаты. Картины на тёмных стенах казались мутными пятнами. В первый момент можно было и не заметить маленькой лампочки на ночном столике, и казалось, что единственным источником света является горящий в камине кокс.

Гитлер сидел на низенькой скамеечке для ног у каминной решётки и, полуобернувшись к огню, рассматривал фотографическое изображение обнажённой Евы. Он смотрел пристально, прищулив один глаз, напрасно стараясь умерить дрожь левой руки, полупарализованной бомбой Штауфенберга. Ева с нескрываемым удовольствием рассматривала другую такую же фотографию. Когда Гитлер, насмотревшись, бросил портрет в камин, Ева передала ему свой и взялась за следующий. Целая груда фотографий, где Ева была изображена одетой, полуодетой и совершенно не одетой, лежала перед

нею на полу. Ева брала их и разглядывала, пока Гитлер не решался предать сожжению очередное фото своей подруги.

Гитлер сжёг их уже много: куча пылающего кокса была наполовину завалена чёрными хлопьями сгоревшей бумаги.

В дверь просунулась физиономия Гюнше.

— Мой фюрер, господа собрались.

Гитлер молча кивнул головой и продолжал своеобразное аутодафе, повидимому занимавшее его мысли больше, чем пылающие вокруг него руины Германии и пожары Берлина, подступившие уже к самым стенам

имперской канцелярии.

Гюнше умоляюще посмотрел на Еву. Она отложила очередную фотографию и сказала:

— Пора!

Гитлер глядел на неё снизу вверх бессмысленными, слезящимися глазами полуидиота, его седая голова тряслась все больше и больше. Ева и Гюнше помогли ему подняться на подгибающиеся ноги. Шаркая подошвами, словно у него нехватало сил переставлять свои большие ступни, Гитлер поплёлся к выходу.

При его появлении в комнате совещаний все стихло. Тщетно стараясь ступать твёрдо и выпрямить согнувшуюся, как у старика, спину,

Гитлер подошёл к своему месту и, пошарив рукою, как слепой, чтобы нащупать подлокотник, упал в кресло. Перед ним уже были разложены карты с отметками передвижения войск за последние сутки. Немецко-фашистские войска отступали повсюду. Но это походило на отступление лишь до тех пор, пока докладывал Гудериан. Начальник генерального штаба умышленно не скрывал безнадёжности и положения гитлеровских армий на Западе. Эта безнадёжность якобы делала бессмысленным сопротивление англо-американцам, хотя в действительности они нажимали

только там, откуда немцы снимали войска для переброски на восток. По мере того как Гудериан говорил, нервный тик все более заметно передёргивал щеку Гитлера. Повидимому, ему стоило большого усилия молча слушать начальника генерального штаба. К тому же Гитлер не выносил, когда ему говорили что-нибудь слишком громко. Один Йодль умел делать доклад так, что его было приятно слушать: мягко, вполголоса, сглаживая неприятности.

— ...Судьба Германии, — говорит между тем Гудериан, — будет определена участием её столицы. Из этого следует сделать

вывод: все внимание — обороне Берлина. Нажим русских...

— Какова численность русских дивизий, непосредственно угрожающих нам на берлинском направлении? — перебил Гитлер.

Гудериан быстро, делая отметки карандашом на карте, перечислил сбивчивые, разрозненные данные о советских силах и виновато добавил:

— Сведения, разумеется, не абсолютные. Нельзя ручаться за работу разведки в разгаре отступления...

— Я запретил говорить об отступлении! — не поднимая головы, сказал Гитлер.

— Я имею в виду большую

подвижность фронта, — поправился Гудериан, — в таких условиях данные разведки следует принимать с осторожностью. Они почти всегда оказываются преувеличенными в нашу пользу. Однако и из того, что даёт разведка, мы видим: соотношение сил — один к пяти в пользу противника.

— Вы всегда преувеличиваете, чтобы меня расстроить... Да, да, не спорьте — ваша цель расстроить меня, расстроить! Вы всегда меня расстраиваете, а сами вы просто боитесь русских! Вы трус. Да, да, вы прус, Гудериан! — все повышая голос, выкрикивал Гитлер, хотя Гудериан и не думал спорить,

ожидая, пока пройдёт этот пароксизм страха, который Гитлер бесплодно пытался выдать за приступ обидчивости. Несмотря на грубость черт лица Гудериана, лишённых какой бы то ни было одухотворённости, можно было все же судить о том, какого усилия стоит генералу не потерять нить начатого доклада. С ещё большим темпераментом, чем прежде, он повторил:

— Судьба Германии зависит...

Но Гитлер снова перебил его:

— Судьба Германии не ваше дело, Гудериан!.. Восточный фронт! — Вытянутая вдоль стола левая рука Гитлера запрыгала в

судороге. — Я вас спрашиваю: что произошло на Восточном фронте, что угрожает Берлину?

— Если ваши вчерашние приказы, мой фюрер, относительно померанской группы не будут отменены, противник уничтожит её без всякой пользы для нас. Померанские войска должны быть немедленно подкреплены обеими курляндскими армиями.

Щека Гитлера задёргалась так, что левый глаз почти перестал открываться, голова угрожающе затряслась. Испуганный Кейтель сделал Гудериану знак остановиться, но тот, словно закусив удила, продолжал:

— Только переброска обеих курляндских армий в Померанию...

— Никогда! — истерически закричал Гитлер. — Я не позволю тронуть эти армии никогда, никогда!..

— Тогда двадцать пять боевых дивизий, укомплектованных полным составом людей и лучшим вооружением, будут наверняка истреблены русскими. Одной их штурмовой авиации, этих «Илов», будет достаточно, чтобы методически добить наши войска ещё раньше, чем Ерёменко предпримет решительную атаку.

— Я же приказал снабдить курляндские армии лучшей зенитной

артиллерией! — кричал Гитлер. — Куда вы девали эрликоны, полученные от шведов?

— Эрликоны мы получили не из Швеции, а из Швейцарии, — бесцеремонно поправил Гитлера Гудериан. — Они даны в Курляндию, но результатом этого будет только то, что и они достанутся русским. Адмирал Дениц должен немедленно вывезти из Курляндии людей и вооружение. Там погибает огромное количество боеприпасов. Нужно спешить, пока Либава ещё не блокирована. Даже если бы ради этого Деницу пришлось отказаться от действий флота на всех других участках северного морского

театра...

— Вы ничего не понимаете в морских операциях... — проворчал Гитлер. — Лучше не напоминайте мне о курляндских армиях. Они останутся там.

— И погибнут.

— С честью!

— Но без пользы. А переброска Шестнадцатой и Восемнадцатой армий в Померанию вместе с Шестой танковой армией СС Зеппа Дитриха дала бы нам усиление в сорок ещё вполне боеспособных дивизий. Мы получили бы шанс остановить русских на пути к Берлину, начав контрнаступление из Померании на юг. Этим мы отвели

бы прямую угрозу Берлину, вернули бы себе Силезию со всеми её промышленными ресурсами и организовали бы сильную стратегическую позицию Тиршпигель. — Тут Гудериан повернулся к генералу Гелену: — Покажите фюреру по карте, как это выглядело бы.

Гелен склонился было над картой, но Гитлер вихляющейся от гнева рукой грубо оттолкнул его в плечо и отшвырнул карту. Однако на этот раз Гудериан не дал себя перебить и заговорил ещё громче и быстрее:

— Только на эту операцию стоит теперь бросить все. Пусть на

западе противник следует по пятам за нашими дивизиями, пусть едет на своих автомобилях по совершенно открытым дорогам. Я готов расставить указатели на английском языке... Все это ничто по сравнению с тем, что угрожает нам с востока. Русские намерены...

— Откуда вы знаете намерения русских? — огрызнулся Гитлер. — Вы не можете их знать. Это вовсе не дело генерального штаба — строить догадки о намерениях противника. Распознавать его планы и делать из них для себя оперативные выводы может только гений. А гений никогда не станет заниматься подобным мелким ремесленничеством, как

пересчитывание вражеских дивизий на том или ином участке. — Он секунду злобно смотрел на Гудериана, потом сказал: — К тому же я не вижу в вашем генеральном штабе гениев.

Гудериан сделал шаг к Гитлеру и, перебивая его, тоже крикнул:

— Если вы не дадите согласия на предложенный мною план и не вручите командование в Померании Манштейну, я снимаю с себя всякую ответственность за судьбу страны, за Берлин...

Гитлер мелко затряс головой, и горло его стало издавать странные звуки, которые с некоторых пор заменяли ему смех. Наконец он

поднял мутный взгляд на Гудериана.

— Манштейн!.. Вы не могли придумать ничего другого!.. Манштейн?! Это правда, что он талантливее и умнее всех остальных офицеров вашего генерального штаба, но он хорош только там, где можно располагать десятками дивизий, сотнями тысяч людей, тысячами танков. Ничего этого у меня нет. Мои генералы должны теперь действовать малыми силами. Не численный перевес над русскими, а искусство полководцев должно дать нам победу на востоке. Искусство и безграничная вера в победу национал-социализма! А Манштейн никогда не верил в силу национал-

социалистских идей, он никогда не был предан мне. Без такой преданности не может быть разговора о победе. Нет, Гудериан, я не могу использовать вашего Манштейна!.. — Гитлер из-под насупленных бровей посмотрел на начальника генерального штаба и, помолчав, вдруг непривычно тихо проговорил: — Что же касается ответственности за судьбу Германии и Берлина, то нести её может только человек железной воли. Железная воля присуща только вполне здоровым людям. А у вас, Гудериан, по-моему, больное сердце. Вам не кажется? Так посоветуйтесь с врачами и поезжайте лечиться на

курорт. За вас тут поработает Кребс.

Шверер в ужасе откинулся на спинку скамьи: Кребс?! Маленький, круглый, как шар, вечно весёлый Кребс!.. Шверер хорошо знал его бездарность и легкомыслие.

Повидимому, слова Гитлера поразили и испугали всех генералов. Швереру, как начальнику русского отдела восточного управления ОКХ, стало не по себе. О чем бы тут ни говорили, дело шло ведь о судьбе Германии, а Кребс во главе генерального штаба — это было похоже на скверный анекдот.

Шверер с надеждой посмотрел на Гудериана, ожидая, что тот найдёт выход, скажет что-нибудь, что

разрядит атмосферу, заставит Гитлера переменить решение. Но нет, Гудериан поблагодарил фюрера за отпуск и стал складывать свою папку. Шверер с ужасом понял, что лишается одного из самых влиятельных и верных своих союзников. Кто поможет ему теперь в осуществлении плана открытия Западного фронта и пропуска англо-американцев к Берлину? Кто помешает теперь русским взять Берлин? Чего стоит теперь прекрасный план поворота всех дивизий, всех боевых средств, ещё остающихся на Западном фронте, на восток, против неумолимо надвигающейся армии русских?..

Но, повидимому, до сознания Гитлера в те дни уже не доходила правда о положении Германии. Он с нескрываемой досадой и нетерпением ждал, когда закончатся доклады генералов, и, видимо, только для проформы задал начальнику штаба Геринга Коллеру вопрос, ставший традиционным для всех совещаний:

— Когда вступит в строй наш новый реактивный истребитель «Фокке-Вульф»?

Кажется, он даже не слушал ответа Коллера, пытавшегося как можно мягче преподнести сообщение о том, что заводы, строившие опытную серию

реактивных истребителей, уже захвачены Советской Армией и им уже не суждено увидеть воздух. Гитлер следил за Коллером тупым, бессмысленным взглядом мутных глаз и, как только увидел, что губы генерала перестали двигаться, поспешно сказал:

— Гюнше, дайте шкатулку с орденами.

Все поняли, что этому моменту Гитлер придаёт значение самого важного пункта совещания. Под сумрачными взглядами генералов он принялся бережно освобождать из папиросной бумаги образцы новых знаков отличия, только что присланных с фабрики орденов. Он

любовно разглядывал их, поглаживал и, передав один орден ближайшему из генералов, спросил:

— Как вы находите?.. Этот орден я намерен учредить для тех, кто первым войдёт в Москву. Вы видите здесь, в центре, под знаком нашей свастики девиз: «Там, где я ступаю, умирает все!» Жизнь никогда не возродится на полях России, которую вторично пересекут мои войска. — Тряся головой, он оглядел присутствующих: — Господа, я обещаю первый такой крест тому из вас, чьи войска ворвутся в Московский Кремль! Я сам, вот этими руками, надену его герою... Я ещё подумаю и, может быть, прикажу

сохранить всего лишь один экземпляр этого знака именно для такого героя. Один экземпляр!.. Быть единственным кавалером ордена! Такой чести не имел ещё никто, никогда, нигде!..

Даже Шверер смотрел на Гитлера с чувством, похожим на презрение, на лице же Геринга блуждала откровенная насмешка.

Шверер хорошо помнил, чем кончилось последнее совещание с участием Гудериана: он тогда уже понял, что судьба войны, беспримерной в истории человечества, решена. В ту ночь катастрофа представилась ему неизбежной. Её определило тупое

упрямство фюрера, его нежелание вникнуть в обстановку на фронтах, его дилетантское отрицание всего разумного, что предлагалось генералами. Шверер верил тому, что причина крушения нацистско-генеральской империи определена волей, решениями полусумасшедшего шизофреника. Но Шверер настолько ничего не понимал в истинном ходе истории, что ему казалось: не трясись у Гитлера голова, не дрожи у него руки, не будь он весь похож на развалившуюся тряпичную куклу, все пошло бы иначе. Шверер воображал, что от Гитлера и его генералов ещё зависело что-то в ходе войны. Единственное, что он тогда понимал:

война была в те дни историей, определявшей движение сотен миллионов человеческих судеб, одни из которых стремительно катились к заслуженному концу, чтобы дать возможность свободно развиваться другим. Но то, что представлялось Швереру трагической случайностью, было в действительности исторически закономерным возмездием кучке маньяков мировладения, толкнувших народы в кровавую баню войны. Швереру не дано было знать, что трагедия немецко-фашистских генералов была и крушением многих надежд для тех, кто стоял за спиною американских и английских генералов, торопившихся

к Берлину. Вместе с Гитлером терпели поражение хозяева Соединённых Штатов Америки. Заря освобождения уже загоралась над доброй половиной Европы сразу.

После последнего совещания с Гудерианом события, казалось Швереру, понеслись с умопомрачительной быстротой. Теперь, передумывая их, он уже с трудом восстанавливал детали. Все сливалось в цепь диких метаний между штаб-квартирой армии и бомбоубежищем Гитлера.

Впрочем, это не только казалось Швереру. События действительно развивались с невиданной стремительностью. Советская Армия

наступала с таким напором и такими темпами, что гитлеровское командование не только лишилось возможности что-либо планировать в обороне Берлина, но и теряло представление о действительном положении на фронтах. Гигантские клещи советского охвата, прорезав своими бронированными клешнями, насчитывавшими до четырех тысяч танков, всю глубину немецко-фашистской обороны, устремились в обход германской столицы. С Коттбусского направления, от Франкфурта-на-Одере и с Фрейенвальде двигались советские танковые армии. Они давили на своём пути гитлеровскую пехоту,

дробили фортификационные сооружения и подавляли всякие попытки сопротивления со стороны немецких танков. «Пантеры» и «Тигры» эсесовских бронетанковых дивизий, лишённые бензина, превращались командованием в стальные доты смертников, но советские танкисты делали их просто бронированными могилами гитлеровцев. Ещё кое-как действовавшие телефонные линии подземного узла связи имперской канцелярии с каждым часом приносили главарям гитлеровской шайки все более угрожающие известия. Расстояние от переднего края наступающих советских войск

до резиденции Гитлера сокращалось с каждым днём, с каждым часом, но на все доводы своих генералов, требующих перенесения ставки на северо-запад, навстречу американцам, Гитлер упрямо твердил своё маниакальное «нет». Он боялся даже на минуту высунуть нос из своего бункера, прикрытого восьмиметровой толщиной железобетона. Содрогающаяся вокруг него земля, гул бетона, вой вентиляторов — все это казалось ему таким страшным, что, отдав однажды приказ о переезде на запад, он тотчас же отменил его: ведь для того чтобы переехать, нужно было выйти на поверхность. А через несколько дней

стало уже поздно. О переезде не могло быть и речи: кольцо советского окружения почти сомкнулось. Остался узенький коридор, по которому Кребс и новый комендант Берлина Вейдлинг надеялись втянуть американцев в берлинский круг смерти, чтобы столкнуть их с русскими. Геббельс продолжал с тупостью кретина твердить, что как только советские войска встретятся с американскими, между ними произойдёт сражение. На это фатальное столкновение союзников надеялись все, от Гитлера до последнего эсесовского солдата в его охране; на это столкновение заставляли рассчитывать

фольксштурмистов и прятавшихся по подвалам берлинских женщин и стариков. Чтобы ускорить вожаденный миг удара по русским соединёнными силами немецких и американских войск, Гитлер приказал отвести к востоку все войска, ещё остававшиеся на Эльбе между Дрезденом и Дессау-Росслау. А тем временем, чтобы задержать миллионную советскую армию, вышедшую к лесам Шпрее, он бросил в бой свой последний резерв — охранный эскадрон численностью в 250 человек с несколькими танками и броневидами.

— Пусть они умрут все до одного, но дадут время Венку

подоспеть нам на помощь.

И действительно, скоро от эскадрона осталось 20 раненых солдат. Но чтобы его раздавить, как козьявку, советским войскам не понадобилось задерживаться. Это сделали мимоходом несколько танков.

Шверер не верил тому, что «армия Венка» может принести спасение Берлину, и даже тому, что она вообще когда-нибудь появится под его стенами. Ведь это вовсе и не была армия. Из её девяти дивизий шесть существовало только в воспалённом мозгу Гитлера. Все, кроме него, знали, что у Венка всего три дивизии, плохо экипированные,

плохо вооружённые и состоящие главным образом из 17-18-летних юнкеров, взятых со скамей офицерских училищ. Эти три горедивизии и составляли корпус генерала Коллера, недавно перевезённый из Норвегии. Придавая его мифической «армии Венка», Гитлер воскликнул:

— Венк, я передаю в ваши руки судьбу Германии.

Все в ставке отлично понимали, что их судьба находится в более чем слабых руках. Движением Венка никто из генералов даже не интересовался. Только Гитлер требовал, чтобы ему каждый час сообщали о положении «армии

спасения».

Но 21 апреля и сам Гитлер понял, наконец, что надежды на спасение нет. Он впервые произнёс вслух то, что давно уже знали его помощники:

— Война проиграна...

Гитлер покончил с собой. Генерал-фельдмаршал Кессельринг получил полноту власти в южной части разрезанной надвое Германии, адмирал Дениц стал правителем Севера, Геббельс, Борман и Кребс оставались в имперской канцелярии. Колченогий «немец укороченного образца» стал жертвою собственной лжи о том, что Берлин и Германия

будут спасены, если не «армией Венка», то американцами, которые, подоспев к Берлину, остановят армии большевиков. Теперь Геббельс был в ловушке. Ему не только некуда было выскочить самому, но невозможно было даже эвакуировать жену и пятерых детей. Он, как скорпион, жалящий себя в кольцо огня, убил всех шестерых и кончил жизнь самоубийством, как только стало ясно, что овладевшее Берлином советское командование отвергнет какие бы то ни было предложения о перемирии. Генерал Кребс, дважды выезжавший на переговоры с генералом армии Чуйковым, привозил один и тот же ответ:

— Никаких условий!

Капитуляция должна быть
безоговорочной.

После неудачной попытки
выскочить из окружения в сторону
американцев и Кребс пустил себе
пулю в лоб, предоставив начальнику
берлинского гарнизона генералу
Вейдлингу расхлёбывать кровавую
кашу. Шверер уже плохо помнит, что
происходило в последние минуты в
бункере Гитлера. Отчётливее всего у
него в памяти удержалась бурная
сцена между Борманом и генералом
Бургдорфом. Шверер стал её
свидетелем случайно, явившись к
Кребсу за последними приказаниями
насчёт оперативных документов. На

простых дубовых скамьях вокруг стола, липкого от пролитого вина, сидели Борман, Кребс и Бургдорф.

Бургдорф, потрясая кулаком перед широкой физиономией Бормана, истерически кричал:

— Я ставил себе целью объединение партии с армией! Ради этого я пожертвовал симпатиями своих друзей, я ушёл сюда, к вам, которых презирали все офицеры...

— Презирали? — глухо проговорил Борман.

— Презирали и ненавидели.

— Кто? — стукнув кулаком по столу так, что подпрыгнули стаканы, крикнул Борман.

— Дурак, — грубо ответил

Бургдорф, — теперь тебе это всё равно!..

— Я тебя спрашиваю: кто?

— Пойди к чорту, дурак! — повторил Бургдорф, отмахиваясь от Кребса, пытавшегося его успокоить. — Не мешай мне, Ганс!.. Я вижу, что был идиотом. Презрение товарищей, выпавшее на мою долю, было справедливо: вы кретины и преступники. Да, да, все: от Гитлера до тебя самого... — Бургдорф с трудом переводил дыхание и, сжав кулаки, смотрел прямо в глаза Борману. — Но теперь-то я скажу хоть тебе, чего вы все стоите: дермо, собачье дермо! Ради чего мы послали на смерть миллионы немцев, ради

чего мы умертвили цвет нашего народа? Ради достоинства и величия Германии? Врёшь! Все это совершенно ради вас, и только вас одних. Вы весело жили, лапали баб, хапали имения, копили богатства, обманывая и угнетая народ. Немецкие идеалы, немецкую нравственность, веру и душу немцев вы втоптали в грязь.

— Но ты тоже не оставался в стороне от этого, — с усмешкой перебил Борман.

— Да, и я тоже, и я тоже... И, как преступник, я, наверно, буду наказан. Если меня не пристукнут русские, то непременно повесят сами же немцы. И тебя. И тебя! —

торжествующе крикнул он, тыча пальцем в грудь Бормана, оставшегося единственным трезвым из всех троих.

Шверер стоял в дверях, никем не замечаемый, и наблюдал эту сцену, когда на плечо ему легла чья-то рука. Обернувшись, он увидел группенфюрера Кроне.

— На два слова, генерал, — сказал Кроне и потянул Шверера за рукав в тёмный коридор. — Что вы намерены делать?

Шверер пожал плечами:

— Жду указаний о том, куда девать материалы моего отдела.

— Русского отдела? — спросил Кроне.

— Да...

В низкой двери бункера появился Борман.

— Что вам нужно? — спросил он, увидев Кроне и Шверера.

Приблизившись к Борману, Кроне что-то прошептал ему на ухо.

— А, хорошо! Но помните, что в нашем распоряжении минуты, — сказал Борман и скрылся в бункере.

Кроне обратился к Швереру:

— Господин Борман просит вас немедленно собрать все самое важное из документов русского отдела; все то, что представляет ценность на будущее.

— Ценность на будущее? — не без удивления спросил Шверер.

— Да, на тот случай, если бы нам пришлось возобновить операции против русских. Нам или кому-нибудь другому...

Шверер начинал понимать. Надежда на то, что даже нынешний разгром Германии не означает окончательного крушения планов войны с Россией, надежда на то, что его труды могут ещё оказаться не потраченными напрасно и рано или поздно, руками немцев или американцев, но военная машина будет снова пущена в ход против ненавистой Швереру России, вспыхнула в нём при виде уверенного в себе, спокойного Кроне.

— Ваше дело покончить со

сборами. В вашем распоряжении полчаса, — сказал эсесовец.

— Это немыслимо!

— Через полчаса я приду за вами, — строго повторил Кроне.

И действительно, ровно через тридцать минут он был у Шверера. За его спиною стояло несколько здоровенных солдат СС с мешками. Мешки набили бумагами и картами и, предводительствуемые Кроне, двинулись подземными ходами. Когда они проходили мимо главного убежища, Кроне велел остановиться и подождать его. Он исчез за поворотом, ведущим в бункер, где раньше жил Гитлер. Через несколько минут он вернулся с Борманом.

Пройдя несколько шагов, Шверер почувствовал, что ему нечем дышать. Смешанный смрад горячего бензина и палёного мяса душил его. Пелена чёрного дыма тянулась под сводом подземного хода. Повернув за угол, Шверер попятился: несколько эсесовцев в противогазах, плеская из жестянок бензином, пытались сжечь труп Геббельса. Шверер узнал его по валяющейся тут же знаменитой туфле с высоким каблуком, похожей на дамскую. Стараясь совладать с собою, Шверер ухватился за стенку. Но его сознание все же отметило спокойствие Бормана, приостановившегося над трупом Геббельса, на котором огонь уже

успел уничтожить одежду.

— Время! — сердито напомнил Кроне, и Борман пошёл дальше. Шверер с трудом плёлся следом.

Скоро Шверер увидел над собою клочок неба. Он уже две недели не выходил из-под земли, и первые глотки пропитанного зловонием разложения и угаром пожарищ воздуха не принесли ему облегчения. Кровь стучала у него в висках, он пошатывался. Кроне пришлось ухватить его за локоть и толкнуть вперёд, к ступеням, ведущим на поверхность земли.

Спотыкаясь о камни развалин, перелезая через обвалы, местами ползя на животе, они с лихорадочной

поспешностью пробирались по останкам Берлина. Пожары освещали им путь.

Шверер плохо ориентировался. Только выйдя на прямую, как стрела, магистраль Ост-Вест, он понял, где находится. Но приходилось то и дело менять направление, ложиться, чтобы спастись от осколков непрерывно рвавшихся снарядов, вставать и, пробежав несколько шагов, снова ложиться и снова бежать. Шверера душило сердце, ставшее огромным, подступавшее к самому горлу; в глазах его метались огненные круги, такие же яркие, как разрывы снарядов, как зарево пожаров. Близкий удар снаряда

заставил Шверера распластаться на земле.

В свете взрыва Шверер ясно различил силуэт Бормана и увидел, как заместитель Гитлера выкинул вперёд руки, сделал несколько путающихся неверных шагов и упал ничком. Кроне бросил свой мешок, побежал к Борману и перевернул ею лицом вверх, но сквозь слезы, вызванные гарью пожарищ, Шверер увидел, что у Бормана нет лица...

Дальнейшее смешалось в какой-то кошмар, где Шверер не мог установить последовательности событий. Он только помнил, что его втиснули в самолёт вместе с мешками. При этом он больно

ударился головой обо что-то острое и, вероятно, потерял сознание. Он не помнил, что было в пути, откуда взялись американские солдаты, окружившие его при посадке самолёта. Американский офицер под руку подвёл его к «виллису»... Ну, а потом... Потом все пошло как по маслу: первый разговор с американским генералом, приказ разобрать документы русского отдела и сдать их американцам. Потом предложение отдохнуть и заниматься чем угодно в ожидании, пока его позовут... Швереру тогда очень хотелось поговорить с группенфюрером Кроне, посоветоваться с ним. Но никто в

американском штабе не знал Кроне. При этом имени американцы недоуменно пожимали плечами.

— Скажите, — много позже спросил Шверер у приставленного к нему американца, — произошло ли в конце концов столкновение между американцами и русскими, когда они встретились?

— Столкновение? Какое столкновение?

— Сражение, которое должно было сделать германо-советскую войну американо-советской.

Американец хлопнул себя по коленкам.

— О каком столкновении могла идти речь?! Чтобы русские смяли и

нас так же, как вас? Чтобы они утопили нас в Эльбе и вторглись во Францию? Едва ли это входило в планы Айка. Нет, мистер Шверер, тогда такое столкновение не входило в наши расчёты.

— А теперь?

— Теперь мы тоже едва ли смогли бы поднять наших солдат на войну с русскими. Сначала должен полностью смениться личный состав нашей армии. На это нужно время. И он должен увеличиться, по крайней мере, в пять раз. На это тоже нужно время.

— А тогда?

— Тогда, может быть, что-нибудь и выйдет, если вы не

окажетесь такими же идиотами, как теперь. Не думаю, чтобы наши вторично совершили ошибку, сделав ставку на вооружённую Германию, как на единственный заслон против русских коммунистов. История показала, что такой заслон ничего не стоит. Наши сильно просчитались, положившись на вашего Гитлера. Он и его шайка оказались просто жуликами, выманившими у нас много долларов и пустившими их на ветер.

— На ветер? — Шверер покачал головой. — Нет, ваши деньги и кровь немцев не пропали даром. Это был прекрасный урок на будущее, отличная репетиция перед

спектаклем, который мы ещё раз поставим со всей основательностью.

— Довольно дорогая репетиция, мистер Шверер, — усмехнулся американец. — Ещё одна такая — и мы окажемся банкротами. Нам нечем будет заплатить за солдат, которых вы нам поставите.

— Это будет очень печально. Очень, очень печально, — грустно проговорил Шверер.

Американец бесцеремонно похлопал Шверера по спине.

— Ну, не унывайте, старина, все образуется. Хотя, надо сознаться, на этот раз русские здорово обогнали нас из-за вашей глупости. Пустить им кровь вы пустили, но зато они

начисто нокаутировали вас. Это чертовски неудачно. Что-то в этом матче не было предусмотрено.

— Да, — уронив на руки голову, проговорил Шверер. — Гитлера нет, нет Бормана, Геббельса...

— Э, это не такая уж беда. Когда дураки оказываются дураками, им туда и дорога, куда они все отправились. Теперь мы более бережно будем подбирать парней для чёрной работы. С более крепкими кулаками и не с таким мусором в головах, каким были набиты черепа этих господ. Это нам тоже хороший урок: не делать ставку на дураков... У вас, папаша, ещё есть шанс выйти в люди.

Шверер поднял на него слезящиеся глаза.

— А вы не думаете, молодой человек, что русские могут потребовать моей выдачи, а? — спросил он дрожащим голосом.

— Вы нам нужны — и баста! У нас вы в безопасности. Если понадобится, мы предъявим русским даже ваш труп, извлечённый из-под обломков самолёта.

Шверер в ужасе закрыл глаза. Ему ясно представился его собственный изуродованный труп. Развязность американца начинала ему досаждать.

— Ваш чин? — с неожиданной резкостью спросил он.

— Капитан.

— Так потрудитесь встать! —

приказал Шверер. — Наверно, и у вас в армии капитанам не разрешается быть такими нахалами в присутствии генералов.

На лице американца отразилось крайнее удивление, и он неохотно, но все же поднялся из-за стола...

Благодарение богу, все это было теперь только воспоминанием. Шверер избежал верёвки палача, его миновала и участь многих генералов, попавших в руки русских. Он мог свободно вернуться в западную зону Берлина, чтобы трудиться над снова положенным на стол «Маршем на

восток». Правда, всю работу приходилось пересмотреть с начала до конца, все пересчитать, передумать, но идея оставалась идеей: Россия должна быть сокрушена. И сокрушить её предстояло не кому-нибудь, а им, немецким генералам, прошедшим школу 1914-1918 годов и познавшим позор разгрома 1945 года. Больше это не должно повториться. Не должно и не может быть третьего поражения... Но как?.. Как?.. Как избежать расплаты за просчёты американо-немецких политиков в войне 1939-1945 годов? Чтобы в этом разобраться, стоит посидеть над рукописью «Марша».

Стараясь отогнать
отвратительное видение толстой
белой верёвки, свисающей с шеи
Кейтеля, Шверер склонился над
письменным столом...

— Выпьем по «Устрице пустыни», господа! — предложил Роу.

Грили молча кивнул. Штризе с готовностью улыбнулся, хотя ему вовсе не нравилась эта «Устрица». Став помощником Монтегю Грили, он старался теперь во всем подражать англичанам, в особенности этим двум, с которыми ему приходилось чаще всего иметь дело. Штризе подавляла надменная независимость, с которою держался Роу, хотя тот был всего лишь журналистом. Ему нравилось, как пахло в кабинете сэра Монтегю,

председателя окружной комиссии по денацификации. Чтобы добиться такого же запаха у себя, Штризе стал курить трубку и велел ежедневно менять на столе цветы.

Нужно было проявлять большую гибкость, чтобы, едва успев сменить мундир гитлеровского руководителя военной промышленности округа на штатский костюм помощника председателя комиссии по денацификации, не вызвать кривой усмешки. Пауль Штризе не вызвал улыбок; англичане и американцы знали, что делали, а рядовые немцы в западной половине Германии ещё не научились заново улыбаться. Они хмуро приглядывались к

происходящему, стараясь понять: что же, в сущности, нового принесли в Западную Германию союзники-победители, кроме того, что старые хозяева предприятий стали называться иначе?..

Штризе, не поморщившись, выщедил «Устрицу», крепкий коктейль, приготовленный Роу, и ещё раз услужливо улыбнулся.

— Я нашёл человека, которого вы могли бы послать в русскую зону, — сказал он.

— Журналист? — спросил Роу.

Штризе замялся:

— Не совсем...

— Сумеет дать отчёт о том, что меня интересует?

— Безусловно.

— Как зовут?

— Эрнст фон Шверер.

— Шверер? — переспросил Роу,

словно это имя было ему знакомо.

— Брат того инженера на русской стороне, — пояснил Штризе, — сын генерала фон Шверера.

— Вот как! — оживился было сэр Монтегю, но под сердитым взглядом Роу умолк.

— Пришлите его ко мне, — сказал Роу и холодно кивнул головой.

Штризе знал: после этого кивка ему остаётся одно — откланяться. Он улыбнулся ещё любезнее и, стараясь двигаться как можно

свободнее, вышел.

— Хотя на этот раз не будьте тюленем, Монти, — сказал Роу, обращаясь к Грили. — Раздобудьте у Винера список документов, которые нужно взять на той стороне.

— Зачем? — меланхолически спросил Грили. — Этот Шверер должен нам доставить своего брата-инженера живьём.

— А если нет?

— Можно подумать, что привезти из советской зоны родного брата нивесть какая трудная задача! К тому же у этих парней из бывших эсесовцев именно та хватка, какая нам нужна.

Роу занялся взбалтыванием

коктейля. Он делал это сосредоточенно и как бы между делом спросил:

— Так и условимся: вы берете командование на себя.

Грили замахал руками:

— Вы же отлично знаете, Уинн, я к этому совершенно не способен.

— Только стричь купоны?..

— Что вы сердитесь, Уинн? Хорошо, я постараюсь получить список документов. Но вы же знаете, как трудно иметь дело с теми, кого зацапали янки. А Винера они проглотили с костями.

Роу с досадой ударил кулаком по ручке кресла.

— И так всегда, когда дело идёт

о чём-нибудь мало-мальски важном или выгодном! Скоро они будут таскать наши собственные секреты без всякого стеснения!

— Да, там, где речь идёт обо всяких этих реактивных игрушках, мы, британцы, непозволительно легкомысленны.

Роу нахмурился, вылавливая из стаканчика ломтик лимона.

— Да, мы несколько запоздали, — пробормотал он. — Двести тысяч патентов — на том берегу океана!..

— Совершенное безобразие! — согласился Грили.

— Не было бы большого греха, если бы нам удалось стащить у янки

из-под носа хотя бы то, что осталось на советской стороне в голове или в письменном столе Эгона Шверера.

— Это совершенно необходимо, Уинн! — Грили прижал руку к груди, желая сделать свои слова более убедительными. — Поймите, без того, что осталось у Эгона Шверера, Винер не сможет справиться со своею частью задачи, что бы ни сулили ему янки!

— Знаю.

— Я ещё до войны предлагал Винеру пятьдесят тысяч фунтов за его лавочку, — плаксиво сказал Грили.

— И это я знаю.

— Но янки меня просто

возмущают! Теперь они искренно убеждены, что «Европа» должна поставить Айку Эйзенхауэру гигантский памятник из нержавеющей стали...

— Ещё бы! Не столько за то, что он воевал с немцами, сколько за то, что русские не оказались на Рейне!.. Да, ради этого ему пришлось поторопиться. — Роу закурил. Его голос доносился как из-за дымовой завесы. — А представляете себе историю, если бы освободителями Франции тоже оказались русские?

При этих словах Роу Монти тоже принялся раскуривать трубку.

— Вы всегда каркали, а посмотрите: мы пришли к финишу.

Да ещё как! — помолчав, сказал он.

— Да, но не в роли седока...

— Но и не лошади же.

— Если клячу нельзя назвать лошадью... — Роу пожал плечами. — Мы кляча, на которой скакали янки! Притом захлестанная до полусмерти. Нам предоставляют бить в бубен по поводу того, что мы преодолели барьеры, не сломав себе хребет. Это пляска на собственных похоронах! — сердито крикнул Роу, несколькими взмахами руки разогнав дым. Если хотите знать, Монти, я не могу понять, как случилось, что, имея таких чиновников, как вы, таких министров, как ваш братец Бен...

— Ну, ну, Уинн!

— Повторяю: как могло произойти, что, имея во главе управления такое собрание ограниченных интриганов, Англия триста лет ходила в великих державах?.. Хотите знать моё мнение. Монти?

— Не очень...

— А я всё-таки скажу!.. Все три последних века своей истории Англия держалась на нас. Её становым хребтом была секретная служба, Монти. Моя служба! Мы... Такие, как я.

Роу продолжал развязно болтать, и у Монтегю был такой вид, будто эта болтовня его чрезвычайно занимает. В действительности почти всё, что

говорил Роу, пролетало мимо ушей слушателя, занятого своими собственными мыслями. Монтегю не принадлежал к числу людей, любящих философствовать на отвлечённые темы, но его простоватая, иногда даже немножко смешная внешность скрывала натуру далеко не простую. Основным свойством этой натуры был тот особенный, ни с чем не сравнимый вид хитрости, который вырабатывается у англичан «высшего» круга всем воспитанием, всем лицемерным укладом их жизни. Но если у одного из них эта хитрость, как бы выветриваясь с возрастом, приобретает черты

простой изворотливости и не выходит за пределы житейского практицизма, то у других вырастает именно в ветвистое дерево тончайшей лживости и коварства, прикрытых оболочкой «британской прямоты и грубоватости». Носители такой «британской прямоты» не останавливаются перед преступлением, если его можно совершить по ту сторону занавеса, именуемого этикетом. Этому виду тончайшего лицемерия и полной аморальности британская политика обязана многими из своих «блистательнейших» достижений. Этот же вид фарисейской лживости служит и основой личных

отношений между британцами того общественного слоя, к которому принадлежал мистер Монтегю Грили.

В этом смысле не было никакой или почти никакой разницы между Грили и Роу. Но в то время как Роу готов был выложить перед Монтегю многое именно потому, что презирал его, считая глупцом и тюленем, сам Монти, столь же искренно презирая Роу, не находил нужным выкладывать ему ничего или почти ничего, что могло бы поколебать его собственную репутацию простака.

Слушая сейчас хвастливые выкрики пьяного Роу, Монти думал о том, что имеет перед ним

существенное преимущество: основательную осведомлённость в его делах. Вторым преимуществом Монти было, очевидно, то, что Роу не знал и по самому своему положению не мог знать об этой осведомлённости Монти. Да, такова была разница, определяемая их общественным положением. Быть членами одного общества вовсе ещё не значило иметь в нём одинаковый вес. Вот Роу кичится тем, что является верным солдатом секретной службы Британии. Слов нет: тонкая служба, важная служба! И ей, конечно, нужны такие, как Роу. И даже хорошо, что такие, как Роу, воображают себя носителями самых

сокровенных тайн самой тайной из служб Англии. Это делает их уверенными в себе. А секретный агент британской службы всегда должен быть уверен в себе. Но... — при этом новом предположении Монтегю мысленно усмехнулся, хотя черты его большого красивого лица продолжали сохранять неподвижность — но что сказал бы Роу, если бы узнал, что он, тюлень и простак Монти, был лично знаком с неким сэром Икс?.. Да, да, с тем самым Иксом, чьё имя знают всего несколько англичан; с Иксом, о котором принято лишь почтительно говорить: «лицо, ограждающее интересы империи». Ибо так было,

есть и всегда будет: больше, чем армия, и даже больше, чем флот, в охране государства значит секретная служба... Уж, наверное, Роу, при всей его хвастливости, не мог бы рассказать, что созданием и укреплением этой службы занимались такие столпы империи, как лорд Кромер, «укротитель Египта», когда он был ещё скромным лейтенантом Берингом, или будущие фельдмаршалы сэр Уильям Робертсон и сэр Джордж Мильн, или, скажем, сэр Невиль Хожер, совмещавший высокое положение главы обороны всей империи со званием тестя Уинстона Черчилля!.. Кстати говоря, и сам толстый зятёк

сэра Невиля мог бы кое-что рассказать о деятельности на ниве Интеллидженс сервис... Интересно, стал ли бы кто-нибудь из этих лиц слушать пьяную болтовню какого-то капитана Роу, для которого его «шеф» — вершина; тот самый «шеф», который для сэра Икс всего лишь один из помощников!.. Послушать Роу, так выходит, что его служба — основа мира, какая-то самодовлеющая сила, главенствующая над всем, повелевающая от себя и ради себя. А что, если вот так, напрямик, сказать сейчас этому разболтавшемуся пьянчужке, что он былинка, ничтожнейший муравей в армии,

призванной таскать каштаны не только не для себя и не для своих «шефов»... Тут брови Грили нахмурились: если говорить откровенно, секретная служба существует и не для таких, как он, Монтегю, даже не для таких, как Бен, — она служит неизмеримо более могущественным повелителям империи и её некоронованным королям-лордам стали и угля, нефти и хлопка...

Роу уронил рюмку. Звук разбитого стекла нарушил течение мыслей Монти, и он поймал последнюю фразу пьяницы:

— Хотел бы я знать, чего стоили бы все вы без нас — простаков,

работающих на вас, как прилежные муравьи!

Монти поспешно расправил брови, и лицо его снова не выражало ничего, кроме недоуменного простодушия. Он расхохотался.

— Умоляю, Уинни, не прикидывайтесь травоядным и... таким героем! — И Монтегю засмеялся.

Несколько мгновений Роу озадаченно смотрел на него, потом обиженно произнёс:

— Ладно, смейтесь, это не спасёт ни вас, Монти, ни Англию. Лавочка безусловно обанкротится, и притом довольно скоро...

Роу нетвёрдыми шагами

подошёл к столу, чтобы налить себе новую рюмку.

— Вам нужно бросить пить, Уинни.

— И тут же повеситься? Нет, слуга покорный. Я должен дожить свой срок. Настаёт довольно ответственный период в существовании нашего острова. Это понимает даже ваш брат Бен, несмотря на всю его глупость.

— Но, но, полегче, Уинн! — со смехом воскликнул Грили. — Вы забыли: Бен снова в правительственном большинстве.

— В прежние времена была бы неплохая пожива для оппозиционной прессы: лорд Крейфильд —

лейборист... И небеса не рухнули, и Англия стоит на месте!

— Консерваторы не проронили ни слова, — серьёзно заявил Грили.

— А вы не думаете, что они платят Бену суточные за все время, что он продержится в лейбористах? — Роу потряс над головой номером «Таймса» и громко прочёл: — «У нас, как вы, американцы, это слышали, социалистическое правительство. А я, как вы, возможно, тоже слышали, лидер консервативной оппозиции. Но я вам могу сказать, что нет другой страны в Европе, которая представляла бы собою более твёрдый и прочный фронт против

советского и коммунистического вторжения, чем Англия». — Он отмахнулся от попытки Грили вставить слово. — Идите к чорту, Монти, дайте мне дочитать. Вы обязаны это дослушать: толстяк пока больше не премьер, но Черчилль остаётся Черчиллем, и всякому из нас есть чему поучиться у старого сторожевого бульдога Британии. Итак: «Мои многочисленные разногласия с правительством не затрагивают области внешней политики, которая под руководством министра иностранных дел Бевина сохранила стабильность и преемственность».

— Какую стабильность?

— Конечно, антисоветскую! А преемственность? Черчиллевскую, консервативную...

— Но я не верю в «русскую опасность»! — воскликнул, наконец, Грили.

— Я тоже не верю, — рассмеялся Роу. — Но я вам должен сказать: наступило время для всех нас пустить в ход такой ворох вранья, какой нам никогда ещё не был нужен!.. Нам нужен небоскрёб лжи, чтобы противопоставить что-нибудь тем чертовски простым и понятным вещам, о которых говорят русские.

— Англичане не станут их слушать.

— К сожалению, никогда ещё

миллионам людей не было так понятно то, о чём русские говорят теперь с трибун всех конференций. А недостатка в конференциях, как видите, нет!

— К большому нашему сожалению. А этот... как его... «железный занавес»? Разве плохо придумано?! — с восхищением воскликнул Монти.

— Сработано, знаете ли, по рецепту нашего покойного друга Геббельса.

— Ну уж... — обиженно пробормотал Монти.

— Да, да: «чем крупнее ложь, тем легче ей верят».

— Вы думаете, что на самом

деле...

— Никакого занавеса не было и не может быть! Это же не в интересах Советов. Но зато это в наших интересах. Именно поэтому такой занавес должен быть повешен.

— Но тогда он должен висеть совсем не на польской границе.

— Мы воздвигли бы его там, если бы не существовало советской зоны оккупации Германии.

— А в нынешних обстоятельствах?

— Между восточной и западной зонами Германии, Монти, — вот его место!

— Потерять половину Европы?

— Лучше половину, чем всю...

Я, кажется, немного пьян! Да, да, я знаю: я пьян. Поэтому я говорю с вами так откровенно. В трезвом виде я не способен говорить правду. В особенности таким олухам, как вы. Впрочем, вероятно, и сейчас я говорю все это напрасно. Вы ничего не способны понять.

— Я кое-что понял, — пробурчал Монтегю.

— Именно кое-что. Ах вы, старая обезьяна! Кое-что! Это мне нравится!.. В этом наша беда, Монти: там, где должны бы сидеть умные люди вроде меня, торчат типы, подобные вам, которые понимают «кое-что».

— Послушайте, Уинн! У меня

тоже есть терпение.

— Все держится на субъектах, умеющих делать вид, будто они понимают «кое-что»...

— Шли бы вы спать, Уинн! — сердито проговорил Грили. — Мне надоело ваше малодушие.

Роу поднялся и, стоя на не очень твёрдых ногах, насмешливо поклонился.

— Слушаюсь, милорд. Сейчас я стану оптимистом. — С этими словами Роу упал обратно в кресло и всплеснул руками: — Боже правый! Вот кого нехватает для полной коллекции нашим социалистам, — вас.

— Но, но, полегче, старина!

Роу выбил пепел из трубки в стакан Грили.

— Прошли времена, когда Англия могла похлопывать по плечу любую державу мира.

Роу налил себе виски и, не смешивая её ни с чем, медленно отпил глоток. Поставив стакан и тупо глядя на жёлтую колеблющуюся поверхность спирта, он стал чиркать спички о коробок, но от его неловких движений они ломались одна за другой.

Он озлобленно отбросил коробок, поднял стакан и, словно читая в нём, отдельно произнёс:

— «Правь, Британия» пора выкинуть в мусорный ящик. К чорту

адмиралов! Они годятся только для кинематографа. Судьба Англии зависит теперь не от дредноутов, а от шпионов, Монти. На морях нам остались одни воспоминания. Удержать бы кое-что на суше. Но боюсь, и тут нас ждут сюрпризы от проклятых янки.

— Вы совсем уже нас хороните...

— А то, что происходит в Бирме, в Индии, во всех наших доминионах? А то, что завтра начнётся в Турции, Персии, Афганистане — везде, где мы чувствовали себя как дома, — не их работа?

— Их интересы там, — Грили неопределённо махнул куда-то в угол

комнаты, — в западном полушарии.

— Снимите шоры, Монти!

— Глупости, Уинн! Теперь уж я скажу вам: вы больны манией преследования.

— Оставим эту тему. Так же, как будем считать решённым между нами вопрос: если я вожусь с вашими делами, то вовсе не потому, что вижу какую-то перспективу, а лишь для того, чтобы урвать своё на чёрный день. На тот неизбежный день, когда вся наша лавочка начнёт разваливаться, как гнилой сарай.

— Хорошо, вернёмся к делу, — сказал Грилли. — Может быть, плюнуть на эти реактивки и заняться чем-то более рентабельным на

ближайшее будущее? Американцы украли у немцев достаточное количество патентов, — почему бы и нам не попробовать взять своё?

— Все, что стоило труда, они уже вывезли. К тому же могу вас уверить, в будущем не будет ничего более рентабельного, чем военное производство. В этом нам порукой нью-янки.

— Они только кричат о войне.

— Даже если им не удастся затеять большую драку номер три, о которой они мечтают, военные акции всё равно будут выше всех остальных.

— Если бы знать: надолго ли?

— Пока нынешние лидеры сидят в своих креслах... Нам нужно

попробовать надуть кое-кого так же, как янки надули нас.

— Для этого вам нужны вопросы Винера?

— Да, хотя нельзя строить на этот счёт больших иллюзий. Инженер Шверер может оказаться неприступным.

— Если нельзя будет взять хитростью или силой, мы ему просто заплатим.

— Так-то так, но есть такой сорт людей, самый неприятный, — на попытку купить их они отвечают ударом по физиономии.

— Не встречал таких дураков!

— А они, говорят, стали попадаться среди жителей советской

зоны. Влияние русских... Но всё равно мы должны тут опередить янки.

Грили картинно поднял глаза к потолку.

— Дай-то бог!

Анни медленно, одним пальцем выстукивала на машинке под диктовку фрау Шверер. Хотя к экономии не было решительно никаких поводов, Шверер день ото дня становился все скупее. Из денег, полученных от американского командования в Германии на продолжение работы над «Маршем на восток», он не дал Эмме ни пфеннига. Он даже не считал нужным пригласить секретаря или стенографа и обходился услугами Анни. Не так-то просто было ей, сначала превратившись из горничной в секретаря, теперь ещё исполнять

обязанность машинистки.

Непривычные пальцы Анни долго выбирали клавиши и часто ударяли не по тем буквам. Страница получалась грязная, генерал ворчал и швырял её обратно сквозь щель в двери. От страха Анни писала ещё хуже и ещё медленнее. Но вот она и вовсе остановилась, пока фрау Шверер молчала, силясь прочесть неразборчивые строки на листке, который держала, повернув к свету.

— Ах, какой почерк! — сказала она, наконец, тоном полного отчаяния. — Что же делать?

— Спросите у него, — сказала Анни.

— О-о! — лицо фрау Шверер

отразило страх, и она несколько раз отрицательно качнула головой.

Анни молча взяла у неё листок и, подойдя к плотно затворенной двери кабинета, постучала. Ей ответило молчание. Она постучала ещё раз и прислушалась. Теперь за дверью слышались торопливые шаркающие шаги. Дверь чуть приотворилась. Анни просунула в щёлку листок.

— Мы не можем разобрать...

Несколько мгновений царило молчание, за которым последовало недовольное фырканье, и раздражённый старческий голос скороговоркою прочёл:

— «Нет ничего удивительного в

том, что после такого поражения у нас появляется разочарование. Нам начинают твердить о необходимости изгнать из человека зверя и сделать его тем, кем ему якобы предназначено быть, — мирным тружеником. Но мы не позволим этому жалкому малодушию свить гнездо в умах немцев... На это я надеюсь, и эта надежда помогает мне держать в руках перо...»

Генерал высунул голову из кабинета и сердито спросил:

— Эмма, где мой атофан?

Фрау Шверер бросила взгляд на неуклюжую бляху круглых настенных часов.

— О, правда, пора итти за

лекарством, Конрад! — сказала она.

Анни поймала брошенный в щёлку листок и вернулась к машинке.

— Ты допишешь, когда принесёшь лекарство, — сказала фрау Шверер.

— Он и так сердится, что я долго пишу.

Фрау Шверер в испуге приложила палец к губам и оглянулась на дверь.

— Тсс! — Подумав, она сказала: — Хорошо, я схожу сама, а ты тут пиши.

Старуха на цыпочках приблизилась к двери кабинета и прислушалась. Потом так же тихонько подошла к

противоположной двери, которую перед нею отворила Анни. За порогом открылся провал разрушенной бомбой части дома. Над провалом висели дощатые мостки с перильцами, кончавшиеся лестничкой.

Стуча каблуками по доскам, фрау Шверер вышла на улицу.

Ни гудки автомобилей, ни шорох шин не нарушали тишины мёртвого квартала. Только редкий стук эрзацтуфель слышался между развалинами.

Фрау Шверер успела пройти не больше десятка шагов, когда увидела появившегося из-за угла Эгона.

— Ты идёшь к нему? —

озабоченно спросила она, поцеловав сына в склонённую голову.

— Да, я должен с ним поговорить, хотя в прошлый раз мы поссорились.

Фрау Шверер вздохнула:

— Ты забываешь: он твой отец!..

— Уговорите его бросить то дело, которым он занимается вопреки здравому смыслу.

— Твой отец может заниматься чем хочет!

— Я этого не думаю, мама...

— Ах, какое кому дело!

— Вы, мама, не понимаете того, что происходит.

— Вы все воображаете, будто я такая уж глупая! А я все отлично

понимаю. Мы с Анни переписываем его труд, и как только...

— Посоветуйте ему выбросить все это в печку, прийти к нам, в советскую зону, и публично, прямо сказать: «Я такой-то, я всю жизнь совершал злые, вредные глупости; помогите мне хоть раз сделать что-нибудь умное и доброе».

— Эгон!

— Третьего выхода нет.

— Он говорит, что пройдёт ещё немного времени, и все вернётся к прежнему.

— Глупости!

— Нет, не глупости. Он лучше знает. Он говорит: ещё совсем немного времени, и американцы все

приведут в порядок. Тогда у нас снова будет все: и дом, и деньги, и положение, не худшее, чем прежде.

— Мама! — в ужасе воскликнул Эгон. — Подумайте, что вы говорите: служить американцам!

— Он лучше знает.

— Неужели он не понял ничего из всего, что я старался так ясно объяснить ему?

— Если ты с ним говорил об этом, то тебе действительно лучше не ходить к нам... К тому же он сердится на тебя за то, что ты занимаешься пустяками.

— То, что я сейчас делаю, мне во много раз милее всех построенных мною самолётов.

Эгон снял шляпу и наклонился к руке матери.

— Принеси нам чего-нибудь съестного, — сказала фрау Шверер и снова осторожно прикоснулась губами к его волосам. — У нас совсем неважно с продуктами из-за этого глупого американского «воздушного моста».

— Ага! — Эгон усмехнулся. — Значит, не всё, что делают ваши любимые американцы, так уж хорошо!

— Ах, не говори! Сидеть без угля и без масла — не вижу в этом ничего хорошего. И все, говорят, из-за ослиного упрямства этих американцев.

— Это не просто упрямство, мама. Это целый заговор против нас, против немцев и вообще против всех, кто не хочет возвращения фашизма.

— Ты опять за своё, — недовольно проговорила Эмма. — Мне пора... Приходи ко мне... Нет, нет, к отцу не нужно, не ходи, ты его раздражаешь. — С этими словами она поцеловала его в лоб. — Прощай.

Эгон, не оглядываясь, свернул за руины на углу.

Расставшись с матерью, он почти тотчас забыл о ней и стал думать о своём. Он шёл долго и неторопливо. Его заботили затруднения, встретившиеся именно теперь, когда дело дошло до

практического осуществления
проекта его счётной машины.
Советский комендант дал
разрешение на постройку, но негде
было взять средств для покупки
материалов. Может быть, следует
пойти к Вирту? У Вирта, как у
заведующего отделом транспорта в
магистрате, наверное, есть
ненужный металл, который он
сможет дать. Эгон давно убедился в
том, что Рупрехт Вирт — достойный
преемник своего учителя Франца
Лемке. Кому, как не Вирту, Эгон был
обязан тем, что ему удалось
вернуться на родину из Швеции, куда
он был вынужден перекочевать из
Норвегии, когда её захватили

гитлеровцы. А вон ведь многие эмигранты до сих пор сидят на чужбине. Да, да, Эгон уверен: Вирт поможет ему и теперь в деле со счётной машиной!

Через полчаса Эгон поднялся на третий этаж дома, где помещался магистрат.

— Дорогой доктор, где вы пропадали? — встретил его Рупрехт Вирт, коренастый, небольшого роста молодой человек с открытым лицом и зачёсанными назад русыми волосами.

— Я, наконец, закончил свой аппарат, — сказал Эгон.

— Значит, можно освободить какую-то долю человеческого мозга

от необходимости делать расчёты?

— Представьте себе, я добился возможности интегрировать.

— Это здорово!

— Я никогда не чувствовал такого удовлетворения! Ведь моей счётной машиной никто не может завоевать мир.

— Кто знает... — неопределённо проговорил Вирт. — Судя по тому, что американцы украли в Германии и все патенты мирного характера, следует думать, что и последними можно воевать. Притом воевать самым активным образом.

— Мир помешался на войнах... Я не вижу этому конца... — пробормотал Эгон.

— К счастью, тому миру, о котором вы говорите, противостоит другой мир — мир социализма, мир творческого труда!..

— Англичане и американцы первыми забыли, во имя чего и как велась эта война.

Вирт, вспомнив что-то, ударил себя по лбу:

— Я все хочу вас спросить: в число тех военных патентов, что вывезли американцы, попали все ваши изобретения?

— Не все, но многие.

— А то, что не попало в их руки?

— Это немного...

— Но существенно?

— Без этого мой бывший хозяин доктор Винер, которого хорошо знал наш Лемке, не сможет довести до конца своё последнее грязное дело — передачу американцам новой модели «фау».

— Сейчас речь не о нем: те из ваших ужасных усовершенствований...

— Не напоминайте мне о них! — с отвращением проговорил Эгон.

— ...которые не попали к американцам, в надёжном месте?

— Как нельзя больше! — Эгон грустно покачал головой. — Бумаги давно в печке.

— Значит, для того чтобы ими

овладеть, нужно, чтобы вы сызнава записали все это?

— Этого не заставит меня сделать сам господь-бог!

— Меня больше бога интересует Винер. Если бы он вдруг появился...

— Здесь?..

— Он или какой-нибудь его эмиссар...

— Я бы послал к чорту любого из них. Поговорим лучше о моей счётной машине.

— Я знаю, вам нехватает материалов. Сейчас мы с вами кое-куда пойдём...

На улице Эгон с трудом поспевал за Руппом, который шагал быстро, уверенно и твёрдо.

— Курите, — приветливо сказал Кроне, подвигая собеседнику ящик с сигарами.

Эрнст Шверер, худой человек, с нестарым, но сильно помятым лицом и с обильною сединой в волосах, принялся медленно, словно нехотя, готовить сигару. Взгляд Кроне цепко ощупывал его лицо, всю фигуру, даже пальцы, вертевшие сигару. Пальцы Эрнста заметно вздрагивали, и веко левого глаза сводил лёгкий тик.

— Перестаньте нервничать, Шверер, — тем же тоном спокойной приветливости проговорил Кроне. —

Не случилось ничего непоправимого. Из-за того, что ваш брат отказался ехать сюда, Германия не станет ни слабее, ни сильнее, ни богаче, ни беднее.

— Но, господин группенфюрер, его приезд имеет очень большое значение!

— Чем дольше я к вам приглядываюсь, тем больше вы напоминаете мне вашего брата.

— Между мной и Эгоном нет ничего общего, — заносчиво проговорил Эрнст Шверер.

— Я имею в виду вашего убитого на Восточном фронте брата Отто. У вас та же исполнительная ограниченность и неспособность

смотреть на вещи более широко, чем сказано в приказе.

— Я хорошо понимаю политический смысл похищения Эгона.

— Как раз этого-то от вас и не требуется. Было бы гораздо лучше, если бы вместо «политических» размышлений вы дали себе труд подумать: «Осуществить план — вывести у Эгона его тайну — Штризе не удалось. Как мне его увезти?»

На этот раз тон насмешливого превосходства прозвучал в ответе Эрнста:

— Советская зона не Америка, киднапинг там не в моде...

Кроне поднялся из-за стола и подошёл к растворённому окну.

— Уверены ли вы, что никаких записей у Эгона нет? — спросил он Эрнста.

— Он сам сказал мне.

— Допустим, что он не соврал и всё, что есть ценного, заключено теперь в его голове.

— Это безусловно так!

— Значит, нам нужна его голова!

Разумеется, не в отдельной упаковке... Нужно найти способ доставить его сюда, хотя бы на короткое время, для разговора с американцами.

Эрнст Шверер усмехнулся:

— Мы могли бы и сами...

— Это будет их делом: выжать из него то, что им нужно.

— Я... предпочёл бы точно знать, что они от него выудят.

— Нас с вами это не касается.

Кроне прошёлся по комнате.

— Итак, — сказал он, оборачиваясь к Эрнсту, — завтра мы вместе с вами отправляемся в советскую зону и на месте посмотрим, что можно сделать... Доктор Шверер ведь женат?

— Да.

— У него, кажется, есть дети?

— Дочка, восемь лет.

— Вы прибавили ей год, — поправил Кроне. — Значит, завтра утром. И вот что: позаботьтесь о том,

чтобы захватить с собой немного продуктов. Чего-нибудь такого, что любят ваши родители. Ведь вы ещё состоите в любимцах мамы?

— Я вас не совсем понимаю, господин группенфюрер... — озадаченно пробормотал Эрнст.

— Это и не обязательно... Вам нужны деньги? Можете не отвечать: вы достаточно плохо владеете лицом. — Кроне вынул бумажник и отсчитал несколько бумажек. — Вас, конечно, больше устраивают доллары, нежели оккупационные марки?.. Прошу!

Когда Эрнст был уже у двери, Кроне рассмеялся и спросил:

— А почему вы не спросили

меня: что общего между нашей операцией и вкусами ваших стариков?

— Вы же сами сказали, что это меня не касается.

— Думали поразить меня выдержкой? Нет, милый мой, это не выдержка, а безразличие.

— Извините, господин группенфюрер.

— Я хочу сказать, что к заданию американцев вы должны относиться так же, как отнеслись бы к нашим. Так слушайте, план прост: вы должны убедить свою матушку пригласить внучку на денёк к себе. Погостить и поесть случайно раздобытых лакомств. Пока девочка

будет у бабушки, — одна или с матерью, это не имеет значения, — за нею может прийти сам доктор Шверер. Понятно?

— Почти...

— Но даже на этой стороне нужно избегать шума.

— А если брат не отпустит дочь на эту сторону, к старикам?

— Тогда я достану её сам. Так или иначе, её нужно взять. Легче похитить ребёнка, чем возиться с увозом вашего брата.

— Конечно, — согласился Эрнст и уже смело взял из ящика Кроне две сигары и сунул себе в карман. — Это, конечно, легче...

После ухода Эрнста Кроне

опустил шторы и зажѣг свет.

Окна уютно светились сквозь живую изгородь, окружающую небольшой домик. Прохожие не без зависти поглядывали на этот уголок, подобный островку, уцелевшему в море невзгод, захлестнувших Западную Германию. Многие знали, что под видом безобидного бюргера здесь нашѣл себе приют какой-то субъект, занимавший в гитлеровские времена видное положение и даже имевший звание группенфюрера СС, и многие были уверены, что если бы дело происходило на советской стороне, то этому субъекту пришлось бы солоно. Но заявления в комиссию по денацификации, возглавляемую

сэром Монтегю Грили, ни к чему не приводили, разве только к неприятностям для заявителей. Поэтому заявления скоро прекратились, и Кроне никто не беспокоил.

Кроне вёл замкнутую жизнь. Днём к нему приходили кухарка и уборщица. Вечера он проводил один, запершись в доме. Посетители бывали редко. Это были люди, которых никто в этой местности не знал.

Сегодня, как и всегда, у Кроне царила тишина. Самые любопытные уши, если их интересовало происходящее в доме, не уловили бы снаружи телефонного звонка,

раздавшегося в комнате, где сидел Кроне.

— О, Фрэнк! — с неподдельной радостью воскликнул Кроне, сняв трубку. — Ты уже здесь?! Ну, ну, я буду очень рад... Только приходи пешком. Дверь на веранду будет не заперта...

Повесив трубку, Кроне посмотрел на часы и отпер балконную дверь.

Прошло не больше четверти часа, и в комнату вошёл полковник Фрэнк Паркер. Он плотно затворил дверь за собой и повернул ключ.

— Вот и я, Мак, — сказал он просто, снимая перчатки и отбрасывая их в сторону вместе со

шляпой.

Кроне пошёл ему навстречу и двумя руками потряс руку Паркера.

— Приятно видеть тебя в порядке! Только с тобой я чувствую себя самым собою и ощущаю, что цел.

— Да и тебе достался довольно трудный пост. По сравнению с тобой пресловутый британский Лоуренс жил у арабов, как в пансионе!

Кроне достал из шкафчика несколько бутылок.

— Покрепче?.. Один наш английский коллега, говорят, потчует своих друзей месивом собственного изобретения. Он называет его «Устрица пустыни»... Прочищает

мозги, как выстрел.

С этими словами Кроне
принялся за приготовление коктейля.

Паркер оглядел комнату.

— Совсем обжился? — спросил

он.

— Завтра снимаюсь с якоря.

— Так я займу твою хижину.

— Получай в наследство!

— С рецептом «Устрицы»?

— Как всякий другой чужой
секрет, могу уступить за сходную
цену.

— А ты домой?

— Зависит от того, что ты
называешь домом.

— В Штаты?

— Боюсь, что я настолько отвык

от Штатов, что именно туда-то и приехал бы, как в гости. Нет, я еду как раз в обратном направлении.

— На ту сторону?

— Да.

— Покупать души?

— За время работы в гестапо я пришёл к выводу: далеко не все покупается и продаётся.

— Станный вывод... для такой службы!

— Видишь ли... мне несколько раз пришлось там столкнуться с коммунистами. Их нельзя было ничем заставить изменить своим взглядам: ни кнутом, ни деньгами.

— У немцев было мало денег.
Кроне покачал головой.

— Нет... не все продаётся. Нам нужно с этим считаться. Вот и сейчас я опять нарвался на такого субъекта. Он даже ещё и не коммунист, хотя идёт к этому.

— Не можешь купить?

— Его пробовали купить англичане — не вышло. Теперь мы хотим его просто украсть.

— Такая важная птица?

— У него в голове кое-что, чего нам нехватает для некоторых работ реактивщиков.

— Так при чем тут англичане?

Кроне рассмеялся.

— Они думали утащить его у нас из-под носа, а нос им натяну я!

— Это правильно... А что тебя

гонит с места?

— Нужно побывать среди немцев в советской зоне и заодно обделать это дело с инженером Шверером...

— Этим самым, с реактивными проектами?»

— Да.

Паркер поставил на край стола пустой стакан.

— Твоё месиво действует здорово! Особенно на голодный желудок.

— К сожалению, ничего не могу предложить, кроме бисквитов и шоколада.

— Вполне устраивает! Я ведь сластёна... Я спешил застать тебя.

Мне предстоит провести тут некоторое время.

— Тебе будет трудно, Фрэнк. Немцы здесь особенно недолюбливают нашего брата.

— Обломаем!..

— Они даже таких, как я, не очень-то уважают. А если бы они знали, что я вовсе не немец фон Кроне, а Мак-Кронин, американец, мне пришлось бы худо... Нужно замесить все наново.

— Приготовь мне ещё порцию твоего «Крокодила пустыни»... Но то, что ты говоришь о здешнем народе, меня удивляет.

— Рано или поздно то же самое произойдёт по всей зоне.

— Глупости! — упрямо проговорил Паркер. — Впрочем, я тут ненадолго. Только наберу кое-какой народ.

— Наших отсюда не сманишь!

— Мне нужны немцы. Фу, чорт! Как я не сообразил сразу; ведь ты же должен знать всех и каждого.

— Какого сорта люди тебе нужны?

— Для создания чего-то вроде «инострального легиона».

— Тут ты, конечно, прав.

— Это не моя мысль; так думают все наши, постарше меня.

— Да, когда-то французы первыми поняли, что такое иностранный легион... — задумчиво

проговорил Кроне. — Нам ещё чертовски может понадобится подобное учреждение. Нужно заранее подбирать такой народ, которому уже некуда деваться, а нигде, как здесь, в Западной Германии, ты не найдёшь его в таком количестве.

— Вот, вот, — обрадованно сказал Паркер. — И в руках держать можно и отвечать не придётся перед папами, мамами да перед избирателями. Тризония надолго останется для нас резервуаром, из которого мы будем черпать солдат для самых трудных дел и мест.

— Однако у тебя большой диапазон: Токио-Париж! Который же

из флангов настоящий?

— Оба. Наши стремятся занять такие позиции, чтобы господствовать и над Старым Светом. Поэтому базы в Исландии, Гренландии и на Аляске ничуть не менее важны, чем в Тихом океане, Жёлтом море или Мраморном. Иначе мы никогда не возьмём Советы в достаточно крепкие клещи. При той политике, которую ведут в Вашингтоне, нам нужен не один Гибралтар, а десять: средиземноморский, полярный, атлантический, тихоокеанский. Везде: в Европе, в Азии, в Африке — всюду! И для каждой такой позиции мы должны найти чудаков, которые согласились бы сидеть в её гарнизоне

за пару галет и глоток джина.

— На первый взгляд не так-то просто!

— Э, брат, на американские козлы сел теперь кучер, который может и рискнуть на горе.

— Однако шею могут свернуть не только его пассажиры, но и он сам, — скептически заметил Кроне.

— Это, знаешь ли, довольно старый закон: своя глупая голова дороже десятка умных чужих.

— В этом смысле Гитлер был наиболее подходящим субъектом. Наши не сумели его во-время поддержать.

Паркер потянулся и зевнул.

— Чертовски устал!

— Ну, спать, так спать! — проговорил Кроне и устало потянулся. — Диван к твоим услугам. Сейчас я дам тебе плед и подушки.

Делая постель, Паркер спросил:

— Что ты скажешь, если я отворю на ночь окошко?

Из спальни слышался смех Кроне.

— Только то, — крикнул он, — что, может быть, утром затворять его будет за нас кто-нибудь другой!.. Я же говорил: немцы не очень любят янки!

— Фу, дьявол! Неужели так скверно?

— Я же говорил... Ну спи,

Фрэнк. Мне рано вставать.

Эмалированная дощечка с номером дома держалась на остатке стены. Рядом с нею была огромная брешь. Дальше снова кусок стены с уцелевшей дверью подъезда. Сбоку кнопка звонка в начищенной медной розетке. Чтобы попасть внутрь дома, не нужно было подниматься по ступеням. Это можно было сделать через любую из брешей по обе стороны двери.

Однако дверь была затворена, и на её створке белела карточка: «Доктор инженер Э.ф.Шверер».

Рупп поднялся по ступеням и надавил кнопку.

— О, господин Вирт! — радостно воскликнула Эльза. — Муж будет так рад!..

Это была правда. Приветливая улыбка появилась на лице Эгона, когда он увидел гостя.

Рупп критически оглядел скучную обстановку комнаты.

— Неважно устроились, — проговорил Рупп.

Эгон махнул рукой:

— Сейчас не до того. Дайте закончить мою машину... Все придёт!

— Именно потому, что вы хотите работать, вам не может быть безразлично, как жить, хотя бы ради неё. — И Рупп кивком указал на

девочку, безмятежно спавшую в кроватке у единственной стены, не выщербленной осколками.

— О, Лили!..

— Да, её будущее — будущее всей Германии, — сказал Рупп.

— Германия никогда больше не будет тем, чем была.

— Надеюсь! И об этом позаботимся мы сами, немцы. Именно поэтому-то её будущее и должно быть прекрасным.

— Если только на это может рассчитывать страна, занятая чужими войсками, раздроблённая на части, с областями, не могущими жить друг без друга, но изолированными одна от другой.

— Это, конечно, так, но я надеюсь, что немцы не дадут себя одурачить.

— Если вы не идеализируете немца в большом, широко народном понимании этого имени; если в немце не умерли совесть и честь, затоптанные Гитлером: если в немце ещё тлеет искорка национального достоинства и понятия о подлинной свободе человека, а мне хочется верить, — Эгон в порыве поднял руки, — да, мне хочется верить, что в моем народе эта искра тлеет так же неугасимо, как, оказывается, тлела во мне самом; если все это живёт ещё и будет жить, то оккупанты там, на западе нашей родины, натягивают

опасную для них пружину.

— Я рад слышать это от вас, — сказал Рупп. — Надо только уточнить: не опасную, а смертельную.

— Может быть, и смертельную... — в задумчивости повторил за ним Эгон. — Когда в народе просыпается сознание того, что он народ, он не прощает, не может и не должен прощать того, что делают американцы и англичане... Особенно американцы... Они плюют нам в лицо, они третируют нас, как каких-то варваров, как рабов, как подонки человечества. Нас без стеснения обируют. Солдаты и офицеры — кто как умеет. Они

разгромили мою старую квартиру в своём секторе Берлина. Растащили все. «На память, на память!» — приговаривали они, растаскивая вещи. — По мере того как Эгон говорил, лицо его покрывалось бледностью. Он судорожно сжимал руки. — Теперь, если я вижу на улице американцев, мне хочется позвать их к себе вот сюда, в эту голую конуру: «Не хотите ли взять ещё что-нибудь?» Солдат, вероятно, удовлетворился бы кастрюльками Эльзы; офицеру я предложил бы детскую кроватку. А генерал... генерал, конечно, пожелал бы овладеть чертежами моей счётной машины. О, в этом американские

генералы понимают толк!

— Так... — задумчиво произнёс Рупп. — Мы подыщем вам более подходящее жильё. Хотя бы ради... ради Лили. И ради вас самого.

Эгон грустно улыбнулся.

— Теперь часто приходится слышать о том, что многие представляют себе, будто нас будут рвать с двух сторон...

— Это не так, мой доктор.

Рупп развернул книгу, которую держал в руке.

— Вот послушайте: «Красная Армия имеет своей целью изгнать немецких оккупантов из нашей страны и освободить советскую землю от немецко-фашистских

захватчиков. Очень вероятно, что война за освобождение советской земли приведёт к изгнанию или уничтожению клики Гитлера. Мы приветствовали бы подобный исход. Но было бы смешно отождествлять клику Гитлера с германским народом, с германским государством. Опыт истории говорит, что гитлеры приходят и уходят, а народ германский, а государство германское остаётся...»

Рупп поднял глаза на Эгона. Тот сидел, охватив голову руками. Его глаза были закрыты. Рупп раздельно повторил:

— «...гитлеры приходят и уходят, а народ германский...»

Заметьте, доктор, это говорилось в тот период, когда Гитлер в своём приказе писал: «Уничтожь в себе жалость и сострадание — убивай всякого русского, советского, не останавливаясь, если перед тобой старик или женщина, девочка или мальчик, — убивай!..» — В голосе Руппа зазвучала гордость. — А смотрите, доктор, что говорит Сталин: «У нас нет такой задачи, чтобы уничтожить Германию, ибо невозможно уничтожить Германию, как невозможно уничтожить Россию. Но уничтожить гитлеровское государство — можно и должно».

— Я знаю, он это сказал!

— А раз сказал он...

Эгон подался всем корпусом к Руппу и в волнении проговорил:

— Много лет назад я слышал его голос по радио в автомобиле Франца... Я мог бы и сейчас слово в слово повторить его речь...

— Я вижу, вам она хорошо запомнилась.

— Разве можно забыть этот голос! Эти слова! — Глаза Эгона загорелись новою надеждой. Он остановился над кроваткой и долго, задумавшись, смотрел на разметавшуюся во сне девочку.

— Я совсем забыла тебе передать, — сказала Эльза: — заходил Эрнст.

— Эрнст? — Брови Эгона

недовольно сошлись. — Что ему тут нужно?

— Твои родители приглашают Лили на денёк погостить. Эрнст завтра заедет за ней.

— Завтра я занят.

— Так я поеду с Лили.

— Одна, в ту зону!

Старый Шверер напрасно старался скрыть от жены владевшее им с утра беспокойство. Он непривычно суетился, то и дело высовывался из кабинета, чтобы посмотреть на единственные оставшиеся в доме часы, и потом, поймав себя на этом нетерпении, с ожесточением захлопывал дверь.

Наконец над входной дверью настойчиво задребезжал звонок.

Перед отворившею дверь Анни стоял плотный человек среднего роста, в наглухо застёгнутом чёрном пиджаке, из которого торчал стоячий крахмальный воротничок. Прямые

широкие поля чёрной шляпы почти касались оправы очков.

Обнажив коротко остриженную голову, вошедший негромко, но настойчиво проговорил:

— Я желал бы видеть господина Шверера. — Заметив готовый сорваться с губ Анни ответ, он предупредил его лёгким движением руки и уверенно произнёс: — Если вы скажете, что пришёл отец Август фон Гаусс, он захочет меня принять.

Прежде чем Анни успела что-либо ответить, за её спиной приотворилась дверь генеральского кабинета и выглянул сам Шверер. Он пристально и с очевидным удивлением смотрел на Августа.

— Вполне понимаю ваше недоумение, — с улыбкою проговорил священник. — С тех пор как мы виделись последний раз, прошло, по крайней мере, десять лет. Вы имели право забыть меня.

— Вы... так изменились, — проговорил Шверер, продолжая в нерешительности стоять в дверях, но Август без приглашения направился в кабинет. Швереру поневоле пришлось посторониться, и, последовав за гостем, он сердито прихлопнул створку двери.

Торопливо, мелкими шажками Шверер обошёл стол, но не опустился в кресло.

— Вы перестанете удивляться

моему визиту, — сказал священник, — когда узнаете, что я прибыл как посланец доброй воли от его святейшества папы! Немцы достаточно хорошо знали святого отца, когда он был ещё кардиналом Пачелли. И он тоже достаточно хорошо знал многих немцев...

Шверер потёр лоб и нерешительно проговорил:

— Да, да, кардинал Пачелли.

— Я знаю, экселенц, вы никогда не были склонны интересоваться делами церкви. Это грех многих наших военных. Грех и большая ошибка. Политическая и, я бы позволил себе сказать, экселенц, тактическая ошибка! Именно так:

тактическая, — внушительно повторил патер Август. — Думаю, что у моего старшего брата есть теперь достаточно времени для размышления над ошибками, приведшими его в плен к русским, где ему не осталось ничего иного, как заниматься историей живописи...

— Французской! — презрительно фыркнул генерал.

— Полагаю, что вы, как всякий цивилизованный человек, хорошо знаете заслуги его святейшества перед национал-социализмом и перед современной Германией вообще. Ещё большие услуги святая церковь рассчитывает оказать ей в

будущем.

Генерал нетерпеливо перебил:

— И всё-таки я не понимаю: почему вы здесь, у меня?

Отец Август сделал вид, что не замечает его раздражения. Все тем же ровным, спокойно-настойчивым голосом он проговорил:

— Самое могущественное государство вселенной — святая католическая церковь — протягивает руку всякому, кто готов сотрудничать с нею на любом поприще. — Он сделал паузу и повторил: — На любом, экселенц: духовном, политическом, экономическом и военном. Рим поддержит всякого, кто стремится к уничтожению

коммунизма. Назовите мне иную, более универсальную и гибкую машину, способную объединить самые разнородные, подчас даже противоречивые силы и элементы, чем наша церковь!

— Не преувеличиваете ли вы?

— Преувеличиваю? — отец Август соболезнующе покачал головой, как если бы ему было жаль этого, так мало знающего старикашку. — Покажите мне другую державу, подданные которой были бы равноправными гражданами всех государств мира! Святейший отец, наш папа, может отдать любой приказ любому из трехсот восьмидесяти миллионов своих

подданных, не считаясь ни с их положением, ни с их национальностью! Католицизм стирает границы — он не признает национальностей, он космополитичен...

— Я помню, то же самое говорили мне о коммунизме, — пробормотал Шверер.

— Увы, это было нашей ошибкой. На деле коммунисты всегда настойчиво боролись только с узким национализмом. Это-то мы опрометчиво и принимали за космополитизм.

— Я не очень разбираюсь в этом, — заметил генерал.

— А вам очень важно понять,

что, будучи врагами космополитизма, за который борется святая католическая церковь, коммунисты отстаивают право человека на его национальность, на его любовь к его земному отечеству. Эта точка зрения антагонистична нашей. Мы утверждаем, что истинное отечество, единое для всех людей, не здесь, на этой грешной земле, а там... — отец Август возвёл глаза к потолку и даже воздел руки.

Шверер раздражённо повёл плечами.

— Космополитизм, интернационализм! Мне нет до всего этого никакого дела.

— Неправда! Вы не имеете

права повторять ошибки прошлого. В своих планах вы должны рассчитывать на католицизм.

Шверер в полном изумлении уставился на собеседника.

— Да, да, именно так! Католик, не признающий себя ни поляком, ни чехом, ни итальянцем, ни французом, а только подданным святого престола, только покорным рабом святейшего отца римской церкви, — вот на кого вы должны делать ставку не меньшую, чем на своих солдат...

— Однако чему я всё-таки обязан вашим визитом? — спросил его Шверер.

— Поймите же, — проговорил

Август, — престол святого Петра — вот центр, к которому вскоре протянутся все руки, желающие поднять меч на большевистскую Россию. В Рим придут все, кто захочет принять участие в крестовом походе против большевизма.

— Положение усложнилось, — резко возразил генерал. — Нам самим, всем нашим соседям и даже самому Риму нужно лечиться от язвы коммунизма, прежде чем выступить в поход.

— Мы это знаем, — сказал Гаусс. — Мы боремся и будем бороться с этой бедой. Такова миссия апостольской церкви. Светские власти многих государств и самого

богатого и могущественного среди них — Соединённых Штатов — работают рука об руку с нами. У нас нет разногласий в этом деле.

— Я очень рад, однако все же думаю: я ничем не могу быть полезен его святейшеству. Я сторонник крайних мер. Россию нужно побеждать не крестами, а пушками. Тут нужны не священники, а солдаты. Только над этим я работаю и намерен работать дальше.

— Мы хорошо знаем, над чем вы теперь трудитесь. Мы одобряем ваш труд.

— Вы ничего не можете знать, — сказал Шверер. — Никому из духовных лиц я не докладывал о

том, над чем тружусь!

— И тем не менее... — Гаусс улыбнулся. — Могу вас уверить: мы очень многое знаем.

— То же самое любила говорить наша гестапо! — желчно заметил Шверер.

Август Гаусс развёл руками, как бы говоря: «Можете называть это как угодно».

— Мы знаем, что англо-американское командование пока поддерживает ваш литературный труд. У них попрежнему велик интерес к теме похода на восток.

— Для того чтобы сообщить мне все это, вы и пришли?.. — раздражённо проговорил генерал. —

Все это я знал и знаю без вас. Я работаю для тех, кто, так же как я, понимает, куда должен быть направлен меч будущей Германии.

— Примите же и нас в число тех, кто думает так, — произнёс Гаусс и сунул руку в карман пиджака.

Шверер увидел пачку узких длинных зелёных банкнот.

— Мы хотим внести свою лепту в великое дело. По указанию пастыря верующих мы должны помочь вам закончить ваш труд: книга должна быть дописана.

— Я и допишу её!

— Безусловно, с помощью божьей. Мы только просим внести в рукопись некоторые коррективы по

нашим указаниям. — Священник подвинул пачку долларов к Швереру. — Прошу вас, примите этот скромный взнос в наше общее дело.

— Я не нуждаюсь... — начал было сердито Шверер, но ему помешал договорить неожиданный удар в дверь. Она порывисто распахнулась, и в кабинет вбежал Эрнст. Его лицо было бледно. Он тяжело дышал.

Увидев его, Шверер испуганно крикнул:

— Лили?!

Эрнст протянул дрожащую руку, чтобы остановить бросившегося к нему отца.

— Нет, нет, с нею ничего не случилось... — Окинув взглядом незнакомого посетителя, он, насколько мог спокойно, сказал: — Просто я не застал там никого дома.

Август Гаусс поднялся и, молча поклонившись генералу, вышел. Генерал засеменил к двери. Он хотел крикнуть женщинам, чтобы проводили патера, но, увидев их суесящимися в кухне, сам пошёл по мосткам перед Гауссом и отворил ему дверь.

Эрнст, оставшись один в кабинете, рывком освободился от галстука и дрожащими пальцами расстегнул воротник рубашки. Он перестал владеть собой. Даже здесь,

на земле, не подконтрольной советским войскам, ему чудилась погоня русских, едва не захвативших его на квартире Эгона. Если бы он не успел вскочить в автомобиль, его схватили бы так же, как Кроне.

Эрнст провёл рукою под воротником — шея была мокра от пота. Он в бессилии откинул голову, но тут его взгляд упал на пачку долларов, лежавшую на отцовском столе. Одно мгновение он с удивлением смотрел на деньги. Потом быстрым движением пальцев, в которых сразу исчезла дрожь, схватил несколько билетов и, скомкав, сунул в карман.

Когда генерал вернулся в

кабинет, Эрнст сидел, откинувшись
на спинку кресла.

— Курить, надеюсь,
разрешите, — спросил
арестованный.

Помощник советского
коменданта молча подвинул ему
коробку папирос.

— Я предпочёл бы получить
обратно мои сигары, — сказал
арестованный.

— Не раньше, чем их исследуют.
Арестованный пожал плечами и
взял папиросу.

Офицер придвинул к себе
протокол допроса.

— Ваше имя?
Арестованный испытующе

посмотрел на офицера, пытаюсь поймать его взгляд, но тот глядел на кончик пера.

Подумав несколько мгновений, арестованный чётко произнёс:

— Вильгельм фон Кроне.

— Национальность?

— Немец.

— Вы в этом уверены? — спросил офицер и впервые взглянул на Кроне.

— Так утверждали мои родители. У меня не было оснований им не доверять.

— Несмотря на арест, вы пытаетесь сохранить бодрое настроение? — с усмешкой спросил офицер.

Кроне пожал плечами:

— У меня нет оснований быть недовольным.

— А то, что провалились ваши намерения в отношении инженера Шверера?

— О, это довольно сложный вопрос!

— Поэтому-то мне и хотелось бы его выяснить.

— Я бы предпочёл отложить это до другого раза: когда меня будут допрашивать там, в России...

— Почему вы так уверены, что окажетесь в СССР?

— А разве вы не отправите меня в Россию?

— Если это будет необходимо.

— Я полагал, что всех СС вы отправляете в лагеря.

— Все зависит от того, что я от вас услышу.

— Длинная и сложная история...

— Этого я не боюсь.

— В сущности, это хроника семейства Шверер. И даже больше, чем одного этого семейства, — это хроника больших и сложных событий, которые привели к тому, что я должен был ехать сюда, в вашу зону. И, я бы даже сказал, к тому, что эта часть Германии стала именно вашей зоной и что я, немецкий гражданин и чиновник, сижу тут арестованный. У вас нехватит

терпения выслушать всю эту
историю.

— Хватит не только выслушать, но и записать.

— Я должен был бы начать её издавека.

— Откуда хотите.

Помощник коменданта позвонил и приказал вошедшему сержанту прислать стенографистку.

Пока стенографистка усаживалась и готовила карандаши, Кроне нервно курил, делая глубокие затяжки. Когда стенографистка взглянула на офицера в знак того, что она готова, Кроне сказал:

— Постараюсь сделать так,

чтобы всякому, кто будет это читать, все стало ясно. — Он криво усмехнулся, глядя на отделяющуюся от папиросы струйку дыма. — Могу сказать: жизнь большинства участников этой истории я знаю лучше, чем они сами. Они многое забыли, а я обязан был помнить все. — Он полуобернулся к стенографистке: — Вы готовы, фройлейн?

Кроне уже собирался начать говорить, когда офицер остановил его движением руки. Он мгновение о чём-то раздумывал, потом сказал стенографистке:

— Выйдите на несколько минут и пришлите мне сержанта.

Вошедшему сержанту помощник коменданта сказал:

— Возьмите арестованного. Приведёте, когда позвоню. Ясно?

Оставшись в кабинете один, офицер несколько раз прошёлся из угла в угол. Вернулся к столу, набрал диском номер телефона.

— Тот, кто называет себя Кроне, у нас в руках, — сказал он. — Я думаю, это ключ ко многому из того, что мы уже знаем. Остаётся свести концы с концами...

Выслушав какую-ту реплику собеседника, он продолжал:

— Сейчас я начну допрос. Вы будете получать стенограммы сразу по расшифрованию. Исправляйте все

неточности. Дополняйте рассказ. Он должен содержать всё, что Кроне попытается скрыть и чего он сам не может знать, но что знаем мы... Первую стенограмму получите сегодня.

Положив трубку, он нажал кнопку звонка и приказал ввести арестованного.

Кроне сел. Он старался сохранить спокойствие. Но когда он закуривал, его пальцы заметно дрожали.

Едва начав диктовать, он уже потянулся за новой папиросой.

Офицер сидел у окна и, казалось, не слушая Кроне, рассматривал молодое деревце,

посаженное под окном советскими солдатами. Деревце было тоненькое, и листочки на нём были крошечные, светлозеленые. Они разворачивались с такою робостью, словно боялись раскрыться в этой, только ещё третьей для них весне без грохота пушек, без топота солдатских сапог.

Офицер с дружеской усмешкой смотрел, как солдат, присев на корточки, разрыхляет землю вокруг деревца. Солдат поливал землю прямо из большого ведра, отставив в сторону аккуратную, маленькую, разрисованную маргаритками немецкую лейку.

Часть шесть

*Родилась счастливой,
умерла отважной.*

Мао Цзе-дун

Сань Тин почти без отдыха шла со вчерашнего вечера. Усталость свинцом наливала даже её привычные к походам ноги, маленькие ноги китайской девушки-бойца, ещё «дьяволёнком» проделавшей весь легендарный поход частей 8-й армии в японский тыл в начале Освободительной войны.

Сань Тин невыразимо хотелось присесть, но она знала: сесть — значит уснуть, а уснуть — значит рисковать быть застигнутой гоминдановским патрулём. Это было в её положении недопустимо. Поэтому она заставляла себя идти,

пока были силы, а сил должно было хватить до тех пор, пока она не достигнет цели — католической миссии в окрестностях Тайюани.

Столица Шаньси давно уже находилась в тылу наступающей Народно-освободительной армии. Армия генерала Пын Дэ-хуая прошла на запад, обложив укреплённый район Тайюани и не задерживаясь у неё ради овладения таким призом, как гоминдановский генерал Янь Ши-фан, всё равно, рано или поздно, обречённый на капитуляцию. Ликвидация последних очагов сопротивления гоминдановцев была только вопросом времени, притом совсем не такого большого времени,

как пытались это изобразить в своей прессе Чан Кай-ши и его американские покровители. Недаром главари гоминдановцев поспешно эвакуировались на остров Тайван, форсированными темпами перевозили туда спасённые от НОА остатки американского вооружения и сжигали запасы продовольствия и награбленного имущества, которое не могли ни перебросить на юг, ни захватить с собой, но и не хотели оставить законному хозяину — китайскому народу.

Однако, несмотря на очевидную обречённость, клика Чан Кай-ши, подстрекаемая её американскими повелителями, не желала сложить

оружие. Отступая под неудержимым напором НОА, Чан Кай-ши и его американские военные советники выработали новый план, чтобы попытаться удержать в своих руках южные и западные провинции Китая. Порты Амой, Сватоу и Кантон должны были служить воротами для дальнейшего притока американского вооружения.

Гоминдановцы спешили стянуть свои главные силы, пока ещё не разгромленные войсками НОА, в треугольник Нанкин — Шанхай — Ханьжоу. Эти силы насчитывали более полумиллиона солдат под командованием генерала Тан Энь-бо. Обороной района городов Ханькоу,

Цзюцзянь, Наньчан, Чанша командовал один из самых отвратительных палачей, жестокий и жадный генерал Бай Цзун-си, имевший в своём распоряжении около трехсот тысяч человек. Эти провинции должны были, по мысли американо-гоминдановских стратегов, стать главным плацдармом для продолжения гражданской войны, окончательно ликвидированной уже на севере и успешно заканчиваемой НОА в Западном и Центральном Китае.

Одновременно с наступлением Народно-освободительной армии на юг, северо-западные войска НОА, возглавляемые генералами Пын Дэ-

хуаем и Хо Луном, вели широкие операции против чанкайшистских войск в северо-западных провинциях — Шаньси, Ганьсу, Суйюань и Нинся. НОА шаг за шагом заставляла гоминдановцев отступать, теряя живую силу и огромную боевую технику, привезённую американцами. Гоминдановское командование возлагало большие надежды на группы войск генералов Ху Цзун-наня, Ма Бу-фаня и Ма Хун-куя, считая, что они являются надёжным заслоном против прорыва освободительных армий на запад и против их выхода обходным манёвром на юго-запад, где пыталась укрепиться группировка Бай Цзун-

си.

Но, поддерживаемое всем многомиллионным народом Китая, наступление НОА развивалось неудержимо. За три года боев под её ударами Чан Кай-ши потерял около шести миллионов человек. Трофеи НОА исчислялись в 40 тысяч артиллерийских орудий, 250 тысяч пулемётов, 2 миллиона винтовок, около тысячи танков и ста самолётов. Довооруженные этой техникой армии народа стремились к последним рубежам освободительной войны — к берегам океана.

В эти критические для американо-гоминдановской

авантюры дни в Токио произошло свидание между Макарчером и прилетевшим из Америки Джоном Ванденгеймом, личным представителем президента. Подвижность Джона, унаследованная, вероятно, от папаши-гангстера, отличала его от других монополистических «королей» Америки. Для затыкания брешей, образующихся в крепости американского империализма, он готов был лететь куда угодно. Его багровая физиономия была хорошо знакома и американо-британским сатрапам в Западной Германии и вице-королю Дальнего Востока.

То обстоятельство, что на этот

раз Джон прибыл в качестве личного представителя Фрумэна, не радовало Макаρχера. Он отлично знал, что были времена, когда, несмотря на принадлежность к разным партиям, делец-монополист Ванденгейм откупил у мерзкой памяти Пендергаста право распоряжаться приглянувшимся ему мелким политическим жуком Гарри Фрумэном. Макаρχер не был так наивен, чтобы воображать, будто, продвинув Гарри до президентского кресла, Ванденгейм перестал быть его фактическим хозяином.

Макаρχер хорошо помнил времена, когда Джон Ванденгейм не без робости входил в вагон покойного

Рузвельта и когда сам он, генерал Макарчер, несколько свысока глядел на этого грубого крикуна. Но времена переменялись. Теперь с Ванденгеймом нужно было считаться уже не только как с финансовой силой, но и как с официальным лицом, способным открыто насовать палок в колеса колесницы, на которой Макарчер рассчитывал прикатить к вершинам неделимой власти над Азией и Тихим океаном.

Первые свидания Ванденгейма с Макарчером происходили без свидетелей в личной резиденции главнокомандующего. Но кое-кто, со слов адъютантов, знал об истерических криках Ванденгейма и

площадной брани Макаρχера,
доносившихся из-за двери
генеральского кабинета.

Им было о чём поговорить.
Американская авантюра в Китае
перевалила через зенит и
стремительно катилась по
нисходящей кривой к неизбежному
концу. Джона выводили из себя
неудачи Чан Кай-ши. Он был склонен
винить во всем неповоротливость
американских роенных советников и
бездарность генерала Баркли; он
называл близорукими кронтами
генералов Ведемейера и Маршалла.
Больше того, Ванденгейм говорил:

— Вы сами, Мак, — да, да, я не
боюсь это сказать, — вы сами

виноваты в том, что под прикрытием старого дурня Чача не было организовано настоящее американское вторжение в Китай.

— Если бы мы попробовали это сделать, мы тут же встретили бы сопротивление не только всей Азии, а может быть, и американцев, — как раз то, от чего нас предостерегал покойный президент Рузвельт.

— Рузвельт, Рузвельт! — раздражённо возразил Джон. — Чего стоят его предостережения, когда нет его самого. Идеи хороши до тех пор, пока существуют люди, способные их проводить. Идеи Рузвельта были хороши для Рузвельта. Как бы выглядел нынешний президент, если

бы попробовал осуществлять программу своего предшественника? Это была бы трагическая оперетка. Трагическая для Штатов. Нет, Мак, Фрумэн хорош для идей Фрумэна.

— И ваших? — с язвительностью вставил Макарчер.

— Моих и ваших, — поправил его Джон. — Не будем жаловаться на судьбу, которая дала нам такого президента, который...

— Вам мало считать себя королём республики, хотите уже называться судьбой?

— К чорту остроты, Мак! Нам нужно делать общее дело. Говорите толком и вполне откровенно: вы надеетесь на то, что удастся

задержаться на юге Китая?

— Скорее, на западе, если...

— На чорта нам нужен запад, граничащий с Советами! Куда мы имеем оттуда выход? В объятия англичан, в Индию? — Вы реальный человек, Джон, — спокойно сказал Макарчер. — Индия и англичане — это давно уже не одно и то же.

— Но Индия и Америка — ещё меньше одно и то же.

— Может быть, сегодня. Но я не знаю, что будет завтра.

— Если бы я это знал, то, может быть, не прилетел бы к вам.

— Так чем же вас не устраивает Западный Китай? Я гарантирую вам, что через год далай-лама выставит из

Тибета последнего англичанина.

— Вы хотите, чтобы я занялся разведением яков? Нет, Мак, это мне не нравится. Будем серьёзны: если вам окончательно дадут под зад и в Южном Китае, наше дело в Азии можно считать проигранным. Американское право распоряжаться китайским сырьём и китайскими дешёвыми рабочими руками, американская промышленность на японских островах, японские солдаты в американской форме, американские базы на корейской земле — вот на чём строились расчёты. Они летят прахом.

— Посмотрим... —
неопределённо пробормотал

Макарчер.

— Что тут смотреть! — крикнул Джон. — Ответьте мне, наконец, на прямой вопрос: вы удержитесь в Южном Китае или нет?

Макарчер продолжал молча курить свою длинную папиросу, как ни в чём не бывало покачивая ногой.

— Ага! — ещё громче крикнул Джон. — Вы потому и трубите на весь мир о стратегических преимуществах этого дрянного «пяточка» — Формозы, что не надеетесь сохранить ничего больше! Я понял... все понял... — машинально повторил он несколько раз, тупо глядя на Макаρχера. — Так знайте же, Мак: это поражение будет

вам стоять всей Азии, понимаете — всей Азии! Вы никогда в неё не вернётесь.

— У меня остаётся ещё Южная Корея. Это прекрасный стратегический плацдарм для развития широкого наступления на Китай, на всю Азию.

— Дай бог, чтобы там с вами не случилось того же, что произошло тут. А я уж воздержусь от вложения в эту лавочку хотя бы одного нового цента. С меня хватит того, что стоит этот старый кретин Чан. К чорту!.. Обходитесь без меня.

— А если я всё-таки влезу в Азию через Корею обеими ногами, по-настоящему?.. Вы немедленно

явитесь!

— Если вы станете там крепко, так, чтобы вас тут же не посадили задом в воду, я, конечно, явлюсь. Явлюсь и покажу вам, чего стоит доллар.

— Доллар рядом с винтовкой?

— Нет, позади винтовки. Только так, Мак. С этих пор только так. Вы недаром носите такую красивую шапку с золотом. Извольте же шагать впереди. А мы уж за вами. Зря не платят ни за что!.. Китай — прекрасный урок для нас.

Как говорят адъютанты, на этом закончились их свидания с глазу на глаз. Следующая встреча происходила в присутствии

нескольких японцев и уполномоченного Чан Кай-ши. Речь шла о японском предложении использовать на покидаемом американцами пространстве Китая средства бактериологической войны. Не смущаясь тем, что все их преступные замыслы этого рода были разоблачены хабаровский процессом Ямады, Кадзицуки, Кавасимы и других, японцы предложили американцам свои услуги. От американцев требовалось только доставить из Штатов средства бактериологической войны, изготавливающиеся в Кэмп Детрик.

Джон отнёсся к этому предложению благосклонно.

Уполномоченный Чан Кай-ши возражал, ссылаясь на то, что бактериологические средства угрожают и остаткам живой силы самого гоминдана, отходящим в направлении Индо-Китая.

Макарчер знал истинный мотив благосклонности Ванденгейма: прикрытый фиговым листком правительственного института, Кэмп Детрик фактически являлся лавочкой Джона, сулившей ему в случае осуществления бактериологической войны гигантские барыши. Именно поэтому Макарчеру и не хотелось пускать машину в ход раньше, чем Джон догадается сделать его самого участником лавочки. Макарчеру

казалось, что у него есть все основания считать себя первооткрывателем этого источника долларов. Кто, как не он, десять лет тому назад первым выведal эту тайну японцев?

Приглашённый к обсуждению этого дела Баркли колебался. С одной стороны, его пугала перспектива заразить чумою места, где он научился извлекать доллары из всего, что попадалось под руку: было ли разумно уничтожать своих собственных рабов и покупателей? С другой стороны, было соблазнительно раз навсегда покончить с помехой, какую сторонники Мао Цзе-дуна

представляли коммерческим комбинациям Баркли на азиатском материке.

В конце концов решение было все же принято. В Штаты полетели шифровки с приказом отгрузить продукцию Кэмп Детрик в адрес Чан Кай-ши. Оттуда самолёты должны были доставить груз в тыл НОА. Самым удобным пунктом для этого казалась Тайюань, находящаяся в далёком тылу НОА. А ввиду необходимости соблюдать в этом деле строжайшую тайну решили организовать центральную станцию в таком месте, чтобы ни у кого не могло возникнуть и тени подозрения в её истинном назначении.

Прекрасным местом была бы католическая миссия св. Игнатия на дороге между Тайюанью и Сюйгоу.

Когда кардиналу Томасу Тьен объяснили суть дела, он охотно дал согласие на организацию в миссии рассадника чумы на весь Западный, Северный и Центральный Китай под видом станции противочумных прививок.

Именно туда, в распоряжение войск гоминдановского генерала Янь Ши-фана, одного из ближайших помощников главнокомандующего блокированной гоминдановской армии, и спешила теперь Сань Тин. Она, как величайшую гордость,

несла в себе сознание важности данного ей поручения. Это задание возложил на неё сам генерал Пын Дэ-хуай — гроза гоминдановцев.

При мысли о Пын Дэ-хуае Сань Тин пришёл на память и тот день, когда она стала бойцом его 1-й полевой армии. Ведь раньше-то она воевала в рядах 4-й полевой армии генерала Линь Бяо. Линь Бяо был замечательный генерал, и Сань Тин любила его, как родного отца. Впрочем, нет! Слово «отец» тут совсем не подходит. Линь Бяо был слишком молод, чтобы связывать с ним представление о слове «отец». Скорее Сань Тин воспринимала его как старшего, очень, очень мудрого

брата. И, наверное, она никогда-никогда не ушла бы сама от генерала Линь Бяо, а, как любящая сестрёнка, заботилась бы о нем до самого конца войны, если бы в тот памятный день, когда 1-й авиационный полк НОА одержал свою большую победу под Цзиньчжоу, Сань Тин не услышала в блиндаже Линь Бяо увлекательного рассказа Пын Дэ-хуая о значении, какое имеет работа секретных агентов НОА в гоминдановском тылу. Её воображение было так взбудоражено этим рассказом о подвигах народных разведчиков, что на следующее утро, подавая чай Лин Бяо и собиравшемуся в путь Пын Дэ-хуая, Сань Тин осмелилась сказать:

— Уважаемый отец и командир, товарищ Линь Бяо, я очень стыжусь того, что отнимаю ваше драгоценное время таким мелким делом, но позвольте мне сказать: подвиги моих братьев и сестёр, о которых рассказывал вчера генерал Пын Дэ-хуай, кажутся мне слишком прекрасными, чтобы я могла когда-нибудь найти покой, приготавливая обед и заваривая чай и даже делая такую важную работу, как стирка белья для солдат.

Линь Бяо рассмеялся и ответил:

— Но подвиги армии и складываются из мужества разведчиков, храбрости солдат, искусства генералов и скромного

труда таких, как вы, моя помощница Сань Тин. Должен же кто-нибудь стирать бельё и греть воду для чая. Думайте о величии этого подвига, прекрасного своей скромностью, и душа ваша, несомненно, обретёт утраченный покой.

Но тут вдруг в разговор вмешался Пын Дэ-хуай:

— А не кажется ли вам, товарищ Линь, что эта девушка прошла уже ту часть своего героического солдатского пути в Народно-освободительной войне, когда она должна была стирать бельё и чинить туфли? Не заслужила ли она своей скромностью и трудолюбием, о котором вы сами так лестно

отозвались, права посмотреть в глаза врагу? Не отсюда, не из вашего укрытия, а так, как она мечтает: в тылу врага, где скрытые опасности подкарауливают патриота на каждом шагу. Быть может, настало время дать Сань Тин возможность поработать там, где она тоже имеет возможность пролить свою кровь за великое дело народа?

Линь Бяо сурово свёл брови и посмотрел в глаза Сань Тин:

— Подвиг патриота велик, даже если он совсем незаметен. Не думайте, Сань Тин, что работа разведчика заметнее работы прачки.

— Товарищ генерал Линь Бяо, прошу вас поверить: сердце моё

наполнено желанием служить народу на любом посту. Но если, как прекрасно сказал товарищ генерал Пын, я смогу пролить в этой войне хоть капельку своей крови, я приду к победе во столько раз счастливей, сколько крыш на самой большой пагоде в Пекине. В моем уме нет мечты обрести известность. Пусть я останусь таким же маленьким и незаметным человеком, как прачка, но пусть кровь моя сольётся с потоком крови моего народа.

— Хорошо, — ответил Линь Бяо, — если генерал Пын полагает, что настало время вам стать бойцом секретной войны, которую ведут наши братья во вражеском тылу, я

отпущу вас к генералу Пын, в его армию. Потому что мне было бы очень грустно думать, что в вашей смерти повинен я, если до моих ушей дойдёт когда-нибудь весть о том, что война потребовала и вашей жизни.

Сань Тин не смела поднять глаз на Пын Дэ-хуая. Она обмерла от восторга, когда он сказал:

— Хорошо! Пусть Сань Тин станет моим солдатом. Я уверен, дорогой мой друг Линь, что горе никогда не коснётся вас в связи с её именем. Если случится то, что может случиться с каждым воином, то слава подвига, совершенного Сань Тин, озарит вас светом такой радости, которая не оставит места для тени

печали.

Сань Тин молча поклонилась обоим генералам и вышла, не поднимая головы, чтобы они не увидели слез радости, навернувшихся на её глаза.

Вслед ей послышались слова Пын Дэ-хуая:

— Я уезжаю через полчаса...
Будьте готовы.

С тех пор прошло всего несколько месяцев, и, окончив школу разведчиков, Сань Тин выполняет уже третье самостоятельное поручение. Она должна проникнуть в район осаждённой войсками НОА Тайюани и передать партизанам, скрывающимся в подземельях близ

Тайюани, приказ: помочь секретному агенту, присланному Пын Дэ-хуаем, предотвратить бактериологическую диверсию, подготовляемую американо-гоминдановскими разбойниками. На этот раз Сань Тин — всего лишь связная, но она знает огромное значение связи в такого рода делах. Разумеется, не произойди какой-то заминки с приёмом радиোগрамм у партизан, Сань Тин, быть может, и не пришлось бы выполнять роль почтового голубя. Но в том-то и дело: отправив передачу, радиостанция Пын Дэ-хуая не получила квитанции от партизан. Так и осталось неизвестным, дошёл ли приказ. Вот Сань Тин и

приходилось обеспечить его доставку во что бы то ни стало. Этим, однако, не исчерпывалось её задание. Выполнив задачу по связи, она должна была прийти на помощь секретному агенту Пын Дэ-хуая, посланному для ликвидации диверсии. Нужно было обеспечить ему отступление из миссии, когда задание будет выполнено. По словам генерала, лично инструктировавшего Сань Тин при отправлении, независимо от того, что именно этот агент представлял большую ценность для НОА, всякий разведчик, совершающий опасный подвиг для народа, имеет право знать, что его тыл обеспечен.

Ноги Сань Тин подкашивались, но она шла. Когда её отяжелевшие веки опускались, перед нею возникал образ Пын Дэ-хуая, каким она видела его в последний раз, когда он давал ей инструкцию. И тогда веки Сань Тин сами поднимались, глаза смотрели вперёд, и ноги начинали двигаться быстрее.

Она заставляла их двигаться через силу потому, что ноша, возложенная на её плечи Пын Дэ-хуаем, была большой и очень важной ношей. Такую огромную тяжесть она несла впервые в жизни. Сегодняшняя ночь казалась ей чем-то вроде самого ответственного экзамена в очень

трудной школе. Идя к цели, Сань Тин не переставала думать о том, что говорил ей на прощанье генерал Пын Дэ-хуай:

— Древняя китайская мудрость справедливо говорит: «Защищаются друг от друга несколько лет, а победу решают в один день. В этих условиях не знать положения противника — верх негуманности. Тот, кто его не знает, не полководец для людей, не хозяин победы». Нет ничего, Сань Тин, что следовало бы пожалеть для получения сведений о враге. «Знание наперёд нельзя получить от богов и демонов. Знание положения противника можно получить только от людей», — кажется, так сказал

древний мудрец Сунь Цзы. Он сказал очень правильно, имея в виду необходимость посылать в стан врага лазутчиков. И он же сказал: «Не обладая гуманностью и справедливостью, не сможешь ничего узнать у людей в тылу врага». Это тоже правильные слова, хотя они были сказаны тогда, когда в Китае не было ни гуманности, ни справедливости. Мы гуманны и справедливы уже по одному тому, что гуманна цель нашей борьбы и борьба справедлива. Вы всегда должны помнить это, Сань Тин, это даст вам силы и мужество для борьбы в самых тяжелых условиях, встречающихся на пути разведчика...

Сань Тин думала теперь об этом, и ей казалось, что рядом с нею идёт генерал Пын Дэ-хуай, — так хорошо она слышала его голос в тишине ночи.

А ночь была тёплая и безлунная. Плотный полог низко бегущих облаков укрывал землю от света месяца. Сань Тин скорее угадывала, чем видела глазами дорогу. Временами не было слышно ничего, кроме звука собственных шагов да мягкого шуршания ветра в траве. Изредка, но всякий раз пугая неожиданностью, поперёк дороги мелькала тень зверька. Где-то, ни с того ни с сего, вскрикивала не ко времени проснувшаяся птица. И

снова все было тихо вокруг. Черно и тихо.

Сань Тин все шла. Когда ветер тянул с запада, к тёплому аромату полей примешивалась струя свежего воздуха с Хуанхэ. По расчётам Сань Тин, было уже недалеко до Сюйгоу. Там предстояло самое трудное: переправа через Фыньхэ. Гоминдановский патруль у парома, кроме денег, наверно, потребует и документы. Хотя товарищи, отправлявшие Сань Тин, и уверяли, что её пропуск не уступает настоящему, но острое ощущение опасности заставляло её непрестанно возвращаться мыслью к предстоящей процедуре контроля.

Так добралась она до перекрёстка дорог.

Нужная Сань Тин дорога — та, что шла в обход Сюйгоу, — лежала вдоль глубокой балки, поросшей по краю густым кустарником. Несколько старых акаций высились тут, ласково шелестя листвой. На этот раз у девушки нехватило сил пройти мимо, не позволив себе хотя бы короткого отдыха. Ей казалось, что если не дать ногам передышки, они не донесут её до цели.

Но едва она притулилась под деревом, как веки её сами собою сомкнулись.

Она очнулась от проникшего в сознание нового звука и тотчас

поняла, что он исходит от летящего на большой высоте самолёта. Самолёт делал круги: звук то удалялся, то снова нарастал, приближаясь. Внезапно он резко усилился. Опытное ухо Сань Тин подсказало ей, что лётчик, не выключая мотора, шёл на резкое снижение. По изменению звука Сань Тин могла с уверенностью сказать, что самолёт вышел из-под облаков. Вот он перешёл на горизонтальный полёт, сделал площадку, снова стал набирать высоту и, судя по резкому спаду шума, ушёл обратно за облака. Словно забытый им в пространстве, раздался лёгкий хлопок. Но напрасно Сань Тин вглядывалась в темноту. В

ночном небе не было ничего видно. Тянувший с запада ветерок не приносил никаких звуков, по которым можно было бы судить о случившемся в небе. Поэтому девушка вздрогнула от неожиданности, когда вдруг почти совсем над нею тёмный фон облаков прочертила ещё более чёрная тень огромного тюльпана. Это был парашют. Он был уже почти у земли. Ещё мгновение — и в ветвях акации, под которой сидела Сань Тин, послышался треск рвущегося шелка. Прежде чем Сань Тин решила, что нужно делать, с той стороны, где упал парашют, послышался женский голос, отчётливо произнёсший:

— Кажется, вполне удачно...

Сань Тин хотела броситься к парашютистке, но ослепительный свет фар автомобиля, выскочившего из-за поворота дороги, ведущей к Тайюани, пронизал темноту, ярко осветил дерево с висящими в его ветвях обрывками парашюта и, как казалось Сань Тин, её самое. Чтобы ускользнуть из поля света, Сань Тин метнулась в сторону и тотчас почувствовала, что летит в бездну. Она падала в балку, обдираясь о кусты и колючки. Из-под обрыва она видела, как бросилась прочь от светового луча парашютистка и тоже исчезла в окаймлявших дорогу кустах. А фары продолжали гореть.

Серебром переливались в их голубоватом свете трепещущие листки акаций, и колыхались лохмотья тёмного шелка.

Из автомобиля вышла женщина. Лица её Сань Тин не могла хорошо разглядеть. Эта женщина нагнулась, взяла в руки шнуры парашюта, сбросила на землю автомобильные перчатки с широкими раструбами, достала из кармана жакета пистолет и коротким движением передёрнула затвор, загоняя в ствол патрон. В руке её появился фонарик. Она направила его луч на кусты, растущие по краю оврага, раздвинула их и исчезла, следуя за тянущимися к балке парашютными стропами.

Долго царила вокруг тишина, но вот её встряхнул удар пистолетного выстрела. Тотчас за ним второй.

Подумав, Сань Тин решила, что тайно спуститься на парашюте в расположении войск Янь Ши-фана мог только человек из НОА. Значит, парашютистка была для Сань Тин своим человеком. Ехать же на автомобиле в Тайюань мог только враг. Значит, автомобилистка была врагом. Предчувствие говорило Сань Тин, что парашютистка нуждается в помощи.

Сань Тин долго карабкалась по песчаной крутизне откоса: он осыпался, с тоннами песка Сань Тин падала обратно, но поднималась и

карабкалась снова, пока не очутилась на краю оврага. Тут прозвучал третий выстрел.

И опять мёртвая тишина наполнила мир настороженностью. Эта тишина показалась Сань Тин бесконечной. Наконец совсем рядом с притаившейся Сань Тин послышался шорох раздвигаемых кустов. Автомобилистка вышла на дорогу. Она неторопливоправила измятый костюм,отряхнулась от приставшей к нему травы. Так же не спеша ощупала карман жакета и, отыскав папиросы, закурила. Лишь после того развернула зажатый подмышкой бумажник и принялась с интересом разглядывать его

содержимое. Часть бумаг она по прочтении тут же рвала и пускала по ветру, другие тщательно прятала обратно в бумажник. На одной она задержалась особенно долго. Сань Тин было видно, что это крошечный листок, на котором едва может поместиться несколько слов. Губы автомобилистки шевелились — она, казалось, заучивала написанное. Как будто проверив себя по бумажке и убедившись в том, что знает её содержание наизусть, она порвала и этот листок и отбросила прочь клочки. Сань Тин хотелось выстрелить в эту женщину, но она твёрдо помнила, что секретный агент не должен выдавать себя ничем, он

не должен вмешиваться во что бы то ни было, что может его разоблачить или хотя бы отвлечь в сторону от выполнения главной задачи. Между тем незнакомка спрятала бумажник; подняв с дороги перчатки, отряхнула их и надела. Спокойно, как делала все, заняла место за рулём автомобиля.

Фары погасли. На дороге осталось мутное пятно замаскированного света. Мягко замурлыкал мотор, автомобиль тронулся, набирая скорость. Исчезли в ночной черноте урчание мотора, шелест шин и робкое пятно замаскированного света.

Сань Тин понадобилось

некоторое время, чтобы найти в кустах тело парашютистки. По покрою комбинезона, по шлему Сань Тин безошибочно признала в ней бойца НОА. На всякий случай Сань Тин осмотрела её карманы, хотя и понимала, что бумажник с таким интересным содержанием, изучавшийся автомобилисткой, был, вероятно, единственным, что могло бы открыть ей имя убитой.

Постояв несколько минут в раздумье, Сань Тин поспешила прочь, в сторону от начинавших темнеть в предрассветной мгле силуэтов Сюйгоу.

Цзинь Фын было уже двенадцать лет, но она была такая маленькая, что все принимали её за восьмилетнюю. Она лежала на кане. Кан был холодный, и она никак не могла заснуть, хотя спать ей очень хотелось. Но стоило ей закрыть глаза, и делалось очень страшно: перед нею вставал образ её старшей сестры, Чэн Го. Цзинь Фын знала, что на допросе в гоминдановской разведке Чэн Го отрубили руку, потом вторую. Поэтому сестра появлялась перед нею непременно без рук. Девочка знала, что Чэн Го в конце концов повесили за ноги, и

знала, как выглядят такие повешенные. Было очень страшно.

Она боялась спать. Только делала вид, будто спит, чтобы не нужно было ни с кем разговаривать и можно было думать.

Когда командир отряда «Красных кротов» отворачивался, она приподнимала веки и видела, как он читал, высоко поднимая книгу здоровой рукой, чтобы свет коптилки падал на страницу; видела, как он неловко засунул книгу под локоть раненой правой руки, когда встал, чтобы накрыть Цзинь Фын ватником.

У командира было такое же лицо, какие она видела у людей, долго пробывших в тюрьме. Но у него

это было не от тюрьмы, а потому, что полтора месяца с того дня, как его ранили, он не выходил на поверхность. Тут, под землёй, на расстоянии почти четырех ли от ближайшего входа в подземелье, воздух был всегда спёртый, промозглый и пропитанный таким количеством копоти, что каждый плевок делался похожим на мазок туши.

Девочке был виден и радист, отделённый от командира цыновкой. Он сидел с чёрными наушниками на голове, подперев её двумя руками и время от времени встряхивая ею, чтобы отогнать дрему. Теперь девочка знала, что радисту

девятнадцать лет. Но когда она этого ещё не знала — в тот день, когда пришла сюда впервые с сестрой, — то, здороваясь, назвала его «дедушкой». По сравнению с ним сорокалетний командир казался молодым.

Перед вахтой, когда радист подсаживался к глинобитному столу, чтобы выпить горячей воды, лицо у него бывало прозрачно-жёлтое, а к концу дежурства, когда в морщинки дряблой кожи набивалась сажа коптилок, оно делалось темно-серым.

До того как командира ранили, он часто бывал на поверхности. А радист не был там с того дня, как

пришёл сюда. Командир называл его ушами отряда. Радист был лишён права ходить в операции на поверхность земли. Он не взрывал складов и транспортов врага, не убивал гоминдановских часовых, не приводил пленных. Он только слушал эфир и редко, совсем редко посылал в него свои позывные, если нужно было дать знать далёкому командованию, что отряд цел и действует, или выдать квитанцию в получении боевого приказа Пын Дэ-хуая. Но переходить с приёма на передачу можно было совсем-совсем редко, чтобы не выдать себя гоминдановцам.

Сквозь прищуренные веки

девочка видела, как в подземелье вошли начальник штаба и начальник разведки отряда. Они были большие друзья, и когда бывали под землёй, то почти не расставались. Девочка всегда видела их вместе. В её представлении они были едва ли не одним существом, хотя ей никогда не доводилось видеть людей, до такой степени не схожих между собой. Начальник штаба был низенький, толстый, добродушный, любитель пошутить и сыграть в кости. Начальник же разведки был высок, худ, раздражителен, почти непрерывно курил длинную трубку с медной чашечкой, жил по часам и возражал на всё, что говорил

начальник штаба. Но оба они одинаково любили девочку-связную Цзинь Фын.

Она все это знала, как знала всю жизнь отряда. Она глядела на сонно вздрагивающего радиста и думала обо всём этом. Она была совсем маленькая девочка, но думала о них всех так, словно была самой старшей; как будто большая была она, а они — маленькие. Она морщила лоб и думала, а когда командир к ней оборачивался, плотно смыкала веки и делала вид, будто спит.

Все члены отряда были прежде рабочими, людьми пришлыми из других мест. Кроме начальника разведки, который когда-то работал

на мельнице здесь же в Шаньси. И кроме работника подпольной типографии, помещавшейся тут же под землёй, в следующем отсеке подземелья. Он был тоже местный — инженер из Тайюани. А теперь он был печатником и наборщиком и, когда не было работы в типографии, ещё оружейником. И ещё не была работницей Цяо Цяо — жена инженера. Она была доктором, но и она тоже жила почти все время под землёй, потому что командир не пускал её на поверхность, чтобы не лишиться единственного врача. Цяо Цяо устроила лазарет во втором отсеке направо. Там у неё был даже операционный стол, покрытый

белою клеёнкой. Когда кто-нибудь возвращался с поверхности раненный, доктор сажала его под фонарём и лечила. А если раненого приносили, Цяо Цяо клала его на белую клеёнку и делала операцию. А товарищи раненого держали над ним фонари и рассказывали доктору Цяо Цяо новости с земли...

Эта жизнь отряда «Красных кротов» под землёй вовсе не была чем-то необыкновенным, и подземелье, в котором он скрывался, тоже не было единственным в Китае. К концу сороковых годов во многих провинциях Северо-Западного Китая существовали разветвлённые

системы подземных ходов и укрытий. Одна часть этих сооружений осталась партизанам, боровшимся с американо-чанкайшистскими разбойниками, в наследство от тех времён, когда шла война с японскими захватчиками, другая часть была сооружена заново, чтобы развить и усовершенствовать старую систему.

Началом этих подземных сооружений явились простые ямы вроде погребов, вырытые крестьянами под своими домами с целью укрытия в них женщин и детей, когда приходили японцы. Но враги легко обнаруживали такие примитивные укрытия, и наивные попытки спрятаться от злых

преследователей дорого обходились жителям деревень. Это заставило крестьян усложнить систему подземелий. Спуск в погреб или в яму под каном стал только началом длинного хода, соединявшего несколько домов. Постепенно эти ходы прошли под целыми деревнями, потом соединили ряд деревень.

Иногда крестьянам удавалось, узнав о приближении врага, уходить этими подземными галлереями, но подчас они являлись для крестьян и ловушками. Японцы зажигали перед выходами костры из соломы и навоза, облитого бензином. Удушливый дым тянуло в тоннель, и, спасая от смерти детей, жители

выходили наружу, прямо в лапы врагов. Бывали случаи, что в местах, расположенных вблизи рек или водоёмов, японцы заставляли местных жителей, не успевших уйти под землю, прорывать каналы, соединяя русло с подземной галлереей, и затапливали всю систему катакомб вместе с людьми. Гибли сотни и тысячи мирных китайцев, их жены и дети.

Однако чем более жестоким делался враг, тем больше труда и хитрости вкладывали в свои подземные сооружения китайцы. Они научились предусматривать всё, что могли пустить в ход японцы. Подземные сооружения

превратились в целые города, куда укрывались крестьяне со скарбом и скотом, где они подчас оставались месяцами, не выходя на поверхность. Они научились устраивать примитивную вентиляцию и водоотводы.

Тогда японцы пустили в ход боевые газы. Груды тел взрослых и детей загромождали иногда подземные убежища и ходы. Но ничто не могло остановить этого удивительного строительства, которое широко использовалось партизанами для неожиданных налётов на врага. Японцы больше всего боялись этих выходцев из-под земли, появлявшихся самым

нежданным образом и в самых неожиданных местах.

Все беспощадней делались меры японцев против подземного противника, все искуснее становились партизаны. Их катакомбы стали извилистыми, многоэтажными. Они тянулись на десятки ли. Невозможно представить себе объём труда, затраченного китайцами на сооружение этих подземелий. И все это втайне, все с единственным оборудованием — лопатой и мотыгой. Едва ли история партизанских войн знала и узнает что-либо подобное трудолюбию, вложенному китайскими крестьянами в подземную войну.

С окончанием антияпонской войны значение подземных сооружений не уменьшилось, а даже увеличилось. В ходе последней освободительной борьбы с реакцией бывало так, что под землёй укрывались целые уезды, формировались партизанские отряды специально для борьбы из-под земли. И если прежде их боялись японцы, то теперь их вдвое больше страшились гоминдановцы, так как у подземных воинов-освободителей появилось то, чего не было раньше: оружие, боеприпасы, техника.

«Красные кроты» не были дивом. Они были одной из боевых единиц, принимавших постоянное и

деятельное участие в народно-освободительной войне китайского народа.

Девочка лежала и думала, а командир читал. Иногда он зажмуривал уставшие от плохого света глаза и, опустив книгу на колени, спрашивал радиста:

— Что?

— Тихо, — отвечал радист, и командир снова брался за книгу.

Может быть, потому, что девочка очень много думала об этих людях, к которым так привыкла и которых так любила, а может быть, потому, что она всё-таки очень устала после ночи беготни, но, наконец, она уснула, и

казнённая сестра не приходила к ней, и девочка спала, лишь изредка вскрикивая и разбрасывая руки. Когда раздавался её крик, командир опускал книгу, а если она, раскинувшись, сбрасывала с себя ватник, он вставал, неловко зажав книгу раненой правой рукой, подбирал ватник и осторожно накрывал им девочку.

Цзинь Фын проснулась через час, когда командир тронул её за плечо. Она подумала, что наступило утро и товарищи вернулись с поверхности земли. Однако, протерев глаза, увидела, что, кроме командира, около кана стоит радист с листочком в руке. И когда она

совсем проснулась, командир взял этот листок и сказал девочке так, как будто говорил со взрослой:

— Цзинь Фын, сегодня ночью к нам спущена парашютистка, направляющаяся в католическую миссию, для операции, о которой ты знаешь. Её пароль: «Светлая жизнь вернётся. Мы сумеем её завоевать. Не правда ли?»

— Правда, — сказала девочка.

Командир засмеялся:

— Я знаю, но это конец пароля: «Не правда ли?». Поняла?

Девочка кивнула головой.

— Повтори пароль, — сказал командир, и девочка повторила. — У тебя золотая память. Пойдёшь в

миссию святого Игнатия у Сюйгоу и передашь то, что я сейчас сказал, и ещё скажешь: все наши люди должны подчиняться этому новому товарищу.

— Я пойду днём? — спросила она.

— До обеда нужно быть там.

Девочка спустила ноги с кана.

— Если позволите, я пойду.

— Сначала поешь.

— Не хочется.

— Едят не только потому, что хочется.

— А почему?

— Потому, что нужно.

Радист ласково потянул её за косичку, перевязанную красной бумажкой.

— Нужно слушаться старших, — сказал он и освободил большой чайник от тряпок, сохранявших ему тепло.

Чайник был тяжёлый и совсем закопчённый. Наливая себе тёплой воды, Цзинь Фын испачкала пальцы и стала их тщательно обтирать. Радист засмеялся:

— Вы франтиха, Цзинь Фын!

Она с укоризной покачала головой:

— Вы так долго сидите тут и не понимаете. А если кто-нибудь там наверху увидит? Спросят: почему у тебя, девочка, пальцы в саже? Что я скажу?

И она снова покачала головой.

Девочка ела лепёшку из чумизы и запивала водой, потом встала.

— Я готова.

— Хорошо, — сказал командир. — Исполняйте поручение, Цзинь Фын.

Девочка зажгла фонарь, подняла его вровень с лицом и установила длину фитиля. Пламя колебалось, маленькое, тусклое, красноватое. Девочка переняла фонарь в левую руку и спросила командира:

— Больше ничего не прикажете?

— Зайдёшь в музей и оттуда домой.

Девочка была так мала ростом, что ей вовсе не нужно было нагибаться в подземном ходе, где

люди отряда передвигались почти ползком, однако от старших она переняла не только манеру ходить быстро-быстро, но и сгибалась, как большая.

Она уверенно бежала в пятне тусклого красноватого света фонаря. Только один момент там, где она пробегала, можно было видеть неровные стенки хода. Свод был такой же неровный. Местами он осел и его подпирали бревна крепей. Иногда путь девочке преграждали обвалы, и приходилось перебираться через кучи земли.

Цзинь Фын уверенно выбирала повороты среди ответвлений, зиявших по обе стороны главного

хода; она разбиралась в этом лабиринте так, как прохожие распознают переулки родного города.

Когда в лицо ей потянуло свежим воздухом, девочка замедлила шаг и прикрутила фитиль фонаря. Ещё через сотню шагов дышать стало совсем легко. Девочка увидела над головой светлые точки звёзд. Она задула фонарь и поставила его в нишу стены. Когда она осторожно приблизилась к выходу, часовой, лежавший на животе, с американским автоматом в руках, посторонился. Она протянула ему ручонку, и он помог ей выбраться на поверхность. Оба молчали. Тут разговаривать не полагалось.

Через мгновение её маленькая
тень слилась с непроглядной тьмой,
царившей в овраге.

В те дни, если путник шёл в Тайюань с юга по дороге, огибающей Сюйгоу с западной стороны, то ему было не миновать мост «Четырех ящериц», перекинутый через правую протоку реки Фыньхэ. Этот мост был старинным каменным сооружением, украшенным по четырём углам изваяниями огнедышащих чудовищ, известных тут почему-то под мирным именем ящериц, хотя они нимало не походили на этих маленьких изящных зверьков. Впрочем, может быть, в шестом веке, к которому знатоки относили эти произведения древнего ваятеля,

ящерицы и выглядели так воинственно. Четырнадцать веков — большой срок. За это время многое изменилось в Китае. Быть может, так неузнаваемо изменились и ящерицы. Гораздо удивительнее было то, что мост этот в те дни ещё стоял не взорванный, несмотря на то, что на протяжении последних тридцати лет японцы, гоминдановцы и американцы старательно разрушали в Китае всё, что могло служить переправой «красным», неустанно и беспощадно преследовавшим этих врагов народа, загнанных, наконец, к их последнему рубежу на китайской земле.

Миновав мост и свернув по

первой дороге налево, путник сразу за пригорком попадал в неожиданно возникавшую среди широких полей густую зелень. Запущенная аллея, обсаженная старой акацией и вязами, вела к живой изгороди, скрывавшей железные прутья высокой решётки. Деревья аллеи были так стары, что стволы многих из них полопались до самой вершины, а ветви, как усталые руки, свисали к земле. Сквозь чугунный узор наглухо замкнутых массивных ворот был виден тенистый парк, из которого при малейшем движении воздуха доносился аромат роз. За густой порослью парка не было видно строений. Только над

вершинами деревьев к небу тянулась игла католической церкви.

Хотя отсюда были уже видны предместья Тайюани и даже его кирпичная крепостная стена на горе, шум города сюда не достигал.

В те дни, к которым относятся события, на левом каменном столбе ворот красовалась большая чугунная доска с выпуклой литой надписью по-китайски:

Миссия

РОТЫ ХРИСТОВОЙ,

*учреждённая во
блаженную память*

ИГНАТИЯ ЛОЙОЛЫ,

*преподобного генерала
роты,*

и восстановленная

*достопочтенным и
высокопреосвященным*

Томасом Тьен

*с апостольского
благословения*

*святейшего отца нашего
папы*

ПИЯ XII

Над этой надписью венчиком латинскими буквами была расположена надпись: «Ad maiorem Dei gloriam».

На другом столбе яркая эмалированная доска лаконически гласила:

«Находится

под покровительством

и защитой

вооружённых сил США».

Под доской белела фарфоровая кнопка звонка. Если её нажать, то из скрытой в акациях сторожки появлялся большого роста китаец. Не отпирая ворот, он сквозь решётку спрашивал, что нужно посетителю, и, лишь сходяв в миссию, возвращался, чтобы впустить

путника или отослать его прочь. Если нужно было отворить ворота, привратник делал это с нескрываемым неудовольствием, словно в каждом посетителе подозревал врага.

Как сказано, человек этот был высок ростом, широк в плечах; черты его смуглого лица были правильны и тонки. Карие глаза глядели со строгостью. Он был молчалив и сдержан в движениях. Звали его У Вэй. Это был шофёр, он же сторож миссии.

С некоторых пор миссия мало походила на заведение религиозное. В неё не допускали богомольцев. Теперь тут, как в комфортабельном

пансионе, отдыхали высшие тайюаньские чиновники и офицеры американской военной миссии, на средства которой, говорят, и содержалось все заведение.

Миссионеры исчезли из миссии, и её истинной хозяйкой в округе считали экономку Ма Нью, которую здесь называли «сестра Мария». Народная молва утверждала, будто эта женщина, изменив родине, пошла на службу полиции.

От ворот миссии к её большому каменному жилому строению вела запущенная каштановая аллея. Единственное, за чем в этом парке, повидимому, ухаживали, были розы. Бесчисленные кусты роз, алых,

розовых, чайных, белых, источали сладкий аромат, расслабляющий волю, располагающий к лени и к ничегонеделанию, которое, по мнению Ма — Марии, было основным условием отдыха высоких гостей, пребывавших под её кровом.

Ма была ещё молодой женщиной небольшого роста, с лицом очень правильным и даже красивым, но слишком неподвижным, чтобы быть привлекательным. Глаза Ма были всегда полны грустной задумчивости, движения медлительны и спокойны; говорила она ровным голосом, не повышая его, даже когда сердилась. Эта мягкость,

однако, не мешала ей быть придирчивой и строгой хозяйкой, державшей в страхе служащих миссии.

Ранним утром, когда Ма и чиновные гости ещё спали, женский персонал миссии, состоявший из двух горничных и кухарки, собрался в просторной, выложенной белыми изразцами кухне. Горничные Го Лин и Тан Кэ представляли во всем резкую противоположность друг другу. Го Лин была полная девушка с мечтательными глазами и с мягкостью движений, свойственной полным женщинам. На вид ей можно было дать больше её девятнадцати лет. Тан Кэ была стройна, почти худа,

её непослушные волосы плохо укладывались в причёску и несколько беспорядочно окаймляли смуглое лицо с тёмным пушком на верхней губе и с хмуро смотрящими карими глазами. Движения Тан Кэ были коротки, стремительны, речь быстра и тверда.

Третьей женщине, кухарке У Дэ, окрещённой здесь именем Анны, было за пятьдесят. Она выглядела крепкой и суровой. У неё были гладко прибранные седеющие волосы и строгий взгляд.

Сердито погромыхая посудой, У Дэ готовила утренний завтрак, Го Лин перетирала посуду, Тан Кэ вертелась перед зеркалом, в пятый

раз перекалывая кружевной
фартучек. Тихонько, так, что едва
можно было разобрать слова, все
трое напевали:

Девушка хорошая, смелая и
юная,
С тёмными упрямыми
дугами бровей,
Не гуляй с врагами ты
вечерами лунными,
Не растрать ты, девушка,
нежности своей.

Эта жизнь весёлая нам
совсем ненужная,
И тепло Шаньси не согреет
нас.

Мы семью товарищей,
тёплую и дружную.

Сохранимте, девушки, в
этот грозный час.

Не теряйте мужества, не
растратыте силы вы,
Девушки хорошие, с
жаркою душой.

Пение было прервано слабым
звонком, донёсшимся со стороны
ворот. Го Лин посмотрела на часы:
время было раннее. Тан Кэ с
любопытством выглянула в окно: У
Вэй, на ходу застёгивая куртку, шёл
отворять. Через минуту по главной

аллее, скрипя ободьями по песку, проехал маленький жёлтый шарабанчик. Из него торчала прикрытая соломенной шапочкой женская голова. Волосы гостьи были собраны в высокую причёску. По этой причёске Тан Кэ безошибочно признала гостью.

— Стелла! — презрительно бросила она в кухню.

У Дэ сердито громыхнула кастрюлей и безапелляционно отрезала:

— Плохой человек.

— Что ей может быть нужно? — с беспокойством пробормотала Го Лин.

На ступенях послышался

дробный стук каблуков, и в кухню стремительно вбежала посетительница. На ней был изящный дорожный костюм, модная обувь; все мелочи её костюма соответствовали картинке новейшего журнала.

— Здравствуйте! — развязно воскликнула гостья.

У Дэ демонстративно отвернулась Тан Кэ сделала вид, будто не слышит. Только Го Лин несмело ответила:

— Здравствуйте, Сяо Фын-ин.

— Вы нарочно дразните меня? — сердито вскинулась гостья.

— Извините, — растерянно проговорила Го Лин.

— Сколько раз я сообщала вам: нет Сяо Фын-ин — есть Стелла Сяо! По-моему, это не так трудно запомнить.

Тан Кэ с насмешливой почтительностью произнесла:

— Мисс Стелла!

— По-моему, ничего смешного в этом нет, — надулась гостья.

— Да, конечно.

— Какой у вас всех скучный вид! Можно подумать, будто вы только что с похорон.

У Дэ пристально поглядела на неё:

— А у вас праздник?

Сяо Фын-ин фыркнула:

— Вы, Анна, способны

испортить настроение кому угодно. — И так же демонстративно отвернулась от Анны, как та от неё. — Глядя на эту женщину с дурным характером, и вы, девочки, становитесь старухами. Теперь, когда перед нами открываются двери мира!..

— Замолчите, пожалуйста! — в гнев крикнула от плиты У Дэ.

Сяо Фын-ин посмотрела на кухарку сквозь прищуренные веки:

— О, как много вы себе позволяете, Анна. И вообще я...

Она не договорила. У Дэ исподлобья вопросительно смотрела в её сторону:

— Ну что же, договаривайте.

Сяо Фын-ин вспыхнула:

— Удивляюсь, почему вас тут держат.

— А вы замолвите словечко, чтобы меня выгнали, — негромко проговорила У Дэ.

Несколько мгновений Сяо Фын-ин молча глядела на кухарку.

— Если бы не У Вэй...

Пальцы Анны, державшие поварёшку, судорожно сжались.

— Оставь моего сына в покое.

Чтобы предотвратить ссору, Тан Кэ спросила Сяо Фын-ин:

— Вы были сегодня в городе?

Та не сразу сообразила, что вопрос обращён к ней. Наконец ответила нахмурившись:

— Да.

После некоторого молчания Тан Кэ сказала:

— Говорят... на бульваре...

Она не договорила, но Сяо Фын-ин, видимо, сразу поняла, о чём идёт речь. Тень растерянности и смущения пробежала по её лицу, однако, тотчас оправившись, франтиха с наигранной небрежностью сказала:

— Ах, вы об этом...

Го Лин испуганно взмахнула своими густыми ресницами и приблизила руку ко рту, словно желая удержать собственные слова.

— Говорят... там двенадцать виселиц... — проронила она едва

слышно.

— Двенадцать переносных американских виселиц, — сказала У Дэ. — На каждой уже не двое, а четверо наших.

Го Лин испуганно вскинулась:

— Тётя Дэ!

— Тётя! — вторя ей, так же испуганно воскликнула и Тан Кэ.

— Ну что, что! — глубоко сидящие глаза У Дэ сверкнули.

— Его превосходительство Янь Ши-фан поступил так, как советовал мистер Баркли, — сказала Сяо Фын-ин.

— Да замолчишь ты?! — крикнула У Дэ.

Го Лин испуганно всплеснула

пухлыми руками.

— Уведи отсюда тётю Дэ, — шепнула ей Тан Кэ.

Го Лин взяла У Дэ за локоть и потянула прочь, но кухарка гневно высвободила руку:

— Оставь, я скажу ей...

— Тётя Дэ, прошу вас, довольно! — строго сказала Тан Кэ и властно вывела кухарку.

Губы Сяо Фын-ин нервно дёргались. Она вынула сигарету. Несколько раз щёлкнула новенькой американской зажигалкой. Пламя в её вздрагивающих пальцах колыхалось и не попадало на кончик сигареты. Не обращая внимания на пристально следящую за нею Го Лин,

она отодвинула стеклянную дверь холла и, войдя туда, с размаху бросилась в кресло. Го Лин стояла на пороге, в её глазах были страх и страдание. Она хотела что-то сказать и не решалась. Вошедшая Ма Нью нарушила молчание. Она спросила Сяо Фын-ин:

— Что вам угодно?

— У меня есть дело к хозяйке этого дома.

— Ко мне? — удивилась Ма.

Сяо Фын-ин движением головы велела Го Лин уйти и сказала Ма:

— Я буду здесь жить.

Ма поспешно воскликнула:

— Я не хотела бы этому верить!

— Теперь я секретарь его

превосходительства Янь Ши-фана.

От изумления Ма могла только издать односложное:

— О-о!..

— Вы же сами хотели, чтобы его превосходительство Янь Ши-фан оказал честь этому дому своим пребыванием под его кровлей.

— Значит... сегодня генерал будет здесь? — едва слышно выговорила Ма и на минуту задумалась. — Я все приготовлю...

— Прошу вас не думать, будто уговорить его было так легко, — сказала Фын-ин.

Ма взглянула на неё вопросительно.

— У меня накопились счета,

которые я никому не могу показать...
— опуская глаза, сказала Фын-ин.

— Вы получите деньги.

— Значит, вечером... мы
приедем вместе.

С этими словами Фын-ин вышла
и уселась в свой жёлтый шарабанчик.

Когда У Вэй, затворив за нею
ворота, повернул обратно, Ма быстро
прошла в гараж.

— Ещё немного, и я не
выдержу, — сказала она У Вэю.

— Стыдно так говорить, Ню, —
спокойно ответил он.

— О, мне ничего не стыдно!
Раньше я стыдилась самой себя, а
теперь... — она безнадёжно махнула
рукой.

— Зачем ты так говоришь? — с ласковой укоризной произнёс он и привлёк её к себе. — Я же знаю...

Она не дала ему договорить:

— Откуда тебе знать, как это страшно, когда меня все презирают, все считают изменницей... Это так страшно, так страшно...

Он ласково погладил её по голове:

— Прошу, успокойся.

Она закрыла глаза, и на лице её отразилось утомление, вокруг рта легла резкая складка.

— Если бы не ты, — тихо произнесла она, — у меня нехватило бы сил.

— Все будет хорошо.

— Да. Лишь бы нам быть вместе. Но... твоя мать...

— Она поймёт: ведь иначе ты не могла. Ты должна была выполнить приказ.

— Она ненавидит меня.

— Я объясню ей.

— Объяснишь?.. Она ненавидит меня с каждым днём сильнее. И тут не о чём спорить: так и должно быть. Меня все ненавидят, все, все. Ты сам знаешь: У Дэ сказала...

— Мало ли что могла сказать мать, пока не знает.

Ма повела плечами как будто от холода, хотя на улице стояла жара.

— Постоянно чудится, будто кто-то меня отслеживает. И свои и

враги — все меня подкарауливают. Не знаю, откуда мне ждать пули: от людей Янь Ши-фана или от янки? Мне страшно.

Голос её задрожал. У Вэй нежно обнял её:

— Бедная моя!

— Я знаю, — прошептала она, — нужно справиться. Непременно нужно справиться! И я справлюсь. Только не уходи от меня.

— Я же с тобою.

Он подвёл её к скамеечке у ворот гаража и, заботливо усадив, сел рядом.

Оба молчали. В саду было тихо. Птицы прятались в листву от лучей поднимающегося солнца. Надвигался

жаркий весенний день. Аромат роз висел неподвижный и душный.

Ма улыбнулась.

— Когда я смотрю на все это, мне хочется верить, что все... все будет хорошо.

— Разве можно в это не верить?

Цзинь Фын нужно было миновать патрули войск Янь Ши-фана на южных подступах к городу и проникнуть в миссию так, чтобы её никто, решительно никто не видел. Девочка хорошо знала дорогу. Она знала, что пройдёт, если только ничего не случится на пути от лавки, в которой она взяла овощи, до Зелёного бульвара. Там снова вход под землю. Эта галлерей не только проведёт её мимо патрулей, но приведёт и в самую миссию. Нужно пройти к Зелёному бульвару парком. Там никто не обратит внимания на продавщицу овощей.

Но как только девочка свернула на улицу Маньчжурских могил, то сразу увидела, что туда лучше не ходить. Что-то случилось там. Её наметанный глаз сразу различил в толпе нескольких агентов полиции. Она вернулась и пошла в сторону вокзала. По дороге она услышала разговор о том, что и в парке обыскивают прохожих.

Она не может дать себя обыскать! У неё в корзинке лежит электрический фонарик. «Зачем фонарик обыкновенной девочке?» — спросит полицейский. Значит, ей следовало обойти и парк.

Цзинь Фын миновала улицу, именовавшуюся теперь улицей Чан

Кай-ши, и подошла к харчевне на углу. Здесь она сделала вид, будто рассматривает выставленные в окне кушанья. А сама косилась вдоль улицы: свободен путь или нет? На перекрёстке стоял полицейский. Девочка знала, что, попадись она ему на глаза, он её непременно остановит, возьмёт за ухо, заглянет в корзину, потребует сладкую морковку, а может быть, начнёт копать в корзинке, найдёт фонарик... Нет, полицейского тоже нужно миновать. Она зашла в харчевню и предложила хозяину овощей, хотя была заранее уверена, что её попросту выгонят. Так оно и случилось. Очутившись снова на

улице, она увидела, что полицейский все ещё на своём месте. Но она знала, что это не в привычке полицейских — стоять на солнцепёке; рано или поздно он уберётся.

Цзинь Фын прошлась по тротуару. Её внимание привлёк наклеенный на стену дома листок — извещение командующего войсками генерала Янь Ши-фана. Параграф за параграфом кончался словами: «нарушение карается смертной казнью». Смертной казнью карался ущерб, причинённый материалам, принадлежащим гоминдановскому командованию; смертной казни подвергались все жители местности,

где будет повреждён телефонный провод; смертной казни обрекались жильцы и сторожа в случае порчи военного имущества, лежащего на тротуарах, прилегающих к их домам; под страхом смертной казни никто не имел права переселяться с квартиры на квартиру без разрешения квартального уполномоченного...

Девочка начала читать «извещение» для вида, но, дойдя до § 8, по-настоящему заинтересовалась. Там говорилось:

«Мы, генерал Янь Ши-фан, губернатор и комендант, отец этого города, объявляем:

Каждый, кто знает о каких-либо входах в подземелья, обязан в течение 24 часов от момента обнаружения настоящего уведомления сообщить о них в свой полицейский участок; лица, проживающие в деревнях, обязаны сделать сообщение жандармским постам или полевой полиции. Неисполнение карается смертью.

Предаются смертной казни все жители тех домов, где по истечении указанного срока будут обнаружены выходы подземелий, о которых не было сообщено властям. Также будут казнены и те, кто живёт вблизи от таких мест и знает тех, кто пользуется подземельями, но не

сообщил о том властям в
надлежащий срок.

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИ
НАРУШИТЕЛИ СЕГО
ПРИКАЗА
КАРАЮТСЯ
НАРАВНЕ СО
ВЗРОСЛЫМИ...»

Девочка остановилась на этих
строках и прочла снова:
«Несовершеннолетние
нарушители...» Нет, ей только
показалось, будто это напечатано
жирным шрифтом. Шрифт самый
обыкновенный.

Приказ был датирован

вчерашним днём. Значит, он уже вошёл в силу. А она видела его в первый раз. У них в штабе его ещё не было. Она оглянулась, нет ли кого-нибудь поблизости. Ей очень хотелось сорвать листок, чтобы принести его своим: это интересная новость. Значит, Янь Ши-фан очень боится тех, кто скрывается под землёй; он не остановится на угрозах. Может быть, он со своими американскими советниками попробует замуровать или заминировать все входы и выходы подземелий, как это делали японцы. Или пустит под землю газ...

Наконец полицейский, как и ждала Цзинь Фын, отошёл от

перекрёстка и уселся в тени. Девочка потянулась было к листку, но так и не решилась его сорвать: если полицейский не во-время поднимет голову... Нет, сейчас не время. Нельзя ставить под угрозу боевое задание, полученное от командира... Она проскользнула мимо полицейского и пошла вниз по улице.

Улица вывела её много южнее, чем нужно, но зато тут не было ни патрулей, ни полицейских, ни даже прохожих. Тут негде было ходить и нечего было охранять. Тут были одни жалкие развалины домов. Цзинь Фын уверенно повернула направо: там тоже есть вход под землю, расположенный в развалинах

большого дома.

Девочка перелезла через кучу битого кирпича и стала спускаться в подвал. Для этого ей приходилось перепрыгивать через зияющие провалы в лестнице, где нехватало по две и три ступеньки подряд. Но Цзинь Фын умела прыгать. Важно только, чтобы ступеньки были сухие, иначе можно поскользнуться!

В подвале было так темно, что Цзинь Фын пришлось остановиться, чтобы дать глазам привыкнуть после яркого солнца наверху. Цзинь Фын долго ничего не видела, но зато отчётливо слышала, что кто-то тут есть, чувствовала на себе чей-то взгляд. Ей стало страшно. Потому

что, если тот, кто её сейчас видит, враг, он может выстрелить, ударить её или подкараулить её за дверью. Она не знает, за которой из двух дверей он притаился.

Девочка стояла и ничего не могла придумать. После некоторого колебания вынула из-под плетёнок с овощами электрический фонарик и посветила на ту дверь, в которую ей теперь нужно было идти, чтобы проникнуть в подземелье. Луч фонарика осветил только чёрный провал, кончавшийся кладкой фундамента. Цзинь Фын там никого не увидела, хотя была уверена, что кто-то там стоял. Если это враг — значит гоминдановцы узнали про

этот вход и устроили засаду...

Что же она должна делать? Уйти обратно?... А миссия?

Нет, она не может уйти обратно. Нельзя вернуться к командиру и сказать, что приказ не выполнен.

А тот, в темноте, опять смотрел на неё. Она это чувствовала и готова была расплакаться от досады. Не от страха, нет! А только от обиды на своё собственное бессилие. Если бы она была большой, настоящей партизанкой, у неё был бы пистолет, она бросилась бы к двери и застрелила бы того, кто за нею подглядывает.

Она порывисто обернулась и, светя перед собою, быстро

перебежала ко второй двери. Прижавшись к стене, выхваченный из темноты лучом фонаря, перед нею стоял мальчик, такой маленький, что обыкновенный солдатский ватник был ему, как халат.

Мальчик стоял и мигал на свет. Когда Цзинь Фын поднесла фонарь к самому его лицу, он загородился худой грязной рукой.

— Позвольте спросить, что вы здесь делаете? — вежливо сказала девочка.

— А вы что?

Она взяла его за плечо и подтолкнула к выходу.

— Уходите отсюда, прошу вас.

И тут она увидела, что мальчик

вовсе не такой уже маленький, каким показался сначала из-за чрезмерно большого ватника. Он был только очень худой и очень, очень грязный.

— Позвольте узнать, мальчик, как вас зовут? — спросила Цзинь Фын.

— Моё имя Чунь Си.

— Зачем вы здесь?

— Я тут живу, — просто ответил мальчик и с любопытством поглядел на плетёнки в корзинке.

— Вы один тут живёте?

— С другими детьми... А что у вас в корзинке?

— С какими детьми? — вместо ответа спросила девочка.

— Они просто дети.

— Разве у вас нет дома? —
осведомилась она.

— А у вас есть?

— Нету, — ответила она.

Чунь Си повторил вопрос:

— Что в этой корзинке?

Она покачала головой и с
укором сказала:

— К чему такое любопытство?

— Мне хочется есть, —
спокойно, почти безразлично
ответил мальчик.

— А где дети? — спросила она.

— Там, — и он кивком головы
показал в подвал.

— Их много?

— Восемь. — И, подумав,
пояснил: — Шесть мальчиков и две

девочки... Прошу вас, дайте мне того, что в этой корзинке.

Девочка подумала и сказала:

— Покажите мне, где дети.

Чунь Си молча повернулся и, бесшумно ступая босыми ногами, пошёл в темноту. Как только девочка погасила фонарь, она сразу потеряла мальчика из виду. Он был такой грязный, и ноги его были такие чёрные, что в своём сером ватнике он совсем сливался с темнотой. Девочка опять засветила фонарик и, подняв его над головой, чтобы дальше видеть, пошла следом за мальчиком. За стеной она увидела сразу всех ребят. Они лежали, тесно прижавшись друг к другу. Ни по

одежде, ни по лицам нельзя было отличить мальчиков от девочек. Под одинаковым у всех слоем грязи Цзинь Фын угадывала одинаково бледные лица. Она строго спросила Чунь Си:

— Я хотела бы знать, чьи вы?

При звуке её голоса тела зашевелились, и дети стали подниматься. Между тем Чунь Си ответил Цзинь Фын:

— Мы разные: одни погорелых, другие повешенных... — И, подумав, повторил: — Разные.

Девочка достала из корзинки одну из плетёнок, — ту, в которой лежали капустные листья. Чунь Си, вытянув лист капусты, хотел сунуть

его в рот, но Цзинь Фын остановила его:

— Это всем, — сказала она и, подождав минуту, пока дети сгрудились около плетёнки, неслышно вышла из подвала. На миг сверкнув фонарём, она осветила себе путь и дальше пошла в темноте с вытянутыми вперёд руками. Так дошла она до спуска в подземелье. Тут Цзинь Фын постояла и, затаив дыхание, прислушалась: кажется, никто за ней не подсматривал. Она ощупала ногой порог лаза и спустилась в него. Только завернув за угол фундамента, снова зажгла фонарь и побежала по проходу.

Миссия просыпалась. Хотя жильцов в ней было немного, но Го Лин и Тан Кэ только и делали, что защёлкивали нумератор звонка, призывавший их в комнаты. Американцы не стеснялись. Если горничная мешкала одну-две минуты, нумератор выскакивал снова, и настойчивая дробь звонка резала слух У Дэ, возившейся у плиты. Чаше других выглядывала в окошечко нумератора цифра «3». Она появлялась каждые десять-пятнадцать минут. Когда это случалось, Го Лин вся сжималась и кричала Тан Кэ:

— Опять этот рыжий американец!

Она боялась ходить в третью комнату. Там жил тощий рыжий офицер-американец, терроризировавший своими требованиями весь персонал.

Большинство гостей, по заведённому обычаю, получало завтрак у себя в комнатах. Но в изъятие из общего правила двое жильцов, Биб и Кароль, спускались к завтраку в столовую. Это были агенты американской военной миссии, составлявшие теперь постоянную охрану пансиона. За время пребывания здесь оба поправились и располнели. Кароль

стал ещё медлительней, чем был. И даже речь его, казалось, стала ещё более растянутой. В противоположность ему Биб не утратил ни прежней резкости движений, ни необыкновенной стремительности речи. Он был многословен до надоедливости. Даже Ма, привыкшая угождать жильцам, не могла подчас заставить себя дослушать его до конца.

Спустившись со второго этажа в столовую, Биб повёл носом, пытаясь по запаху распознать, что будет дано на завтрак. Быстрым движением он потирал ладошки своих пухлых, поросших густым кудреватым волосом рук.

Он с удивлением констатировал, что Тан Кэ поставила на стол только один прибор.

— А мистер Кароль? — спросил он.

— Он уехал... ещё с утра.

— Уехал?.. — Биб хотел ещё что-то прибавить, судя по интонации не слишком лестное для Кароля, но раздумал. Вместо того с важностью сказал: — Можно подавать!

Вошедшая через несколько минут Ма застала его за столом с салфеткой, заткнутой за воротничок, с энтузиазмом уписывающим гренки со шпинатом. Однако, как ни был Биб увлечён едой, он все же намеревался заговорить, но Ма

предупредила его:

— Говорят, у нас сегодня гости?

Это был не то вопрос, не то сообщение. Биб насторожился.

— Собственно говоря, — недовольно сказал он, — это моя обязанность, как начальника охраны пансиона, первым знать о гостях.

— Случайно я...

Как всегда, он не стал слушать:

— Вся наша жизнь состоит из случайностей, но я не люблю таких, которые проходят мимо меня, непосредственно меня касаясь. И прямо скажу: если бы это были не вы... Чего не простишь красивой женщине?! Случайность! А разве не случайность то, что мы с Каролом,

лучшие детективы Америки, оказались вдруг тут, в этом китайском захолустье? Сначала, когда мне сказали: «Биб, ты будешь охранять духовную миссию», я даже обиделся. Я и монахи! Но, увидев вас, понял: на мою долю выпала именно та счастливая случайность, какая бывает раз в жизни. Вы верите в счастье? Нет? Когда я увидел вас...

— Вы не знаете, куда поехал мистер Кароль? — перебила Ма.

— Кароль? Да, именно ему я и сказал тогда: мой друг Кароль, вот она, моя судьба...

Ма повернулась и молча вышла из комнаты.

Несколько мгновений Биб стоял

ошеломлённый. Потом потянул из кармана яркий платок, сердито встряхнул его и отёр выступившие на лбу капли пота.

— Дура! — сказал он негромко. — Они все тут дуры. Ей объясняется в любви американец, а у неё такой вид, как будто перед нею давят лимон. Дура! Дура! — повторил он ещё раз и, повернувшись к двери, увидел входящего в комнату высокого грузного мужчину с большою лысой головой. Лицо верзилы было широкое, студенистое, со щеками, отливающими тёмной синевой от тщательно сбриваемой, но стремительно прорастающей бороды. Это был Кароль.

— Куда тебя чорт носил? — резко спросил Биб.

— Опять сломался автомобиль. Полдороги от города тащился пешком. Этот прохвост У Вэй совсем распустился.

— Отправь его в полицейский участок на порку: живо придёт в себя.

— Я просто набью ему морду... У нас новости. Куча новостей! Во-первых, у нас сегодня важный гость: сам генерал Янь Ши-фан.

— Так вот о ком говорила Ма! — Лицо Биба отразило почтение. — Это важно, очень важно!

— Это сущие пустяки по сравнению с тем, что я тебе ещё

скажу.

— Не тяни.

— К нам едет новый начальник.

— Вместо Баркли?

Кароль загадочно улыбнулся и, помедлив, ответил:

— Вместо тебя! Приезжает новый начальник охраны этой лавочки.

Лицо Биба налилось кровью, и брань неудержимым потоком полилась из его уст. Смысл немногих общечеловеческих слов, вкраплённых в этот поток сквернословия, сводился к тому, что, повидимому, какая-то дрянь переплюнула его и купила у начальства это выгодное местечко. А может быть, сюда решил

пробраться какой-нибудь рекетир-гастролёр? Появится, потребует, чтобы Биб от него откупился, и укатит с лёгким заработком. Пожалуй, это самое вероятное!

— Придётся платить рекет, — сказал Биб Каролу.

— Рекетом тут не отделаешься. Новое начальство не берет, — проговорил Кароль и сам, кажется, поразился тому, что такая нелепость могла сорваться с языка. — Дело в том, что это почти не американка.

— Что значит «почти»?

— Китайка из Штатов — мисс Ада.

— Глупости. Мы не можем подчиняться китайке.

— Если мне платят, я готов подчиниться даже негру. К тому же, говорят, эта особа — работник высшего класса. Столичная штучка.

— Знаем мы этих птиц! — усмехнулся Биб. — Там, где от нас можно отделаться десятком долларов, ей подавай всю сотню.

— Эта едет со специальной целью.

— Нет ничего хуже, чем начальник, задавшийся специальной целью заработать на новых подчинённых.

— Её задача: покончить тут с подпольщиками.

— С этого начинают все новички! — с облегчением

воскликнул Биб. — Разве мы с тобой, отправляясь сюда, не дали клятвенного обещания раз и навсегда покончить с возможностью появления партизан вблизи миссии? А что из этого вышло?

— У меня нет никакого желания встречаться с ними.

— Этим же кончит и твоя новая штучка. Чем гоняться за этими красными, куда проще и верней за каждого убитого партизанами нашего вешать десяток китайцев. А новички всегда хотят чего-нибудь особенного.

— Но про эту рассказывают удивительные вещи, — нерешительно проговорил Кароль.

Биб рассмеялся.

— А вспомни-ка, старина, какие удивительные штуки мы с тобою сочиняли про самих себя, чтобы создать себе репутацию, а?

Но Кароль не сдавался. Выговаривая по два слова в минуту и заставляя слушателя приплясывать от нетерпения, он рассказал, как вновь назначенная начальница охраны мисс Ада уже по дороге сумела перехватить только что высаженную самолётом диверсантку красных и овладела её паролем. Теперь под видом этой посланницы красных Ада намерена явиться к местным подпольщикам, чтобы проникнуть в их ряды и разгромить всю организацию.

Биб снова, ещё громче, чем прежде, рассмеялся.

— Сказки для журналистов. Нас с тобой на такой мякине не проведёшь.

— Что касается меня, то... — начал было Кароль, но Биб его не слушал.

— Чтобы я поверил, будто красная партизанка дала себя скрутить какой-то хвастливой штучке! За кого ты меня принимаешь?

— Я собственными глазами видел в полиции парашют диверсантки.

— Ты был уже пьян.

— Это же было утром, —

возмутился Кароль.

— А её, эту Аду, ты видел?

— Нет. Её тут видел только капитан, да и тот лишь мельком и в первый раз.

— Значит, из здешних её решительно никто раньше не знал? — подозрительно спросил Биб.

— Разумеется. — Кароль пожал плечами. — Я же сказал тебе: она прямо из Штатов.

— А почём же они знают, что она — именно она.

— Ты настоящий кретин, старина!.. Неужели капитан глупее тебя и не подумал об этом? Наверно, уже навёл все необходимые справки и просветил её насквозь.

— И всё-таки, всё-таки... — повторил Биб, делая вид, будто ему очень весело, и лихорадочно обдумывал, как ему теперь выйти из положения, не теряя престижа в глазах этого тупицы Кароля. — Садись-ка лучше завтракать, — сказал он, чтобы что-нибудь сказать, но тут же спохватился: — А как мы узнаем эту Аду?

— Её пароль: «Надеюсь найти приют под сенью звёзд и полос».

— О, мы ей окажем приют!.. — со смехом воскликнул Биб и принялся за еду.

Далеко впереди забрезжил свет. Цзинь Фын погасила фонарик и замедлила шаги. Она знала: свет падает через колодец. Обыкновенный колодец, где берут воду, прорезывает подземелье, и дальше итти нельзя — свод там совсем обрушился и завалил ход. Здесь Цзинь Фын должна выйти на поверхность.

Колодец расположен во дворе маленькой усадьбы. На усадьбе живёт старушка — мать доктора Ли Хай-дэ, а сам доктор Ли живёт в городе и работает в клинике.

Доктора Ли знает весь город. Он очень хороший доктор, но полиция

его не любит, потому что он, по секрету от неё, лечил простых крестьян из окрестностей Тайюани и тайюаньских рабочих. А полиция не хочет, чтобы лечили таких людей: она боится, что ежели позволить их лечить, то вместе с другими придут к доктору и скрывающиеся в городе и под городом партизаны. Среди партизан много раненых, и среди тех, кто скрывается в подземельях, есть больные, и, конечно, гоминдановцы не хотят, чтобы их лечили. А полиция не знает, что под землёй есть свой врач Цяо Цяо, учившаяся в Пекине, поэтому полиция подозревает доктора Ли в том, что он лечит именно таких сомнительных людей,

которых не стали бы лечить другие, благонамеренные доктора. Его уже несколько раз арестовывали и допрашивали. Даже сажали на электрический стул. Ли сидел на электрическом стуле, а следователь поворачивал ручку. Доктора трясло током, и следователь ждал, когда он назовёт партизан, которых лечил по секрету от властей. Но Ли никого не называл; его били, и он опять никого не называл. Тогда полицейские звали других докторов, чтобы они лечили Ли и уничтожали видимые следы истязаний. Ли был очень хороший доктор, и когда нужно было сделать сложную операцию какому-нибудь большому гоминдановскому

чиновнику, то звали его. Поэтому начальник полиции сам сидел в комнате следователя, когда допрашивали доктора Ли, и не позволял поворачивать ручку электрического стула так, чтобы совсем убить Ли.

Доктор Ли уже три раза возвращался из полиции. Теперь он был болен не только потому, что его били, и не только потому, что его сажали на электрический стул, а ещё и потому, что у него была сильная чахотка.

Доктор Ли не хотел, чтобы его мать видела, каким он возвращается из полиции, или была дома, когда приходят его арестовывать. Поэтому

он и жил в городе один, думая, что старушка совсем ничего не знает про аресты и про электрический стул. Он был спокоен за мать, которую очень любил. А она знала все. Она знала, что его уже три раза арестовывали, что его били, что он сидел на электрическом стуле. Но она не хотела, чтобы он знал про то, что она знает.

Все это знала Цзинь Фын.

Если она приходила на маленькую усадьбу Ли, мать доктора прижимала к своему плечу её головку, и когда отпускала её, то волосы девочки были совсем мокрые от слез старушки. Старушка уже почти ничего не могла говорить.

Заикалась и только плакала. И слушать могла только через чёрный рожок. Но вовсе не потому, что была такая старая. Прежде, пока не пришли японцы и когда ещё никто не знал по-настоящему, чего стоят американцы, она никогда не плакала и хорошо слышала и хорошо говорила.

Девочку, выходявшую из колодца, старушка любила, потому что очень хорошо знала, какое дело делает девочка, — то же самое, какое делал её сын. И девочка любила старушку и не боялась её. Почти всегда, выходя на поверхность, чтобы пробежать сотню шагов, отделявшую колодец от спуска в продолжение

подземелья, она навешала старую матушку Ли. Если поблизости были солдаты и из колодца не следовало выходить, старушка вешала на его край старый ковшик так, что его было видно снизу.

Сегодня ковшика наверху не было. Значит, на поверхности все обстояло хорошо, и Цзинь Фын смело поднялась по зарубкам, выдолбленным в стенках колодца. Дверь домика, как всегда, была отворена. Девочка вошла, но на этот раз, кроме старушки, увидела в доме чужого человека. Он был худой и бледный. Такой бледный, что девочка подумала даже, что это лежит мертвец. Его кожа была совсем-

совсем прозрачная — как промасленная бумага, из какой делают зонтики. Человек лежал на старушкиной постели и широко открытыми глазами глядел на девочку. Только потому, что эти глаза были живые и добрые-добрые, девочка и поняла, что перед нею не мертвец, а живой человек. А старушка сидела около постели, держала его руку двумя своими сухонькими ручками. А рука у него была узкая, длинная, с тонкими-тонкими пальцами, и кожа на этой руке была такая же прозрачная, как на его лице.

Снова переведя взгляд с лица человека на эту руку, Цзинь Фын

увидела, что рука совсем мокрая от падающих на неё одна за другой слез старушки. Девочка поняла: это и есть доктор Ли. Она нахмурила брови и подумала: если он пришёл сюда и лёг в постель матери, значит он уже так устал, что не может больше жить.

Старушка хотела что-то сказать, но губы её очень дрожали, а из глаз все катились и катились слезы. Доктор осторожно положил руку на седые волосы матери, хотел погладить их, но рука упала и у него нехватило сил поднять её снова. Рука свисала почти до пола; девочка смотрела на неё, и ей казалось, что рука все вытягивается, вытягивается. Девочка взяла руку, подержала её,

ласково погладила своими загорелыми пальчиками и осторожно положила на край кана.

Потом девочка взяла старушку под руку, вывела в кухню и вымыла ей лицо, и тогда старушка немного успокоилась и сказала:

— Они снова взяли его и опять посадили на электрический стул... Теперь он уже никогда не вылечится. Они знают это и больше уже не станут его беречь; он не может делать операций и совсем им не нужен. Если они возьмут его ещё раз, то убьют совсем.

— Нет, — сказала Цзинь Фын так твёрдо, что старушка утёрла побежавшие было снова слезы. —

Позвольте мне сказать вам: товарищи придут за ним, унесут его, и полицейские больше никогда его не возьмут, а доктор Цяо Цяо его вылечит. — И, подумав, прибавила: — Все это совершенная правда.

Старушка покачала головой:

— Вы видели, какой он... А у меня ничего нет... ничего, кроме прошлогодней кукурузы, совсем уже чёрной.

Цзинь Фын на секунду задумалась.

— До завтра этого хватит уважаемому доктору, вашему сыну. — Она достала из корзинки вторую плетёнку с картофелем и поставила

на стол перед старушкой.

Старушка прижала к своей старой груди голову девочки и поцеловала её сухими губами. Поцелуй пришёлся в то самое место, откуда начиналась косичка, связанная красной бумажкой. И на этот раз волосы девочки остались сухими, потому что старушка больше не плакала.

Видя, что Цзинь Фын собирается уйти, старушка сказала:

— Оставайтесь с нами, прошу вас. У меня нет сил, а ему нужно помочь.

Девочка посмотрела на старушку, на её трясущиеся, слабые руки, на умоляющие глаза, готовые

снова наполниться слезами, и обернулась к двери, сквозь которую виден был лежащий на кане доктор. Она посмотрела на его лицо и поняла, что действительно без неё старушка ни в чём не сможет ему помочь. Цзинь Фын захотелось остаться здесь не только потому, что было жалко больного доктора и его мать, но и потому, что она знала: доктор Ли очень, очень хороший человек, ему непременно следует помочь. Но тут она подумала: а как бы поступил на её месте большой «Красный крот»? Остался ли бы он тут? Нет, наверно, не остался бы, а пошёл бы дальше с заданием командира. Цзинь Фын положила

свою маленькую загорелую руку на сухую руку старушки и, преодолевая жалость, сказала, как взрослая ребёнку:

— Потерпите, очень прошу вас. Я непременно вернусь. — И, подумав, прибавила так, что старушка улыбнулась впервые с тех пор, как девочка её знала: — Вот вернусь и, если позволите, подумаем с вами вместе.

Она пошла через двор к изгороди, в которой был лаз ко входу в следующую галлерею, а старушка стояла у двери и глядела на дорогу: нет ли там кого-нибудь постороннего.

На дороге никого не было, и

девочка сошла под землю. Этот ход должен был привести её в самую миссию. Никем не замеченная она выйдет из-под земли в кустах акации за гаражом.

Девочка засветила фонарик, нагнулась и побежала.

Между десятью утра и двумя пополудни в доме миссии никого из постояльцев не оставалось. Эти часы, когда солнце стоит высоко, гости — китайцы и американцы — проводили у маленького бассейна и забавлялись кормлением рыбок.

В доме находилась только прислуга. У Дэ, грохоча сковородками с ещё большим ожесточением, чем обычно, готовила второй завтрак. Девушки приступили к уборке комнат.

Ма Нью отправилась в направлении Тайюани, намереваясь проникнуть в город. Повёз её У Вэй

на старом, дребезжавшем всеми суставами автомобиле, собранном им из брошенных миссией двух разбитых фордов.

Занятая уборкой, Тан Кэ не сразу услышала настойчивый звонок у ворот и побежала отворять.

За решёткой стояла Цзинь Фын и робко, нараспев выговаривала:

— Овощи, свежие овощи...

Тан Кэ отперла калитку и поманила девочку к себе:

— Овощи свежие?

— Морковь совсем сахарная.

— Без обмана?

— Уверяю вас: как для родных.

Тан Кэ быстро огляделась и понизила голос:

— Почему вы? Где Чэн Го?

Цзинь Фын молча отвернулась.

Тан Кэ испуганно схватила девочку за руку.

— Взяли? — меняясь в лице, быстро спросила она.

Девочка ответила молчаливым кивком головы.

Наступило долгое молчание. Девочка продолжала смотреть в землю и дрожащими пальчиками мяла край платица.

— Никого не выдала? — тихо спросила Тан Кэ.

Девочка подняла на неё глаза, опушённые длинными штрихами необыкновенно густых ресниц, и с укоризной, от которой Тан Кэ стало

не по себе, сказала:

— Чэн Го?

— Да, да... — растерянно проговорила Тан Кэ: — Я знаю... Её пытали?

— Ей отрубили руки.

— Ох!

Тан Кэ закрыла лицо руками. А девочка сказала совсем тихо, так, что Тан Кэ скорее угадала, чем расслышала:

— ...и повесили... вниз головой.

Тан Кэ отняла от лица руки и смотрела на девочку, не в силах проронить ни слова. А та спросила коротко и строго:

— Ну?

Тан Кэ провела рукой по

бледному лицу:

— Ей было только
четырнадцать.

— Уже четырнадцать, —
поправила Цзинь Фын.

— Ты... не боишься?

Вместо ответа девочка,
нахмурившись, спросила:

— Извините, пожалуйста, не
могу ли я видеть сторожа У Вэя?

— Он уехал в город. Подождите
его.

— Извините, но это
невозможно... — несколько
растерянно проговорила Цзинь
Фын. — Видите ли, я очень
тороплюсь.

— Тогда передай все мне... Ты

же знаешь: мне все можно сказать.

— Благодарю вас, я это знаю, — колеблясь, сказала девочка и затем смущённо добавила: — Извините, пожалуйста, но не могли бы вы немного нагнуться?

При этом она приподнялась на цыпочках, тщетно пытаясь дотянуться до уха Тан Кэ. Той пришлось ещё больше нагнуться, и тогда Цзинь Фын приблизила губы к её уху и, закрыв глаза в стремлении быть точной, стала шептать. Тан Кэ пришлось напрячь слух, чтобы не пропустить ни слова.

Приняв передачу и проводив Цзинь Фын, Тан Кэ поглядела ей вслед и, вернувшись к Го Лин,

шепнула:

— Маленькая связная.

У Го Лин сделались испуганные глаза.

— Боюсь новых людей.

— Это сестра Чэн Го.

— Почему не она сама?

— Повесили...

Го Лин испуганно взмахнула руками, как бы отгоняя страшное известие. Оправившись, она спросила:

— Зачем пришла связная?

— К нам на самолёте послан уполномоченный штаба, женщина. Сегодня ночью она должна была спуститься на парашюте и вот-вот будет здесь.

— Как мы её узнаем?

— Её пароль: «Светлая жизнь вернётся. Мы сумеем её завоевать. Не правда ли?»

— Какой странный пароль!

— Мы должны ей подчиняться беспрекословно, исполнять все её приказания.

— Мне это не нравится.

— А тебе хочется, чтобы партизанам было предоставлено право обсуждать приказы?

— Ты опять скажешь, что я трусиха, ну что ж, я и не скрываю: да, я трусиха. Я боюсь всех, кого не знаю; боюсь всех тайн и вот таких приказов. Придётся быть настороже. Посмотрим, что собою представляет

эта женщина...

— О, как ты рассуждаешь! — воскликнула Тан Кэ. — Центр требует подчинения, а мы будем «смотреть», понравится ли нам начальник... Можно подумать, что ты забыла: мы не просто партизаны...

— Ах, ты же знаешь, при дружбе Марии с полицией ей немного нужно, чтобы посадить даже святого... — в смущении проговорила Го Лин.

— Ты её чересчур боишься.

— Она на нас так смотрит в последнее время.

— Мало ли кто и на кого смотрит. Главное — Мария не подозревает, кто мы с тобой...

Заслышав шум приближающегося по аллее автомобиля, Тан Кэ торопливо оправила фартук:

— Мария вернулась.

Го Лин взялась за щётку.

Через несколько минут в комнату вошла Ма. У неё был усталый вид. Она недовольно оглядела девушек и отослала их прочь.

Тан Кэ подошла к гаражу и остановилась, наблюдая, как У Вэй моет запылённый автомобиль. За шумом воды У Вэй не слышал шагов Тан Кэ и продолжал напевать что-то себе под нос. Только повернувшись к ней и едва не обдав её водой, увидел

и улыбнулся.

— Иди ко мне в помощницы! — весело крикнул он.

— В помощницы? — Тан Кэ смотрела на него без улыбки.

У Вэй опустил ведро и удивлённо уставился на сердитое лицо девушки.

— Что случилось?

— Я хочу с тобою серьёзно поговорить.

У Вэй вытер руки и жестом пригласил Тан Кэ к скамеечке.

— Ничего, я постою, — неприветливо сказала она.

— Я вижу: у тебя длинный разговор, — продолжая улыбаться, сказал У Вэй.

— То, что я хочу сказать, очень важно. Мы хотим предупредить тебя: ты должен бросить это... с Марией. Она нехорошая. Она может дорого обойтись и тебе и всем нам, эта полицейская дрянь... Мы же видим, что ты... — Тан Кэ не договорила, глядя в глаза У Вэю.

— Вы ничего видеть не можете, — ответил он недовольно. — Не можете и не должны, — настойчиво повторил он. — Начальник здесь я, и я знаю, что делаю.

— Я обязана была предупредить.

— Хорошо, хорошо... — сказал он, не скрывая желания окончить неприятный разговор.

Помолчав, Тан Кэ сказала:

— Была связная.

Он сразу насторожился:

— Ну?

— Принесла серьёзное задание:

взять живым Янь Ши-фана... Только я не понимаю, как это выполнить.

— Разве ты не знаешь, что Янь Ши-фан сегодня будет тут?

— А ты откуда знаешь? — с беспокойством спросила Тан Кэ, полагавшая, что только она знала это от связной Цзинь Фын.

— От... Ма, — ответил У Вэй.

— Ага!.. — Она хотела ещё что-то сказать, но осеклась и, подумав, сказала: — Тогда это действительно подозрительно.

— Что?

— Это задание. Может быть, Го Лин права. Как-то уж очень кстати вдруг все сходится. Только получили задание, и Янь Ши-фан уже тут.

— Ты думаешь, возможна... — Он не договорил, но она поняла недосказанное слово «провокация» и нерешительно кивнула головой.

Вернувшись в комнаты, Тан Кэ тихонько сказала Го Лин:

— Может быть, ты и права. Все как-то уж очень подозрительно совпало: появление новой связной, прибытие нового человека из штаба, приезд такого лица, как Янь Ши-фан.

— Янь Ши-фан?

— Да, он должен вечером быть

тут вместе с этим янки Баркли.
Теперь нужно уберечься от Марии,
чтобы она ничего не заподозрила...

— Значит, мы должны?..

— Задание остаётся заданием.

— Даже когда оно так
подозрительно?

— Откладывать мы не имеем
права.

— Ты права.

— Нужно действовать.

Цзинь Фын отодвинула камень и осторожно выглянула из впадины, служившей выходом на поверхность. Двор был пуст. Девочка вышла на двор и присела в тени, отбрасываемой разрушенным домом. Цзинь Фын устала, ужасно устала. Она закрыла глаза, и ей почудилось, что она гуляет в тенистом парке у дома губернатора. Она испуганно подняла веки, но видение сада секунду назад было так ярко, что она не сразу его отогнала.

Иногда, проходя мимо этого парка, она сквозь узоры его каменной ограды заглядывалась на

гуляющих там детей. Особенно хотелось ей прокатиться в коляске, запряжённой осликом. Но девочка знала, что эти катающиеся и играющие ребята — дети важных чиновников, или купцов, или генералов из армии Янь Ши-фана. А таким, как она, нельзя кататься, можно только иногда издали посмотреть на катание других. И то лишь до тех пор, пока на ней не останавливался взгляд полицейского или садовника. Тогда нужно было уйти из тени ограды. А ещё около этого сада всегда толпились продавцы сладостей. Один раз в жизни, на Новый год, Цзинь Фын довелось попробовать белой липучки, и с тех

пор при взгляде на это лакомство лёгкая судорога всегда сводила ей челюсти. А тут в корзине каждого торговца лежали целые кучи липучек. Это было почти невыносимо. Может быть, красные и зелёные человечки, такие прозрачные, словно они были сделаны из стекла, были ещё вкуснее, но девочка равнодушно смотрела, как торговец снимал прозрачного человечка с высокой палки, где они были натканы в соломенную подушку, как булавки в праздничную причёску щеголихи. И даже когда покупательница, отправив стеклянного человечка в рот и пососав, вытаскивала его, чтобы

полюбоваться его блеском, Цзинь Фын не очень завидовала, потому что она, несмотря на свои двенадцать лет, ещё не знала, что такое сахар.

Она вздохнула и встала. Словно и сейчас она почувствовала на себе взгляд полицейского или садовника, даже оглянулась. Но никого поблизости не было. Она вышла на улицу, так как ей нужно было попасть в музей — там был пост партизан. Он помещался в подвале калорифера, оборудованного в здании музея в конце девятнадцатого века каким-то европейским инженером. Если проникнуть в огород за музеем, то можно войти в ямку, встать на корточки и,

проползши шагов двадцать под землёй, вылезти из калориферного отверстия прямо в подвале. Там горит тусклая лампочка и в углу под музейным панцырем спрятан радиоприёмник. А на калорифере постелен ковёр.

В подвале живёт бывший сторож музея товарищ Хо. Полиция считает его бежавшим к «красным», но на самом деле он остался в городе.

Из калориферного подвала есть второй выход — прямо в музей. Он загорожен шкафом, у которого отодвигается задняя стенка. В шкафу лежит всякий мусор, а снаружи к нему прислонены потемневшие полотна старинных картин. А чтобы

картины кто-нибудь случайно не отодвинул, они прижаты тремя тяжёлыми изваяниями из мрамора.

Теперь наверху в музее — новый сторож, Чжан Пын-эр, тот, что раньше был посыльным. Чжан служит в музее уже восемнадцать лет. Теперь он приносит бывшему сторожу Хо пищу и наблюдает за обоими выходами из подземелья, чтобы гоминдановцы не могли неожиданно поймать Хо, если дознаются о подвале. Но только они, наверно, не дознаются, потому что о нем никто, кроме Хо и Чжана, здесь не знает.

Когда Цзинь Фын пришла на огород за музеем, сторож ел суп из

капусты. Девочка была голодна, и суп так хорошо пахнул, что она не удержалась и втянула носом воздух. Чжан увидел это и отдал ей палочки:

— Ешь, а я тем временем разведаю.

Девочка с жадностью проглотила глоток тёплой жидкости и выловила один капустный листик. Когда Чжан вернулся, палочки лежали поперёк плошки и супа в ней было столько же, сколько прежде. Сторож вложил палочки в руку девочки и сказал:

— Ешь, а то я рассержусь.

— У нас под землёй всего больше, чем у вас. Зачем я буду вас объедать? — солгала она, хотя ей

очень хотелось есть.

Он взял плошку в обе руки и сделал вид, будто хочет выплеснуть суп; тогда она испуганно схватила палочки и быстро съела все.

— Теперь полезай, — сказал Чжан. — Вокруг спокойно.

Девочка пошла в конец огорода, где росли кусты шиповника, и юркнула в скрытую среди них ямку.

Когда она вылезла из калорифера, то сразу увидела, что старый Хо чем-то обеспокоен. Он делал то, что позволял себе только в самых-самых крайних случаях, когда очень волновался: сидел на корточках и, куря трубку, выпускал дым в отдушину. Это было очень

рискованно. Если гоминдановцы почуют малейший запах дыма в комнате, куда выходит потайной лаз из шкафа, загороженного картинами, они могут начать поиски.

Девочка с укоризной поглядела на Хо, как старшая на шалуна, и старик смущённо придавил тлеющий табак почерневшим пальцем.

Хо был тёмный и страшный и ещё более бледный, чем её товарищи-партизаны, живущие в катакомбе. Потому что он тоже жил под землёй, но жил один. Совершенно один, без товарищей, и уже совсем никогда не бывал наверху.

Хотя никто не мог их услышать, Хо сказал шопотом:

— Сейчас же иди к «Медведю».

— Зачем?

— Таков приказ.

Девочка почувствовала, как сжались его пальцы на её плече.

— Сейчас же иди, это неотложное дело.

— Хорошо, — сказала девочка, как могла более твёрдо, но ухом, привыкшим улавливать малейшие шумы и интонации, Хо различил в её ответе колебание. Она потупилась и повторила: — Хорошо.

Она было поднялась, но почувствовала, что сейчас упадёт от усталости.

— Что с тобой? — спросил Хо.

— Если вы разрешите, я совсем

немножко отдохну.

Его пальцы, не отпускаявшие её плеча, сжались ещё крепче, и он сказал:

— Дитя моё, нужно итти.

— Хорошо.

Пролезая в чёрное узкое отверстие, она подумала, что уже не сможет сегодня привести товарищей к доктору Ли Хай-дэ. Полицейские могут прийти к нему и увести его в тюрьму. И тогда уже больше они его не отпустят. Она посмотрела в мрачную пустоту калорифера, и ей показалось, будто оттуда на неё глядят добрые глаза доктора. Она согнулась, встала на корточки и полезла в трубу. Глаза доктора

отступали перед нею и, когда она увидела впереди свет выхода, исчезли совсем. Она уже хотела было вылезти в огород, когда услышала голос Чжана, очень громко с кем-то говорившего. Она попятилась в темноту; ползла и ползла, пока не исчез светлый квадрат выхода, и тогда легла. Лежала и думала, а перед нею опять стояли глаза доктора Ли.

Цзинь Фын лежала до тех пор, пока вдали не послышался голос сторожа, тихонько напевавшего:

Девушки хорошие, смелые
и юные,
С тёмными упрямыми

дугами бровей...

Это значило, что опасность миновала, и Цзинь Фын выползла наверх, чтобы поспешить к «Медведю».

Итти было недалеко, но зато это был оживлённый район города. Не очень-то приятно было ходить тут, шмыгая между прохожими, из которых каждый третий был шпионом яньшифановской полиции.

Цзинь Фын не спеша поднималась по улице и как бы невзначай остановилась перед маленьким магазином с вывеской «Медведь». Прежде чем войти,

нужно было проверить, есть ли на выставке флакон одеколona «Чёрная кошка». Флакон был пустой, только для витрины. Это гарантировало от того, что какой-нибудь настойчивый покупатель может взять его, не считаясь с ценой.

«Чёрная кошка» была на месте. Значит, можно было входить.

Цзинь Фын отворила дверь и скромно подождала, пока из магазина вышла какая-то покупательница. Однако купец продолжал делать вид, будто не замечает присутствия девочки. Лишь сделав почтительный поклон вслед покупательнице, он принялся за чтение книги, лежавшей на высокой

конторке. Читал он вслух, нараспев, меланхолически почёсывая спину длинной обезьяньей рукой из слоновой кости. При этом он так ловко, что не замечала даже Цзинь Фын, косился на двери и окна своей лавки. Девочка увидела только, как он слегка кивнул ей головой, и тогда проговорила:

— Извините, пожалуйста, меня прислали из музея.

— Маленькая девочка была там, где американские монахи молятся богу? — не отрываясь от книги и так же нараспев, словно продолжая чтение, спросил купец.

Девочка ответила молчаливым кивком головы.

— И передала всё, что ей было велено?

Кивок повторился в том же молчании.

Тут говор купца стал ещё монотонней — он почти пропел, понизив, однако, голос до полушопота:

— И теперь она тотчас отправится обратно.

— В миссию?! — с испугом вырвалось у Цзинь Фын, но она тотчас спохватилась и, испуганно оглядевшись, уставилась на купца.

А тот продолжал:

— Она передаст старой тёте У Дэ, что вместо своего человека в миссию может явиться враг —

китаянка, но американская шпионка с нашим паролем. Девочка передаст: мы полагаем, что наша работница, сброшенная на парашюте, могла быть убита при спуске. Быть может, тело, найденное в овраге под Сюйгоу, — это тело нашего человека. Мы этого точно ещё не знаем. Поэтому товарищи в миссии должны быть очень осторожны. Потом девочка вернётся к командиру «Красных кротов» и повторит ему все это. Она скажет, что ему следует послать в город разведку и выяснить, кто убит: наш человек или враг?

Цзинь Фын напряжённо вслушивалась в каждое слово купца. Лицо её отражало величайшее

внимание.

Купец кончил и, видя, что Цзинь Фын замешкалась у прилавка, уставился в книгу и нараспев, но настойчиво произнёс:

— Девочке пора уходить, пока никто не зашёл в лавку.

Цзинь Фын закусила губу, чтобы не дать вырваться просьбе, просившейся на язык: «Не позволите ли мне немного отдохнуть?» Она молча повернулась и вышла на улицу.

Только тут купец оторвался от книги и проводил девочку долгим взглядом. Если бы она обернулась и увидела этот взгляд, то, наверно, подумала бы, что для этого человека она самое дорогое существо на

свете...

А он подавил вздох и, бормоча вслух те пустяки, которые были изображены в красной книге сложным плетением иероглифов, принялся, как прежде, водить себе под халатом длинной лапой обезьяны с тонкими острыми пальцами, приятно щекотавшими кожу на лопатках. При этом мысли купца были далеки и от иероглифов, которые машинально произносили его губы, и от приятного ощущения на коже лопаток. Он мысленно шёл вместе с маленькой девочкой-связной по бескончаемым, сложным подземным галлереям, которые знал так же хорошо, как и остальные его

товарищи, так как долго укрывался там и не раз выходил оттуда на ночные вылазки против врагов, прежде чем ему приказали стать купцом и торговать дрянными американскими товарами.

Обед в миссии подходил к концу. Кароль взялся за десерт. Ел сосредоточенно и жадно. Его большая нижняя челюсть двигалась ритмически из стороны в сторону, взад-вперёд и снова из стороны в сторону. Она была внушительна и работала, как тяжёлая деталь механической тёрки. Иногда эта челюсть совершала вместо двух установленных движений неожиданно третье — снизу вверх. Тогда рот верзилы издавал громкое чавканье, и соседи слышали отчётливый лязг зубов. Эти звуки были единственными, какие издавал

за едою Кароль. Биб же, раньше всех расправляясь с блюдами, почти непрерывно болтал.

Так как остальные жильцы, кроме агентов, часто менялись, то болтовня Биба не успевала им надоесть. Они слушали её с интересом. Но на этот раз прыщавый рыжий американец в форме майора раздражённо постучал ложечкой по блюдцу и, заставив Биба замолчать, спросил соседа:

— Вас тоже уведомили, что комната должна быть очищена сегодня же?

— Да, конечно, — ответил сосед. — Здесь это вполне в порядке вещей.

— Как, с вами это уже бывало? — Майор удивлённо вскинул рыжие брови.

— Да, я отдыхаю тут не в первый раз.

— И вы так спокойно это переносите, не жалуетесь?

— Какой смысл? — сосед пожал плечами. — Дом всегда очищают, если сюда собирается прибыть какая-нибудь важная персона.

— А мы? — рыжий стукнул себя в грудь.

— Ф-фа! Большие люди любят тишину.

— Я американец. Я буду жаловаться.

— Э, бросьте, — сказал

сосед. — Мария имеет сильную руку там, куда вы собираетесь жаловаться.

— Эта китаянка?! — в сомнении спросил рыжий. — Чорт знает что такое! Рано или поздно она попадёт ко мне в Джиту, тогда я с ней поговорю.

Он сердито оттолкнул стул и вышел из-за стола.

За ним вскоре последовали и остальные, кроме агентов.

— Как ты думаешь, когда явится эта Ада? — спросил Биб.

Обсуждая все возможные обстоятельства следования таинственной начальницы, агенты принялись вычислять сроки её прибытия в миссию.

— Сегодня ночью приехала в город. — Загибая короткие волосатые пальцы, Биб говорил: — Ванна, парикмахерская и тому подобное, валяние в постели... Раньше завтрашнего дня Баркли её не увидит. День уйдёт на разговоры с начальством. Если она интересная баба, Баркли не пропустит случая с нею поужинать. Надо думать, дня через два-три, выспавшись, она соизволит прибыть сюда. Бабы нелепо много времени тратят на всякие пустяки и на никому не нужную болтовню, — пренебрежительно продолжал Биб. — В этом отношении наша Мария — счастливое исключение.

Она мало говорит и совсем неплохо управляет заведением. Думаю, что когда тут хозяйничали миссионеры, было хуже.

К этому заключению он пришёл главным образом на том основании, что в пансионе хорошо кормили и всячески стремились угодить его личным вкусам. Он имел возможность лакомиться с утра до вечера. Вот и сейчас, не успев ещё до конца убрать со стола, Тан Кэ принесла вазу с фруктами, и агент принялся ощипывать гроздь винограда. Он отрывал ягоды и, ловко подбрасывая, отправлял в рот. Ел он их с кожурой, противно хрустя косточками. Когда на грозди

осталось несколько ягод, он поднял её над лицом и, обрывая последние ягоды прямо зубами, потянулся свободной рукой за следующей кистью. Так же, как за обедом, процесс еды не мешал ему говорить:

— Здесь нам не угрожает голодная смерть. Полиция знала, кому поручить миссию. Меня радует то, что мы чувствуем себя здесь в безопасности. Не нужно день и ночь ползать на брюхе по окрестностям в поисках всяких диверсантов. Подпольщики боятся Марии не меньше, чем нас. До послезавтра нам ничто не угрожает. А там мы примемся следить за каждым приближающимся автомобилем,

чтобы не прозевать приезда этой Ады... И до послезавтра... если нам не наделает хлопот приезд Янь Ши-фана, — проворчал Кароль. — Он явится со своей охраной.

— Мария этого не потерпит.

— Ну, с Янь Ши-фаном ей придётся спрятать свои правила в карман. Если он рассердится, то просто прикажет отрубить ей кочан.

— Но, но! Мария под защитой Баркли.

— Твоё здоровье, старина! — Биб поднял бокал. — И за то, чтобы эта Ада отсюда поскорей убралась.

— Воображаю, с какой помпой эта дура сюда явится, — проворчал Кароль.

Они чокнулись, и звон стекла ещё висел в воздухе, когда Бибу почудилось, будто чья-то тень легла от двери поперёк стола. Он быстро обернулся и замер с открытым ртом: в дверях веранды стояла китаянка с красивым энергичным лицом, обрамлённым гладко причёсанными иссиня-чёрными волосами. Сразу бросалась в глаза чёрная родинка на её лбу, чуть-чуть выше переносицы.

Это была Мэй.

Если бы Биб накануне ночью побывал в овраге под Сюйгоу, он узнал бы в Мэй ту, кто вышла из оврага и под взглядом Сань Тин разглядывала записку, а потом умчалась на автомобиле. Но Биб

видел эту женщину впервые.

— Кто вы? — рявкнул он.

— Откуда вы взялись? — грубо спросил и Кароль.

— Вот... — она смущённо показала на балконную дверь: — в эту дверь.

— Эта дверь не для первого встречного.

Незнакомка обвела их насмешливым взглядом больших тёмных глаз и негромко, с необыкновенным спокойствием проговорила:

— Но я пришла именно сюда; я надеюсь найти приют под сенью звёзд и полос...

Она не успела произнести до

конца свой пароль, как Биб, расшаркиваясь, пробормотал:

— О, если бы мы знали, мисс Ада! Прошу поверить: только по долгу службы... Ведь мы никого, решительно никого не впускаем без...

— Мы на посту, — проворчал Кароль.

— Это и видно, — скептически сказала Мэй. — Я прошла сюда, никем не замеченная.

— Непостижимо! — Круглые плечи Биба поднялись до самых ушей. — Мы отлучились всего на минутку, подкрепиться. Эта работа дьявольски выматывает. Мы сейчас же представим вас хозяйке, сестре

Марии...

Мэй остановила его жестом:

— Она не должна знать, кто я.

— О, она вполне свой человек.

На неё мы можем положиться, как на самих себя, — вмешался Кароль.

— Сомнительная
рекомендация, — усмехнулась

«Ада». — Все, что от вас требуется:
устроить меня сюда на работу.

— В качестве?

— Врача, — коротко приказала
Мэй и, не оставляя времени для
вопроса, тут же спросила сама: —
Здесь, говорят, не совсем спокойно?

— О, тут настоящий вулкан!
Особенно опасны «Красные кроты»
— партизаны, скрывающиеся под

землѣй.

Биб, на щадя красок, стал описывать коварство местных жителей, только и ждущих, чем бы насолить американцам, опасности, которыми окружены люди в этой дикой стране, не желающей признавать благотворного влияния Америки. Он высказал убеждение, что, несмотря на тщательную проверку, которой подверглись все служащие миссии, ненадёжным элементам все же удалось проникнуть даже сюда.

— Вы что-нибудь заметили? — с интересом спросила Мэй.

— Тут есть одна злобная старуха, — сказал Биб: — Анна,

здешняя повариха.

Мэй испытующе взглянула на агента:

— Вы её подозреваете?

— Как только мы её застукаем...

— хвастливо начал Кароль.

— Лишняя формальность, — прервала его Мэй. — Её нужно попросту уничтожить. Я этим займусь. — И, как бы невзначай, прибавила: — Кстати, вы совершенно уверены в преданности той, которую здесь называют сестрой Марией?

— Наша с головой, — уверенно сказал Биб.

— Безусловно, — подтвердил Кароль.

Дверь отворилась, и своею

эластичной, немножко
пританцовывающей походкой вошла
Ма. Женщины смерили друг друга
быстрым, испытующим взглядом.

Мэй первая сделала шаг навстречу Ма, протянула ей руку:

— Меня зовут Ада.

Ма молча приняла пожатие. Потому ли, что было очень жарко, а Ма, идя сюда, торопилась, или потому, что безотчётное волнение овладело ею под прямым взглядом пронизательных глаз гостыи, но Мэй видела, как краска покидала щеки китаянки. Биб сам был слишком взволнован первой беседой с новой начальницей, поэтому он не заметил ни этой бледности, ни того, как Ма

чуть-чуть прикусила губу. Биб представил гостью Ма:

— Мисс Ада — новый врач миссии...

Мэй поспешно перебила его:

— Могу ли я быть уверена, что вы в моё отсутствие внимательно осмотрите окрестности виллы? На генерала Янь Ши-фана готовится покушение.

— В Джиту помешались на покушениях, — со смехом ответил Биб.

— Партизаны поклялись его похитить.

— Если бы речь шла о том, чтобы выстрелить в него или взорвать его автомобиль, я бы ещё

поверил. Но такие детские попытки обречены на провал.

— Это хорошо, что вы так уверены, — негромко проговорила Мэй.

— О, у нас есть к этому все основания! — воскликнул Биб.

— Это хорошо... — повторила она и, подумав, обернулась к Ма: — Не покажете ли мне мою комнату?

После некоторого колебания Ма с видимой неохотой повела Мэй во второй этаж.

Пока женщины не скрылись за дверью, Биб стоял и улыбался, как будто Мэй могла видеть эту улыбку спиною сквозь разделявшие их стены. Потом он с силою ударил

Кароля по широкой спине.

— Вот так штука, а! С её приездом тут станет веселей. Бабы, кажется, как следует вцепятся друг другу в волосы, а?

— Пожалуй, вцепятся.

— Её не предупредили о том, что Мария — свой человек у Баркли и с нею шутки плохи... Тем лучше, тем лучше! — воскликнул Биб, потирая руки.

В задании, полученном от «Медведя», Цзинь Фын не видела ничего странного. Она привыкла ко многому, что показалось бы необыкновенным человеку, пришедшему со стороны и не знавшему сложной борьбы, происходившей между подпольщиками и врагами, которыми были сначала японцы, потом гоминдановцы и, наконец, ещё американцы. А Цзинь Фын видела так много и слышала такое, что уже ничему не удивлялась и ничего не пугалась. Она не хуже взрослой знала, что ждёт её в случае провала,

знала, какими средствами гоминдановцы будут выпытывать у неё имена, даты, пункты. Но она не боялась, что выдаст товарищей. Ведь её сестра Чэн Го никого не выдала. Так же будет вести себя в полиции и она сама. Но... всё-таки лучше как можно меньше помнить. Очень прав командир, всегда повторяющий ей:

— Будь, как телефонная трубка.

Впустила в ухо, выпустила через рот — и все забыто.

— Хорошо.

Сейчас она должна бежать в миссию так быстро, как только могут двигаться её усталые ноги. Можно забыть про еду, про усталость, про... умирающего доктора. Голод —

пустяки. Усталость?.. Её можно побороть, если покрепче стиснуть зубы, а вот доктор? Бедный доктор! Если Цзинь Фын сегодня же не приведёт к нему партизан и они не унесут его под землю, он может никогда уже не встать с постели; он никогда не будет больше лечить людей... Нет, она приведёт к нему товарищей, хотя бы пришлось для этого упасть от усталости и голода. Нужно как можно скорее добраться до миссии и предупредить товарищей о возможном появлении провокатора. Потом нужно так же быстро вернуться в штаб и привести людей к доктору.

Сколько ли это будет? Цзинь

Фын пробовала подсчитать и сбилась. Много, очень много ли. Пожалуй, больше, чем она сможет пробежать в этот день. Даже больше, чем может пробежать взрослый партизан. И всё-таки она должна их пробежать! Она же хорошо знает, что иногда партизаны идут без отдыха и без пищи и день и два. Операция бывает длинной, и у них нехватает запасов, а просить у крестьян — это значит рисковать подвести их под виселицу. Девочка знает все это и будет вести себя, как взрослый партизан. Вот и все.

За этими размышлениями совсем незаметно прошёл тяжёлый кусок пути до домика матери

доктора Ли. Сейчас же после поворота, отмеченного кругом и стрелой, будет виден свет, падающий из колодца. Конечно, вот и поворот! Вот знак: круг, а в круге стрела. Только на этот раз Цзинь Фын не зайдёт к старушке. Пускай та даже не знает, что она тут пробежала. Только бы старушка не забыла про ковшик, иначе как же вылезешь из колодца? Но странно: девочка миновала поворот с кругом и стрелой, а света из колодца все не видно. Странно, очень странно!.. Вот в луче фонаря мелькнули и камни колодезной кладки... Но почему эти камни торчат из кучи земли? Почему куча земли высится до свода, почему

обвалился и самый свод?..

Цзинь Фын с беспокойством осматривала неожиданное препятствие. Ведь если торчащие здесь камни действительно являются частью колодезной трубы, значит она обрушилась, значит выхода на поверхность больше нет! Этот обвал означал для Цзинь Фын необходимость вернуться в город и уже снаружи, по поверхности, искать обхода гоминдановских патрулей, чтобы попасть в миссию... Страшная мысль пришла ей: а уж не побывала ли тут полиция, не её ли рук это дело — обвал колодца?.. Но зачем полицейские оказались тут, около колодца? Уж не пришли ли они за

доктором? Ах, как ей нужно знать, что случилось наверху!

Девочка в отчаянии опустилаась на кучу земли и погасила фонарик. Внизу царила тишина — хорошо знакомая ей тишина чёрной пустоты подземелья, куда не проникает ни один звук из внешнего мира. Там, наверху, может происходить что угодно, какие угодно события могут потрясать мир, — здесь будет все та же чёрная тишина...

Хватит ли у неё сил на то, чтобы, вернувшись к выходу в город, ещё раз проделать весь путь к миссии поверху?

Её мысли неслись с отчаянной быстротой; мысли эти были совсем

такие же, какие были бы в эту минуту и в голове взрослого: она не должна спрашивать себя, хватит ли сил; должна спросить об одном: хватит ли времени?..

Цзинь Фын поднялась с земли и пошла, не замечая того, что ноги её уже не передвигаются с той лёгкостью, как прежде, а на каждом шагу её стоптанные верёвочные сандалии шаркают по земле, как у старушки.

Да, Цзинь Фын уже не бежала, а шла. Она несколько раз пробовала перейти на бег, но ноги сами замедляли движение. Она замечала это, только когда почти переставала двигаться. Тогда она снова заставляла

себя ступать быстрее, а ноги снова останавливались. Так, борясь со своими ногами, она перестала думать о чём бы то ни было другом: ноги, ноги! Все её силы были сосредоточены на этой борьбе. Вероятно, поэтому она и не заметила, что свет её электрического фонарика с минуты на минуту делался все более и более тусклым. Батарейка не была рассчитана на такое длительное действие. Она была самодельная. Такая же, как у командира отряда, как у начальника штаба и начальника разведки. Эти батарейки делал молодой радист под землёй.

Цзинь Фын только тогда

заметила, что её батарейка израсходована, когда волосок в лампочке сделался совсем красным и светил уже так слабо, что девочка то и дело спотыкалась ослабевшими ногами о торчащие на земле острые камни. Пронизавшая её сознание мысль, что через несколько минут она останется без света, заставила её побежать так же быстро, как она бегала всегда. Как будто в эти несколько минут она могла преодолеть огромное расстояние, отделявшее её от выхода в город.

Она бежала всего несколько минут, те несколько минут, что ещё слабо тлел волосок фонаря. Но вот исчезло последнее, едва заметное

красноватое пятнышко на земле. Цзинь Фын остановилась перед плотной стеной темноты. Нужно было собраться с мыслями. Лабиринт ходов был сложен, они часто разветвлялись. Время от времени на стенках попадались знаки: круг и стрелка, это значило, что идти нужно прямо; если стрелка в круге опрокидывалась остриём книзу, значит нужно было повернуть влево; если глядела остриём вверх — поворачивать надо было вправо. Эти знаки были ясно нанесены известью или углём, в зависимости от характера почвы. Их очень хорошо было видно при свете электрического фонарика и даже в

мерцании простой свечи. Но какой был в них толк теперь, когда у девочки нет света?

Цзинь Фын крепко закрыла глаза руками, думая, что так приучит зрение к темноте. Но как она ни напрягала зрение, не могла различить даже собственной руки, поднесённой к самому лицу.

И все же она не позволила отчаянию овладеть собой — вытянула руки и пошла. Она уже не думала теперь, куда поворачивать, не хотела об этом думать, знала, что, пускаясь по подземным ходам в первый раз, партизаны непременно брали с собою клубки ниток. Они разматывали нитку за собою, чтобы

иметь возможность вернуться к выходу. Только так, шаг за шагом изучали они лабиринт: делали на поворотах отметки, один за другим осваивали путанные ходы лабиринта, общая длина которого измерялась десятками ли. И вот теперь Цзинь Фын предстояло разобраться в этой путанице. Она была маленькая девочка, но, как всегда, когда предстояло какое-нибудь трудное дело, она подумала: «А как бы поступил на моем месте взрослый?» И всегда поступала так, как поступил бы на её месте настоящий партизан, человек, которого она считала идеалом силы, смелости и верности долгу.

Такой вопрос Цзинь Фын задала себе и сейчас, когда её вытянутые руки наткнулись на шершавую стену подземелья. Она должна была решить: итти ли прямо, повернуть ли вправо или налево? Загадка, ставившаяся в сказках почти всех народов перед храбрыми воинами, показалась ей теперь детски простой по сравнению с тем, что должна была решить она, совсем маленькая девочка с косичкой, обвязанной красной бумажкой. Ах, если бы кто-нибудь поставил сейчас перед нею такой простой выбор: смерть и выполнение долга или жизнь! Но всюду, куда она ни поворачивалась, была одна страшная чёрная пустота,

и она не знала, где же — прямо, направо или налево — лежит путь к цели, которой было для неё исполнение боевого приказа.

Она стояла в тяжёлом раздумье с вытянутыми руками и кончиками маленьких пальцев машинально ощупывала шершавую стену подземного хода. И все силы её большой и смелой души были направлены на то, чтобы не позволить отчаянию овладеть сознанием, живущим в её маленьком теле, таком слабом и таком ужасно-ужасно усталом...

У Вэй отвёз в город
постояльцев, которым было
предложено очистить комнаты.
Вернувшись, он нашёл Тан Кэ и Го
Лин в глухой аллее парка за
обсуждением полученного задания.
Чем больше рассудительная, хотя,
может быть, и чересчур осторожная,
Го Лин думала над этим делом, тем
менее вероятным казалось ей, чтобы
удалось выполнить такую тяжёлую
задачу. Их было три женщины. У Вэй
— единственный мужчина на их
стороне. А там: один Кароль стоит
их всех, вместе взятых, да ещё Биб,
да сам Янь Ши-фан, и Мария, и

Стелла, которая придет с генералом. Не легко было говорить о выполнении такой задачи.

— Ты забываешь, — возразила Тан Кэ. — К нам прибудет подкрепление.

— Что может изменить один человек?

— Центр отлично знает наши силы, и раз он все же дал нам это задание, значит все рассчитано. — Смуглые веки Тан Кэ потемнели от прилившей к ним крови. — Что же, по-твоему, мы не в состоянии исполнить боевой приказ? А ради чего мы с тобою живём здесь в покое и довольстве, сытно едим и мягко спим, в то время когда наши

товарищи...

В аллее слышались шаги: подошёл У Вэй. Ища у него поддержки, Го Лин поделилась своими сомнениями. Но, к её удивлению, обычно такой осторожный, У Вэй на этот раз оказался не на её стороне.

— Ты забываешь, — сказал он, — что сегодня Янь Ши-фан будет здесь. Такой случай может не повториться.

— Что я говорю?! — с торжеством воскликнула Тан Кэ. — Штаб лучше знает, что делать.

— Для меня остаётся неясным только одно, — сказал У Вэй: — ждать ли нам прибытия товарища из

центра или действовать
собственными силами?

— Мы не имеем права и не должны ждать, — горячо сказала Тан Кэ. — При первом удобном случае мы должны взять Янь Ши-фана.

— Вот за кого я по-настоящему боюсь — это мать, — сказал У Вэй: — она совсем перестала сдерживаться.

— Я бы не посвящала тётушку Дэ в это дело, — заметила Го Лин. — А то она может в запальчивости сболтнуть что-нибудь в присутствии Марии.

— Мария не должна ничего почуять даже кончиком носа, — сказала Тан Кэ, искоса глядя на У

Вэя.

— Тсс... — Го Лин приложила палец к губам: — кто-то идёт.

Девушки поспешно скрылись в кустах, У Вэй принялся набивать трубку. За этим занятием его и застала осторожно выглянувшая из-за поворота Ма.

Быстро оглядевшись, она подошла к У Вэю. Крылья её тонкого носа раздувались, втягивая воздух, словно она по запаху хотела узнать, кто тут был. Она опустилась на камень рядом с У Вэем и долго молча сидела, разминая вырванную из земли травинку. Он тоже молчал, делая вид, будто увлечён наблюдением за тем, как взвивается

над трубкой струйка дыма. Каждый ждал, пока заговорит другой. Первою не выдержала молчания Ма.

— Есть что-нибудь новое?

— Уполномоченный

партизанского штаба должен был спуститься на парашюте.

Глаза Ма загорелись:

— Здесь?

— Наверно, где-нибудь

поблизости, потому что он послан сюда.

— К нам?

— Да. Его пароль: «Светлая жизнь вернётся. Мы сумеем её завоевать. Не правда ли?»

Снова воцарилось молчание. Ма нервно скомкала травинку и

отбросила прочь.

— Зачем?

У Вэй отвёл взгляд.

— ...есть задание.

Она выжидательно глядела на У Вэя.

— Это очень серьёзно... — сказал он наконец. — Нужно взять Янь Ши-фана.

— А разве нельзя было это сделать без помощи... оттуда?

— Повидимому... Одним девочкам это не под силу.

— А я?

Он удивлённо взглянул на неё, сделал последнюю затяжку и выколотил трубку.

— Ты?.. Ты должна остаться в

стороне. Нужно сохранить твою репутацию.

Ма порывисто поднялась, но тут же снова опустилась на скамью.

— Больше не могу! — Тон её стал жалобным. Она быстро заговорила шопотом: — Больше не могу. Если бы ещё только в глазах посторонних, чтобы хоть свои знали, что это игра. А то подумай: все, решительно все свои ненавидят меня. Я больше не могу играть! Позволь мне открыться девушкам.

— Нет, нет! — сказал У Вэй. — Я должен оставаться единственным, кто знает, что это игра.

— Я тут уже три месяца и не поручусь, что моё лицо ещё не

раскрыто полицией.

— Пока ничего угрожающего нет, — постарался успокоить её У Вэй. — Но чем меньше знает каждый отдельный человек, тем лучше для него и для дела.

— Я боюсь за тебя больше, чем если бы ты был там, с твоими товарищами.

— Меня тут никто не знает. Никто не может донести, что я офицер, ты, Го Лин и Тан Кэ — студентки, мать — учительница. Для окружающих мы те, за кого себя выдаём...

— Когда прибудет этот товарищ из штаба? — перебила его Ма.

— Мне кажется, сегодня.

— Сегодня?! Как странно...

— Что странно?

— Нет, ничего... это я так.

— Ты... побледнела.

— От духоты, — она провела по

лицу платком.

Он ласково сжал её пальцы.

— Чем тяжелей тебе сейчас, тем

выше ты поднимешь потом голову...

Цзинь Фын потеряла счёт поворотам. Несколько раз ей чудился свет выхода, и она из последних сил бросалась вперёд. Но никакого света впереди не оказывалось. Только новое разветвление или снова глухая шершавая стена земли. И все такая же чёрная тишина подземелья.

Какой смысл метаться без надежды найти выход?.. Один раз ей пришла такая мысль. Но только один раз. Она прогнала её, подумав о том, как поступил бы на её месте взрослый партизан. Позволил бы он себе потерять надежду, пока сохранилась хоть капля силы? Сандалии девочки были давно изорваны, потому что она то и дело натыкалась на острые камни, подошвы оторвались, — она шла почти босиком. Кожа на руках была стёрта до крови постоянным ощупыванием шершавых стен...

По звуку шагов, делавшемуся все более глухим, она своим опытным ухом различила, что уже недалеко до

стены. И тут ей вдруг почудился звук... Звук под землёй?.. Это было так неожиданно, что она не верила себе. И тем не менее это было так: кто-то шевелился там, впереди, в чёрном провале подземелья.

— Кто здесь? — спросила она, невольно понизив голос до шопота.

Никто не отозвался. Но это не могло её обмануть.

— Кто тут?

И на этот раз таким же осторожным шопотом ей ответили:

— Мы.

«Мы!» Человек был не один! Значит, отсюда есть выход!

У Цзинь Фын закружилась голова, она схватилась за выступ

стены, сделала ещё несколько неверных шагов и, почувствовав рядом с собою тепло человеческого дыхания, остановилась. Она больше не могла сопротивляться непреодолимому желанию опуститься на землю. Она села, и ей захотелось заплакать, хотя она ни разу не плакала с тех пор, как пришла к партизанам. Даже когда убили Чэн Го... Но сейчас... сейчас ей очень хотелось заплакать. И всё-таки она не заплакала: ведь «Красные кроты» не плакали никогда. А может быть, она не заплакала и потому, что, опустившись на землю рядом с кем-то, кого не видела, она тотчас уснула.

Ей показалось, что она едва успела закрыть глаза, как веки её опять разомкнулись, но, словно в чудесной сказке, вокруг неё уже не было промозглой темноты подземелья. Блеск далёких, но ярких звёзд над головой сказал ей о том, что она на поверхности.

Свет звёзд был слаб, но привыкшим к темноте глазам Цзинь Фын его было достаточно, чтобы рассмотреть вокруг себя молчаливые фигуры сидевших на корточках детей. Они сидели молча, неподвижно. Вглядевшись в склонившееся к ней лицо мальчика, Цзинь Фын узнала Чунь Си.

Мэй сидела на веранде в кресле-качалке, и в руке её дымилась почти догоревшая сигарета, о которой она, видимо, вспомнила лишь тогда, когда жар коснулся пальцев. Она отбросила окурок, но уже через минуту новая сигарета дымилась в её руке, и снова, как прежде, Мэй, забыв о ней, не прикасалась к ней губами. Сейчас, когда никто за нею не наблюдал, Мэй уже не казалась молодой и сильной. Горькая складка легла вокруг рта, и в глазах, лучившихся недавно неистощимой энергией, была только усталость.

Мэй задумчиво смотрела в сад. Но как только на дорожке показалась Ма, рука Мэй, державшая сигарету,

сама потянулась ко рту, складка вокруг рта исчезла, глаза сощурились в улыбке.

Когда Ма, подходя к веранде, увидела Аду, её лицо тоже претерпело превращение: на нём не осталось и следа недавней задумчивости. Но вместо приветливой улыбки, озарившей лицо Мэй, Ма глядела строго, даже сумрачно. Она молча опустилась в кресло рядом с Мэй.

Сумеречная полутьма быстро заполняла веранду, и женщинам становилось уже трудно следить за выражением лиц друг друга.

После долгого томительного молчания Мэй неожиданно

спросила:

— Зачем мы ведём эту двойную жизнь?

Отточенные ногти Ма впились в ладони.

— Двойную жизнь? — она это не проговорила, а пролепетала испуганно.

— Я неясно выразилась?

— Извините, я не веду двойной жизни, — при этом Ма заметила, что Мэй быстро огляделась по сторонам.

Убедившись в том, что никого поблизости нет, Мэй сказала шопотом:

— Перестаньте играть.

Ма почувствовала, как струя колкого холода сбегала в пальцы, как

ослабели колени.

Хотя полумрак скрывал лицо Ма, Мэй по её испуганному движению разгадала впечатление, какое произвели её слова. Не вставая с качалки и подавшись всем корпусом вперёд, Мэй проговорила:

— Это двойное существование не будет вечным... Светлая жизнь вернётся. Мы сумеем её завоевать. Не правда ли?

Все было так неожиданно, что Ма не могла удержаться от возгласа удивления. Она могла ждать от этой гостьи чего угодно, только не пароля уполномоченного партизанского штаба.

— Повторите... пожалуйста,

повторите, — растерянно
проговорила она.

Мэй отчётливо, слово за словом
повторила пароль и спросила:

— Вы мне верите?

— Это так неожиданно.

— Значит, вы знаете, кто я?

— Да.

— И верите мне?..

— Раз вы присланы оттуда,
значит вы наш друг.

Мэй поднялась и, решительно
шагнув к Ма, протянула руку:

— Мне поручили крепко пожать
вам руку.

— Спасибо, о, спасибо! Я так...
благодарна. — Не в силах сдержать
охватившее её волнение, Ма

отвернулась, чтобы скрыть выступившие на глазах слезы. — Простите меня, — прошептала она. — Я так истосковалась по праву смотреть людям в глаза.

— Дело, порученное вам, серьёзно... Вам предстоит взять Янь Ши-фана.

Мэй пристально вглядывалась в лицо Марии, следя за впечатлением, какое произведёт на неё это сообщение. Ма хотела сказать, что она уже знает все, все обдумала и ко всему готова, но что-то, что она не знала сама, заставило её удержаться. Она только сказала:

— Да, это очень трудно.

— Но вы не боитесь?

— Чего?

— Провала.

— Мы все готовы к этому каждый день, каждый час. Но я верю: все будет хорошо.

— Похищение палача должно удался?

— Да.

— Только обезвредив Янь Шифана, командование НОА может спасти жизнь тысячам заключённых, которых он держит в тюрьмах Тайюани. Он попытается уничтожить их и всех лучших людей города, когда войска Пын Дэ-хуая пойдут на решительный штурм. А время этого штурма приближается. Пын Дэ-хуай может начать его в любую минуту...

— Тут Мэй схватила Ма за руку и огляделась. — Ни один человек не должен знать, кто я. Слышите?

Ма не успела ничего ответить, — Мэй приложила палец к губам: в комнату входил Биб. Ма поспешно вышла.

— Вы осмотрели окрестности? — спросила Биба Мэй. — Необходимо помнить: на нас лежит ответственность за жизнь таких людей, как генералы Баркли и Янь Ши-фан.

— Как, и Баркли?.. — Бибу очень хотелось разразиться длинной тирадой, но взгляд Мэй остановил его, и он ограничился тем, что проговорил: — Лишь только

генералы переступят порог миссии, их драгоценные особы будут в безопасности. Миссия превратится в крепость. — Биб засеменил к двери и, распахнув её, крикнул: — Кароль! Эй, Кароль!

С помощью Кароля Биб продемонстрировал Мэй все средства защиты, какими располагала миссия. Из-под полосатых маркиз, таких мирных на вид, опустились стальные шторы, пулемёты оказались скрытыми под переворачивающимися креслами.

— Пусть кто-нибудь сунется сюда! — хвастливо заявил Биб. — Миссионеры были предусмотрительны.

— Да, миссия — настоящая крепость, — согласилась Мэй.

Она стояла, погруженная в задумчивость.

— Вы никогда не замечали: самые интересные открытия делаются нами неожиданно, — проговорила она. — И... как бы это сказать... по интуиции.

— О, интуиция для агента все, — согласился Биб. — Мы должны с первого взгляда определять человека. Вот, например, я сразу разгадал повариху Анну.

— Опасный враг! — сказал Кароль.

Мэй не спеша закурила и, прищурившись, оглядела агентов.

— Больше вы никого не
приметили?

— А что? — Биб замер с
удивлённо открытым ртом.

— Так, ничего... —
неопределённо ответила Мэй. — Я
приготовила вам маленький
сюрприз.

— Мы сгораем от любопытства.

— Дичь слишком неожиданна и
интересна. Я покажу её вам, когда
капкан захлопнется.

— О, мисс Ада, я легко
представляю себе, как это
замечательно! Мы уже знаем, на что
вы способны, — улыбнулся Биб.

— Вот как?!

— О да, мы слышали о вашем

поединке с красной парашютисткой.

— Скоро я начну действовать, следите за мной, — продолжая неторопливо пускать дым, сказала Мэй. — Это может оказаться для вас интересным.

— Мы уже видим: высшая школа!

— Сегодня мой капкан не будет пустовать.

— И, судя по охотнику, дичь будет крупной, — угодливо улыбнулся Биб.

— Вот что, — вдруг насупившись, сказала Мэй, — я вас все же попрошу перед приездом высоких гостей проверить окрестности дачи. Сейчас же, сию

же минуту...

Оба агента нехотя вышли.

Мэй опустилась в кресло и, уперев локти в подлокотники, сцепила пальцы. Её подбородок лёг на руки. Она глубоко задумалась и долго сидела не шевелясь. Бесшумно поднялась и, неслышно ступая, вышла в кухню. От яркого света лампы, отбрасываемого сверкающим кафелем стен, она зажмурилась.

У Дэ с удивлением смотрела на неожиданную гостью.

— Здравствуйте, тётушка У Дэ, — сказала Мэй.

— Говорят, нанялись к нам, — с обычной для неё суровостью буркнула в ответ У Дэ. — Поздравить

вас не могу. Если бы сын не служил здесь, никакая нужда не загнала бы меня сюда.

— А я думала, вы верующая католичка.

— О, это очень давно прошло.

— Вы очень бледны, наверно устали, — сочувственно проговорила Мэй.

— Голова болит. Временами кажется, будто их у меня две. И сердце... вот.

У Дэ взяла руку Мэй и приложила к своей груди.

Мэй прислушалась к биению её сердца.

— У меня есть для вас лекарство, — сказала она.

— Ах, лекарства! — У Дэ отчаянно отмахнулась. — Все перепробовала.

— Я вам кое-что дам. Я сама слишком хорошо знаю, что значит больное сердце, хоть я и врач.

— В ваши-то годы — сердце?

— Разве жизнь измеряется календарём? — Мэй вздохнула. — На мою долю выпало достаточно, чтобы износить два сердца... — И вдруг, потянув носом, как ни в чём не бывало: — На ужин что-то вкусненькое?

У Дэ сочувственно покачала головой. Её проворные руки освободили угол кухонного стола; появился прибор.

— Теперь я могу вам признаться, — весело сказала Мэй, — что не ела уже два дня... Сейчас я принесу вам лекарство...

— Спасибо, но я думаю, что вылечить меня может только...

Мэй вышла. В столовой она застала Ма. Радостное выражение её лица поразило Мэй.

— У вас праздничный вид.

— Ваш приезд — большая радость.

— Чувствуете себя бодрей?

— Я чувствую себя такою сильной, что, кажется, способна...

Мэй тихонько рассмеялась:

— А янки так уверены в вас.

— Это очень хорошо.

— Вы храбрая женщина. Не боитесь, что могут дознаться?

Ма пожала плечами.

Лицо Мэй стало серьёзным.

— Слушайте внимательно... В ваших рядах опасный человек.

Ма отпрянула.

— Он может провалить всю организацию, — продолжала Мэй и увидела, как побледнела Ма.

— Назовите мне его, — с трудом проговорила китаянка. — Я найду средства...

— Анна, У Дэ...

— Нет! — Ма закрыла лицо руками. — Нет, нет, нет... этого не может быть!..

— По-вашему, я не знаю, что

говорю?

— Вы могли ошибиться...

— В данном случае лучше совершить ошибку, которую вы приписываете мне, нежели ту, которую, быть может, совершаете вы, отстаивая провокатора. А если провал произойдёт? Если из-за вашей слепоты, продиктованной личными мотивами, — вы же не станете отрицать, что в ваших соображениях больше личного, чем...

По мере того как Мэй говорила, голова Ма опускалась все ниже. Она молчала.

— Примите приказ, — сухо закончила Мэй: — убрать её.

Прошло несколько мгновений, прежде чем взгляд Ма приобрёл осмысленное выражение. Она провела рукой по лицу, и рука бессильно упала. Ма с трудом выговорила:

— Хорошо...

Но тут Мэй неожиданно сказала:

— Нет... Я сделаю это сама, —

и быстро вышла из комнаты.

Ма с трудом дотащилась до выключателя, погасила свет и долго сидела в темноте. Голова её кружилась от сбивчивых мыслей. Все было так сложно и странно... Штаб ошибается?... Нет, в их деле лучше ошибиться в эту сторону, чем из жалости пощадить подозреваемого в

измене и навлечь гибель на всех товарищей, на все дело.

Тихонько отворилась дверь, луч света упал поперёк комнаты. Ма не шевельнулась. В комнату вошла Мэй. Она на цыпочках приблизилась к телефону и после некоторого раздумья, как если бы силилась что-то вспомнить, прикрывая рот рукой, неуверенно сказала в трубку:

— Дайте коммутатор американской миссии... Дайте сто седьмой... О, это вы, капитан?! — проговорила она с видимым облегчением. — А я боялась, что перепутала все номера... Нет, нет, разумеется, все было мне дано верно. Но согласитесь, что приключение с

парашютисткой могло произвести некоторую путаницу и не в слабой женской голове... Да, все в порядке... Категорически прошу: теперь же оцепите миссию. Никто ни под каким предлогом не должен сюда проникнуть. Отмените все пропуска. Слышите: все пропуска! — Мэй оглянулась на дверь. — Подождите у аппарата. — Она положила трубку, одним прыжком оказалась у двери и быстро её отворила. Там никого не было. То же самое она проделала и с другой дверью с тем же результатом. Вернулась к телефону. — Слушаете?.. Нет, нет, это так — маленькая проверка. Нет. Мне никого не нужно.

Довольно Биба и Кароля. Просто удивительно, где вы берете таких дураков... Да, больше ничего...

Мэй повесила трубку и закурила. Долго стояла у телефона, потом неторопливо прошла в кухню.

Тётушка У Дэ приветливо улыбнулась ей.

— Вот, — сказала Мэй, — примите, — и протянула кухарке коробочку с лекарством. — Примите и лягте, вам станет легче.

Кухарка налила в стакан воды и, бросив туда таблетку, выпила, отвязала фартук и вышла из кухни. За нею последовала и Мэй. Коробочка с лекарством осталась на столе.

В миссии шли приготовления к приёму Янь Ши-фана. Убрав комнаты, освобождённые постояльцами, Тан Кэ и Го Лин спустились в столовую. Они знали, с какой придирчивостью. Ма — Мария осмотрит стол, и, чтобы избежать её раздражённых замечаний, накрывали его со всей тщательностью, на какую были способны. Но, повидимому, в данный момент хлопоты горничных не радовали и даже как будто не касались Ма. Она не входила в дом, предпочитая оставаться в парке. Когда сквозь деревья мелькал огонь освещённого окна, она втягивала голову в плечи и, как потерянная, бродила по самым дальним

дорожкам. Иногда, решившись приблизиться к дому, она заглядывала в окна и видела девушек, хлопчущих у стола, видела Мэй, Биба и Кароля, проверявших стальные ставни и оружие. Она не видела только старой У Дэ. Кухня была пуста. Ма слышала, как, обеспокоенные отсутствием кухарки, девушки хотели её позвать, но У Вэй посоветовал дать матери возможность полежать после приёма лекарства.

Слыша и видя все это, Ма не решалась переступить порог дома. Но вот она уловила нечто, что заставило её подойти вплотную к кухонной двери и, спрятавшись в

тени дома, прислушаться. Она не могла сдержать нервной дрожи и стиснула зубы, услышав, как Го Лин сказала:

— Пора будить тётю У.

Посмотрев на часы, У Вэй на этот раз ответил:

— Пожалуй.

— Хорошо ещё, что Мария, видимо, сидит у себя в комнате, а то бы давно уже подняла крик, — сказала Тан Кэ.

У Вэй вошёл в кухню, и оттуда слышался плеск воды. Потом раздался его испуганный возглас:

— Смотрите-ка, что с нашим котом? Он околел. Вокруг него рассыпаны какие-то пилюли.

У Вэй поднял несколько пилюль и стал их рассматривать.

— Мать сказала, что это лекарство, — сказал он вошедшей Го Лин, — а кошка, поев его, околела.

— Где У Дэ взяла это лекарство?

— Не знаю. — Беспокойство овладело У Вэем. — Она пошла прилечь в свою каморку.

У Вэй бросился вон из кухни и наткнулся на прислонившуюся к стене Ма. Он остановился, тяжело дыша, но тут показалась Мэй, — она молча властным движением взяла Ма за руку и увела в дом.

— Одевайтесь, сейчас приедет Янь Ши-фан, — повелительно сказала она.

Ма, двигаясь, как автомат, и, глядя перед собою пустыми глазами, пошла к двери.

Кароль и Биб, видевшие в щёлку двери всё, что происходило в кухне, с восторгом глядели теперь на Мэй.

— Мы восхищены, — проговорил Биб. — Изумительный тройной удар!

Между тем Ма, сделав несколько шагов по коридору, остановилась в нерешительности. Мысли вихрем неслись в её мозгу, когда она слышала голос Биба:

— Да, да, блестящий удар! Карты подпольщиков спутаны. Я подозревал, что задача старой китаянки заключалась именно в том,

чтобы дать знать партизанам, когда настанет наиболее благоприятный момент для нападения на Янь Ши-фана.

У ограды раздался гудок автомобиля.

Агенты переглянулись и с возгласом «Янь Ши-фан!» бросились в сад.

Мэй погасила свет и подошла к окну. Сквозь раздвинутую штору ей было видно всё, что происходит в саду.

Следом за броневым автомобилем в аллею въехал грузовик и остановился перед домом. Из броневика вместе с круглым, как шар, Янь Ши-фаном вышел человек в

форме американского генерала. Мэй поняла, что это Баркли. Генерал окинул взглядом постройки миссии и направился к церкви, стоявшей с края поляны, напротив жилого дома. По приказанию генерала У Вэй отпер церковь. Мэй видела, как кто-то осветил её внутренность карманным фонарём, задержав луч на массивных решётках, которыми были забраны окна. По знаку Баркли грузовик подъехал к церкви. С него соскочило с десятков малорослых юрких людей. Мэй не могла ошибиться: это были японцы. Они принялись за разгрузку автомобиля. По внешнему виду ящиков можно было бы подумать, что в них

упаковано вино. Но Мэй хорошо знала, что скрывается под этой невинной упаковкой: то была смертоносная продукция Кемп Детрик. Японцы бережно перенесли ящики в храм, потом замкнули церковную дверь и передали ключ Баркли. Двое японцев с автоматами на ремнях встали по углам церкви. Все фонари погасли. Фары грузовика исчезли за воротами миссии. Мэй был теперь виден освещённый луной белый куб церкви, стройная стрела колокольни и горящий голубоватым светом крест.

Мэй задвинула штору. В комнату вошли Баркли и Янь Ши-фан с повисшей на его руке Сяо Фын-ин. За

ними, кланяясь на ходу, семенил японец.

Баркли, казалось, ничуть не удивился, увидев Мэй. Он даже удовлетворённо кивнул головой и, обращаясь к ней, как к старой знакомой, сказал:

— Японский медицинский персонал, прибывший сюда для организации станции противоэпидемических прививок, нужно разместить в службах миссии. Начальник станции будет доктор Морита. Прошу позаботиться об его удобствах.

При этих словах японец ещё раз поклонился, но Мэй без всякой приветливости ответила:

— Здесь хозяйничает экономка мисс Мэри Ма. Я только врач.

— Знаю, — отрезал Баркли. — Но с этого дня за порядок здесь отвечаете вы. Вы будете представлять нас здесь, в миссии его святейшества папы. — И подчёркнуто: — Надеюсь, в остальном вы инструктированы?

— Да, сэр.

— Мы с генералом Янь пробудем здесь до утра.

— Да, сэр.

Вошла Ма.

— Я готова показать господам их комнаты.

Янь Ши-фан и Сяо вышли. За ними хотел последовать и японец, но Баркли велел ему остаться.

— Должен вам сказать, господа, — сказал генерал, — что, быть может, вам придётся начать работу несколько раньше, чем мы предполагали. Не исключена возможность нашего — моего и генерала Яня — неожиданного отлёта в ближайшие дни. Об этом вам будет дано знать даже в том случае, если прямая связь между городом и этой миссией будет перерезана красными. Вы откроете свою «станцию», не ожидая капитуляции Тайюани. Эвакуировать блокированные тут войска гоминдана всё равно не удастся. Так что нет никакой надобности оберегать их от заражения. Пусть они лучше

погибнут, чем перейдут в ряды красных. — Баркли с усмешкой взглянул на японца: — Не думаю, чтобы у доктора Морита были возражения.

Японец удовлетворённо втянул воздух.

— А у вас, мисс Ада? — спросил Баркли.

Мэй пожала плечами:

— Спасение войск господина Янь Ши-фана не является моей главной заботой.

— И прекрасно. Наилучшим решением была бы возможность уничтожения всей живой силы Чан Кай-ши, которую нельзя перевезти на Формозу. Опыт вашей станции

покажет нам, стоит ли принять такие же меры в отношении войск, отходящих к западу, в сторону Синцзяня. Сомнительно, чтобы им удалось пробиться на юг, в Тибет. А если они принесут чуму к границам Советов, большой беды, с нашей точки зрения, не будет. Одним словом, господа, действуйте, а мы вас не забудем... — Баркли заставил себя приветливо улыбнуться японцу: — Теперь вы можете, мистер Морита, осмотреть свою комнату и отдохнуть с дороги. Надеюсь, что сегодняшней вечер мы проведём вместе и, вероятно, не так плохо. Как вы думаете, мисс Ада?

— Совершенно уверена: будет о

чём вспомнить.

Как только японец ушёл, Баркли поспешно сказал Мэй:

— События развиваются совсем не так, как нам хотелось бы. Тишина на фронте — перед бурей. Пын Дэ-хуай готовит генеральный штурм Тайюани. Ни минуты не сомневаюсь: это будет последний бой — крепость падёт. Мы с Янем улетаем завтра. Послезавтра вы открываете работу станции и тоже исчезаете, предоставив действовать японцам.

— Но как же я «исчезну», если тут уже будут господствовать красные или, в лучшем случае, произойдёт ожесточённый бой?

— Я пришлю за вами самолёт.

— Сможет ли он сесть и взлететь?

— Все подготовлено.

— Меня трогает ваша заботливость, сэр.

— Все будет хорошо.

— А японцы?

— Какое вам дело до них? Если красные их и повесят, большого горя мы не испытаем. Лишь бы они успели сделать своё дело. Надеюсь, что вместе с войсками Янь Ши-фана будут уничтожены и те три японские бригады, которые мы для него сформировали. Да, так будет лучше всего. Если вы до отлёта сумеете обеспечить их заражение, я позабочусь об отдельном гонораре за

это дело.

— Что скажут на это Морита и его люди?

— Они предоставлены Макарчером в моё полное распоряжение и обязаны выполнить любой приказ. Да они и не станут церемониться с этими бригадами, коль скоро дело требует их уничтожения.

— Хватит ли препарата?

— Материала, привезённого мною, хватит, чтобы умертвить половину Китая, нужно только его умело использовать. У японцев есть опыт.

— Разве они уже проводили такие операции?

— И не один раз. Со временем, когда мы разовьём производство до нужных масштабов, бактериологическое оружие станет основным в войне, какую мы будем вести.

— С Формозы?

— Найдётся достаточно общих границ: Корея, Индия, Вьетнам...

— Вы намерены уничтожать своих собственных покупателей?

— Что делать! — сокрушённо проговорил Баркли. — Если мы не хотим потерять всю Азию, нужно временно пожертвовать частью. И лучше временно, чем навсегда. Пройдёт время, эпидемия в Китае будет ликвидирована. Подрастут

новые покупатели, которые будут помнить, к чему привела их родителей строптивость.

Баркли ещё некоторое время развивал эту мысль, потом передал Мэй ключ от церкви:

— Думаю, что теперь вы самая могущественная женщина в мире: в этой руке жизнь многих миллионов людей.

— Да, — в раздумье произнесла Мэй, — страшная ответственность... Самая большая, какая когда-либо выпадала на мою долю... Вы не боитесь возложить её на меня?

— Лишь бы не боялись вы.

— Я-то в себе уверена.

— Думаю, что ещё укреплю эту

уверенность, сообщив, что на ваш счёт в Нью-Йорке уже внесено обусловленное вознаграждение.

— О, это далеко не последнее дело, — с усмешкой сказала Мэй и взглянула на часы. — Пожалуй, пора переодеваться к ужину.

Цзинь Фын успела только подойти к окраине, когда раздался сигнал полицейского часа. После этого сигнала никого из города и в город без специального пропуска не пускали. Патруль стоял у того места разрушенной стены, где раньше были ворота, и проверял пропуска. Справа и слева от пролома в стене поле было огорожено несколькими рядами колючей проволоки. Девочка в отчаянии остановилась: она опоздала в миссию!

Обдав Цзинь Фын пылью, по направлению к воротам промчался военный грузовик. В отчаянии она

взмахнула рукой и закричала.

Она была уверена, что шофёр не слышит. А если случайно и услышал бы, то ни за что бы не остановился. Но, к её удивлению, грузовик закрипел тормозами. Из кабинки высунулся солдат. Когда Цзинь Фын, запыхавшись, подбежала к грузовику, шофёр сердито крикнул:

— Что случилось?

Цзинь Фын и сама не знала, что умеет так жалобно просить, как она просила солдата взять её с собой. Она с трепетом вглядывалась в лицо шофёра, и все её существо замирало в ожидании того, что он ответит. От нескольких слов, которые произнесёт этот солдат, зависела её

судьба. Нет, не её, а судьба товарищей в миссии, судьба порученного ей важного задания. Девочка видела, как губы шофёра растянулись в улыбку и вместо окрика, которого она ожидала, произнесли:

— Садись. Ты не так велика, чтобы перегрузить мою машину.

Не помня себя от радости, девочка залезла в кузов и в изнеможении опустилась на наваленную там солому. Несколько придя в себя, она разгребла солому и зарылась в неё. Ей стало душно, в лицо пахнуло терпкой прелью, жёсткие стебли больно кололи лицо. Но зато теперь-то Цзинь Фын была

уверена, что жандармы у переезда её не заметят. И едва эта успокоенность коснулась её сознания, как сон накатился на неё тёмной, необозримой стеной.

Она очнулась оттого, что грузовик остановился. Сквозь скрывавшую Цзинь Фын солому было слышно, как шофёр пытался уверить жандармов, что они не имеют права его задерживать, так как он едет по военной надобности. Он ссылался на пропуск, выданный комендатурой, и грозил жандармам всякими карами, ежели они его не пропустят. Но караул наполовину состоял из японцев; они заявили, что на сегодняшний вечер, именно на

этой заставе, отменены все пропуска. По этому шоссе никого не велено пропускать. А если шофёр будет ещё разговаривать, то они его арестуют, и пусть он сам тогда объясняется с начальством. Цзинь Фын почувствовала, как грузовик повернул и покатил обратно к городу. Она вылезла из-под соломы и постучала в оконце кабины. Шофёр оглянулся.

— Что тебе?

— Остановитесь, пожалуйста. Я вылезу.

— Что?

— Мне надо туда, — и она махнула в сторону переезда.

— Тебя не пустят.

— Мне надо.

— Живёшь там?

— Живу, — солгала девочка.

— Все равно не пустят. Завтра пойдёшь. А сейчас положу тебя спать. Не так уж ты велика, чтобы места нехватило.

— Благодарю вас, но мне очень надо туда, — сказала она, вылезая из кузова.

Ещё несколько мгновений она постояла в нерешительности и пошла на юг. Но только на этот раз она шла не к разрушенным воротам, где стоял караул, а в обход, к развалинам стены.

— Проволока там, не перелезешь! — крикнул ей шофёр, но

она не ответила и продолжала итти.

— Постой! — шофёр нагнал её и крепко схватил за плечо. Она хотела вырваться, но он держал её. — Ты и вправду хочешь туда итти?

Она подумала и сказала:

— У меня мать там.

— Через проволоку не пролезешь. А вот что... — он поколебался. — Тебя одну они, может быть, и пустят вот с этим, — и он сунул ей в руку деньги. Её первым движением было вернуть их. Она не знала, кто этот человек. Раз он служит у врагов, значит он дурной человек. Попросту говоря, изменник. И деньги у него, значит, нехорошие. Нельзя их брать. Но тут же подумала,

что эти деньги — единственный шанс миновать заставу, добраться до миссии и выполнить задание. Она взяла деньги.

— Спасибо...

Душа в ней пела от радости, что задание будет выполнено. Если она ещё не опоздала, товарищи в миссии не попадутся на уловку провокаторши, может быть даже схватят её и отомстят ей за убийство парашютистки.

Цзинь Фын забыла об усталости, о голоде. Забыла даже о том, что теперь уже нет надежды помочь больному доктору Ли. Все заслонила радость исполненного долга. Она побежала к воротам.

— Эй ты! — крикнул жандарм и толкнул её прикладом в плечо. — Может быть, и у тебя тоже есть специальный пропуск?

— Будьте так добры, возьмите его, — уверенно ответила девочка и протянула ему деньги.

Жандарм схватил бумажки и стал их пересчитывать в свете карманного фонарика, а девочка успела уже перебежать за насыпь из мешков, когда дверь караулки внезапно отворилась и упавшая оттуда полоса яркого света залила жандарма с деньгами в руке и девочку.

В дверях караулки стоял японский офицер. Вероятно, он с

первого взгляда понял, что произошло, так как тут же крикнул солдату:

— Эй-эй, давай-ка сюда!

Оглянувшись, Цзинь Фын ещё видела, как солдат взял под козырёк и протянул деньги офицеру. Но она не стала ждать, что будет дальше, и пустилась во весь дух по дороге прочь от города.

Она уже не видела, как японец одним взглядом сосчитал добычу, как было уже сунул её в карман и как при этом взгляд его упал на что-то блеснувшее на земле. Офицер поспешно нагнулся и поднял фонарик, обронённый девочкой.

— Если эта девчонка не будет

задержана, вас всех расстреляют! — крикнул японец сбежавшимся жандармам.

Тотчас ослепительный свет прожектора лёг вдоль дороги. Цзинь Фын бросилась в канаву и окунулась в воду так, что снаружи осталось только лицо.

Сверкающий белый луч ослепил её на мгновение и пронёсся дальше. Девочка выпрямилась и села в канаве, так как чувствовала, что ещё мгновение — и она упадёт в воду и захлебнётся. И вдруг, прежде чем она успела опять окунуться в воду, луч прожектора ударил ей в лицо. Девочка вскочила и бросилась в поле. Трава хлестала её по глазам.

Она проваливалась в ямы, в канавы, поднималась на корточки, ползла, бежала. Снова падала и снова бежала. В ней жила уверенность, что жандармы за нею не угонятся. Она успеет скрыться вон в тех кустах, что тёмным пятном выделяются на бугре. За кустами овраг, а там снова густой кустарник. Только бы добраться до кустов на бугре! Девочка бежала на эту тёмную полосу кустов и не видела ничего, кроме этого спасительного пятна.

А жандармы и не думали её преследовать. Справа и слева от девочки землю взрыли пули. А вот захлопал и автомат японца, отрезая струёю свинца путь к кустарнику.

Цзинь Фын продолжала бежать. Падала, вскакивала и снова бежала. До тех пор, пока толчок в плечо, такой сильный и жаркий, словно кто-то ударил раскалённой кувалдой, не швырнул её головой вперёд. По инерции она перевернулась раз или два и затихла. Несколько пульцокнули в землю справа и слева, и стрельба прекратилась. К девочке бежали жандармы. А японский офицер стоял на шоссе с автоматом наготове.

Цзинь Фын пришла в себя и проползла ещё несколько шагов, но силы оставили её, и она опять упала головой вперёд, ударилась лицом о землю и больше не шевелилась.

Жандармы добежали до неё. Один взял её за ноги, другой — подмышки. Японец посветил фонарём. В ярком свете белело её бескровное лицо и смешно торчала вбок потемневшая от воды красная бумажка, которой были обмотаны косички.

Когда Цзинь Фын положили на пол караулки, японец нагнулся к ней и, увидев, что она открыла глаза, с размаху ударил её по лицу. Но она не почувствовала этого удара, другая, более страшная боль растекалась в ней от раненого плеча. Сквозь багровое пламя, заполнившее её мозг, она не видела японца. Вместо японца перед нею стояло лицо её командира — бледное, суровое и

ласковое. Такое, каким она видела его всегда.

В комнате становилось душно. Прохлада ночи, заполнявшая сад, не проникала в окна, заслонённые стальными шторами.

Ма, как окаменелая, сидела с застывшим бледным лицом. На ней было нарядное платье, причёска была сделана с обычной китайской тщательностью, ногти судорожно сцепленных пальцев безукоризненно отполированы. Ничто в её внешности не позволило бы догадаться о сцене, происходившей час тому назад в кухне.

Стеллы — Сяо Фын-ин — в

комнате не было. Приехав, она сразу вызвала У Вэя, приказала ему отнести её вещи в комнаты, приготовленные для гостей, и последовала за ним наверх. С тех пор её никто не видел.

Скоро в столовой, казалось, уже не осталось кислорода.

— Я думаю, — сказал Баркли, — нам лучше перейти в сад.

Биб смешался. Он не решался сказать, что страх не позволяет агентам даже на дюйм приподнять стальные шторы, а не то чтобы ночью высунуть нос из дома. Вместо него ответила Мэй:

— Ответственность за вашу жизнь, сэр, лежит на мне, и

ничто, — она любезно улыбнулась Баркли: — даже ваше приказание, не заставит меня отворить хотя бы одну дверь раньше завтрашнего утра.

— Но... — Баркли провёл пальцем за воротом, — я задыхаюсь...

— Пройдёмте в библиотеку, там не так жарко, — сказала Мэй и посмотрела в сторону окаменевшей Ма: — А наша милая хозяйка тем временем распорядится приготовлениями к ужину.

Не ожидая согласия Баркли, Мэй направилась к двери. За нею двинулись все, кроме Ма, даже не поднявшей глаз.

Оставшись одна, она

продолжала сохранять неподвижность. Мучительные мысли раздирали её мозг: как ловко обманула её провокаторша Ада! После того, что Ма слышала у двери, она может с уверенностью сказать: убив Анну, Ада убила верного товарища. Трудная игра, которую Ма вела столько времени по заданию штаба, требовавшего самой строгой конспирации и беспрекословного подчинения, привела её в ловушку. Виновата ли она в этом? Был ли у неё другой выход? Ведь если бы она на иоту хуже играла роль предательницы, то ей не поверили бы враги. Она играла честно, как могла. Ошибка совершена в

последний момент. Но разве Ма могла знать, что враги овладели паролем уполномоченного партизанского штаба? Или и самое сообщение об этом пароле, принесённое девочкой, было подстроено полицией? Значит, полиция знала и об истинной роли Ма? Почему же её ещё не схватили? Чего они ждут?

Ма подняла голову и обвела взглядом двери, окна: ни одной лазейки. Достаточно ей на один дюйм поднять любую из стальных штор, как тревожные звонки по всему дому дадут знать агентам об её попытке. Так что же остаётся, что остаётся?..

Ма стиснула руки так, что хрустнули пальцы. Можно же так распуститься! Как будто не ясно, что нужно делать. Раз провалилось её так бережно хранившееся инкогнито, если нельзя больше рассчитывать пленить палача Янь Ши-фана, нужно его убить. Его, и Баркли, и Аду. А тогда... тогда пусть кончают и с нею самой. Ма провела рукой по лицу. Так, именно так она и поступит!..

Окончательно сбросив оцепенение, Ма нажала кнопку звонка и, не глядя на вошедшую Тан Кэ, строго сказала:

— Подавайте закуски.

Ма поднялась к себе, вынула из туалета маленький пистолет и

положила его в сумочку. Когда она вернулась в столовую, стол был готов. Она окинула его привычным взглядом, сделала несколько исправлений в сервировке и отпустила горничных. Вдруг она услышала в отворённую дверь шаркающие шаги Баркли. Это было для неё так неожиданно, что когда она действительно увидела входящего генерала, пальцы её судорожно сжали сумочку, словно он мог сквозь замшу увидеть лежавшее там оружие.

— На нашу долю не так часто выпадает удовольствие провести спокойный вечер... — с этими словами американец без стеснения оглядел китаянку с ног до головы.

Он говорил что-то пошлое, но сознание Ма не воспринимало его слов. Её мозг был целиком занят одним неожиданным открытием: он не знает! Значит, Ада ещё не сказала ему, что Ма — Мария — подпольщица-партизанка! А может быть, это только новая ловушка? Может быть, этот гнусный американец играет с нею, как кошка... Впрочем... не все ли равно? Зачем бы он ни явился сюда, он здесь, перед нею, не ожидающий того, что за спиною она открывает сумочку, опускает в неё руку, нащупывает прохладную сталь пистолета, охватывает пальцами его рукоятку, отводит кнопку

предохранителя, медленно, осторожно вынимает оружие из сумочки...

Вдруг крик испуга вырвался у Ма: запястье её правой руки, держащей пистолет, было до боли сжато чьими-то сильными пальцами... Любезно улыбаясь, за спиною Ма стояла Мэй.

— Что случилось? — удивлённо спросил ничего не заметивший Баркли.

— Я уже говорила вам, — с усмешкой ответила Мэй: — у нашей милой хозяйки нервы не в порядке.

— В таком райском уголке, как эта миссия, можно иметь расстроенные нервы? — Баркли

рассмеялся. — Теперь я вижу, мисс Мария, вам нужен отдых. И могу вас уверить: хотите вы или нет, вам придётся им воспользоваться. — Он обернулся к Мэй: — Поручаю её вашему попечению. Надеюсь, вы найдёте такое надёжное место, где наш верный друг сестра Мария сможет отдохнуть.

— В этом вы можете быть уверены, — сказала Мэй.

«Вот и все, — подумала Ма. — Вот и все».

А Мэй спокойно спросила:

— Пятнадцати минут вам достаточно, сэр, чтобы переодеться к ужину? — Не ожидая ответа, отворила дверь кухни, жестом

пригласив в неё Ма.

Ма послушно вышла и повязалась фартуком. Кушанья стояли в том виде, как их, уходя к себе, оставила У Дэ. Действуя машинально, словно не сознание, а какая-то посторонняя сила управляла её руками, Ма принялась за работу. Она не слышала, как за её спиною затворилась дверь, как Мэй и Баркли вышли из столовой.

Через несколько минут в комнате задребезжал телефонный звонок. Снова и снова. Ма не слышала его. На звонки в столовую вошёл Биб:

— Алло... Да, слушаю... Это я, Биб, сэр.

Краска сбегала с лица Биба по мере того, как он слушал. Потом выражение растерянности сменилось у него маской испуга, рот полуоткрылся и растерянно растопырились толстые пальцы свободной руки.

Никто не мог слышать того, что слышал агент:

«...Почему вы молчите, вы, идиот? Повторяю вам: настоящая Ада перехвачена красной парашютисткой, спустившейся в окрестностях нашего города. В трупе, найденном в овраге, опознали Аду».

— Но позвольте, сэр, — решился прошептать Биб, — эта особа явилась сюда от вас...

«Боже мой, какой вы кретин! — кричала мембрана. — Это диверсантка, её нужно схватить, немедленно схватить! Что же вы молчите?.. О боже, вы сведёте меня с ума!.. Эй вы, сейчас же арестуйте её!.. Я выезжаю сам... Не дайте ей уйти!»

Биб, не дослушав, опрометью бросился к механизму, приводившему в действие стальные шторы дверей, так как услышал тревожный звонок, говоривший о том, что кто-то пытается поднять этот щит. И действительно, вбежав в холл, Биб увидел, как двое скользнули в щель между полом и щитом. Один из них был У Вэй —

это Биб хорошо видел, вторая была женщина. Биб не разобрал, кто она, только с уверенностью мог сказать: это не «Ада». Все остальное, по сравнению со страхом упустить диверсантку, казалось ему таким малозначащим, что он не стал раздумывать над этим случаем и поспешил повернуть рукоять механизма. Стальные щиты со стуком стали на места.

Дверь порывисто распахнулась, и вошла оживлённая, улыбающаяся Мэй:

— Ну, как ужин? — Тут она заметила Биба. Его вид поразил её. — Вам нехорошо?..

— ...О, напротив... —

попытался он ответить как можно твёрже, но это ему плохо удалось.

— Сегодня вечер сюрпризов, — сказала Мэй. — Сейчас произойдёт нечто...

— О да, — перебил он её. — Сейчас произойдёт нечто. Я поднесу вам такой сюрприз, какого вы не ожидаете.

— Вот как? У вас для меня тоже кое-что есть?

— Кое-что!..

Биб лихорадочно обдумывал, что следует сделать. Без участия Кароля он не решался приступить к делу. Разве мог он один арестовать эту страшную женщину?

Агент незаметно пятился. Ему

оставалось до двери всего несколько шагов, когда в комнату вошла Ма.

— Ужин го... — при виде лица Биба слова замерли у неё на губах.

Он встретил её торопливым вопросом:

— У вас есть оружие?

Это удивило её не больше, чем если бы он просто предложил ей поднять руки. Она покорно ответила:

— Нет.

Но то, что произошло дальше, перевернуло все её представление о происходящем. Биб шагнул к ней и протянул ей пистолет.

— Вот... Держите её под дулом пистолета, — он указал на Мэй, — не спускайте с неё глаз, при первом

движении стреляйте. Стреляйте без колебаний!

Удивление помешало Ма что-нибудь ответить.

— Я сейчас же вернусь, — бросил Биб и исчез за дверью.

Ма понимала одно: под дулом её пистолета стоит провокатор; Биб, как и Баркли, ещё ничего не знает о ней самой, о Марии — Ма. Если она убьёт сейчас Аду, то никто ничего и не узнает...

Если бы не необычайное спокойствие Мэй и прямой взгляд, устремлённый на Ма, та, наверно, спустила бы курок. Но выдержка Мэй сбила Ма с толку...

В комнату вбежали горничные.

Не громко, но так, что все могли отчётливо слышать, Мэй сказала:

— Светлая жизнь вернётся. Мы сумеем её завоевать. Не правда ли?

Она улыбнулась при виде растерянности, которую не в силах были скрыть девушки.

— Не верьте ей, она агент врагов! — крикнула Ма.

— Если бы это было так, вы уже были бы в наручниках, — невозмутимо сказала Мэй.

А Ма истерически кричала:

— Это она убила Анну! Она сказала, что Анна предательница.

— Я в ваших руках, вы всегда успеете меня убить, — все так же спокойно проговорила Мэй. — А

пока я скажу: это был суровый экзамен для товарища Ма Нью. У нас появилось подозрение, что из маскировки под предательницу её деятельность перешла в настоящее предательство. Давая ей задание убить «провокаторшу», я хотела знать правду: если Ма Нью наш человек, она согласится убить Анну; если же она не захочет выполнить приказ, значит она...

— Вы могли! — воскликнула Ма.

— Эта работа требует жестокой проверки.

— И всё-таки вы её убили! — крикнула Ма.

Прежде чем Мэй успела

ответить, дверь отворилась — в ней стояла У Дэ. У неё был заспанный вид. Не понимая, что происходит, она в беспокойстве спросила:

— Опоздала с ужином? — Заметив Мэй, улыбнулась: — Спасибо за лекарство; головная боль совсем прошла.

— Оставайтесь здесь! — приказала Мэй девушкам. — С минуту на минуту должны спуститься эти дураки Биб и Кароль, и, может быть, с ними сойдут «высокие гости» — наши пленники. Ваша задача — не дать им поднять шум. На каждую из вас по агенту — это вам по силам. Нам с У Дэ остаются генералы. «Гости» должны

быть взяты живыми, а с теми можете не церемониться.

У Дэ молча готовила верёвку.

Между тем в комнате наверху Баркли с недоверием слушал сообщение запыхавшегося, бледного Биба.

— Давайте сюда второго идиота! — приказал он.

Биб опрометью бросился прочь и через минуту вернулся с Каролем. Тогда Баркли направился к комнате Янь Ши-фана, без предупреждения толкнул дверь ногою и тут же убедился, что комната пуста.

— Он, наверно, у этой маленькой китайнки Стеллы, сэр! —

крикнул Кароль и толкнул было дверь в комнату Сяо Фын-ин. Но эта дверь оказалась запертой. Агенты забарабанили в неё кулаками. За нею царило молчание.

— Вышибайте! — приказал Баркли.

Агенты навалились на дверь и через минуту все трое были в комнате. Перед ними, развалясь в кресле, сидел Янь Ши-фан. Казалось, шум не нарушил безмятежного сна китайца: веки его оставались опущёнными, руки спокойно лежали на подлокотниках. Баркли потряс его за плечо, и голова китайца безжизненно свалилась на плечо.

— Где эта тварь? — в бешенстве заорал Баркли на агентов. — Я вас спрашиваю: где Стелла?

Отвесив пощёчину растерянному мигающему Бибу, Баркли бросился к лестнице и, прыгая сразу через три ступеньки, сбежал в столовую. Прямо напротив него спокойно стояла Мэй.

— Взять! — крикнул Баркли.

Биб растеряннo топтался. Кароль, широко растопылив руки, двинулся к Мэй. Мэй не стала ждать, пока он обойдёт стол, и крикнула:

— Товарищи, ко мне!

Девушки вбежали с пистолетами наготове и сразу направили их на агентов. Те покорно подняли руки и

замерли там, где были. Баркли же ответил выстрелом в Мэй. Бросившаяся вперёд Го Лин прикрыла её своим телом и упала, раненная в грудь. В следующее мгновение метко пущенная рукою Мэй тарелка угодила Баркли в голову. Он выронил оружие и через минуту лежал связанный. Агенты, стоявшие теперь под дулами двух пистолетов, наведённых на них одною Тан Кэ, не делали попыток прийти ему на помощь. Так же безропотно они дали себя связать.

Только бы не заплакать, только бы не заплакать! Больше Цзинь Фын не думала ни о чём. Ни на что другое в сознании уже и не оставалось места. Когда офицер ударил её по первому пальцу, все клетки её маленького существа настолько переполнились болью, что казалось, ничего страшнее уже не могло быть. Она закричала, но из-под её крепко сжатых век не скатилось ни слезинки. Потом ей разбили второй палец, третий, четвёртый... Японец ударял молотком спокойно, словно делал какое-то повседневное, совсем обыкновенное дело. И так же

спокойно рыжий американец наблюдал за этим делом, приготовив бумагу, чтобы записать показания девочки. Скоро её маленькие загорелые руки стали огромными и синими, как у утопленника. И все же она ничего не ответила на вопросы переводчика. Американец хотел знать, с какими поручениями партизан ходила Цзинь Фын. К кому, куда, когда? И ещё он хотел знать, где находятся в городе выходы из подземных галлерей. Но Цзинь Фын словно и не слышала его вопросов, только думала: не плакать, не плакать. Потом её били головой об стол и спиной о стену. Когда Цзинь Фын теряла сознание, её поливали

водой, втыкали ей иголку шприца с какою-то жидкостью, от которой девочка приходила в себя, пока опять не теряла сознания. И так продолжалось, пока комната, где её пытали, не залилась ярким-ярким светом и в комнату не ворвались «Красные кроты»: и командир с рукой, висящей на перевязи, и маленький начальник штаба, и высокий рябой начальник разведки, и радист. Цзинь Фын так ясно видела все морщинки на лице радиста со вьевшейся в них копотью! И все партизаны стреляли в японца и американца, и на всех них были новые ватники, а поверх ватников — крест-накрест пулемётные ленты.

Совсем как нарисовано на плакате, висевшем над её местом на кане в подzemелье штаба. Партизаны стреляли, а японец и рыжий американский офицер подняли руки и упали на колени. А когда командир «кротов» увидел Цзинь Фын, прикрученную ремнями к широкому деревянному столу, он бросился к ней и одним ударом ножа пересёк путы. И ей стало так хорошо-хорошо, как будто она сделалась лёгкой-лёгкой и понеслась куда-то. Она успела прошептать склонившемуся к ней командиру, что никого не выдала и ничего не сказала врагам. И что она не плакала, честное слово, не плакала. Ведь «Красные кроты» не

плачут никогда!..

И Цзинь Фын уснула. Последнее, что она видела: командир опустил на неё жаркое шёлковое полотнище большого-большого красного знамени, закрывшее от неё весь мир...

Мэй и У Дэ перевязали раненую Го Лин.

Из сада донёсся настойчивый гудок автомобиля, ещё и ещё. Затем послышался грохот, словно ломали ворота, и через несколько минут удары посыпались на дверь дома. Звон стекла, треск ломаемого дерева — и стальной ставень загудел от тарана.

На несколько мгновений наступила тишина, потом удары раздались с новой силой. Мэй казалась совершенно спокойной. Никто, кроме неё самой, не замечал, как вздрагивала её рука с часами, на которые она смотрела, почти не отрываясь. Вот глухой удар близкого взрыва заглушил даже грохот ударов по ставням, и Мэй оторвала взгляд от циферблата:

— Всем оставаться на местах!

Несколькими прыжками она взбежала на второй этаж и с жадностью прильнула к похожему на иллюминатор маленькому оконцу в конце коридора. Возглас неудержимой радости вырвался у неё

из груди: вся окрестность была освещена ярким пламенем, вырывавшимся из окон церкви.

Так же стремительно Мэй спустилась обратно.

— Если бы на моем месте были вы, — скороговоркой обратилась она к связанному Баркли, — то через пять минут этот дом был бы подожжён...

— Вместе с вами и с этой компанией? — язвительно спросил Баркли.

— Нет, нас тут не было бы, а вы вместе с этими двумя идиотами были бы уничтожены огнём, как последние следы задуманного вами отвратительного преступления, так

же, как та мерзость, которую вы спрятали в церкви.

— Такими дешёвыми утками меня не проведёшь, — презрительно сказал он.

— Хотите доказательств? Сейчас получите. Погасите свет! — приказала Мэй, под испуганными взглядами женщин подбежала к приводу ставней и приподняла на дюйм стальную штору одного из окон. Но этого дюйма оказалось достаточно, чтобы зарево пожара осветило всю комнату.

— К утру ваши головы будут красоваться на кольях у стены Тайюани! — в бешенстве крикнул Баркли.

Часы в столовой громко пробили двенадцать. Звон последнего удара ещё висел в воздухе, когда слышалось нечто похожее на отдалённые раскаты грозы и задрожали стены дома. Этот гром все усиливался, нарастал, волнами ударялся в стальные щиты ставней.

Все удивлённо насторожились. Мэй выпрямилась и, пересиливая шум, крикнула:

— Товарищи! Начался штурм Тайюани, который будет последним. На всем пространстве Китая, вплоть до южного берега Янцзы, больше не будет ни одного не разгромленного очага сопротивления врага... Слава

свободному Китаю, слава китайскому народу и его коммунистической партии! Да здравствует вождь китайского народа председатель Мао Цзе-дун... — Она сделала маленькую паузу, чтобы набрать воздуха. — А теперь, тётушка У Дэ, возьмите острый нож. Вы, как повариха, управитесь с ним лучше всех. — Мэй подошла к Баркли. Его расширенный ужасом взгляд метался от одного лица к другому. — Идите сюда, тётушка У, — сказала Мэй и перевернула спелёнутого верёвками генерала лицом к полу. — Режьте! — И, почувствовав, как в её руках судорожно забился Баркли, не удержалась от смеха. — Режьте

верёвки, тётушка У Дэ! Быстрее, время дорого!.. Встаньте, Баркли!.. Я к вам обращаюсь, вы... — повторила она, видя, что Баркли лежит, скованный страхом. — Встаньте, вы мне нужны в качестве носильщика...

Баркли поднялся и, задыхаясь от бессильного гнева, прохрипел:

— Вы преступница, и судить вас будут американцы...

— Возьмите раненую!.. — оборвала его Мэй. — Осторожней! Идите за мной. — Она перешла в кухню и три раза стукнула ногою в пол. В углу медленно поднялся большой квадрат пола, и полоса яркого света ворвалась снизу в тёмную кухню. В этом свете

появилось строгое лицо Сань Тин.

— Все готово? — спросила Мэй.

Сань Тин с усилием отодвинула кусок пола.

— У Дэ, Тан Кэ, Ма Нью! — командовала Мэй. — Помогите опустить раненую в подземный ход.

Ма в нерешительности остановилась.

— А У Вэй? — негромко проговорила она.

— Он сделал своё дело вместе с товарищем Сяо Фын-ин — поджёт склад чумных препаратов.

При имени Стеллы, которую подпольщики знали как изменницу, раздались возгласы удивления.

— Теперь они, надеюсь, уже

далеко, — сказала Мэй. — Быстрее, быстрее, товарищи!..

Через несколько минут люк был поставлен на место и в кухне снова воцарилась темнота. За стенами дома продолжала грохотать буря все нарастающей канонады.

Канонада была слышна и в глубоком подвале, где находился «следственный отдел» объединённой американо-гоминдановской контрразведки.

Сидевший за столом рыжий американец приложил носовой платок к расковыренному прыщу и, страдальчески сморщившись, поглядел на появившееся на полотне

крошечное пятнышко крови.

— Так вы, доктор, считаете, что девчонка не может говорить? — спросил он у стоявшего напротив стола японца в форме офицера гоминдановской армии.

— Может быть, через две-три недели... — неуверенно проговорил японец.

— Вы шутник! Через два-три дня на моем стуле будет сидеть какой-нибудь красный дьявол, если мы не заставим эту маленькую китайскую дрянь открыть нам, где находятся выходы из катакомб в город.

Японец со свистом втянул в себя воздух и молча поклонился.

Американец ничего не мог прочесть на его лице и со злостью отшвырнул недокуренную сигарету.

— Вы должны заставить её говорить!

Японец сжал кулаки у груди и виновато уставился на американца.

— Если бы вы, сэр, не применили к ней такой системы допроса, сэр. Если бы вы учли, что она ещё совсем маленькая и не может выдержать того, что выдерживает взрослый человек, сэр...

— Не учите меня, — грубо оборвал его рыжий, — я сам знаю, что может выдержать китайский партизан! Эти дьяволы живучи!

— У неё был очень истощённый организм, сэр, — оправдываясь, пробормотал японец.

— Какого же чорта вы не предупредили меня!

— Если бы вы спросили меня, я сказал бы вам, сэр, что ей можно раздробить пальцы, можно даже вывернуть руки, но то, что вы сделали с её животом, сэр... Это очень сильное средство, сэр.

— Подумаешь! — с кривой усмешкой проговорил американец. — Другим мы прикладываем к животу целые горшки углей, а эта не выдержала и одной пригоршни... Так вы категорически заявляете, что она

больше ни на что не годна?

— Если вы не дадите нам хотя бы неделю на восстановление.

Тут до слуха американца докатились, наконец, раскаты непрерывных разрывов, грохотающих над городом. Он обеспокоенно поднялся из-за стола.

— Слышите?.. Не кажется ли вам, что в нашем распоряжении остаются часы? Не время разводить тут лечебницы для партизан... Я доложу генералу, что из-за вашей непредусмотрительности девчонка не дала нам никаких показаний.

Японец покорно склонил голову и закрыл глаза, чтобы не дать американцу заметить загоревшейся в

НИХ НЕНАВИСТИ.

Американец поспешно
пристегнул пистолет.

— Я тороплюсь. Передайте от моего имени китайскому комиссару, что девчонка должна быть повешена. И не утром, когда этот увалень выпится, а сейчас же, на городском бульваре, чтобы её было хорошо видно.

Он уже взялся за ручку двери, когда японец остановил его:

— Если вы позволите, сэр, я передам от вашего имени, сэр, чтобы её повесили за ноги, сэр.

— Хотя за язык, если доставит
вам удовольствие.

— Униженно благодарю вас,

сэр. — И японец отвесил спине удаляющегося американца низкий поклон.

В этот миг над их головами послышался страшный грохот, и яркий свет ослепил японца. Он уже не видел, как отброшенный взрывом прыщавый американец раскинул руки и размазался по стене багрово-серым месивом из мяса, костей, сукна и извёстки. Это месиво даже не имело формы человека. Японец ничего этого не видел из-под сотни тонн обрушившегося кирпича, под которым исчезло его маленькое, так легко сгибавшееся в поклонах тело.

Командир отряда «Красных

кротов» не спал всю ночь. Книжка лежала развёрнутыми страницами к одеялу. Он брал её и снова клал, не читая; все ходил и ходил из угла в угол по тесному подземелью и здоровой левой рукой нервно тёр поверх повязки больную правую.

Так он ходил, когда явился начальник разведки и доложил, что церковь миссии сгорела дотла, Янь Ши-фан отравился, а в плен взят американец Баркли. Потом пришёл начальник штаба и доложил, что с земли прибыла связь. Командир велел ввести связного, и в подземелье вошла Сань Тин. Она пошатывалась от усталости и с благодарностью оперлась о руку

командира, усадившего её на кан.

Внимательно присмотревшись к командиру, словно мысленно сравнивая его внешность с полученным описанием, и проверив пароль, Сань Тин сказала:

— Генерал Пын Дэ-хуай не мог доверить этот приказ радио. Это очень важно. — И, прикрыв глаза, она, как заученный урок, проговорила: — Генерал Пын Дэ-хуай приказывает вам выйти в город. Там оборону южного вала держат две японские бригады, вы их, вероятно, знаете: те, что сформированы американцами для Янь Ши-фана. Это смертники. Поэтому взятие Южных ворот обойдётся нашим

войскам во много жизней. Ваша задача: ударить японцам в тыл и облегчить задачу наших наступающих войск.

Она замолчала. Командир думал, что приказ окончен, и сказал:
— Хорошо.

Но Сань Тин остановила его движением руки и, наморщив лоб, как если бы старалась возможно точнее передать слова Пын Дэ-хуая, продолжала:

— Между восемью и девятью вечера дивизия Да Чжу-гэ должна достичь рубежа Голубой пагоды. Это будет его исходной позицией для атаки Южных ворот. От Голубой пагоды он даст вам сигнал красными

ракетами: одна и две. — Сань Тин открыла глаза и, посмотрев на командира, отдельно повторила: — Одна и две! Это начало атаки.

— Хорошо, — ответил командир, — одна и две.

Несколько мгновений он, видимо, обдумывал приказ, но, вместо того чтобы отдать его начальнику штаба, преодолевая заметное смущение, снова обратился к Сань Тин:

— Ведь вы участвовали в операции против католической миссии?

— Да, — неохотно ответила она.

— Не видели ли вы там мою связную? Её зовут Цзинь Фын.

— Там было много девушек, —
неопределённо ответила Сань Тин.

— Совсем маленькая девочка, —
с застенчивой улыбкой пояснил
командир, — у неё в косичке красная
бумажка...

Сань Тин нахмурилась:

— Не помню...

— Да, да, конечно, — виновато
проговорил командир, — об этом,
конечно, потом...

Он стал отдавать приказания,
необходимые для вывода отряда в
город, а когда обернулся к Сань Тин,
то увидел, что она спит,
привалившись спиной к холодной
стене подземелья. Ему показалось,
что лицом она напоминает его

маленькую связную. Только волосы её не были заплетены в косичку, а коротко острижены, как у мальчика, и на ногах были такие изорванные сандалии, каких он никогда не допустил бы у себя в отряде. Собственно говоря, это даже не были уже сандалии, а одни тесёмочки без подошв, перепачканные кровью израненных ног...

Это было 22 апреля 1949 года. Командир очень хорошо запомнил дату, потому что в этот день он вывел своих «кротов» на поверхность земли, освещённую лучами солнца. Ему это солнце казалось вовсе не заходящим, а поднимающимся над горизонтом. Из-за окружающих гор к

небу устремлялись уже последние потоки света, а ему все чудилось, что это заря великой победы, восходящая над Китаем. Хотя и находясь под землёй, командир вовсе не был оторван от жизни своей страны и знал о великих подвигах народа на фронтах освободительной войны; эти подвиги никогда не казались ему такими сверкающе прекрасными, какою предстала победа сегодняшнего дня, ещё не одержанная, но несомненная. Сегодня «кротам» предстоял открытый бой наравне с регулярными частями войск Пын Дэ-хуая. И командиру казалось особенной удачей то, что нужно

было драться с ненавистными японцами — наёмниками не менее ненавистных американцев.

Все ликовало в душе командира, когда он шёл подземными галлереями во главе своего отряда. Настроение его было настолько приподнято, что он, обычно тщательно взвешивавший каждое слово начальника разведки, теперь не очень внимательно слушал шагавшего рядом с ним высокого худого шаньсийца. А тот, как нарочно, именно сегодня, впервые за долгое знакомство с командиром, оказался необычайно разговорчивым. Когда он говорил, даже нечто похожее на улыбку пробегало по его

тёмному, обычно такому хмурому
рябому лицу.

— Ровно десять лет тому
назад, — говорил шаньсиец, —
неподалёку отсюда, в моей родной
Шаньси, я вот так же шёл в полной
темноте впереди отряда, которым
командовал товарищ Фу Би-чен. Это
было моё первое сражение с
японцами, и оно едва не стало и
последним. Тогда я получил пулю в
спину от своих...

Только тут командир вскинул на
рассказчика удивлённый взгляд и
мимоходом переспросил:

— Извините я не ослышался: от
своих?

— Да. Это была моя вина: я

побежал вперёд, в сторону японцев, раньше времени, и свои приняли меня за изменника...

— Зачем же вы побежали? — все так же невнимательно спросил командир.

— Должен вам признаться, что тогда я не меньше, чем о победе, думал о тех, кто остался на мельнице...

— На мельнице?

Командир споткнулся о камень в подземном ходе и успел уже забыть о своём вопросе, когда начальник разведки сказал:

— На мельнице остались моя жена и маленький цветок нашей жизни — дочь... Она умела только

лепетать: мяу-мяу.

— Маленький цветок... — повторил за ним командир. — Как вы думаете, что могло случиться с Цзинь Фын?

— Война есть война, — ответил начальник разведки и, направив свет фонаря на новое препятствие, предупредил: — Пожалуйста, не споткнитесь.

— Вы заговорили о своей девочке, и я невольно вспомнил нашу маленькую Цзинь Фын.

— Была отличная связная.

— Я не хочу вашего «была», — несколько раздражённо произнёс командир. — Я надеюсь.

— Война есть война, —

повторил начальник разведки.

— Но война не мешает же вам помнить о вашем маленьком цветке.

— О, теперь мой цветок уже совсем не такой маленький — ему одиннадцать лет.

— Вот видите: вы о нем думаете!

— Да, но только думаю. За десять лет я видел мою дочь всего один раз, когда мы проходили через Шаньин. Там она живёт и учится в школе для детей воинов... Если бы вы знали, какая она стала большая и учёная! Гораздо более учёная, чем старый мельник, её отец. — Он подумал и заключил: — Если война продлится ещё года два, она тоже

станет «дьяволёнком» и, может быть, будет связной в таком же отряде, как наш.

— Нет, война на китайской земле не продлится два года, она не продлится даже один год. Заря великой победы уже поднялась над Китаем. Враги бегут, а недалёк день, когда мы сбросим в море последнего гоминдановского изменника и последнего янки. И никогда-никогда уже не пустим их обратно.

— Да, у народа мудрые вожди, — согласился начальник разведки, — и храбрые полководцы: враг будет разбит, даже если нам придётся воевать с ним ещё десять раз, по десять лет каждый.

— Война — великое бедствие, её не должно быть больше, — возразил командир. — Наша мудрость говорит: «Гнев может опять превратиться в радость, злоба может опять превратиться в веселье, но разорённое государство не возродится, мёртвые не оживут. Поэтому просвещённый правитель очень осторожен по отношению к войне, а хороший полководец остерегается её. На этом пути сохраняешь государство в мире и армию в целости». Ваш цветок уже не будет связным в отряде, подобном нашему. Потому что не будет больше подземной войны, и никакой войны не будет. Ваш цветок будет учиться в

Пекинском университете и станет учёным человеком.

— Девушка? — с недоверием спросил начальник разведки. — Извините меня, но я этого не думаю.

— Могу вас уверить, — сказал командир. — Женщина Китая уже доказала, что ни в чём не уступает мужчине. Посмотрите, как она трудилась во время войны, ведя хозяйство ушедшего на борьбу с врагом мужчины! Посмотрите, как она с оружием в руках дралась бок о бок с мужчиной! Неужели же вы сомневаетесь, что она займёт своё место рядом с ним и после войны?

— Мужчина — это мужчина, — проговорил бывший мельник. — Я не

уверен...

Командир перебил его:

— Спросите себя: чего вы хотите для своего цветка? И вы узнаете, чего хотят для своих дочерей все китайцы.

— И вы тоже? — спросил шаньсиец.

— У меня нет больше ни жены, ни дочери, ни дома. Но я надеюсь, что Цзинь Фын заменит мне дочь, как только кончится война.

— И вы хотите, чтобы она тоже училась в Пекинском университете?

— Непременно! — уверенно проговорил командир. Он хотел сказать ещё что-то, но тут в лицо ему потянуло свежим воздухом: выход из-

под земли был близок. Командир остановился и поднял фонарь, чтобы собрать растянувшийся отряд.

В свете фонаря, который нёс начальник разведки, своды катакомб казались ещё ниже, чем были на самом деле, они давили на идущих всеми миллионами тонн земли, лежащей между подземельем и ночью озарённой непрерывными вспышками орудийных выстрелов и разрывов. Внизу не было ни выстрелов, ни грохота разрывов. Воздух там был неподвижен, холоден и сыр. Тени идущих, отбрасываемые неверным мерцанием фонаря, приводили в движение стены ходов и неровные своды; они ломались и даже как будто извивались, теряя

временами свои подлинные
очертания и заставляя идущего
впереди начальника разведки
приостанавливаться, чтобы
различить знаки, отмечающие
повороты.

Начальник разведки двигался
медленно. Не столько потому, что он
был ранен в ногу, сколько потому, что
шедший за ним приземистый боец не
мог идти быстро. Его лицо
лоснилось от пота, из-под
закатанных рукавов ватника
виднелись напряжённые жгуты
мускулов. Ему было тяжело нести
Цзинь Фын, найденную «кротами» в
подвале разгромленного ими дома
американо-гоминдановской тайной

полиции. Боец нёс девочку почти на вытянутых руках, боясь прижать к себе. Это причинило бы ей страдания. Боец изредка останавливался, чтобы перевести дыхание.

Иногда во время таких остановок боец присаживался на корточки, чтобы упереть локти в колени. Его локти дрожали мелкой-мелкой дрожью, и все же он не решался опустить ношу. Командир приказал вынести её из города подземными ходами и доставить в усадьбу католической миссии, где медицинская служба НОА уже развернула полевой госпиталь. Боец и считал, что только там он сможет

опустить искалеченную Цзинь Фын на стол перед врачами. Наверно, они поставили там такие же столы, накрытые белыми клеёнками, какой был у их собственного врача Цяо Цяо в подземелье «Красных кротов».

Пока боец отдыхал, начальник разведки строил предположения о том, что может сейчас делаться наверху. Он был ранен в то время, когда, атакованные «кротами» с тыла и с фронта, японские бригады смертников прекратили сопротивление и сдались, открыв проход у Южных ворот Тайюани. Ни начальник разведки, ни тем более простой боец не имели представления о том, что этот боевой

эпизод вовсе не был началом штурма Тайюани, а одною из последних фаз падения этой сильной крепости врага, столько времени державшейся в тылу НОА. Впрочем, не только эти двое не знали истинных размеров победы под Тайюанью, где было взято в плен около восьмидесяти тысяч гоминдановских солдат, из числа девятнадцати дивизий, составлявших гарнизон крепости. Остальные, пытавшиеся остановить победоносное наступление народа, были уничтожены...

Ни начальник разведки, ни простой боец этого ещё не знали. Они ещё только гадали о том, что, может быть, скоро Тайюань падёт и

1-я полевая армия Пын Дэ-хуая двинется дальше на запад, чтобы изгнать врага из Нинся, Ганьсу, Цинхая и Синцзяня.

Оба они не могли ещё иметь представления о том, что меньше чем через месяц после падения Тайюани падёт и главная база американских войск и флота в Китае — Циндао — и солдаты морской пехоты США покинут Китай, чтобы уже никогда-никогда в него не вернуться. Пройдёт не два года и даже не год, а всего шесть лун, и на весь мир прозвучит клич Мао Цзе-дуна:

«Да здравствует победа народно-освободительной войны и народной

революции!

Да здравствует создание
Китайской народной республики!»

И начальник разведки отряда
«Красных кротов», бывший мельник
из Шаньси, впервые ставший
солдатом в отряде Фу Би-чена, и
молодой боец, чьего имени не
сохранила история, который, как
драгоценнейшую ношу, держал на
руках маленькую связную Цзинь
Фын, услышат этот призыв вождя,
если только к ним не будут
относиться скорбные слова
председателя Мао, при произнесении
которых склонятся головы
миллионов:

«Вечная память народным

героям, павшим в народно-освободительной войне и в народной революции!...»

Но сейчас ни тот, ни другой не знали, что будет через полгода, как не знали и того, что случится завтра и даже через час.

Сделав несколько затяжек из трубки, раскуренной спутником, молодой боец поднимался и шёл дальше. Так прошли они больше четырех ли и приблизились к последнему разветвлению: направо галлерея уходила к деревне, лежащей на пути в миссию, налево, через какую-нибудь сотню шагов, были расположены пещеры, представлявшие им не менее

близкими, чем отчий дом, ибо в них они провели много-много дней среди своих боевых товарищей. Тут старый рябой шаньсиец остановился.

— До выхода, ведущего к миссии, по крайней мере, два ли, — сказал он словно про себя. — И кто может знать, свободен ли этот выход и приведут ли нас ноги в миссию, а здесь, в нашем старом штабе, есть наша верная боевая подруга, доктор Цяо Цяо, с руками лёгкими и искусными...

И тут боец, у которого мутилось в глазах от усталости и зубы которого были стиснуты от усилия не опустить ношу, перебил старого шаньсийца:

— Товарищ начальник разведки, мы, разумеется, пойдём в миссию, как велел командир отряда. Но как вы справедливо сказали: где порука, что мы туда пойдём без помехи? А мы должны быть уверены, что наша отважная маленькая связная Цзинь Фын получит помощь врача. Если с вашей стороны не последует возражения, повернемте к себе, в родное гнездо «Красных кротов». Учёный доктор Цяо Цяо, наверно, как всегда, сидит и ждёт нашего прихода, готовая подать помощь тому, кому суждено вернуться, пролив свою кровь.

— Вы сказали то, что я думал, — ответил бывший мельник.

Он ещё раз осветил фонарём хорошо знакомый знак на стене и повернул к своему штабу.

Цяо Цяо, как всегда в боевые дни, сидела, насторожившись, в белом халате и в белой косынке на голове. Эта косынка совсем сливалась с её седыми волосами, хотя Цяо Цяо было всего тридцать лет. Но последние два года, проведённые под землёй, были как двадцать лет, и чёрные волосы молодой женщины стали серебряными.

Она издали услышала отдававшиеся под сводами шаги и поспешно засветила два фонаря над

столом, покрытым белой клеёнкой.

Потревоженный непривычно ярким светом, радист зашевелился за своей земляной стеной и высунулся из-за приёмника, сдвинув с одного уха чёрную бляху наушника.

Войдя в пещеру, начальник разведки посторонился. Он уступил дорогу бойцу и поднял фонарь над головой. Жёлтый блик упал на бесформенный свёрток одеял, лежавший на дрожащих руках бойца. Руки бойца так затекли, что Цяо Цяо торопливо приняла свёрток и сама осторожно опустила его на скамью. Когда начальник разведки увидел то, что оказалось под одеялами, откинутыми Цяо Цяо, он отвернулся,

и фонарь закачался в руке этого много видавшего на своём боевом пути человека. Но шаньсиец сжал губы и снова поднял фонарь, только не мог заставить себя смотреть туда, где лежала Цзинь Фын. Он стоял, потупившись, и думал, что это очень странно: почему у него, много раз смотревшего в глаза смерти и видевшего столько крови, нехватает сил посмотреть на маленькую связную, которую командир «Красных кротов» хочет сделать учёным человеком? Бывший мельник не мог понять: почему его горло совершало такие странные, не зависящие от его воли глотающие движения и почему от этих

движений зависело, потекут или не потекут у него из глаз слезы?

Стоя спиною к Цяо Цяо, начальник разведки и не заметил, как рядом с нею очутился худой, измождённый доктор Ли, которого позавчера принесли сюда бойцы отряда.

Цяо Цяо, напуганная широко открытыми глазами Ли, сделала было порывистое движение в его сторону:

— Что с вами, уважаемый доктор?

Но Ли молча, слабым движением худой, прозрачной, как у покойника, руки велел ей вернуться к столу, на который уже переложили

раненую.

По мере того как доктор Ли смотрел на то, что прежде было связной Цзинь Фын, брови его сходились, глаза утрачивали свою обычную ласковую ясность и лицо принимало страдальческое выражение. Бледный высокий лоб прорезала глубокая морщина напряжённой мысли. Он, пошатываясь, подошёл к операционному столу и негромко, но очень твёрдым голосом сказал Цяо Цяо:

— Это вам одной не по силам.

И добавил несколько слов, которых не понял никто, кроме Цяо Цяо.

Она несколько растерянно поглядела на него, но Ли так же тихо и строго сказал:

— Прошу вас, шприц! — И пояснил: — Для меня.

Цяо Цяо послушно приготовила шприц, наполнила его какой-то жидкостью, укрепила иглу. Тем временем Ли загнул край своего рукава и подставил доктору руку с тонкой, прозрачной кожей. Цяо Цяо сделала укол. Ли опустился на скамью и, откинувшись к стене, закрыл глаза. Так сидел он, пока Цяо Цяо приготовила халат, принесла таз, воду, мыло.

В подzemелье царила глубокая тишина.

Было слышно, как перешёптываются трепещущие язычки пламени в фонарях у потолка.

— Уважаемый доктор, — сказала Цяо Цяо и осторожно тронула его за плечо.

Ли открыл глаза и несколько удивлённо обвёл ими лица начальника разведки и коренастого бойца, который принёс девочку и все ещё стоял с закатанными рукавами ватника, словно готов был снова принять драгоценную ношу.

И все увидели, что глаза Ли стали прозрачными, ясными и строгими. Лёгким движением, почти без усилия, он поднялся с кана и стал тщательно, привычным движением

хирурга, мыть руки над тазом, который держал боец.

Цяо Цяо помогла доктору Ли натянуть перчатки и полила на них раствором сулемы. Теперь Ли казался ещё более худым и очень-очень высоким, как будто вырос и стал выше всех, кто был в подземелье. Он наклонился над девочкой.

27 апреля 1949 года пресс-атташе посольства Соединённых Штатов Америки при правительстве Чан Кай-ши на специальном самолёте прибыл в резиденцию примаса римско-католической церкви в Китае Фомы Тьена и потребовал свидания с кардиналом для секретной беседы. В заключение беседы, проходившей без свидетелей в личном кабинете кардинала, пресс-атташе вручил Тьену составленный американским посольством проект его, Тьена, кардинальского послания папе. В проекте среди ложных обвинений

Народно-

освободительной армии и коммунистической партии Китая в действиях, направленных против католической церкви, её прав и её имущества в Китае, говорилось следующее:

«...Попирая все законы цивилизации, презирая права и нужды китайского народа, в богохульственном забвении святости дома христового, разбойники, именующие себя партизанами, предали огню и поруганию святой храм миссии блаженного Игнатия в мерзостном устремлении расхитить прекрасные дары американского народа, заключающиеся в медикаментах и

противоэпидемических вакцинах, доставленных благородным американским народом его брату — китайскому народу. Миссионеры-американцы, широко известные своей приверженностью делу распространения веры христовой и праведностью жизни братья Биб и Кароль, самозабвенно защищавшие от злодеев доступ в храм, были предательски схвачены и, покрытые злыми ранами, уведены в плен. Судьба их неизвестна, как и судьба мужественного и благородного паладина веры и чести генерала Баркли, который, не щадя сил своих и презирая опасности, лично доставил в миссию транспорт с

указанными прекрасными дарами Америки. Ежечасно вознося всевышнему молитвы об их спасении, я смиренно испрашиваю апостольское благословение вашего святейшества этим невинным страдальцам. Да пребудет ваше пастырское благоволение с ними вечно, и да оградит оно сих честных мужей от зла и напасти. И ещё смиренно испрашиваю вашего указания о предании проклятию с амвона отверженных разбойников и безбожных возмутителей, посягнувших на святыню господню: да ниспошлёт им судья праведный кару жесточайшую в жизни земной и муки вечные.

Одновременно смиреннейше доношу, что миссия святого Игнатия разрушена. Вера Христова перестала сиять на этом острове правды и благочестия, как перестал блистать златой крест на старом храме святого Игнатия. Потемнел в божественном гневе лик учителя нашего, как почернели стены его поруганного дома. Испрашиваю вашего соизволения на закрытие указанной миссии и на открытие новой в иных местах, находящихся под надёжной защитой праведного меча его высокопревосходительства генералиссимуса Чан Кай-ши и под десницею великого друга Китая — Соединённых Штатов Америки...»

Все это было совершенной неожиданностью для кардинала Фомы Тьена, но, ознакомившись с текстом, он заявил:

— Прошу вас, господин атташе, передать мою сердечную признательность господину послу и его штату за любезную помощь. Послание составлено прекрасно, и, разумеется, я приму его за основу своего донесения святому отцу.

При этих словах кардинал выдвинул ящик письменного стола, намереваясь положить туда проект, но американец остановил его.

— Нет, ваша эминенция, — сказал он, — попрошу вас теперь же подписать текст и вернуть его мне

для отправки по назначению.

Тьен несколько смешался:

— Позвольте... Но я хотел бы продумать некоторые выражения.

— Что ж тут думать, — бесцеремонно заявил американец, — по нашему мнению, здесь все на месте.

— Но это же должно быть переписано на бумаге с надлежащим заголовком, мне присвоенным!

— Пустяки ваша эминенция. Не стоит терять времени на такие формальности. — И настойчиво повторил: — Благоволите подписать.

— Наконец, — воскликнул Тьен, — моя канцелярия должна хотя бы снять копию.

— Вот она, — и пресс-атташе вынул из портфеля готовую копию. — Подпишите подлинник, и он будет сегодня же передан в Рим радиостанцией нашего посольства.

Тьен молча взял перо и подписал бумагу. Он с обиженным видом едва кивнул головой в ответ на прощальные слова американца и в нарушение всех правил вежливости даже не дал ему обычного благословения. Кардинал сердился на то, что ему не дали возможности стилистически отделать послание, выглядевшее гораздо суше, чем того требовал китайский эпистолярный стиль.

Крест на церкви святого Игнатия действительно перестал сиять своим золотом, действительно почернели от копоти белоснежные стены, сложенные ещё испанскими монахами, пришедшими в Китай несколько столетий тому назад; мёртвыми глазами смотрели на мир окна, опутанные переплётами чугунных решёток. Но как же это случилось?

По плану партизанской операции подпольщице Сяо Фын-ин, игравшей трудную роль секретарши Янь Ши-фана, после того как она привезёт в миссию этого чанкайшистского сатрапа, следовало тихонько выскользнуть в сад и

открыть ворота «кротам», подошедшим к ограде миссии. Но неожиданный приезд японцев вынудил У Вэя сопровождать Сяо Фын-ин, когда она под носом Биба ускользнула под бронированную дверь.

Впущенные в сад партизаны в несколько минут бесшумно сняли японских часовых у церкви, и У Вэй отомкнул её запасным ключом. Партизаны принялись выносить из церкви ящики с американским препаратом чумы и складывали их на лужайке за церковью, чтобы сжечь. Но японцы, расположившиеся в службах миссии, услышали шум, обнаружили партизан и бросились к

церкви. Завязалась перестрелка, в которой большая часть японцев была перебита; лишь одному из них удалось подползти к дверям церкви с очевидным намерением разбить ящики и тем совершить непоправимое. Однако, увидев, что добраться до ящиков ему не удастся, японец метнул в них гранату. Она не достигла ящиков, а взорвалась около бидонов со спиртом. Пламя неудержимым столбом взвилось к потолку церкви, и через несколько минут трещал в огне престол, лопались доски ящиков, вспыхивало сухое дерево скамеек. В потоках раскалённого воздуха кверху взлетали покрывала, занавеси,

облачения. Партизаны, бросившиеся было тушить пожар, разбежались, увидев, как разваливаются ящики со смертоносным американским грузом. Руководивший действиями партизан командир приказал поскорее поджечь и ту часть страшного груза, которую успели вынести из церкви до пожара.

Закончив своё дело, партизаны исчезли. С ними ушла Сяо Фын-ин. В саду остался один У Вэй. Он продолжал наблюдать за пожаром, пока на ворота не посыпались удары примчавшихся из города многочисленных гоминдановских солдат и полиции. Тогда исчез и У Вэй.

Хотя крест на церкви святого Игнатия больше и не горел золотом и сама церковь вместо белоснежной стояла словно замаскированная тёмными разводами, усадьба миссии служила прекрасным ориентиром большому самолёту, летевшему курсом на Тайюань. Сделав круг над миссией, самолёт стал снижаться с очевидным намерением найти посадку на большом поле, простиравшемся между миссией и близкими подступами к городу.

Персонал госпиталя, оборудованного в доме миссии, в беспокойстве высыпал на крыльцо: приближение большого самолёта американской системы не сулило

ничего хорошего. Вся храбрость отряда «Красных кротов», нёсшего охрану района госпиталя, едва ли могла помочь в таком деле, как воздушное нападение. Но крик общего удивления и радости огласил сад: на крыльях самолёта виднелись опознавательные знаки Народно-освободительной армии. Это был первый воздушный трофей таких больших размеров, который приходилось видеть людям НОА. Они смеялись от радости, хлопали в ладоши. Раненые, державшиеся на ногах, высыпали на крыльцо, во всех окнах появились любопытные лица. Общее возбуждение достигло предела, когда со стороны севшего

самолёта к госпиталю приблизилась группа людей, во главе которой все узнали генерала Пын Дэ-хуая.

Стоявший на костылях высокий пожилой шаньсиец с рябым лицом и с выглядывавшей из ворота хулой шеей, похожей на потемневшее от огня полено, увидев Пын Дэ-хуая, поднял руку и хриплым голосом запел:

Вставай,
Кто рабства больше не
хочет.
Великой стеной отваги
Защитим
мы
Китай.

Пробил час тревожный.
Спасём родной край.

Все вокруг него умолкли и слушали с таким вниманием, словно шаньсиец, начальник разведки «Красных кротов», пел молитву. Но вот Пын Дэ-хуай остановился и, сняв шапку, подхватил песню:

Пусть кругом нас,
Как гром,
Грохочет
Наш боевой клич.
Вставай,
вставай,
вставай!

И тогда запели все:

Нас много тысяч,
Мы — единое сердце.
Мы полны презрения к
смерти.
Вперёд,
вперёд,
вперёд,
В бой!

Когда затихло стихийно
начавшееся пение гимна, к Пын Дэ-
хуаю подошёл командир отряда
«Красных кротов» и отдал рапорт,
как полагалось по уставу Народно-

освободительной армии. Только командир не мог отдать генералу положенного приветствия, так как его правая рука все ещё висела на перевязи. Но Пын Дэ-хуай взял его левую руку и, крепко пожав, сказал:

— Соберите ваш отряд, командир.

— Смею заметить: он расположен в охране этого госпиталя, товарищ генерал.

— Отбросьте заботы, командир. Можете спокойно собрать солдат: враг разбит, ничто не угрожает нам больше со стороны Тайюани.

— Хорошо.

И командир пошёл исполнять приказание, а к Пын Дэ-хуаю

приблизился адъютант и доложил ему что-то на ухо.

— А, очень хорошо, — сказал генерал и повернулся к каштановой аллее, по которой двигалась группа женщин, предводительствуемых Мэй. В середине группы, возвышаясь над нею измятым блином генеральской фуражки, шёл Баркли.

— Я очень виновата, — потупясь, сказала Мэй Пын Дэ-хуаю. — Преступник Янь Ши-фан не может быть вам представлен — он умер.

— Как вы полагаете: отравился или отравлен?

— В том и другом случае виновата я.

— Но ведь у вас, говорят, есть другой пленник.

— Если позволите, я передам вам американского генерала Баркли.

— Это неплохая замена, — весело ответил Пын Дэ-хуай. — Один преступник вместо другого. Грузите его в самолёт.

— Позвольте мне, товарищ генерал, представить вам товарищей Ма Нью, У Дэ, Го Лин, Тан Кэ, Сяо Фын-ин и У Вэя.

— Народ сохранит память о вашем подвиге, — сказал Пын Дэ-хуай. — А теперь, товарищи, прошу вас всех в самолёт. Вы заслужили отдых, прежде чем получить новое задание, если в нём встретится

надобность. Товарищ Сань Тин будет вашим проводником в моем штабе.

Мэй задержалась около генерала.

— Командир Лао Кэ, — сказала она, — приказал мне, выполнив специальную задачу в Тайюани, вернуться в в полк.

— И я благодарю вас за прекрасное выполнение этой трудной задачи. Вы исполнили то, чего, к сожалению, не могли выполнить эти смелые женщины: сойти за своих в американской военной миссии. Для этого нужен был такой человек, как вы, побывавший за океаном. К тому же вы врач — это было очень важно,

имея в виду материал, с которым пришлось иметь дело. Мы благодарим вас, доктор Мэй Кун, за мужество и находчивость. Вы настоящая дочь Китая.

— Ваши прекрасные слова — высокая награда для меня. Разрешите мне теперь вернуться в полк?

— Раз таков был приказ Лао Кэ... — ответил Пын Дэ-хуай. — Но я бы предпочёл, чтобы вы отправились со мною: нужно доложить правительству всё, что вы тут узнали о попытке американцев применить средства бактериологической войны в нашем тылу. Мы вас не задержим — вы скоро вернётесь в родной полк.

Она улыбнулась:

— Вы очень верно сказали: полк стал мне родным. А что касается американской диверсии, то я составила о случившемся протокол, подписанный Баркли...

— О, это хорошо, — удовлетворённо воскликнул Пын Дэ-хуай.

Через несколько минут маленький женский отряд, попрежнему предводительствуемый Мэй, подошёл к самолёту.

Джойс только что вылез из-под капота, поднятого над одним из моторов, и вытирал концами испачканные маслом руки, когда взгляд его упал на приближающихся

женщин. Он узнал Мэй и крикнул лётчику:

— Алло, Чэн, смотри, кто идёт!

Лётчик выглянул из своего фонаря и несколько мгновений растерянно моргал, словно к нему приближалось привидение. Потом голова его исчезла, загремели ступеньки дюралевой стремянки, и Чэн побежал навстречу Мэй.

— Скажите же скорее: все хорошо? — не скрывая волнения, спросил он у неё.

— Хорошо, очень хорошо, — с улыбкой ответила она.

— Я не ошибся в ориентировке?

— Посадка была удивительно точной.

— И мы не опоздали?

Мэй рассмеялась:

— Можно было подумать, что вы с нею стоворились: она подъехала через несколько минут после того, как я освободилась от парашюта.

— Хорошо! — радостно воскликнул Чэн. — Очень хорошо!

А тем временем оставшийся около госпиталя Пын Дэ-хуай спросил врача:

— Как здоровье маленькой связной Цзинь Фын?

Врач обернулся к стоявшей возле него седой женщине с молодым лицом:

— Как вы думаете, доктор Цяо?

— Я очень хотела бы сказать другое, но должна доложить то, что есть: если Цзинь Фын не умерла уже несколько дней тому назад, то этим она обязана только доктору Ли Хайдэ. Жизнь теплится в ней, как крошечный язычок пламени в лампе, где давно уже не осталось масла. Огонь высасывает последние капли влаги из фитиля. — Цяо Цяо грустно покачала головой: — Быть может, там осталась уже одна единственная капля...

При этих словах две слезинки повисли на ресницах мужественной женщины, прошедшей тяжёлую боевую жизнь среди партизан.

Трудно предположить, что

генерал Пын Дэ-хуай, человек острого глаза и пристального внимания, не заметил этих слезинок, но он сделал вид, будто не видит их.

— Если вы не возражаете, я хотел бы повидать связную Цзинь Фын.

Цяо Цяо, видимо, колебалась.

— Волнение может иссушить ту последнюю каплю, за счёт которой ещё теплится жизнь, — сказала она.

Тут неожиданно выступил вернувшийся и прислушивавшийся к разговору командир полка:

— Если товарищ генерал Пын Дэ-хуай мне позволит...

Пын Дэ-хуай ответил молчаливым кивком головы, и

командир продолжал:

— Я надеялся, что скоро Цзин Фын станет мне дочерью и китайский народ поможет мне воспитать маленькую девочку большим гражданином, а университет в Пекине сделает её учёной. Но война — это война. Даже самая справедливая война требует жертв. Наш отряд понёс немало потерь во имя победы народа. Если Цзинь Фын суждено умереть, пусть она будет его последней жертвой...

— Война ещё не окончена, командир... — строго заметил Пын Дэ-хуай.

— Я хочу сказать, товарищ генерал: пусть наша связная товарищ

Цзинь Фын будет последней потерей подземного отряда «Красных кротов». Она прошла с нами тяжёлый путь войны в темноте. По кровавым следам, оставленным её маленькими ногами, мы вышли на поверхность, чтобы в дальнейших боях добиться окончательной победы над всеми врагами, какие стоят на пути к освобождению нашего великого древнего народа от гнёта всех поработителей — своих и пришлых. Я позволю себе думать, товарищ генерал Пын Дэ-хуай, если связной Цзинь Фын не дано жить, то пусть она сожжёт в фитиле своей жизни последнюю каплю. Эта вспышка будет такой яркой, такой

прекрасной, что послужит славной наградой воину Цзинь Фын за все её великие труды на службе народу, за все тяжкие страдания, принятые от рук подлых врагов. И пусть будет эта лучезарная вспышка звездой, венчающей путь воина-победителя! Пусть, родившись счастливой, она счастливой и умрёт!

Цяо Цяо молча повернулась и пошла в дом. За нею последовал было и Пын Дэ-хуай, но командир отряда несмело обратился к нему:

— Если вы позволите, товарищ генерал... нам, которые были её боевыми друзьями, хотелось бы ещё раз увидеть Цзинь Фын.

— Хорошо, — ответил Пын Дэ-

хуай.

При этих его словах дрогнул весь строй стоявшего в прямых шеренгах полка.

Госпитальный врач в испуге сказал:

— Нет, нет. Несколько человек, не больше!

Взгляд командира пробежал по лицам товарищей. Он назвал имена начальника штаба, радиста и молодого бойца, который нёс Цзинь Фын по подземному ходу. Ему он сказал:

— Возьмите знамя полка.

Боец наклонил короткое древко знамени, и оно свободно прошло в дверь дома.

Последним в дом вошёл, стуча костылями, бывший шаньсийский мельник, начальник разведки полка.

Строй полка стоял неподвижно. Солдаты молчали. Минуты были томительно долги. Всем казалось, что их прошло уже очень много, когда на ступеньках дома появились носилки. Их высоко держали командир полка, начальник штаба, радист и молодой боец. С носилок свисали края длинного полотнища знамени.

Когда носилки опустили на землю, все увидели, что мягкие складки знамени покрывают маленькое тело с головой. Оно было неподвижно. Пын Дэ-хуай снял

шапку.

— Товарищи солдаты и товарищи офицеры, ваш славный отряд становится частью регулярной армии Китая в исторические дни, когда Народно-освободительная армия совершила подвиг, беспрецедентный в нашей истории. Сломив жестокое сопротивление врага, она с боем форсировала великую Янцзы и вышла в Южный Китай; гоминдановцы и их гнусные хозяева американцы навсегда изгнаны из Нанкина, Шанхая, Ханьчжоу, Ханькоу. Армия свободы ломает все преграды, мешающие её движению на юг. Сегодня ваш героический полк мог бы, как все

другие части, получить новое красивое знамя, вышитое золотом и цветными шелками. Но я хотел бы спросить вас: нужно ли вам новое знамя, хотите ли вы переменить это старое полотнище из простой ткани, окрашенной в деревенском доме руками бедных патриотов в цвета народной победы?

Солдаты ответили:

— Нет.

— Старое знамя, — продолжал Пын Дэ-хуай, — потемневшее так же, как ваши лица в тайной подземной войне, будет теперь гордо алеть под солнцем рядом с самыми боевыми, самыми заслуженными знамёнами

Народно-

освободительной армии — детища, рождённого единством народа всей нашей страны. Это великое единство народа всей страны достигнуто на пути к победе, которую мы завершаем над подлыми гоминдановскими предателями и их пособниками — американскими империалистами. За три года боев с преступной коалицией, пытавшейся остановить развитие революции в Китае, наша Народно-освободительная армия одержала великие победы. Она сокрушила сопротивление многомиллионной армии реакционного гоминдановского правительства, получавшего огромную помощь из-за

океана, и перешла в решительное наступление. Нас теперь много миллионов воинов регулярной Народно-освободительной армии, за спиною которой стоит весь народ Китая. Наша борьба ещё не закончена, народно-освободительная война ещё не завершена — мы должны напрячь наши силы, чтобы добиться окончательной победы. Но уже сейчас мы говорим с полной уверенностью: наша нация никогда больше не будет порабощённой. Мы уже расправили спину, мы встали на ноги и никогда не опустимся на колени.

Тут весь строй, как один человек, ответил коротким

«никогда». Произнесённое почти шопотом каждым солдатом слово, как порыв ветра, пронеслось над полем. А генерал продолжал:

— Нас поддерживают все прогрессивные люди мира, нас поддерживает великий советский народ, нам помогает своей мудростью вождь угнетённых всего мира, учитель и стратег, отец и друг Сталин. Идя по пути, указанному Лениным и Сталиным, председатель Мао ведёт нас к верной и близкой победе. Мы вышли на мировую арену как нация, обладающая высокой культурой и несокрушимым могуществом. Путь, оставшийся до окончательной победы, ваш полк

пройдёт как регулярная часть Народно-освободительной армии Китая. Я поздравляю вас со включением в состав Первой полевой народно-освободительной армии, высокая радость командования которой дана мне народом...

Клики восторга покрыли его слова. Солдаты надевали шапки на штыки винтовок и размахивали ими.

По безмолвному знаку Пын Дэ-хуая командир выстроил полк, чтобы увести его с поля. От строя отделился знамёнщик с несколькими солдатами. Они приблизились к носилкам, на которых лежала Цзинь Фын. Знамёнщик осторожно взялся

за древко знамени, так что оно стало вертикально, но полотнище продолжало покрывать тело девочки. Высоко поднятые сильными руками солдат носилки двинулись вперёд. Тело девочки неслось, как бы увлекаемое облегающими его алыми складками знамени, словно было с ним одним неразделимым целым.

В медленном, торжественном марше полк двинулся мимо импровизированной трибуны из патронных ящиков, на которой стоял Пын Дэ-хуай.

Генерал снова снял шапку.

— Кровь Цзинь Фын — кровь нашего народа, — сказал он. — Эта кровь вызывает к справедливому

возмездию виновникам вековых страданий народа. Скоро под это знамя придут другие солдаты, чтобы дать вам возможность отдохнуть, вернуться к вашим семьям, к мирному труду — созидателю расцвета нашего отечества. Вы передадите им это знамя, обагрённое кровью ваших товарищей, павших смертью храбрых, и кровью вашей маленькой связной Цзинь Фын...

Солдаты шли мимо генерала, опустив винтовки штыками к земле. Далеко впереди над головами солдат алым пятном двигалось тело Цзинь Фын.

Генерал говорил:

— Славные сыны народа, герои

подземной войны! Отныне присваиваю вам право именоваться полком «Красных кротов» имени связной Цзинь Фын, которую мы с полным правом можем проводить словами нашего мудрого председателя Мао, увековечившими память другой юной героини Китая — Ли Фу-лан, такой же мужественной, такой же преданной отечеству, как ваш боевой товарищ Цзинь Фын. Пусть же боевое знамя, под сенью которого она навсегда удаляется от нас по пути вечной славы, приведёт вас к окончательной победе. Это о вас сказал Мао Чжу-си: «Народ беспощаден, и если сейчас, когда враг нации вторгся в нашу

родную землю, ты пойдёшь на борьбу с коммунизмом, то народ вытряхнет из тебя душу. Всякий, кто намерен бороться с коммунистами, должен быть готов к тому, что его сотрут в порошок». Враг ещё сопротивляется, он не хочет, чтобы из него вытряхнули душу, но народ её вытряхнет. Враг не хочет, чтобы его стёрли в порошок, но народ сотрёт его в порошок и вихрь народного гнева развеет этот порошок так, что никто и никогда не сможет его собрать до конца существования нашей планеты. Когда-то Мао Чжун-си говорил о вершинах мачт корабля — Нового Китая, показавшихся на горизонте. «Рукоплещите, — говорил

он, — приветствуйте его». Теперь этот корабль уже тут, перед нашими взорами, — вот он, наш великий гордый корабль Нового Китая, созданный вашими руками, завоёванный вашей кровью. Солнце победы взошло над Новым Китаем и никогда, никогда больше не зайдёт...

Сойдя с трибуны, Пын Дэ-хуай увидел стоящего у её подножия высокого человека на костылях. Его худая жилистая шея, такая чёрная от загара, что стала похожа на побывавшее в огне свилеватое полено, была вытянута, и рябое лицо обращено вслед последним шеренгам солдат, удалявшихся молча, с опущенными к земле штыками. При

взгляде на этого человека Пын Дэ-хуай участливо спросил:

— Извините, вам тяжело?

— Когда человеку тяжело, он плачет. Но если он не может плакать, потому что все его слезы давно истрачены, ему тяжело вдвойне, — ответил начальник разведки и грустно покачал головой: — Ещё один прекрасный цветок сбит огненным ураганом войны, но ветер победы разнесёт его семена по всей цветущей земле великого Китая. Согретые солнцем, семена эти взойдут, прекрасные, как никогда, озаряющие мир сиянием красоты и радостью жизни, навечно победившей смерть... Если

позвольте, так думаю я, простой мельник из Шаньси. Но я сын Чжун Го, и тысячелетняя мудрость предков вселяет в меня надежду, что вы не примете эти простые слова как неуместную смелость.

— Чжун Го-жэнь — человек срединного государства, — сказал Пын Дэ-хуай, — это звучит хорошо, но я хочу выразить вам живущую во мне уверенность, что недалёк день, когда мы будем носить ещё более гордое имя сынов Китайской народной республики — Чжун Хуа Жэнь Минь Гун Хэ Го. Тогда мы ещё громче и увереннее повторим сказанные вами прекрасные слова тысячелетней мудрости наших

предков и светлой надежды детей и детей наших детей на тысячу лет вперёд...

— На тысячу лет?.. — Улыбка, быть может первая за всю жизнь, озарила суровые черты рябого лица. — Позвольте мне сказать: на тысячу тысяч лет...

Часть седьмая

Опыт последней войны показал, что наибольшие жертвы в этой войне понесли германский и советский народы, что эти два народа обладают наибольшими потенциями в Европе для совершения больших акций мирового значения.

Если эти два народа проявят решимость бороться за мир с таким же напряжением своих сил, с каким они вели войну, то

*мир в Европе можно
считать обеспеченным.*

И. Сталин

Фостер Доллас давно уже был сенатором, выступал на нескольких международных конференциях и являлся постоянным представителем США в Организации Безопасности. Но он оставался также и тем, кем был многие годы до того, — адвокатом и ближайшим поверенным Джона Ванденгейма Третьего.

Тщеславие, много лет грызшее душу Фостера, было удовлетворено. Казалось, он обогнал, наконец, человека, всю жизнь бывшего для него предметом зависти и тайного поклонения, — он превзошёл Дина Ачеса! Рокфеллер не сделал Дина

сенатором! Усы Дина «а ля Вильгельм» становятся уже седыми, а он все ещё только адвокат, тогда как он, Фостер...

То, что Фостер стал крупной государственной фигурой, не мешало ему, как и прежде, почти открыто обделывать тёмные дела своей адвокатской конторы, хотя ему пришлось оставить за собой лишь общее руководство её делами, формально передав её младшему брату Аллену. Даже привыкший ко многому государственный департамент не мог согласиться на то, чтобы его представитель на всяких ассамблеях и конференциях был известен миру в качестве

биржевого дельца и руководителя секретной службы Ванденгейма. Декорум оставался декорумом, хотя в душе и сам государственный секретарь, вероятно, завидовал такому выгодному совместительству.

Многолетнее сотрудничество между Джоном Третьим и Фостером Долласом придавало их отношениям характер той своеобразной интимности, которая возникает между сообщниками. На первых порах они отдавали должное способностям друг друга и оба считали справедливым установленный принцип дележа. Но по мере того как росли масштабы операций и каждый видел, какие

огромные суммы уходят в руки сообщника, обоим начинало казаться, что они переплачивают. Чем дальше, тем меньше оставалось в отношении Ванденгейма к Долласу чего-либо иного, кроме неприязни к компаньону, который слишком много знает.

Можно с уверенностью сказать, что если бы Фостер лучше всякого другого не знал, чего следует опасаться, имея дело с потомком «чикагского пирата», то давно уже последовал бы за теми, кто его собственными усилиями был навсегда убран с дороги патрона.

Нередко, высаживаясь на берег уединённого Брайт-Айленда,

сенатор-адвокат должен был убеждать себя в том, что из-за одной боязни разоблачений Джон не станет менять старшего брата на младшего. Ведь в конце концов Аллен, при всей его ловкости, не обладает и половиной опыта Фостера. Но вместе с тем Фостер достаточно хорошо знал и жадность своего «старшего партнёра» и ничем не ограниченную подлость своего младшего брата. С того самого дня, как Аллен стал формальным главой адвокатской фирмы «Доллас и Доллас», в длинном черепе Фостера прочно поселился страх. Страх не отпускал его даже тогда, когда Аллена не было в Америке. Фостер

отлично помнил, как бывало он сам уезжал в Европу перед каким-нибудь рискованным предприятием, чтобы в случае провала быть вне досягаемости американского закона. Разве не так было в те дни, когда по его поручению Киллингер начал свою химическую войну против Рузвельта?

Правда, Киллингер давно пустил себе пулю в лоб, но где уверенность в том, что какой-нибудь его преемник, о котором Фостер даже не подозревает и который получает приказы от его младшего брата Аллена, не объявил уже бактериологической или какой-нибудь другой тайной войны самому

Фостеру? Да и нет около Фостера человека, который был бы ему так предан, как некогда Гоу был предан покойному президенту. Платный «дегустатор», которого он держит?.. Разве Фостер знает, сколько стоит его верность? Несколько лишних долларов — и... сам же этот «дегустатор» его отравит. Ведь в конце концов даже у президента не нашлось второго Гоу.

При воспоминании о покойном президенте Фостер беспокойно заёрзал на диване моторной яхты, перевозившей его на Брайт-Айленд, и исподлобья посмотрел на противоположный диван, где, так же как он сам, полулежал с газетой в

руках его младший брат. Не будь Фостер уверен в том, что едет к Ванденгейму с Алленом, он мог бы подумать, что на противоположной переборке висит большое зеркало и он видит в нём своё собственное отражение. Сходство братьев было необычайно: тот же длинный череп, те же маленькие, колючие, непрерывно движущиеся глазки, тот же жидкий рыжий пух на голове.

Можно было задать вопрос: что же мешало Фостеру выкинуть брата из игры? Ответ был прост: то же самое, что мешало Ванденгейму выкинуть Фостера иначе, как только навсегда лишив его возможности говорить, то-есть физически

уничтожив. В прошлом Аллен Доллас был для Фостера таким же исполнителем его планов, каким сам Фостер был для Джона Третьего.

Стоило маленьким глазкам Фостера, несмотря на годы сохранившим не только суетливую подвижность, но и отличную зоркость, остановиться на лице Аллена, как ему почудилось в чертах брата что-то такое, что Фостер готов был истолковать как плохо скрываемое злорадство. Чем это злорадство могло быть вызвано? Каким-нибудь гнусным подвохом в делах или удачно придуманным способом отправить его к праотцам?..

Фостер старался подавить страх и держать ненависть в таких пределах, чтобы не дать заметить её посторонним.

Патрон принял их в своём «трубочном» павильоне-музее. Уже по одному этому Фостер понял, что разговор не сулил ничего приятного. Это была манера «старшего партнёра» прятаться за страсть к трубкам, когда он хотел скрыть свои тревоги.

Сегодня было много причин для гнева Джона Третьего. Первою из них был вторичный провал в Берлине попытки похитить инженера Эгона Шверера.

— Неужели нельзя обойтись без этого Шверера? — кисло пробормотал Фостер. — Что вы извлечёте из него насильно?

— То же самое, что извлекаем из двух тысяч немецких учёных, которых приволокли сюда в качестве трофеев.

— Но Шверер давно забросил военно-конструкторскую работу и занимается какими-то счётными машинами.

— Все равно, — решительно заявил Ванденгейм. — Мы заставим его делать то, что нам нужно. И вообще довольно болтать об этом. Винер звонил мне из Мадрида, что ему нужен Шверер, и я ему его дам!

— Может быть, Джон, следовало бы перетащить Винера с его хозяйством в Штаты? Тут и без Шверера найдётся кое-кто, чтобы ему помочь.

— Подите к чорту! — рявкнул Ванденгейм. — Прежде чем мы не добьёмся отмены закона о принудительном отчуждений патентов на производство атомной энергии, я не позволю перенести сюда ни одной лаборатории из Европы.

Фостер в первый раз рассмеялся:

— Вы никогда не отличались объективностью, Джон. Что бы вы запели, если бы вдруг конгресс

действительно отменил этот закон и кто-нибудь запатентовал бы локомотив или автомобиль с атомным двигателем? Переезд из Нью-Йорка во Фриско обходился бы в пятьдесят центов, и нефтяные акции стали бы пригодны только на то, чтобы делать из них ёлочные украшения.

На этот раз рассмеялся и Ванденгейм:

— Неужели вы уже настолько одряхлели, Фосс, что воображаете, будто я стал бы добиваться отмены закона, если бы не был уверен, что такой патент попадёт только в мои руки?

Фостер вздохнул:

— Если бы вы были господом-богом, Джон...

— Кстати, о госпoде-боге, — перебил хозяин, оборачиваясь к Аллену: — в военном министерстве говорят, что сочинение этого немецкого генерала... как его?..

— Тоже Шверер, — подсказал Аллен. — Отец того самого инженера.

— Они говорят, что эта его стряпня...

— «Марш на восток»?

— ...которую отцы-иезуиты купили у него по нашему поручению, оказалась бредом старого мерина.

— Я говорил, что так оно и будет, — заметил Фостер. — Он

оперировал архаическими данными доатомного века.

— Это не так страшно, хозяин! Мы заплатили за «Марш» сущие пустяки, — сказал Аллен. — Зато мы дали старому Швереру возможность покончить с этой рукописью, заняться полезной практической деятельностью. Он работает сейчас в отделе «дзет» нашего европейского штаба. А уж там ребята подскажут «нашим» немцам, на какие виды вооружения следует рассчитывать при планировании войны.

— Это правильный путь, — одобрительно отозвался Ванденгейм. — Нужно собрать их всех, от Гальдера до последнего

командира дивизии, знающего восточный фронт.

— Не думаю, чтобы их там много осталось, — ядовито заметил Фостер.

— Не дали же им помереть с голоду? — недоуменно спросил Ванденгейм.

— Те, кто воевал на русском фронте, в подавляющем большинстве оказались в плену. — Фостер присвистнул и махнул в пространство. — Далеко, у русских!

— Те, кто нам нужен, успели перебежать к нам, — возразил Аллен.

— Правильно, — кивнул головою Ванденгейм.

— Вы попрежнему придерживаетесь мнения о нашем пятилетнем атомном преимуществе перед русскими? — спросил Фостер.

— Боюсь, что мы уже потеряли все преимущества. Знаете, что говорят французы? «Атомная бомба для Америки то же, чем была для Франции линия Мажино. Янки будут прятаться за неё до тех пор, пока в один прекрасный день не увидят, что их давным-давно обошли и что они должны выкинуть свою бомбу на свалку, если не хотят, чтобы нечто в этом же роде свалилось на их собственные головы». —

Ванденгейм, сердито сжав кулаки, надвинулся на Фостера. — И это

ваша вина, Фосс. Да, да, молчите! Ваша! Не поверю тому, что, имея в руках абсолютное большинство в Организации Безопасности...

— Формальное, Джон, — заметил Фостер.

— Наплевать! Большинство есть большинство. Вы обязаны были протащить решения, которые были нам нужны!

— Русские не из тех, кого легко провести, Джон.

— Пусть наложат лапу даже на всё, что заготовлено у Манхэттенского атомного управления. Я не возражаю.

— Лишь бы они не сунули носа в ваши собственные дела? Вы

воображаете, будто русские в случае угрозы для них не смогут дотянуться до Испании?

— Я был бы последним дураком, если бы построил завод Винера на Калле Алькала! Кроме Европы, существует ещё и Африка.

— Дело не только в том, куда вы спрячете производство, а и в том, где будет жить голова, которая им управляет, — возразил Фостер.

— Уж для себя-то и своих дел я найду местечко, о котором не будете знать даже вы, мой неоценимый друг! — И Ванденгейм с иронической фамильярностью похлопал старшего Долласа по плечу.

Фостер быстро взглянул на

брата, словно надеясь поймать на его лице выражение, которое выдало бы ему, знает ли Аллен о планах патрона, скрывааемых даже от него, Фостера, от которого когда-то у Джона не было секретов.

В ту же минуту Фостер сжался от испуга: что-то тёмное промелькнуло у самого его лица и опустилось на плечо Ванденгейма.

Джон расхохотался:

— Нервочки, Фосс!

Он достал из кармана твёрдый, как камень, американский орех и дал его спрыгнувшей со шкафа макаке.

— Вот кому можно позавидовать, — сказал Ванденгейм. — Этот маленький

негодяй воображает себя бессмертным. Это даёт ему возможность наслаждаться жизнью так, как мы с вами пользовались ею до появления уверенности в том, что умирают не только наши дедушки.

— Если бы это было единственным, что отравляет жизнь, — со вздохом пробормотал Фостер и исподлобья взглянул в сторону брата.

Повидимому, патрон отгадал смятение, царившее в уме его адвоката. Он тоном примирения сказал:

— Мы с вами уже не в том возрасте, Фосс, чтобы гоняться за всеми призраками, какие бродят по

земному шару. Похороните миф о международном соглашении по атомной энергии — и я буду считать, что вы заслужили бессмертие.

Адвокат в сомнении покачал головой:

— Не такая простая задача, Джон.

— Поэтому в Организации Безопасности и нужна ещё более хитрая лиса, чем вы.

Джон нагнулся к самому лицу Фостера, его тяжёлый взгляд, казалось, силился остановить шныряние маленьких глазок адвоката. Фостеру хотелось упереться руками в грудь патрона и оттолкнуть его. Быть может, в былое время он именно так

и поступил бы, но с тех пор как Ванденгейм, подобно большинству таких же, как он, «хозяев» Америки, напялил генеральский мундир, у Фостера уже нехватало смелости на прежнюю фамильярность. Как будто с исчезновением пиджака между ними действительно появилось какое-то различие и генеральский мундир был как бы реальным символом той власти, которой всегда обладал Джон, но которая прежде не имела такого ясного внешнего выражения. Поэтому Фостер, сжавшись от страха, только ещё крепче сцепил жёлтые пальцы и, стараясь казаться иронически спокойным, выдавил из себя:

— Вы никогда не могли пожаловаться на то, что у меня нет чутья.

— Да, когда-то у вас был отличный нюх, Фосс, — почти ласково проговорил хозяин.

— Что же, он, по-вашему, пропал? — с оттенком обиды спросил Доллас.

— Пропал, — безапелляционно проговорил Джон и в подтверждение даже кивнул головой. — Старееете, Фосс!

— Как бы не так!

— А тогда, значит, вы на чём-то обожглись — Джон рассмеялся. — Когда собаке суют кусок горячей говядины, она теряет чутьё.

— Ничего более горячего, чем ваша же атомная бомба, я не нюхал! — все больше обижаясь, проговорил Доллас. — И, надеюсь, нюхать не буду.

— Подаёте в отставку?

— Просто надеюсь, что при помощи этой бомбы мы, наконец, поставим точку.

— Идиот, совершенный идиот! — внезапно вскипая и больше не пытаясь сдержать истерический гнев, заорал Ванденгейм. — Мы не на митинге; нечего бормотать мне тут чепуху: «Атомная бомба, атомный век»! Подите к чорту вместе с вашим атомным веком!

— Что с вами, Джон? — сразу

присмирив, робко пробормотал
Фостер.

Но Ванденгейм уже не слушал.
Он продолжал кричать:

— За каким чортом вы мне тут
втираете очки этой атомной бомбой,
как будто я избиратель, которого
нужно уверить, что ему больше
никогда не придётся послать своего
сына на войну, что мы поднесём ему
победу на блюдечке, если он
проголосует за нас... Вы бы сделали
лучше, если бы дали себе труд
подумать: как мы будем вербовать
солдат, на какого червяка мы выудим
несколько миллионов дурней,
которые полезут в огонь, чтобы
таскать для нас каштаны «Бомба,

бомба»! Нам нужны массы, а их бомбой не возмёшь. Вы бы лучше занялись церковью, если уж не сумели поставить на колени русских и всю эту... Восточную Европу.

— У них крепкие нервы... — тоном провинившегося ученика пролепетал Доллас.

— «Нервы, нервы»! — несколько затихая, передразнил Джон.

— Но я думаю, что рано или поздно и их нервы сдадут. Наши четыреста восемьдесят заморских баз...

Тут гнев Ванденгейма вспыхнул с новой силой:

— Четыреста восемьдесят

заморских баз?! Ну, ещё четыреста
восемьдесят и ещё девятьсот
шестьдесят, а толк? Вколачиваешь
деньги в какие-то вонючие
островишки без надежды получить
хоть цент дивиденда! Знаю я, чем это
кончается. К чорту! Где миллиарды,
которые мы вложили в Гитлера?..
Крах!.. Где деньги, вложенные в
Муссолини?.. Крах! Где шесть
миллиардов, брошенных в пасть Чан
Кай-ши?.. Крах! Мы, деловые люди
Америки, никогда не простим Маку
этой отвратительной глупости с
Китаем. Проиграть такое дело!

— Быть может, он ещё
вывернется? — нерешительно
проговорил Фостер.

— Не стройте из себя ещё большего кретина, чем вы есть! — завопил Ванденгейм, окончательно выходя из себя при воспоминании о катастрофе в Китае. — Крыса тоже думает, что прекрасно вывернулась, когда прыгает в море с тонущего корабля. А куда она может приплыть? На вашу паршивую Формозу? Что я там получу, на этой Формозе? Запасы алюминия? Не нужен мне ваш алюминий, не хочу алюминия! У меня самого его больше, чем может сожрать вся Америка, весь мир! Нефть! Так её давно уже глотает Рокфеллер. Шиш мы получим от этого дела, Фосс! Катастрофа в Китае непоправима...

— Вы становитесь пессимистом, Джон.

— С вами можно не только стать пессимистом, а просто повеситься. За каким чортом я вас посылал в Китай?.. Ну, что вы молчите? Распустили слюни, растратили ещё сотню миллионов без всякой надежды вернуть хоть цент...

— То, что вы так умно задумали теперь с бактериологией...

— Бактериология!.. Да, бактериология — это моя заслуга. Я не дам вам примазаться к этому делу. Никому не дам. Если опыт в Тайюани пройдет удачно, чума и прочее станут моей монополией. Болваны из военного министерства

заставили меня летать на край света с опасностью попасть в плен к красным, чтобы организовать это дело.

— Теперь-то Баркли доведёт его до конца.

— Ваш Баркли! Такой же болван, как остальные. Думает о мелочах. Погряз в своих операциях с опиумом и не видит, что его выпихивают из Китая раз и навсегда. Если бы я был президентом, то ввёл бы закон: генерал, проигравший войну, должен сидеть на электрическом стуле. Только так можно их заставить не делать глупостей... Ах, Фосс, если бы вышло это с чумой в Китае!

— Выйдет, Джонни, непременно выйдет.

— Мы раздули бы дело на весь мир. Мы заставили бы всю Европу, да и не только Европу, брать нашу вакцину и чумных блох в счёт помощи по плану Маршалла. Это было бы шикарно!

— Да, это было бы великолепно, Джонни! Европа покупала бы американских блох.

— Но ведь даже этих проклятых французов не заставишь купить ни одной блохи, если мы не покажем, чего она стоит.

— Покажем, Джонни, непременно покажем! Операция в Тайюани будет вторым Бикини, ещё

более эффективным, так как вместо десятка коз там подохнет несколько миллионов китайцев.

— Да, Фосс, если бы наши ребята сумели как следует провести опыт в Тайюани, я простил бы им проигрыш китайской войны. Конечно, я имею в виду временный проигрыш, пока мы не подготовим Чан Кай-ши к следующей войне. Чан Кай-ши и джапов. Эти полезут на материк очертя голову, если им обещать там немного места за счёт России... Да, Фосс, следующая война должна быть удачной, иначе мы банкроты, полные банкроты.

— Следующая война должна быть удачной, — пробормотал

Фостер.

— А что вы сделали, чтобы она окончилась не таким же конфузом, как прошлая? Я вас спрашиваю: что? Атомная бомба? Бросьте её в помойку, эту бомбу, если не сумеете поднять народ на войну против русских!

— Вы не верите в победу, Джон?

— «Победа, победа»! Вы напичканы звонкими словами и суετε их кстати и некстати. «Победа»! Такая же победа, как в тот раз? Ещё половина Европы, на которой можно будет поставить крест, как на партнёре? Это победа? Ещё двести миллионов потерянных покупателей? Победа? Да что я

говорю — Европа, а три четверти Азии?.. Её тоже прикажете списать в убыток? Ещё миллиард покупателей со счётов... «Бомба»! Нет, Фосс, прежде чем удастся пустить её в ход против России, мы должны твёрдо знать: новая война вернёт нам не только всё, что мы затратим на её подготовку, но и все, чего не заработали на прошлой.

— Не гневите бога, Джон! Вам мало семи десятых золотого запаса мира? Вам мало...

— Что вы тычете мне эту детскую арифметику! Вроде ваших четырехсот восьмидесяти баз — какие-то клочки по всему глобусу. А нам нужна четыреста восемьдесят

первая база — Европа! Нам нехватает
четыреста восемьдесят второй базы
— Азии! Дайте нам четыреста
восемьдесят третью — Африку! Всю
Европу, всю Азию, всю Австралию,
всю Африку! Вот тогда мы
поговорим о том, что делать с
остальным.

— Но ведь ничего же и не
осталось! — недоуменно воскликнул
Доллас.

— А Россия?!

— Даст бог, Атлантический
пакт... — начал было Доллас.

— Что же, может быть, из этого
что-нибудь и выйдет! — морщась,
произнёс Ванденгейм. — Но хотел
бы я знать, почему

«Атлантический»? При чем тут вода?
Нас не интересует вода.

— Увы, не все можно называть
своими именами.

— Вот! В этом наша беда, Фосс:
мы почти ничего не можем назвать
своим именем, если не хотим, чтобы
наши же янки нас линчевали.

— К чему мрачные мысли,
Джон?

— Ну да, вы-то вечно, как
страус, прячете башку в траву и
подставляете зад всякому, кто захочет
дать вам пинка. Мы не можем идти
на то, что у нас снова будет
семнадцать миллионов безработных.

— Отличный резерв для набора
в армию...

— Или в компартию!.. Смотрите, какой кавардак творится опять в Европе! Помните, как мы когда-то, едучи с вами в Европу на этом... — он щёлкнул пальцами и потёр лоб.

— На «Фридрихе Великом», — подсказал Доллас.

— Вот, вот!.. Тогда мы с вами тоже рассуждали о том, какими мерами прекратить кавардак в Европе. И вот снова: французы «не желают» плана Маршалла.

— Найдём таких, которые пожелают...

— Знаю, но это снова деньги, деньги! Опять списывать в убыток то, что заплатили болтуну Блюму.

— Он кое-как делал своё дело.

— Нужно мне его «кое-как»!

Дело, сто процентов дела давайте нам за наши доллары! А миллионы французов позволяют себе во всю глотку орать: «Не хотим маршаллизации!» Итальянцы вопят: «Не хотим!» Эти чортовы подонки лейбористы не могут навести порядок даже у себя на острове, не говоря уже обо всей их собственной «империи», которая разваливается, как гнилое бревно.

— Вот тут-то и понадобится бомба, Джон!

Несколько мгновений
Ванденгейм смотрел на Фостера с недоумением, потом вдруг

расхохотался:

— Бомба или новый Гитлер, а?

Доллас пожал плечами:

— А разве можно разделить их друг от друга?

— В вашем ослином упрямстве есть своя логика! Но боюсь, что эти людишки в Европе не дадут навязать им второго Гитлера: ни в Германии, ни во Франции, ни где-либо в ином месте.

— Черчилль, Джон! Вот с кем можно делать игру...

— Нет, крап на этой карте виден уже всем игрокам. Нужен такой же тип, но ещё не расшифровавший себя всему миру... В общем, конечно, дело ещё не потеряно: ищите и

обращаете.

Фостер Доллас приободрился, выражение загнанной крысы сбежало с его острой, покрытой глубокими морщинами, словно изжёванной, физиономии, и она снова стала похожа на морду хорька. Оживлённо жестикулируя и брызжа слюной, он прокричал:

— Пусть все эти миллионы в Европе и миллиарды в Азии и по всему миру ждут, что мы ответим на письма и заявления Сталина о том, что СССР хочет мира, пусть ждут. Мы будем молчать и делать вид, будто помимо нашей воли просачиваются сообщения о том, что в ответ на каждое из этих заявлений

мы изготовили ещё сто бомб, ещё тысячу, ещё десять тысяч!

От возбуждения весь череп Фостера блестел испариной. Он рассеянно вытер о брюки руки, липкие от пота. Но все его оживление сразу пропало, когда Ванденгейм отвернулся от него и, обращаясь к молча сидевшему Аллену Долласу, проговорил, кивком головы указав на Фостера:

— Этот старый осел перестал понимать что бы то ни было. Вам, Аллен, придётся взять на себя его дела. Контору вернёте ему, сами поедете в Европу. Нужно искать, днём и ночью искать тех, кто может быть нам полезен. Только прямым

ударом сделать ничего нельзя. Мобилизуйте всю команду, на которую истратили столько денег во время войны.

— Я ни цента не потратил напрасно, — обиженно заявил Аллен. — Каждый, кто получил от меня деньги хотя бы раз, мой до могилы!

— Вы называли мне десятки имён всяких типов, которые якобы пригодятся нам, когда пойдёт крупная игра против коммунизма. Где они?.. Я вас спрашиваю: где вся эта шайка хорватов, югославов и прочей публики, которую вы коллекционировали?

Аллен опасливо покосился в

сторону старшего брата и умоляюще произнёс:

— Прошу вас, Джон... Не нужно имён...

Ванденгейм свирепо посмотрел на притихшего Фостера и грубо крикнул:

— Посидите здесь!

А сам, сопровождаемый Алленом, вышел в сад.

— Я и в детстве не любил играть в заговорщики... — недовольно пробормотал он на ходу. — Ну, что у вас? Выкладывайте.

Но Аллен молчал, пока они не отошли от павильона на такое расстояние, что их не мог слышать Фостер.

— Вы гений, Джон!.. Истинный гений! — сказал он наконец.

— К делу!

— Честное слово, я вовсе не лъщу, — продолжал Аллен. — Можно подумать, что вы читаете чужие мысли; ведь именно о них, об этих балканских людях, я и хотел вам сказать. Мой человек, Миша Ломпар...

— Можете не называть имён, я их всё равно не запоминаю.

— Но я должен вам все же напомнить: Ломпар — тот человек, который привёл ко мне... — Аллен понизил голос до шопота: — Джиласа и Ранковича.

— Джилас и Ранкович? —

машинально повторил Ванденгейм.

— Тсс! — зашипел Аллен. — Это страшный секрет, Джон... Пожалуй, самый большой секрет, какой у нас когда-либо был по этим делам...

Он продолжал шептать, и Джон напрягал слух, чтобы слышать его слова, заглушаемые шуршанием песка под его собственными тяжёлыми шагами.

Младший Доллас называл ещё какие-то имена, среди которых Ванденгейм разобрал несколько знакомых. Это были не то венгерские, не то югославские или болгарские министры, промышленники или какие-то

политические интриганы. Наконец Джону показалось, что он услышал имя югославского маршала Тито. Джон думал, что ослышался, и, чтобы шум шагов не мешал ему, приостановился:

— Повторите-ка, — сказал он, — кажется, я что-то спутал: Броз Тито?

— Тсс, — Аллен испуганно схватил его за рукав, — умоляю, Джон!.. Один лишний звук, и мы провалим самую крупную игру, которую когда-либо вели против России!

Но Ванденгейм окончательно остановился и, негодуяще вырвав свой рукав из цепких пальцев

Аллена, прорычал:

— И вы туда же, за своим братцем?! И вы хотите меня морочить и вытягивать из меня деньги вашими идиотскими сказками?!

— Что с вами, Джон?! — Аллен испуганно попятился от рассвирепевшего патрона. — Какие сказки?

— Я наверняка знаю, что этот ваш Тито давно закуплен англичанами. Вас морочат, как последнего сосунка!

При этих словах Аллен смешно затоптался на месте, как раскачивающийся в пляске индеец, и наступившую в саду минутную

тишину разрезал скрип его смеха.

— Вот, вот! — воскликнул он, захлёбываясь. — Вот, вот! Прекрасно! Значит, эти дураки настолько уверены в том, что господин маршал куплен ими, что уверили в этом даже вас!.. Это отлично, Джон! Хотя я и не ожидал, что они доверят эту тайну кому бы то ни было. Хвастовство не доведёт англичан до добра. Я бы никогда не стал афишировать такую связь: слишком большая ставка, Джон! Слишком большая! — И в аллее снова раздался такой звук, словно провели мокрой пробкой по стеклу. — Хе-хе... Так вот что, дорогой патрон, я вам скажу, но

клянусь небом, если вы проболтаетесь даже на исповеди...

— Ну, ну, за кого вы меня принимаете!.. — уже благодушно и, повидимому, заинтересованный пробормотал Ванденгейм.

— Я вам скажу, но только вам. До сих пор это было тайной моей и господина Тито: он наш, наш, с волосами и кишками. Я перехватил его у англичан из-под самого носа!

— Смотрите, Аллен, не дайте себя надуть!

— Хе-хе, — Аллен быстро потёр руки тем же движением, как это проделывал его старший брат. — Если бы я вам сказал, как дёшево нам обошёлся этот маршал, вы бы

поверили, что все в порядке... Весь смысл именно в том, что ко мне в руки попала тайна его сговора с Интеллидженс сервис. Это дало мне возможность отделаться такими пустяками, что на них этот маршал едва ли купит себе новый галун на шапку.

— Поверьте мне, гончая только тогда чего-то стоит, когда за неё хорошо заплачено, — в сомнении проговорил Ванденгейм.

— Или... — Аллен многозначительно поднял костлявый палец. Рыжий пух на нём светился так же, как на черепе Фостера. — Или... — загадочно повторил он, как будто рассчитывая, что Джон

договорит за него, — ...пёс прекрасно ведёт себя, если ему на шею надет парфорс. — И он снова затоптался от удовольствия. — А я нашёл парфорс для Тито и всей его шайки, понимаете: такие клещи, из которых они не вырвутся, даже если бы пожелали; но не думаю, чтобы такое желание у них и появилось, им с нами по пути, потому что другого пути у них уже нет.

— А англичане? Они не могут провалить нам все дело?

— Фью, Джон!.. С каждым днём они все больше понимают, что их песенка спета.

— Бульдог перед смертью может больно укусить.

— Если он подыхает без намордника, Джон!

— У вас какие-то странные сравнения сегодня... Мне совсем не нравится ваша весёлость. Не рановато ли развеселились, Аллен? — В голосе Ванденгейма зазвучала несвойственная ему неуверенность. — Игра становится все трудней, с каждым днём трудней! Я вам говорил: теперь уже прямым ударом против коммунизма ничего не сделаешь. Ставка на вас, Аллен. На всю эту вашу банду... И, честное слово, мне делается иногда страшно, когда подумаю, что наша судьба в руках сволочи, торгующей собою на всех перекрёстках.

— Ничего, Джон, на наш век проходимцев хватит.

— Даже если считать, что в такой игре один ловкий негодяй стоит десятка простаков, приходится задумываться: а что, если все, кого мы покупаем, все, на кого делаем нашу ставку, ничего не стоят? Если это вовсе не сила, какою мы её себе рисуем?!. Что, если вся эта мразь разбежится, стоит русским топнуть ногой?!. Вам никогда не бывает страшно, Аллен, когда вы думаете об исходе игры?

Аллен нервно передёрнул плечами. Ему так ясно представилось то, что говорил патрон, как даже тот сам не мог себе

вообразить. Ведь именно он, Аллен, имел дело с легионом человеческого отребья, именно он покупал и перекупал тех, чьему слову можно было верить только тогда, когда уже не существовало ничего святого. Разве Джон имел представление о том, сколько агентов перекупили у Долласов другие службы? Разве Джон мог себе представить всю длинную цепь провалов, которые сначала Фостеру, а теперь Аллену приходилось скрывать от своего патрона? И если у Джона, даже при том, что ему никогда ничего не говорили о неудачах, никогда не называли ему имён агентов, провалившихся во всех странах — от

России до Китая, куда их посылала контора братьев Доллас, — если даже у Джона могло возникнуть сомнение в надёжности этой самой продажной из армий, то каково же должно было быть настроение у самого Аллена, знавшего все её слабые стороны, все поражения, все бесчисленные провалы его агентов!

Не было ничего удивительного в том, что, сам того не замечая, Аллен отёр со лба холодный пот, хотя мысленно твердил себе, что все дело только в размере затрат, что нет таких душ, которые нельзя было бы привязать к себе блеском золота. И губы его машинально шептали:

— Дело в деньгах... Побольше

денег... Много денег — и все будет в порядке...

Некоторое время они шли молча.

Джон остановился, подумал и повернул обратно к павильону.

Когда они были уже у дверей, Ванденгейм сказал:

— Если мы проиграем эту партию — крышка! Нужно драться зубами, Аллен! Слышите? Зубами! Чего бы это ни стоило, но мы должны выиграть схватку, иначе...

Он не договорил, и Аллену показалось, что на этот раз его патрон провёл рукою по вспотевшему лбу.

— Покупайте всех, кого можете.

Всех, всех!.. — С этими словами Джон перешагнул порог павильона и подошёл к столу, не обращая никакого внимания на застывшего в ожидании Фостера. Кажется, старший Доллас не сделал ни одного движения с тех пор, как остался тут один.

Вошедший следом за Джоном Аллен машинально повторял:

— Деньги, больше денег!

— На этот раз мы не будем так расточительны, — сказал Ванденгейм. — Вовсе не обязательно платить всяким Гаспери и Шумахерам нашими долларами. Я позабочусь о том, чтобы снабдить вас любым количеством франков, лир,

марок; мы наладим у себя и печатание фунтов. Можете швырять их налево и направо.

— Фунты?.. Это лучше... — встрепенувшись, пробормотал Аллен и плотоядно потёр руки. — А то с этими франками и прочим мусором далеко не уедешь. Фунт ещё кое-как живёт старым кредитом.

— И дело, Аллен, прежде всего реальное дело! Довольно теоретической возни. Если философия — то такая, чтобы от неё у людей мутился разум; если искусство — то такое, чтобы люди не разбирали, где хвост, где голова. Смешайте все в кучу, Аллен, чтобы французы перестали понимать, где

кончается Франция и начинается Турция, чтобы итальянцы перестали вопить о своём сапоге как о чём-то, что они обожают больше жизни. Никаких суверенитетов, никакого национального достоинства — к черту весь этот вредный хлам!

Тут раздался робкий голос Фостера:

— Позвольте мне, Джон, заняться Соединёнными Штатами Европы...

Но Джон только с досадою отмахнулся.

— Сейчас я вам скажу, чем вы будете заниматься, Фосс, а пан-Европа проживёт и без вас. Она будет, черт меня возьми, или я не

Джон Ванденгейм! Она будет потому, что она нужна. Слышите, Аллен, нужна! В Западной Европе не должно быть никаких границ. Никаких! Только одна национальность будет иметь право считать себя суверенной в любой из этих паршивых с гран, — мы, янки! Вбейте в голову всем от Анкары до Парижа, что за слово «гринго» мы будем линчевать. И пусть не воображают, что именно мы сами будем марать об них лапы. Турки будут вешать французов, испанцы — греков. Всюду мы поставим свои гарнизоны из бывалых эсесовцев. Эти не дадут спуска никому.

Фостер сделал последнюю

попытку вмешаться в разговор:

— Вы должны оценить, Джон, то, что мною сделано, чтобы стереть национальные границы в искусстве, в литературе.

— Опять будете сейчас болтать про вашего ублюдка Сартра! Больше ни одного цента этому идиоту. Работать нужно чисто. Грош цена агенту, которого раскрывают, прежде чем началась война. Нет, Фосс, ваша песенка по этой линии спета.

— Вы пожалеете об этом, Джон... Таких помощников, как я...

— Не беспокойтесь, вы не пойдёте ни на покой, ни на свалку. Я вам дам дело, и дело не маленькое. Хотите быть вторым Майроном?

— В Ватикане нечего делать двоим.

— Вы меня не поняли: Ватикан Ватиканом, это вотчина Моргана, но он ничего не стоит там, где кончается католицизм. Займитесь остальными: протестантами, баптистами, евангелистами и всякой там публикой... Соберите их в кулак так же, как папа собрал своих католиков. Сделайте их таким же орудием в наших руках, каким Майрон сделал Ватикан. Вот вам дело.

Фостер покачал головой:

— Начинать на чистом месте?

— Не совсем уж на чистом, — с усмешкой сказал Джон. —

Переймите связи у немцев. Кое-где у них была своя агентура и по этой линии. Вспомните, что произошло в Болгарии, поищите среди финнов, порыскайте в Голландии, заберитесь в Южную Америку, в Индию, свяжитесь с Макарчером, подберите всё, что можно подобрать после немцев, используйте японскую сеть — она ещё жива. Посмотрите на экуменическое движение — оно влачит жалкое существование, вдохните в него боевой дух. Берите пример с Майрона: он сумел забросить своих кардиналов всюду — от Багдада до Нанкина. Не стесняйтесь, тут мы готовы поступиться даже гордостью белых.

Если папа раздаёт красные шапки неграм и китайцам, то почему бы нам не на вербовать среди них главарей протестантизма? Пачка долларов заменит красную шапку, а если этим дуракам нужна мишура, то мы можем нашить сколько угодно мантий и раздать вместо тиар старые королевские короны. На этом мы ещё заработаем. Вон Тэйлор умудряется делать бизнес даже на простых оловянных крестиках. Нужно быть поворотливым, Фосс, и не твердить одно и то же с упрямством тупицы: «Бомба, бомба!» Займитесь церковными делами, и у вас будет шанс сделаться вторым папой, чем-то вроде вселенского патриарха всех

протестантов. А когда у нас в руках будут и католики и протестанты... — Ванденгейм протяжно свистнул.

Фостер умоляюще сложил руки.

— Джон, избавьте меня от всяких этих протестантов и прочих «схизматиков» — я добрый католик.

— Бойтесь провалить дело?

— Нет, не в этом дело, — Фостер покрутил острой мордой. — Нет, я хочу предложить другое. Где это сказано, что Ватикан так и должен навсегда остаться вотчиной Морганов?

— У них там слишком надёжный приказчик — Тэйлор, чтобы им стоило бояться за эту лавочку.

— Хе-хе! — Фосс быстро потёр друг о друга мокрые ладони. — А если я действительно займу местечко рядом с Майроном Тэйлором? Пока какое-нибудь скромное местечко.

Ванденгейм с нескрываемым интересом посмотрел на Долласа и, почесав за ухом, задумчиво спросил:

— Вырвать этот кусок из лап Морганов? Далеко смотрите, Фосс...

Приободрившийся Доллас подмигнул Джону:

— А почему бы и нет, а?

— Президент не согласится на второго своего представителя там, — в сомнении произнёс Ванденгейм.

— И не нужно, и не нужно, — поспешно зашептал Доллас. — Вам

там вовсе и не нужен официальный представитель. Что бы вы сказали обо мне в роли какого-нибудь прелата в Ватикане, а?

— Вы — в сутане? — Ванденгейм расхохотался. — А впрочем... это, может быть, и не так уже глупо! Ну, а как же с экуменическим движением?

— Поручите его кому-нибудь другому.

— Но вы знаете, что Тэйлор отвернёт вам башку, если поймёт, зачем вы явились в Рим.

— Он мне, или я ему...

— Что же, это мне нравится, честное слово, нравится, старина. И уж, во всяком случае, вам будет

обеспечено местечко вблизи святого Петра.

— Не богохульствуйте, Джон: я верующий.

— Это уж от вас зависит — сделать радости рая не менее ощутимыми, чем земные... — Джон на минуту задумался, вертя в руках одну из трубок своей коллекции, потом сказал, повернувшись к младшему Долласу: — Кстати о земле, Аллен: Фосс так и не справился с делом Винера.

— Ага! — с торжеством воскликнул Фостер. — Стоит вам вернуться на почву реальной политики, и вы сами вспоминаете о бомбах!

— Реактивные снаряды и атомная бомба не одно и то же.

— Два пугала одного сорта. У вас чешутся руки устроить что-нибудь вроде Бикини с этими реактивными штуками.

— Бикини было блефом! — вырвалось у Ванденгейма.

— Но мы потратили достаточно денег, чтобы уверить мир в неотразимости этого блефа.

Ванденгейм приставил красный кулак ко рту.

— Фу, чорт!.. В том, что вы говорите, есть доля правды... В глазах мира мы должны оставаться лидерами этого дела. А тем временем следует сделать все для

реализации винеровского «фау-13».

— Если ему для этого необходим Шверер, поставьте на этом чортовом «фау» большой крест! — крикнул Фостер.

— Но, но!

— Да! — воскликнул Фостер, но тотчас пожалел о такой категоричности. Он хотел было загладить дурное впечатление от своего заявления, но Ванденгейм, посмотрев на него сверху вниз, рассмеялся и неожиданно весело проговорил:

— Сегодня вы способны расстроить ангела. Идёмте-ка выпьем. Ваше настроение мне совсем не нравится. — И обернулся к

продолжавшему сидеть в отдалении Аллену: — Шверер должен быть в Мадриде... Вам хватит месяца?

— Многое будет зависеть от того, удастся ли нам выловить обратно Мак-Кронины, — сказал Аллен.

— Плюнь на Мак-Кронины. Он отыграл своё! — сказал Фостер брату.

— Но мы не можем оставить его в руках русских!

— Сделай так, чтобы он не достался ни нам, ни им.

— Все обойдётся, друзья мои, — примирительно сказал хозяин.

Он взял Фостера под руку и повёл к выходу.

Очутившись на воздухе, Фостер почувствовал облегчение: голубое небо над головой, распускающаяся зелень парка — все это было так далеко от одолевавших его тяжёлых сомнений и животного страха перед патроном и перед братом! И багровая физиономия Джона уже не казалась ему такой страшной и глаза Аллена, кажется, не подстерегали на каждом шагу его ошибок. Все, решительно все представлялось уже не таким непоправимо плохим.

— Сэр! — слышалось вдруг рядом, и перед Джоном вырос секретарь. — Депеша из Токио.

Джон нехотя остановился и взял листок. По мере того как он читал,

лицо его все больше наливалось кровью. Когда он дочитал, листок телеграммы исчез в судорожно сжавшемся огромном кулаке. Короткое движение, и тугой комок бумаги ударил Фостера в лицо. В наступившей тишине было слышно, как скрипит песок под огромными ступнями быстро удаляющегося Джона.

Он уже почти скрылся в конце аллеи, когда Аллен, наконец, поднял с земли смятую телеграмму. Фостер испуганно следил за взглядом брата, скользившим по её строкам. Дочитав, Аллен рассмеялся.

— Это действительно касается тебя. — И протянул было листок

брату, но Фостер отстранил его:

— Прочти.

— О, с удовольствием:
«Операция под Тайюанью потерпела
неудачу. Запасы противочумных
материалов сожжены партизанами.
Макарчер».

Аллен заботливо вложил листок
в пальцы безвольно упавшей руки
Фостера и, улыбаясь, зашагал следом
за Джоном.

Уже три года Монтегю Грили получал жалованье председателя комиссии по денацификации, хотя бывал во Франкфурте не чаще, чем того требовали его личные коммерческие дела. Тот, кому доводилось теперь входить в кабинет с табличкой на двери: «Председатель комиссии», видел перед собой коренастого блондина среднего роста, с самоуверенным выражением румяного лица, с неторопливыми движениями человека, спокойного за своё место под солнцем. На столике перед камином всегда, летом и зимою, стояли свежие розы; в

воздухе всегда висел аромат цветов, смешанный с терпко-пряным запахом трубочного табака. Из рта блондина почти всегда торчала трубка, которую он очень прямо и, повидимому, очень крепко держал в зубах.

Весь он, с головы до пят, был олицетворением уверенности в себе, в завтрашнем дне и в своём деле. Такого полного благополучия оберштурмбаннфюрер СС и инженер Пауль Штризе не чувствовал даже в самые лучшие времена Третьего рейха.

Основные обязанности Штризе, как, впрочем, и всей его «комиссии», не отличались сложностью. Процесс

возрождения военного производства Западной Германии и её передачи прежним монополистам — «капитанам промышленности», за спиной которых стояли теперь американцы и англичане, благополучно приближался к своему завершению. Не было необходимости и в каких-либо иных мерах, кроме полицейского вмешательства, когда рабочие заводов пытались поднять голос протеста при возвращении старых гитлеровских директоров.

Гораздо обширнее и сложнее были обязанности Штризе, связанные с учреждением, лаконическое название которого вовсе не значилось на вывеске

комиссии, но которое было известно среди посвящённых как «Штаб К». Впрочем, даже если бы это название было написано на фасаде бюро, далеко не каждый знал бы, что полностью оно читалось так: «Центральный штаб по координации деятельности секретных служб трех западных оккупирующих держав и секретной службы полицейских сил Западно-Германского государства».

Не всякий знал о наличии у этих вооружённых сил разветвлённой секретной службы, являющейся детищем и филиалом британской, французской и главным образом американской разведок. Но что говорить о немцах, если об этой

стороне деятельности бюро пока ещё не имел полного представления и сам Монти. Отлично зная, что задачи его учреждения не имеют ничего общего с действительной денацификацией и демилитаризацией бывшей гитлеровской военной промышленности, он пребывал в уверенности, что его основным делом является восстановление военного производства в Западно-Германском рейхе. Эту работу следовало произвести по такой схеме, чтобы не только обеспечить снабжение военными материалами всех континентальных вассалов англо-американского блока, но

прежде всего и глазным образом обеспечить прибыли своих хозяев — монополистов Англии и Америки. Уже сама по себе эта задача представлялась Монти достаточно сложной. На каждом шагу приходилось сталкиваться с ни с чем не сравнимой алчностью янки. Они норовили вырвать из глотки английского партнёра даже самую маленькую косточку. Иногда можно было прийти в полное отчаяние от нахальства, с которым действовали не только сами американцы, но даже их немецкие уполномоченные. Эти немцы, из бывших владельцев, акционеров и директоров восстанавливаемых предприятий, за

одно только право считать на суконке американское золото готовы были перервать горло кому угодно, не соблюдая никаких приличий. И чем яснее они чувствовали за собою поддержку американцев, тем наглее становились, доходя иногда до прямого третирования «младшего» партнёра в англо-американской партии.

Эти сложные обстоятельства грозили при малейшей оплошности оставить в дураках не только английских партнёров вообще, но и самого Монти в частности. Он был настолько занят интригами чисто коммерческого свойства, что несколько запустил вторую сторону

деятельности своего бюро — разведку. Поэтому Аллен Доллас почти без сопротивления со стороны англичан прибрал к рукам всю негласную работу бюро ещё тогда, когда она находилась в зачаточном состоянии. С прошествием же времени, когда выяснились широкие перспективы секретной работы бюро, англичане спохватились, но было поздно. Раздувшийся аппарат немецкой военной разведки возрождаемой западногерманской армии смотрел уже целиком из американских рук. Дряхлеющей Интеллидженс сервис оставалось только делать приятную мину в плохой игре, сползая на вторые роли.

Её резиденты с удивлением увидели, что гитлеровские генералы, вроде Александера, Гальдера и Гудериана, ещё вчера считавшиеся пленными, имели в делах бюро больший вес, чем чиновники «его величества». Это было неприятно, но это было так. Единственным, сравнительно небольшим утешением для Монти было право помыкать немцами ранга Штризе.

Формально роль Штризе в этом секретнейшем из органов оккупационных администраций в Германии была скромной. Он был всего лишь чем-то вроде смотрителя конспиративной квартиры, какой являлось для этого штаба бюро

Монти. Поэтому Штризе не только не был в курсе дел штаба, но и не знал в лицо всех его работников, не говоря уже об агентуре. Однако это не мешало ему использовать своё положение в интересах немецкого партнёра. Каждые два-три дня он делал генералу Александеру то или иное сообщение, добытое служителями в комнатах британского, американского или французского отделов. Иногда ему и самому удавалось кое-что подслушать.

В последние дни Штризе заметил некоторое оживление в штабе. Появлялись новые люди. Двоих из них он знал — англичанина

Уинфреда Роу и немца, католического священника Августа Гаусса. Двух других видел впервые. Ему стоило некоторого труда выяснить, что один из них был представителем французской разведки, генералом Анри, другой — американцем по имени Фрэнк Паркер. С Паркером приехала сто секретарша — увядающая особа с пушистой копной ярко-рыжих, явно искусственно окрашенных волос. Профессиональная любознательность Штризе очень скоро помогла ему открыть, что эта «американская мисс» была в действительности француженкой и что звали её Сюзанн Лаказ.

Через день после приезда Паркера состоялось совместное совещание представителей всех разведок, на котором неофициальный глава штаба, Аллен Доллас, поставил вопрос о необходимости скорейшей доставки из советской зоны оккупации инженера Эгона Шверера. Объяснений своему требованию он не давал и не намерен был давать. Его приказы были законом для всех четырех служб штаба, так как добрые три четверти средств, на которые они существовали, давал он.

Впрочем, был на этом совещании человек, который, в отличие от остальных

присутствующих, чувствовал себя независимо. Это был представитель ватиканской «информационной курии во имя бога» отец Август Гаусс. Он держался свободно, уверенный в том, что никто из сидящих в этой комнате, кроме Роу, не знает об его многолетней платной службе и в британской разведке.

Участники совещания перебрали с десятков способов похищения Эгона. Все казались Долласу никуда не годными. Вспомнили Кроне, о котором все, кроме Долласа и Паркера, знали только то, что он должен был перебросить сюда инженера Шверера.

Доллас делал вид, будто судьба Кроне его мало интересует. Ещё несколько месяцев тому назад он решил не возбуждать вопроса о Кроне, полагая, что русские не знают его американского лица, держат его у себя как немецкого фашиста. Но потом стало известно, что подробные допросы Кроне в советской комендатуре велись долго и были застенографированы. У Долласа возникло подозрение, перешедшее постепенно в уверенность, что Кроне провалился всерьёз и выложил русским если не всё, что знает, то, во всяком случае, многое.

К тому времени, когда

происходило описываемое совещание штаба, у Долласа созрело решение пресечь для Кроне возможность разговаривать, то-есть попросту убить его. Это поручение было передано немецкой службе, заславшей в советскую зону Берлина диверсионную группу Эрнста Шверера. Группа была сформирована из бывших гестаповцев. Но и её усилия пока ничего не дали: ей не удалось добраться до арестованного советскими властями Кроне.

Аллен Доллас решил передать и это дело в руки Паркера, который отправлялся в Берлин, чтобы ускорить похищение инженера Эгона Шверера. Оставалось найти для

Паркера надёжный опорный пункт внутри советской зоны.

— Было бы хорошо, если бы генерал Александер искал у себя в памяти какой-нибудь подходящий пункт, — бросил Доллас в сторону молчаливо сидящего в углу человека.

Тот качнул вытянутым как по линейке корпусом и поспешно щёлкнул каблуками. Чуть шевельнулась седая, аккуратная щёточка его усов.

— Я сообщу господину Паркеру конспиративный адрес доктора Зеегера.

— Вы ограничили самостоятельность Эрнста Шверера и подчинили его Зеегеру?

— Оперативно — да, — почтительно ответил Александер. — Зеегер направляет действия группы. Но я не мог бы пожаловаться и на самого Эрнста Шверера: его отряд доставляет много хлопот советским властям.

— Таких людей нужно поощрять. Вам даны на это средства! — недовольно проговорил Доллас. — Эгон Шверер! Он мне нужен. Назначьте особую премию за его доставку.

— Если бы можно было премировать за доставку его головы, она давно была бы перед вами, — проговорил Александер.

— К сожалению, нам нужна не

его голова, а его патенты! — сказал Доллас и, выхватив из кармана платок, поспешно отёр покрывшийся каплями пота череп. Даже в этой детали он был похож на своего старшего брата.

Пристально глядя на американца, Александер продолжал держать наготове карандаш. Вся его фигура была теперь олицетворением готовности служить новому хозяину. Не осталось и следа от прежнего высокомерия, с которым начальник разведки некогда разговаривал со своими собственными немецкими генералами, даже если они бывали выше его чином.

Роу, молча сидевший в стороне,

брезгливо морщился, когда взгляд его падал на влажный череп Долласа. Он с трудом скрывал владевшее им чувство неприязни, смешанное со страхом перед более сильным партнёром. Время от времени он усиленно тёр свои, словно выеденные молью и покрытые неопрятной серой плесенью, виски и курил, не выпуская изо рта трубки. Его серые, потускневшие глаза казались усталыми и пустыми. Вокруг них сеть морщин покрыла дряблую кожу, и предательские синие жилки изукрасили нос. Когда Роу, закуривая, держал спичку, было заметно, как дрожат его пальцы.

Доллас, закончив совещание,

засеменил к двери. Роу подмигнул Паркеру:

— Ещё четверть часа — и я треснул бы, как пересушенное бревно! — Он с облегчением потянулся. — Кто из присутствующих способен составить нам компанию на несколько рюмок коктейля?

— Вы воображаете, что в этом городе можно получить что-нибудь приличное? — спросил патер Август.

— Надеюсь, в американской лавке найдутся виски и несколько лимонов. Остальное я беру на себя. — Роу без церемонии схватил за рукав Августа Гаусса. — Речь идёт о стакане чего-нибудь, что помогает

ворочать мозгами.

— Если это не будет минеральная вода... — ответил патер.

— У меня в буфете найдётся всё, что нужно, чтобы скрасить беседу мужчин, — заискивающе вставил молча сидевший до того Винер.

— Значит, мы ваши гости, — развязно сказал Роу. — Я позвоню сейчас Блэкборну, нужно захватить и его.

— Блэкборн?! — с некоторым испугом воскликнул Винер. — Тот самый Блэкборн?

— Именно «тот самый». Как его у нас кто-то назвал, «главный расщепленец».

— Весьма почтенная личность, — Винер криво усмехнулся. — Но... зачем он вам понадобился?

— У меня есть основания не оставлять его одного на целый вечер.

— Как хозяину, мне трудно протестовать, — с кислой миной проговорил Винер.

Несмотря на то, что деньги были теперь последним, на недостаток чего мог бы жаловаться Винер, его страсть к дешёвой покупке редкостей искусства сохранилась в полной силе. Именно так: не к приобретению произведений искусства вообще, а только к тому, чтобы купить их за десятую долю стоимости, вырвать из рук тех, кого судьба припёрла к стенке. Он не упускал тяжёлых обстоятельств, в которых находились его соотечественники.

Чтобы рыскать по складам комиссионеров и по частным

адресам немногих уцелевших коллекций, Винер находил время даже среди всех своих многочисленных дел. Это было удивительным свойством его натуры. Спекулянт неодолимо просыпался в нем, когда в воздухе пахло возможностью поживы. Область искусства не составляла исключения. Он, как скупой рыцарь, вёл точный реестр своим приобретениям. Против каждого из них значилась цена, по которой оно было куплено, и рядом с нею сумма, за которую Винер мог его продать. Если конъюнктура на рынке картин менялась, он старательно зачёркивал прежнюю цифру и вписывал новую,

не уставая подводить баланс. Это было душевной болезнью, которую он не мог, а может быть, и не хотел преодолеть, несмотря на то, что она заставляла его тратить совсем не так мало времени и сил, нужных ему на гораздо более важные, с точки зрения его хозяев, дела.

Таких хозяев у него было теперь двое: одним был Джон Ванденгейм Третий, в полной власти которого находились завод реактивных снарядов и лаборатория Винера; вторым — своеобразный политический трест, возглавляемый Куртом Шумахером. Круг деятельности этого, с позволения сказать, «треста» заключался в

поставке политических провокаторов и штрейкбрехеров, диверсантов и фальсификаторов всех квалификаций, во всех областях жизни. В организации и гангстеровских приёмах работы «трест» Шумахера перенял весь опыт своего увянувшего и сошедшего за время войны со сцены предшественника, такого же тёмного политического предприятия — конторы по поставке шпионов, диверсантов и убийц, организованной в своё время Троцким. Так же как «контора» Троцкого, «трест» Шумахера мог прислать простых штрейкбрехеров, но мог поставить и «философов»,

которым поручалось разбить основы человеческих понятий о национальном достоинстве, патриотизме и о чём угодно другом, что стояло на пути нанимателя, будь то торговая фирма или целое правительство. Что касается самого Винера, то он был дважды на службе американских оккупантов — и как ставленник Ванденгейма и как отданный в услужение американцам член шайки Шумахера.

Винер не был мелкой сошкой. В числе агентов современной социал-демократии он значился в первых рядах, выше его по социал-демократической иерархии стояли только главные бонзы, вроде самого

Курта Шумахера и других. Винер был в области техники и прикладных наук тем же, чем какие-нибудь Отто Зур или Клаус Шульц были в «философии». Он был как бы полномочным представителем этой шайки агентов американского империализма, орудовавшей в рабочем движении Западной Германии и имевшей особое задание — представлять её, эту шайку, в реактивном деле. Его задачей было следить, чтобы эта машина убийства работала на американцев так же исправно, как она прежде работала на Гитлера. И к Винеру как нельзя больше подходило определение, данное кем-то нынешним главарям

немецкой социал-демократии: «удлинённая рука военной администрации и лейбористской партии». Да, Винер был одним из пальцев этой очень длинной и очень грязной руки, пытавшейся залезть в душу и в карман немецкого народа!

Чем хуже жилось простому немецкому человеку в оккупированной западными державами Тризонии, тем твёрже чувствовали себя члены шайки Шумахера, тем выше котировались её акции у нанимателей и тем больше становилась личная доля каждого из них в добыче, которую рвали с немецкого народа англо-американские оккупанты и свои

немецкие монополисты. Чем больше становились доходы, тем выше задирались носы участников шайки и в их числе доктора Вольфганга Винера.

В свои шестьдесят лет он заносчиво носил такую же чёрную, как десять и пятнадцать лет тому назад, бороду ассирийского царя.

Полной противоположностью Винеру был пришедший с Роу английский физик Блэкборн, грузный сутуловатый мужчина в мешковатом костюме, ставшем ему заметно широким. По внешнему виду и по скромности, с которою он уселся в уголке столовой, в старике было трудно угадать одного из величайших

авторитетов атомной физики, каким ещё недавно считала Блэкборна вся Западная Европа, — до тех пор, пока он в день окончания войны не отказался вести дальнейшую работу над атомной бомбой. Он заявил себя решительным сторонником запрещения этого оружия и потребовал использования энергии распада атомного ядра исключительно для мирных, созидательных целей человечества. И тогда, как по волшебству, старый учёный из величайшего авторитета быстро превратился в «старого чудака, выжившего из ума и одержимого фантазиями, смахивающими на сказки для детей».

Так писалось тогда об ещё полном сил и творческой энергии физике, мысли которого не сошлись с планами его хозяев.

Изгнанный из своей лаборатории, вынужденный покинуть Англию, лишённый материальной поддержки для проведения опытов, старик в смятении скитался по северной Европе. Он не верил в реальность случившегося и не понимал, что в мире, управляемом законами наживы и разбоя, не может найтись никого, кто материально поддержал бы его работы. Он долго странствовал, подавленный и растерянный, по привычке присаживаясь по утрам к

письменному столу в номерах гостиниц и с досадою отбрасывая перо при воспоминании об утраченной лаборатории, о недостающих ему исполнительных помощниках и внимательных учениках, при мысли о том, что он превратился в нищего и бездомного старика, а все, представлявшееся ему прежде прочной собственностью, оказалось «мифом в кредит». Но самым страшным для него был чудовищный разлад с миром, ещё оставшимся его миром, со средой, ещё бывшей его средой. Неожиданным и потрясающим было для него открытие, что всю жизнь, оказывается, он работал не для

создания жизненных благ и не для процветания человечества, а ради разрушения лучшего, что оно создавало веками упорного труда; работал для ниспровержения элементарных понятий свободы, демократии и человеческого достоинства, которые кто-то успел опутать ложью и низвести в бездну унижения.

И все это произошло, пока он, забыв о мире и людях, сидел в своей лаборатории и занимался «надсоциальной» наукой, ловко подсунутой ему Черчиллем ещё в самом начале войны. Подобно удару грома над головой, вдруг прозвучала истина, гласившая, что он вовсе и не

хозяин своих мыслей, своих открытий, своих идей, а всего лишь жалкий наёмник заморских капиталистов, незаметно вползших в его творческий мир и незаметно повернувших все его устремления совсем в другую сторону, чем он когда-то мечтал. Мечты! Они разлетелись, как хрустальный замок от грубого удара жестоких дикарей, ни черта не понимающих ни в науке, ни в законах физики, ни в законах развития жизни и не способных ни на иоту приобщиться к его идеям. Эти дикари гнездились в пещерах лондонского Сити и нью-йоркской Уолл-стрит. Им не было дела до мечтаний старого физика. Им нужна

была бомба. И вот все полетело к чорту... Он скитался, как неприкаянный, в поисках успокоения, не зная, где его искать, и нашёл его, наконец, во Франкфуртском университете, в скромной роли профессора физики. И вовсе не случайно именно тут, во Франкфурте-на-Майне, где сплелись сейчас самые острые интересы бывших хозяев Блэкборна, его гидом оказался не кто иной, как агент британской секретной службы. Блэкборн не догадывался об этом, как не подозревал и того, что на всем его пути от Лондона до Копенгагена и от Копенгагена сюда, в сердце Тризонии, все его «случайные»

дорожные знакомые были агентами Интеллидженс сервис, не выпускавшей его из виду ни на один день. Поэтому, когда Роу пригласил его «провести приятно вечер» с приятелями, старый физик, не подозревая ничего дурного, согласился.

Пока Блэкборн, не обращая ни на кого внимания, листал какую-то книгу, сидя в углу столовой, а остальные гости занимались коктейлями, Роу без стеснения бродил по комнатам франкфуртской квартиры Винера, поворачивая к себе лицом прислонённые к стенам многочисленные холсты и рассматривая их с бессмысленным

вниманием пьяного.

Изредка он возвращался к общему столу, чтобы отхлебнуть глоток «Устрицы», приготовленной кем-нибудь из присутствующих. Ещё в самом начале вечера он с удивлением обнаружил, что не только отец Август Гаусс, но и все остальные гости, кроме Винера, знают способ приготовления этого коктейля, который он считал своей монополией.

Кажущееся увлечение трофеями Винера не мешало Роу улавливать каждое слово, произносимое за столом. Он видел, как, твёрдо и дробно стуча каблуками, в комнату вошёл седой старикашка. Винер

представил гостя как своего старого друга, генерала фон Шверера, которому их друзья американцы любезно предоставили возможность прибыть сюда из Берлина так, что берлинские власти об этом и не знают. Роу услышал короткий диалог, произошедший между генералом и Паркером.

— Не узнаете? — с оттенком насмешки спросил Паркер.

Генерал несколько мгновений пристально рассматривал лицо американца, потом сделал быстрое отрицательное движение маленькой головой.

— А нашу последнюю встречу в салоне мадам Чан Кай-ши тоже

забыли? — спросил Паркер и, увидев, как обиженно насупился генерал, расхохотался. — Значит, догадались, кому обязаны своим отъездом из Китая?

Блэкборн услышал фальцет Шверера, как иглою пронзающий жужжание других голосов. Гости были уже сильно навеселе и касались многого такого, что представляло интерес. Генерал сразу заговорил о войне. Старый физик, едва уловив характер разговора, понял, к каким приятелям Роу он попал, и хотел было уйти, но, подумав, решил остаться.

Шверер говорил, обиженно поджимая губы:

— Вы ставите вопрос на голову. Не учёные заставляли и будут заставлять нас бросать бомбы, а мы заставляем их выдумывать эти бомбы. Не тактика и стратегия превратились в орудия науки, а наука превратилась в их помощника.

— Но вы должны признать, дорогой мой Шверер, — фамильярно проговорил Винер, — что именно открытия и изобретения становятся основными элементами тактики. Скоро учёные дадут вам возможность уничтожать врага, не видя его.

— Я не сторонник мистера Винера, но на этот раз он прав, — сказал Роу. — Учёные с их лабораториями оттеснили генералов

на второй план.

Генерал заносчиво вскинул было голову, но тут же совладал со своим раздражением против не в меру развязного победителя и, насколько мог спокойно, проговорил:

— Мышление господ цивильных профессоров так организовано, что они не знают, когда следует привести в действие их собственные изобретения.

— Этот момент никогда не определялся и военными, — сказал отец Август. Он сбросил пиджак, расстегнул манжеты и, закатав рукава, воскликнул: — Ну-ка, господа, позвольте вместо этой «Устрицы» приготовить вам кое-что

по старому монашескому способу.

Даже Роу крикнул, задохнувшись от крепкой смеси, которую взболтал патер. Обязанности бармена перешли к Августу. Настроение быстро повышалось. Запылал даже острый нос Шверера, и на лоснящихся жёлтых щеках Винера появился лёгкий румянец. Он воспользовался первым случаем, чтобы вернуться к прежней теме.

— Все старые представления о факторах войны и победы, вроде искусства полководцев и мужества армии, дисциплины и сытной пищи, румяных щёк и крепких икр солдата, — все это отходит на задний план по сравнению с фактором

оружия, стреляющего на тысячи километров.

Роу лукаво подмигнул:

— А вы не преувеличили насчёт выстрела на тысячу километров и прочего?

— Мы сможем произвести его не сегодня-завтра, если...

— Если?..

— ...если получим инженера Шверера, — сказал Винер.

— Вы полагаете, — насмешливо спросил Блэкборн, — что один инженер может заменить миллион солдат?

Винеру хотелось изобразить на своём лице презрение, но вместо того черты его сделались попросту

злыми, и непримиримая зависть прозвучала в его голосе, когда он сказал:

— Вам не понять!.. Мы говорим о Шверере, об Эгоне Шверере!

При этих словах генерал гордо выпятил грудь, как если бы речь шла не о сыне, навсегда потерянном для него. Генерал с нескрываемой неприязнью посмотрел на старого учёного, который, кажется, оспаривал гениальность его отпрыска Блэкборн действительно сказал:

— Неужели вы полагаете, что, будь этот ваш инженер хотя бы трижды гением, он сможет заменить народные массы, без участия которых

вы не овладеете даже квадратным сантиметром чьей бы то ни было земли?

— Наши снаряды...

Блэкборн повелительным жестом остановил Винера:

— Даже миллионы снарядов остаются только снарядами. Не они воюют, а народ. Разве вы в этом ещё не убедились на опыте последней войны? Неужели вы не поняли, что воля народа побеждает любую технику, любые «снаряды».

— Не понимаю, что вы имеете в виду!

— Волю русского народа, поставившего на колени всю немецкую машину войны.

Винер пожал плечами и с гримасой проговорил:

— Мы говорим о науке и о войне, а вы занимаетесь агитацией.

Тогда, пренебрежительно махнув в сторону Винера рукою, с видом, говорившим «бесполезно спорить», Блэкборн снова опустил взгляд на закрытую было книгу.

— Значит, — спросил Роу Винера, — все дело в том, чтобы добыть для вас этого Эгона Шверера?

— Ну, конечно же! — воскликнул, оживляясь, Винер. — Эгон Шверер увёз с собою свои расчёты, очень важные расчёты! Это звено, которого нам теперь нехватает. Конечно, мы восстановим его и сами,

но сколько времени нам на это нужно! Да, Шверер нам необходим с тем, что осталось в его голове. Дайте нам Шверера, и мы очень скоро сможем стрелять на три и на четыре тысячи километров. Генералы смогут побеждать, не выходя из своих вашингтонских кабинетов.

— Вот мы и договорились до полной чепухи! — с пьяной откровенностью воскликнул Роу, крепко стукнув стаканом по столу.

Шверер поморщился. Глаза Августа, критически наблюдавшего, как пьянеет Роу, сузились.

Винер насмешливо поднял бокал, чтобы чокнуться с Роу.

— Вам не кажется верным, —

начал он, — что если ваши союзники поставили Японию на колени двумя бомбами образца сорок пятого года, то...

— Если вы не знакомы с действительным положением вещей, милейший доктор, то могу вам сказать, — ответил Роу: — в тот день, когда «Летающие крепости» ещё только начинались атомной дрянью, Япония, ничего не зная об этом, уже подогнула ножки. Она уже намеревалась просить пощады. Так что бомбочки падали уже на её склонённую шею.

— Совершенно верно! — раздался из угла, где сидел Блэкборн, его уверенный голос. — К тому

времени победа над Японией уже была решена на материке, где её армия была разгромлена русскими.

— Ну, это уж слишком! — сердито крикнул Винер. А Август Гаусс, чтобы перебить физика, протянул ему стакан с коктейлем:

— Попробуйте моего сочинения.

— Не пью, — сказал Блэкборн и книгою, как если бы брезговал прикоснуться к священнику, отвёл его руку и настойчиво продолжал: — Удар Советской Армии был решающим и там, в победе на востоке. Ни для кого из нас не было в этом сомнения уже тогда.

— Для кого это «нас»? — поднимаясь из-за стола, визгливо

крикнул Шверер.

— Для огромного большинства людей в Европе и в Америке, для всех, кто не имел тогда представления об истинном смысле игры, ведшейся за спиною русских.

— Здесь нехватает только микрофона передатчика какой-нибудь коммунистической станции! — сказал Август.

Блэкборн усмехнулся:

— Не думаю, чтобы они пожелали транслировать такого старого осла, как я, но я бы от этого не отказался. Однако продолжаю свою мысль: в значении удара русских не было сомнений уже тогда, а теперь нет сомнений и в том, что

истинным назначением атомных бомб, сброшенных на головы японцев, было устрашение русских. Мы уже тогда помышляли о том, чтобы, воздействуя на нервы русских, помешать им спокойно трудиться по окончании войны. Да, да, господа, я отдаю себе полный отчёт в том, что говорю: мы хотели испугать русских. — Презрительная усмешка искривила его губы, когда он оглядел присутствующих. — Мне очень стыдно: бомба, сброшенная на врагов, предназначалась нашим самым верным, самым бескорыстным союзникам — русским!

— Враньё! — проворчал Паркер,

но так громко, что его могли слышать все, в том числе и сидящий в отдалении Блэкборн. И ещё громче повторил: — Враньё!

Но Блэкборн и ему ответил только пренебрежительной усмешкой.

— Выходит, что вы пошли в своих догадках дальше, чем сами русские, — стараясь попасть в иронический тон учёного, проговорил Август.

— Напрасно вы так думаете. Для всякого, кто следил за советской печатью и литературой, было ясно, что они разгадали наш замысел: устрашение и ещё раз устрашение! Игра на их нервах. Наша реклама

сработала против нас. Правда оказалась совсем иной, чем мы её расписывали, и Сталин, на мой взгляд, совершенно справедливо сказал, что наши атомные бомбы могут устрасить только тех, чьи слабые нервы не соответствуют нашему суровому веку.

— Однако это не помешало Молотову тут же заявить, что русские сами намерены завести себе атомные бомбы! — вставил патер.

— Он говорил об атомной энергии, а не о бомбе, и, насколько я помню, «ещё кое о чём». Именно так: «ещё кое что», — отпарировал Блэкборн.

— Значит, они не очень-то

полагаются на крепость своих нервов! — со смехом сказал Винер.

— Нет, по-моему, это значит, что они вполне уверены в слабости наших, — ответил ему Блэкборн.

— Честное слово, — с возмущением воскликнул Винер, — можно подумать, что вы не верите в действие бомб, которые мы пошлём в тыл противника!

— Мне не нужно ни верить, ни не верить, — спокойно произнёс физик, — потому что я, так же как вы, с точностью знаю ударную силу каждого типа существующих бомб.

— Ничего вы не знаете! — угрожающе потрясая кулаками, закричал Винер. — То, что мы

создадим без вашей помощи, будет в десятки, в сотни раз сильнее того, что создано при вас!

С мягкой любезностью, звучавшей более уничижающе, чем если бы он обозвал его самыми бранными, самыми позорными словами, старый физик произнёс, обращаясь к Винеру:

— Позвольте узнать, хорошо ли оплачивается ваша работа, сэр?

И, сделав вид, будто внимательно слушает, наклонился в сторону оторопевшего Винера. Тот, оправившись, сказал:

— Вы сами знаете. Вы тоже занимались этим делом.

Старик сделал несколько

неторопливых отрицательных движений головой и все так же негромко произнёс:

— Нет, я никогда не занимался шантажем.

— Послушайте!..

— То, что вы делаете, — не смущаясь, продолжал физик, — шантаж. Правда, шантаж несколько необычного масштаба, я бы даже сказал: грандиозный шантаж, но все же только шантаж.

— Вы забываетесь! — попытался крикнуть Винер, угрожающе придвигаясь к Блэкборну, но ему загородил дорогу Роу. Он покачивался на нетвёрдых ногах, и его глаза стали совершенно

оловянными. Глупо хихикая, он дохнул в лицо Винеру винным перегаром и проговорил заплетающимся языком:

— Не трогайте моего старика. Желаю, чтобы он говорил... У меня такое настроение... А главное... — Роу, оглядев всех, остановил взгляд на Винере... — мне начинает казаться: если старикан говорит, что вы шантажист, то, может быть, это так и есть, а?

— Вы сошли с ума! — крикнул Винер, поймав на себе ободряющий взгляд Паркера, которому тоже после нескольких лишних рюмок «Устрицы» начинала казаться забавной эта перепалка. — Вы

совершенно сошли с ума! — повторил Винер. — То, что мы создадим, — реальность, такая же реальность, как наше собственное существование.

— Ф-фу, чорт! — Роу провёл ладонью по лицу. — Я, кажется, перестаю что-либо понимать: значит, вы считаете, что мы с вами реальность?

— Перестаньте кривляться, Роу! — крикнул Паркер. — Винер прав.

Роу повёл в сторону Паркера налившимися кровью глазами и ничего не ответил, а Блэкборн рассмеялся было, но резко оборвал свой смех и грустно проговорил:

— Меня утешает вера в то, что там, где дело дойдёт до выражения воли целых народов — и вашего собственного, немецкого народа, и моего, и американского, и любого другого, — там здравый смысл, стремление к добру и здоровые инстинкты жизни возьмут верх над злою волей таких ошмётков наций, как ваши и бывшие мои хозяева, как вы сами, милейший доктор Винер! И мои седины позволяют предсказать вам: в кладовой народов найдётся верёвка и на вас! Моток крепкой верёвки, которой хватит на всех, кого не догадались повесить вместе с кейтелями, заукелями и прочей падалью!

Винер приблизился к учёному и, бледнея от ярости, раздельно проговорил:

— Вы мой гость, но...

— Пожалуйста, не стесняйтесь. Это уже не может иметь для меня никакого значения, — насмешливо произнёс Блэкборн.

— Но я прошу вас... — хотел продолжить Винер. Однако старик перебил его:

— Можете не беспокоиться: я не собираюсь делать вашу квартиру местом «красной» агитации. — Он обвёл присутствующих широким жестом. — В этом обществе она не имела бы никакого смысла. Но обещаю вам, что если буду жив, то

поставлю на суд народов свои идеи против ваших. И верю в исход этого суда!

На этот раз рассмеялся Винер:

— Вас привлекает такая перспектива?.. Нет, это не для меня, и этого не будет!.. Даже если правда всё, что вы тут говорили, пытаюсь развенчать могущество атомного оружия, то вы забыли об одном: об его агитационном значении.

— Шантаж страхом! — брезгливо проговорил Блэкборн. — История слишком серьёзная штука, чтобы её можно было делать такими грязными средствами!

— Вы не историк, а физик, профессор, — язвительно

проговорил отец Август.

— Если бы меня убедили в том, что я не прав, я, не выходя отсюда, пустил бы себе пулю в лоб.

Винер вынул из заднего кармана и с насмешливой улыбкой протянул Блэкборну маленький пистолет.

— Возьмите, дорогой коллега! Он вам понадобится ещё сегодня!

Отец Август подошёл с полным стаканом коктейля и тоже протянул его учёному.

— Тюремный бюджет обычно предусматривает стакан ободряющего приговорённому к смерти.

Блэкборн без всякой церемонии оттолкнул его руку так, что

содержимое стакана расплескалось, заливая костюм патера, и с достоинством произнёс:

— Нет, достопочтенный отец, и вы, — он движением подбородка указал на Винера, — не выйдет! Я ещё поживу. Назло вам поживу. Мне ещё в очень многом нужно разобраться, очень многое понять, мимо чего я прежде проходил. Стыдно, имея седую голову, признаваться, что только-только начинаешь понимать кое-что в происходящем вокруг тебя... Очень стыдно... Но нельзя больше быть малодушным. Рано или поздно надо перестать прятаться от самого себя. Это ниже человеческого

достоинства. Если не хочешь потерять уважение к самому себе, то нельзя становиться глупее страуса. Нужно вытащить голову из травы и посмотреть в глаза жизни. — Блэкборн сделал несколько шагов по комнате, остановился, задыхаясь, и протянул руку к окну, словно ему хотелось распахнуть его, чтобы впустить в комнату свежего воздуха. Задумчиво проговорил: — Я теперь понял, почему для меня не оказалось места в моей стране... Меня терзала мысль: смогу ли я прожить вне Англии, которая столько значила для меня...

— Как видно... — насмешливо бросил Винер.

— Да, как видно, я смогу прожить вне Англии, так как живу уверенностью, что вернусь в неё. Это не может не случиться. Я слишком верю в свой народ, чтобы потерять надежду на то, что он придёт в себя и прогонит шайку авантюристов, которые держат в руках власть над ним.

Роу, прищурившись, посмотрел на старика.

— Не имеете ли вы в виду правительство его величества, сэр? — с пьяной важностью спросил он.

— Безусловно.

— Я могу предложить вам работу у себя, профессор, — сказал

Винер. — Вы загладите свои ошибки, и Англия примет вас обратно.

— Я не совершал никаких ошибок, — с достоинством сказал старик.

— Если не был ошибкой ваш отказ работать над атомным оружием, значит ошибка в том, что вы прежде делали его?

— Нет, — Блэкборн сделал гневное движение, — и то и другое было правильно. Пока я верил, будто это оружие направлено на разгром фашизма, а следовательно, на благо человечества, я его делал; когда я получил уверенность, что оно направлено на укрепление нового фашизма, а следовательно, во вред

человечеству, я готов своими руками уничтожить его.

— Это уже нечто большее, чем простое неодобрение того, что мы делаем, — спокойно сказал Паркер.

— Повидимому, у меня действительно нехватает храбрости на что-то главное, что я должен был бы сделать в нынешнем положении, — проговорил Блэкборн. — Что-то, что могло бы стать самым главным в моей жизни... Я это чувствую, но оно ускользает от меня всякий раз, когда нужно подумать до конца.

— Может быть, вы подразумеваете заявление о желании стать коммунистом? — с

издевательским смешком спросил Август.

Некоторое время Блэкборн смотрел на него удивлённо.

— Нет, — сказал он наконец. — Ещё не это. Но неужели вы не понимаете, что если бы к тому, что они пустили в ход сейчас — этот свой план борьбы с засухой и обводнения огромных первобытных пустынь, — прибавить мирное использование атомной энергии, лицо вселенной изменилось бы так, как не мечтал ни один самый смелый утопист?

— А мы с вами, по вашему собственному уверению, болтались бы на перекладине? — спросил

Винер.

— Вы — разумеется, — ответил старик, — а что касается меня... я ещё не знаю.

— Воображаете, что вы отдали бы то, что ещё осталось полезного у вас в голове, русским?

— Зачем это им? У них есть свои головы, не хуже моей.

— Не улизнёте, милейший коллега, — не слушая его, проворил Винер, — нет! — И, хихикнув, полушопотом добавил: — Разные бывают самоубийства, герр профессор... Разные...

— Вы такой же гангстер, как остальные, — с презрением сказал Блэкборн. — Но я не умру ни от

своей пули, ни от вашей. Я хочу видеть, как взойдут эти новые сады там, у русских. И должен сказать, меня чертовски занимает пшеница Лысенко. Это меня занимает.

— Вот как? Это вас занимает? — злобно воскликнул Винер. — А я за свой счёт поставил бы памятник тому, кто сравнял бы с землёю и эти их сады и вообще всё, что русские успеют сделать в этой своей России.

— Вы омерзительны! — с отвращением передёргивая плечами, сказал старик. — И не воображаете же вы в самом деле, что те, кому вы угрожаете, бросят вам в ответ букет роз?

— Чорта с два, хе-хе, чорта с два... — Роу сделал несколько не очень твёрдых шагов, но вернулся к столу и тяжело упал в кресло.

— Кажется, вы не на трусов напали, — проговорил старый физик. — И вообще, господа, должен вам сказать: когда есть кому ободрить людей, есть кому открыть им глаза на истинную ценность всех этих жупелов, люди становятся вовсе уже не такими пугливыми, как бы вам хотелось. Вспомните-ка хорошенько: о том, что сопротивление невозможно, болтали уже тогда, когда появился пулемёт. А потом пытались запугать противника газами, танками... Нервы человека

выдержали все!

— Давайте-ка попробуем себе представить первый лень атомной свалки, — сказал Роу. — Пусть-ка генерал нарисует нам эту картину.

Шверер с готовностью поднялся и, клюнув носом воздух в сторону Паркера, быстро проговорил:

— Я беру на себя смелость подтвердить заявления, сделанные тут господином доктором фон Винером, о принципиальном отличии будущей войны от всех предыдущих. Это будет, если мне позволят так выразиться, война нового типа. Её точное планирование мы начнём в тот день, когда наука скажет, что справилась с задачей

столь же молниеносной переброски десантных войск, с какой мы сможем завтра посылать атомные снаряды.

— Какая ерунда! — пробормотал Блэкборн себе под нос, но Шверер услышал и растерянно умолк, глядя на англичанина. Тот сидел, опустив голову на сцепленные пальцы и закрыв глаза. Тогда Шверер сердито клюнул воздух в его сторону и с ещё большей убеждённостью продолжал:

— Без такой переброски войск не может идти речь об единственно разумной и, позвольте мне так выразиться, рентабельной войне.

— Как вы сказали? — перебил его Блэкборн. — Рентабельная

война?

— Да, именно так я сказал и так хотел сказать. — Шверер быстро сдёрнул с носа очки и повернулся к физику.

Тот опустил руки и посмотрел в лицо генералу.

— Рентабельная война... — в раздумье повторил он. — Это вы с точки зрения затрат, что ли?

Шверер с досадою взмахнул очками, как будто намереваясь бросить ими в англичанина.

— При чем тут затраты! — крикнул он. — Любая стоимость любой войны должна быть оплачена побеждёнными. Но с кого мы будем получать, если территория

побеждённого государства будет превращена в пустыню, а его население истреблено?

— Не это интересует нас, когда речь идёт о пространствах, находящихся в орбите коммунизма, — заметил Паркер.

Шверер снова было раздражённо взмахнул очками, но тут же удержал руку, сделал почтительный полупоклон в сторону американца и торопливо оседлал нос очками.

— В последней войне военное счастье оказалось не на нашей стороне, — проговорил он и поверх очков посмотрел сначала на Роу, потом на Паркера. — Позвольте мне

быть откровенным: нас не устроит тот мир, который вы нам готовите.

— А вы уже знаете, что мы вам готовим? — иронически спросил Паркер.

— Господь-бог не лишил нас разума! — ответил Шверер. — Мы понимаем, что значит быть побеждённым такими «деловыми людьми», как вы. Именно поэтому мы и думаем уже сейчас о том, как сделать следующую войну рентабельной.

— Я уже сказал, — перебил его Паркер, — нас это не занимает.

— А нас очень!.. Очень занимает! Мы не желаем превращать в прах всю собственную добычу! —

раздражённо крикнул Шверер.

— Как вы уверены, что она вам достанется, — с прежней насмешливостью проговорил американец.

— Уверенность, достойная похвалы, — заметил отец Август.

— Война, которую мы будем вести для вас, должна быть оплачена, — сказал Шверер.

— Разве мы возражаем? — Паркер поднял брови.

— И значит, будущий мир должен быть настолько рентабельным для нас всех, чтобы окупить и ту, будущую, и эту, прошедшую, войну.

— Что ж, —

покровительственно проговорил Паркер, — бухгалтерия правильная.

С этими словами Паркер поднялся и, отойдя к столику с бутылками, стал готовить себе коктейль. Шверер умолк. Ведь он говорил именно для этого американца. В нем Шверер видел представителя единственной силы, способной дать немецким генералам средства на осуществление их новых военных планов, и не только способной дать, но желающей дать и дающей. Шверера не особенно интересовало мнение Винера, так как он знал: этот социал-демократический капиталист только делает вид, будто поднялся до высот,

обеспечивающих ему независимость. Шверер отлично понимал, что теперь Винер находится в такой же зависимости от американских генералов и капиталистов, в какой когда-то находился от генералов немецких, и будет так же покорно исполнять все их приказы, как когда-то выполнял его собственные, Шверера, указания. Нет, не Винер интересовал его в этом обществе. И уж во всяком случае не отец Август. Хотя Шверер отлично помнил, что именно этот представитель Ватикана сунул ему первую лепту святого престола на алтарь бога будущей войны, но он также хорошо помнил и то, что лепта эта была в долларах.

Роу?.. Шверер исподлобья посмотрел на пьяного англичанина. Нет, эта фигура не внушала Швереру ни доверия, ни страха. Шверер угадывал, что Роу и сам смотрит на Паркера глазами неудачливого и обедневшего соперника; этому дряхлеющему представителю дряхлеющей империи уже никогда не придётся полной горстью разбрасывать соверены от Константинополя до Токио — всякому, кто согласен стать её цепным псом. Нет, тут ждать нечего. Паркер, Паркер! Вот в чью сторону нужно смотреть со всею преданностью, какую способны изобразить глаза Шверера. Паркер!

Вот в чью сторону стоит гнуть неподатливую спину! Паркер! Вот для кого тут стоит говорить!

И Шверер терпеливо ждал, пока американец взболтает свой коктейль. Генерал делал вид, будто старательно протирает очки, как будто для того, чтобы говорить, ему нужны были особенно чистые стекла. А Паркер между тем, приготовив питье, вернулся к столу и, не обращая внимания на то, что Шверер уже открыл рот для продолжения прерванной мысли, заговорил сам:

— Мне нравится ваша бухгалтерия, Шверер, да, нравится. Победа должна окупить для нас обе войны: прошлую и будущую. — Он

сделал глоток коктейля. — Но мне не нравится, что вы смотрите на плоды победы, как на нечто, принадлежащее вам.

— Мы это заработаем... заработаем кровью... — почтительно пролепетал генерал.

— За кровь немцев мы заплатим! — важно сказал Паркер. — Но не воображайте, будто она стоит так уж дорого. Пожалуйста, попробуйте продать её кому-нибудь другому... Ага, купцов не видно?! Вот в этом-то и дело: никто, кроме нас, её не купит, и никто, кроме нас, не способен заплатить вам за неё ни цента. Ведь ценою некоторой оттяжки,

необходимой на дополнительную работу, и мы можем подготовить себе солдат по гораздо более дешёвой цене, чем ваши.

— Таких послушных солдат, как наши, вы не получите нигде! — с гордостью проговорил Шверер.

— А разве мы этого не ценим? Кто ещё на нашем месте содержал бы вас всех — от фельдмаршалов до последнего рядового, — не имея уверенности, что вы понадобитесь?

— Если наши солдаты не понадобятся вам, мы сами пустим их в дело!

— Но, но, не так прытко! Вон там холодный сифон! — И Паркер насмешливо ткнул пальцем в сторону

пузатой бутылки. — Что вы без нас?!

— Танк без бензина, пушка без пороха... — поддакнул ему отец Август.

— Так я повторяю: мы ценим ваш товар, — продолжал Паркер. — Бывалые, хорошо тренированные, вымуштрованные головорезы — таких сразу не подготовишь ни из французов, ни из испанцев, ни даже из цветных, которых мы можем в любое время получить у любого индийского князька столько, сколько нам будет нужно...

Теперь Блэкборн был рад, что не ушёл сразу же, а остался. Стоило услышать собственными ушами весь этот откровенный бред

преступников. Он решил, что вытерпит до конца. Такие возможности бывают не часто. Услышав последние слова Паркера и желая его подзадорить, старый учёный сказал:

— Положим, эти времена прошли...

— Вот уже это мне не нравится, — укоризненно проговорил в его сторону Роу.

— Оставим это, — сказал Паркер. — Не в этом сейчас дело. Я ведь хотел только сказать, что вам, Шверер, следует знать: мы поим вас, кормим, вооружаем вас и дадим вам возможность воевать вовсе не во имя того, чтобы вернуть всё, что

потеряли вы, — работать вы будете на нас! Мы тоже хотим получить плоды, когда дерево будет повалено.

— Боже мой, как это характерно для вас всех! — воскликнул физик. — Чтобы получить яблоко — срубить яблоню. В этой психологии вся ваша природа.

— Отличная природа, мистер Блэкборн! — самодовольно возразил Паркер. — Шверер со мною согласится. Но я ещё раз должен сказать: мы понимаем это «яблоко» довольно широко. Поход против Советского Союза — вот наша цель, но именно потому, что нам нужно все, чем он владеет, чем может владеть, — все его земли, все недра,

все богатства страны. Не воображайте, что мы глупее вашего Геринга. У нас тоже есть своя «Зелёная папка».

— Святое чувство, законное чувство! — одобрительно проговорил отец Август.

Считая, что он должен положить конец всяким кривотолкам, Шверер крикнул Паркеру, пользуясь минутным молчанием:

— Клянусь вам, никто не ненавидит русских так, как мы, и среди нас никто так, как я!

— Что ж, это хорошо, — одобрительно отозвался американец.

Ободрённый Шверер пояснил:

— Вы поймёте меня, если

вспомните, сколько раз мы испили из-за русских чашу позора поражения! Сколько раз на протяжении веков нашей вражды со славянством! Этого нельзя больше выносить, этому должен быть положен конец! — Голос Шверера перешёл в злобный визг: — Россия должна быть уничтожена как государство.

— Иначе она может снова и снова побить вас? — насмешливо спросил Блэкборн.

Генерал в гневе швырнул очки на стол.

— Конец! — в бешенстве крикнул он. — Уничтожение! Полное уничтожение! — И, переводя

дыхание, сдержанно Паркеру: — Тогда мы спокойно поделим наследство славян. — Подумал и веско добавил: — Всех славян.

Паркер рассмеялся.

— Поделим? — Он в сомнении покачал головой. — Вы удивительно не точны сегодня в терминологии, Шверер.

Шверер пропустил насмешку мимо ушей и, стараясь говорить так, чтобы каждое его слово доходило именно до сидящего дальше всех Паркера, сказал:

— Именно в силу нашей заинтересованности в трофеях, будь то земли, капиталы или живые люди, я и настаиваю: такое сильно

действующее оружие, о котором мы тут говорим, должно применяться лишь в том случае, если мы получим возможность, молниеносно, первыми ударами сломив волю врага к сопротивлению, столь же молниеносно забросить на его землю свои войска, чтобы закрепить результат первого удара. Такова наша логика.

— Логика разбойников! — воскликнул Блэкборн.

Роу звонко шлёпнул себя по колену и весело крикнул:

— А ведь генерал прав! Честное слово, прав! Целью мясника всегда было убить вола, чтобы воспользоваться его мясом. А тут ему

предлагают испепелить тушу и вместо бифштексов получить какие-то молекулы, сдобренные соусом морального удовлетворения. Ни то, ни другое не может утолить даже самого скромного аппетита!

Шверер взглянул на Роу с благодарностью.

— Именно это, милостивые государи, я и хотел сказать.

Блэкборн движением руки заставил замолчать открывшего было рот Винера.

— Отвратительно и нелепо, даже смешно то, что все вы говорите. Рассуждаете вы, как люди, лишённые всякого опыта и не думающие ни о самих себе, ни о тех, кто считает вас

стоящими на страже их интересов...

Винер возмущённо пожал плечами; Паркер засмеялся; отец Август вызывающе скривил губы; Шверер застыл с выражением удивления на лице и с очками, зажатыми в вытянутой руке. Но тут проговорил Роу:

— Блэкборн прав... Это очень плохо, но он прав.

— Я знаю, что прав, — с достоинством и полной уверенностью сказал Блэкборн. — Разве может быть не прав человек, говорящий от имени английских учёных, инженеров, всех лучших людей интеллектуального труда? Вы скажете мне, что это ещё не вся

Англия? Конечно, вся Англия — это десятки миллионов простых людей. Я их недостаточно знаю, чтобы говорить за них, но думаю, что любой из них тут, на каком месте, доставил бы вам гораздо больше неприятностей, чем я. Не может быть не прав человек, говорящий от лица многих простых англичан. А сегодня я говорю от их имени...

— Не знаю, от имени каких англичан говорите вы, — перебил Винер, — но те англичане, которые уполномочили говорить меня, думают вовсе не так.

— Вас уполномочили говорить англичане? — насмешливо спросил старик. Его мохнатые брови

поднимались все выше.

Винер выпятил бороду и старался говорить как можно внушительней:

— Трижды!.. Я трижды ездил в Лондон по поручению нашей партии.

— Вашей партии? — Блэкборн даже привстал от удивления. — Шайку лакеев поджигателей войны вы называете партией?

Борода Винера поднялась ещё выше.

— Как член руководства социал-демократической партии Германии, я трижды говорил с лидером лейбористов...

Брови старого физика опустились, и он рассмеялся, а

Винер продолжал, приходя во все большее раздражение:

— Да, да, я встречался и с Бевином! От своего и от их имени я утверждаю: у нас нет расхождений!.. Ни в чём, ни в чем!..

— В этом я вам верю, — подавляя смех, сказал Блэкборн. — Я ещё не все понимаю в политике...

— Это заметно, — со злостью бросил отец Август, но физик только досадливо отмахнулся от него, как от назойливой мухи, и продолжал:

— Но кое в чём я уже разбираюсь и могу понять, что лейбористы в Англии — примерно то же, что Шумахер тут у вас, что наследники Блюма во Франции, что

Сарагат в Италии. Насколько мне помнится, таких господ называют «социал-империалистами». — Блэкборн засмеялся. — Довольно точное определение...

— Клевета на лейбористов! — крикнул Винер. — Они — величайшие альтруисты в международном понимании. Для них не существует даже национальных интересов Англии...

— Это-то и ужасно! — парировал Блэкборн.

— ...там, где речь идёт об интересах всего мира.

— Американского мира?

— При заключении Союза пяти государств Бевин решительно

заявил, — не унимался Винер, — что народы должны пожертвовать национальными интересами в пользу общего блага.

— Поскольку это благо измеряется доходами шестидесяти семейств Америки, двухсот семейств Франции и нескольких десятков британских династий монополистов? Так вы понимаете «всеобщее благо»? А я уже не могу понимать его так, не могу. Я вырос.

— Сожалею, что вы не добрый католик, — проговорил отец Август, — а то бы я помог вашему отлучению от церкви.

— Послушайте, старина, — коснеющим языком крикнул Роу

физику, — не забирайтесь в дебри социологии! Мы отвлеклись от темы. Бомба — вот о чём стоит говорить. Бомба!

— Довольно! —

безапелляционно заявил Август. — Надоело.

— Я ещё не все сказал, — настойчиво продолжал физик. — Не безумие ли действительно воображать, будто половина человечества, живущая между Эльбой и Тихим океаном, ждёт ваших бомб и ничего не изобрела для защиты от них? Начиная такую войну, вы обречёте и свою собственную страну на опустошение не только потому, что русские

должны будут ответить двойным ударом на удар... А силу их контрударов мы с вами уже видели на опыте Германии... Так я говорю: они будут защищаться не только потому, что сохраняют крепкие нервы и материальные средства для обороны, а и потому, что вы вынудите их наступать.

Роу внимательно слушал физика. Он стоял, ссутулив спину, и хмуро оглядывал окружающих из-под сдвинутых бровей. У него был вид человека, припёртого к стене, но готового защищаться.

Физик, не обращая на него внимания, продолжал:

— Кто бы из вас — англичане,

французы, испанцы — ни
предоставил янки возможность
стрелять с их земли, они явятся, так
сказать, участниками в деле и
должны быть готовы к тому, что
именно их-то в первую очередь и
сотрут с лица земли ответные
снаряды. Но зато, думаете вы, не
пострадает ваш хозяин за океаном.
До него, мол, трудно дотянуться.
Неправда, и он не вылезет из воды
сухим! Доберутся и до него. В общем
же вопрос ясен: участь того, кто
нападает, и участь того, с чьей земли
произведут нападение, не будет
отличаться от участи жертвы
нападения. — Заметив
протестующий жест Винера,

Блэкборн повысил голос: — Только последний осел может вообра...

— Вы пророчите пат? — с усмешкой перебил Паркер и покачал головой. — Пата не будет.

— Пата действительно не будет, — отвечал Блэкборн. — Кое-кто из вас, может быть, слышал имя Герберта Уэллса. — Заметив удивлённые взгляды, он пояснил: — Был такой писатель у нас, в Англии. Так вот, под конец жизни он написал трактат под названием «Мысль у предела». В этом трактате он отрицал свою прежнюю точку зрения, высказанную в нескольких романах, будто, несмотря на безумие взаимоистребления, человечество

сумеет найти дорогу к будущему более светлому, нежели его настоящее. «Мысль у предела» утверждает, что результатом атомного побоища будет хаос и вечная тьма. Человечество умрёт, и земной шар порастёт бурьяном... если бурьяну удастся пробиться сквозь слой испепелённой земли и расплавленного камня.

— Мы кончим войну во имя торжества нашего общества, — сказал отец Август. — Человечество вернётся ко времени, когда раб был счастлив тем, что трудился на своего господина.

Блэкборн пренебрежительно пожал плечами.

— Вы не дали мне досказать. Я
вовсе не разделяю мнения Уэллса,
никакого светопреставления,
конечно, не произойдёт. Усилия ваши
приведут к тому, что война на той
стадии, которая кажется вам высшей,
окажется отрицанием себя самой.
Она станет бессмыслицей. Вы
получите... мат!..

— Ну, это уж слишком! —
крикнуло сразу несколько человек.

— Валяйте, старина! — пьяно
пробормотал Роу.

— Как это ни смешно, но, на
мой взгляд, даже если вам удастся
зажечь атомную войну, во что я не
верю, вы получите мат не только от
русских, — сказал Блэкборн, — но и

от американцев, от англичан, от французов и немцев... Да, именно так. Из рабочих кварталов Ист-Энда и Веддинга, из Клиши и Ист-Сайда придёт вам конец. — Он оглядел удивлённо молчавших слушателей. — Можно подумать, что вы меня не поняли.

— К сожалению, — медленно процедил сквозь зубы отец Август, — мы вас отлично поняли.

Винер, срываясь на злобный визг, крикнул:

— Пусть американцы усеют атомными установками всю Германию, пусть разрушат всю Европу! Это лучше того, что пророчите вы, Блэкборн...

— И вы думаете тоже спастись по ту сторону океана? — повысив голос, спросил его Блэкборн. — Не выйдет, доктор! Не выйдет! Вы и есть тот нож, которым американский Шейлок хочет вырезать кусок нашего мяса. — Он внезапно умолк и потёр лоб. — Впрочем, это частность. Это наши с ними счёты: англичан с Америкой, — миллионов простых англичан с шестьюдесятью семействами Уолл-стрита. И дело даже не в этих счетах и... даже не в вас. — При этих словах в голосе старого учёного зазвучало такое негодование и презрение такой силы, что слушатели один за другим, помимо своей воли, поднялись из-за

стола и стояли теперь одни с растерянными, другие с сердито сосредоточенными лицами. — Разумеется, вопрос стоит гораздо шире и гораздо страшней, чем наши с вами счёты. Вы вооружили Гитлера, на вас кровь миллионов. Вы хотите повторения? Его не будет! Клянусь жизнью: не будет! Кровь первой же жертвы заставила бы массы схватить вас, как преступников, и вы подошли бы от животного страха, прежде чем на вашу шею накинута бы петля! Я... презираю вас так, как только в силах презирать человек... Презираю!

Блэкборн круто повернулся и, не оглядываясь, вышел.

Среди насторожённой тишины, воцарившейся в комнате, слышались шаркающие шаги Роу. Пытаясь держаться прямо, он направился к Паркеру. Его затуманенный спиртом мозг уже отказывался держать волю в обычном повиновении. Звериная ненависть и бессильная зависть заливали сознание Роу: некогда хозяин полумира, англичанин был уже почти на побегушках у этого паршивого фабриканта жевательной резинки, явившегося из-за океана, чтобы вырвать у него из горла самые жирные куски.

Приблизившись к Паркеру и широко расставив ноги, чтобы

придать устойчивость своему покачивающемуся телу, Роу хрипло крикнул:

— Ж-жаль, очень ж-жаль, что старик смылся, а то бы я ему сказал, кто он такой... — Роу угрожающе взмахнул рукою вслед удалившемуся Блэкборну, и это движение едва не стоило ему потери равновесия. — Да, ч-чорт побери, я отметаю всю эту болтовню — она не для меня. И ч-чорт его дери... и... и вас всех вместе с ним! — Роу топнул ногой и ударил себя в грудь. — Права или не права, но это моя страна! И будь я проклят, если обменяю текущий счёт в Английском банке на омлет из яичного порошка!.. Американский

Шейлок!.. Он испортил нам всю лавочку, так пусть убирается к чорту. Без него мы тут справлялись со своими делами. Англия была Англией, а не посадочной площадкой для «Летающих крепостей». И у этой чортовой Германии тоже было место под солнцем. С нею мы кое-как поделили бы и колонии, и все прочее... А заокеанскому Шейлоку захотелось и Германии, и Англии, и наших колоний... Не выйдет! Вот с чем господин Шейлок вернётся к себе... — Роу выдернул руку из кармана и показал Паркеру кукиш. — И пусть уходит, пока не поздно. Мы ещё не выплюнули свои зубы за борт, как вам хотелось бы этого. Мы ещё

не разучились кусаться... А у бульдога мёртвая хватка.

Никто не обратил внимания на замечание, сквозь зубы брошенное священником в сторону Паркера:

— Пьяный болтает то, что думает трезвый.

Согласно кивнув, Паркер встал и, медленно приближаясь к Роу, вынул руки из карманов. Только теперь по налившимся кровью мутным глазам американца можно было видеть, что он тоже пьян.

— Э, бросьте, старина, храбриться! — крикнул ему Роу. — Мы тут, в Старом Свете, тоже не забыли, что такое сжатые кулаки. — И он, продолжая опираться о стенку,

сделал усилие принять позицию боксёра. — Сказать вам откровенно, джентльмены, все мы очутились в положении охотника, поймавшего медведя за хвост: держать тошно, а отпустить страшно...

Удар паркеровского кулака угодил Роу в челюсть. Громко ляскнули зубы, голова глухо стукнулась о стену, и Роу повалился на пол.

— Вполне закономерный конец, — спокойно проговорил отец Август.

Роу неожиданно приподнялся с пола и, с трудом шевеля вспухшими губами, хихикая, забормотал:

— На этот раз я согласен с вами,

святой отец: каждый из нас получит то, что ему определено. — Он сплюнул скопившуюся во рту кровь. — В одной Европе их уже по крайней мере пятьсот миллионов, да, вероятно, вдвое больше в Азии... Полтора миллиарда!.. Полтора миллиарда, господа!.. Каждый из них только плюнет по разу — и мы захлебнёмся в этих плевках!

На следующий день Блэкборн, спустившись к завтраку в ресторан своей гостиницы, как всегда, в одиночестве выпил кофе. Просматривая немецкую газету, Блэкборн дошёл до полицейской хроники на последней странице. И

тут он едва не пропустил заметку под заголовком: «Утопленник в канализации».

«Сегодня на рассвете в канализационном тоннеле был обнаружен труп человека, утонувшего в нечистотах. Медицинской экспертизой установлено, что перед смертью утопленник находился в состоянии сильного опьянения. При нем найдена визитная карточка на имя журналиста Уинфреда Роу».

Блэкборн с отвращением отбросил газету.

Гюнтер Зинн в задумчивости почёсывал карандашом голову. Ему казалось, что тревожные сведения, пришедшие от товарищей из Западной Германии, требовали немедленного и решительного вмешательства всех немцев, — во всяком случае, всех тех, кому дорого будущее их родины, её независимость, её достоинство и, вероятно, самая жизнь немецкого народа, которую с такою лёгкостью ставят на карту англо-американцы и продавшиеся им душою и телом социал-демократические главари из банды Шумахера и компании. От

Трейчке, который все ещё оставался в подполье, и от группировавшихся вокруг него товарищей поступали неопровержимые данные о том, что хорошо известный фабрикант «фау» Винер вернулся из-за океана и прочно обосновал свои предприятия и лаборатории в Испании. Мало того, Винер достиг соглашения с оккупационными властями Тризонии о том, что людвигсгафенские заводы «ИГ», расположенные во французской зоне оккупации, будут изготавливать взрывчатое вещество огромной силы, предназначенное для наполнения проектируемого заводом Винера «фау-13». По мнению товарищей, поддерживающих связь с

революционным подпольем Испании, работы у Винера подвигались там вперёд, несмотря на то, что недоставало части проекта, оставшейся в руках его бывшего конструктора Эгона Шверера. Отсутствие Эгона Винер старался возместить другими инженерами, на оплату которых не жалел денег, щедро отпускаемых ему американцами. Шайка Ванденгейма, являвшегося фактическим хозяином Винера, торопила его с исследованиями и расчётами.

Наряду с безудержной похвальбой, с помощью которой новоявленные заатлантические Геббельсы старались поддерживать в

мире страх перед воображаемым могуществом тайного оружия, якобы в неограниченном количестве имеющегося в американских арсеналах, американцы тщательно оберегали секреты того, что готовили в действительности руками своих собственных американских и захваченных немецких учёных.

Данные о тайных работах Винера добывались ценой самоотверженного, связанного с риском для жизни, стремления честных немцев помочь разрушению тёмных планов немецкого милитаризма, возрождавшегося под англо-американским крылышком. Информация Трейчке поневоле была

отрывочной, разрозненной.

Полную картину действительного положения вещей Зинн получил только после того, как по его просьбе Эгон Шверер свёл для него все эти данные воедино.

— Каково же ваше собственное мнение, доктор? — спросил Зинн, ознакомившись с материалами, представленными ему Эгоном.

— Главное для меня в том, что я здесь ни при чем, — ответил Эгон.

— Понимаю ваше удовлетворение, — с усмешкой сказал Зинн. — Но меня интересует и кое-что другое: смогут ли они осуществить этот «фау-13» без вашего участия? Без того, что

осталось у вас в голове?

— Вы же знаете: в наши дни не может существовать непреодолимых секретов на участках, уже пройденных наукой.

— Ваше отсутствие Винеру не помешает?

— Разумеется, оно задержит отыскание окончательного решения... Задержит до тех пор, пока другой инженер или несколько других инженеров не придут к тем же выводам, к которым пришёл в своё время я.

— А в том виде, в каком Винер имеет изобретение в руках сейчас, это оружие готово?

Эгон усмехнулся:

— Они думают, что готово... Они не замечают одной ошибки, которая и мне доставила когда-то много неприятностей.

На этом их разговор тогда и окончился. Но скоро Зинн понял, что дело, конечно, не в ошибке, о которой говорил Эгон, и не в том, закончит ли Винер свой проект завтра или послезавтра, а дело в том, что на земле немецкого народа, его собственными руками, ценою каторжного труда немецких рабочих, за счёт голодания немецких женщин и истощения немецких детей снова куётся ярмо для Германии, для всей Европы, для всего мира. Вот в чём было дело. Вот о чём думал сейчас

ответственный партийный
функционер Гюнтер Зинн.

Он раздражённо отбросил карандаш и его взгляд в нетерпении остановился на стрелке стенных часов: Рупрехт Вирт опаздывал на несколько минут Зинн уже потянулся было к телефонной трубке, когда дверь без стука отворилась и на пороге появился Вирт.

— Слушай, Рупп, — без всякого вступления сказал Зинн, — ты не хуже меня знаешь, как трудно бороться с фашистской сволочью, которая снова поднимает голову...

Рупп недоуменно поднял плечи: его спрашивали о том, что знал каждый немец, не говоря уже о

членах партии.

— Я, видишь ли, заговорил об этом потому, что должен посоветоваться с тобою кое о чём, что пришло мне в голову, — продолжал Зинн. — Шумахеровцы настолько спелись с разведками американцев, англичан и французов, что любыми средствами борются не только с проявлениями антифашизма, но и против интересов всех немцев за Эльбой, против интересов всей Германии.

— Что здесь такое? — недовольно спросил Рупп. — Политшкола?

Зинн дружески положил ему руку на плечо:

— Не сердись, старина, это просто дружеская беседа. Уж очень накипело в душе. Иногда хочется выговориться... Если эти скоты хотят сделать Германию площадкой для американских реактивно-атомных установок, если они намерены превратить её в поле битвы между своим выдуманым «западом» и Советским Союзом, — обязаны же мы помешать этому?

— Станный вопрос, — Рупп пожал плечами. — У нас тут достаточно хорошо понимают, куда ведёт Германию триумvirат Шумахер — Тиссен — Шмитц. «Немцы за Эльбой» не хотят быть рабами ни янки, ни их отечественной

челяди.

Теперь Зинн, в свою очередь, с улыбкой спросил:

— Я хотел бы знать, что ты думаешь насчёт Шверера?

— На моем горизонте трое Швереров... Кстати, об Эрнсте Шверере. Я стараюсь не упускать его из виду, но при всякой угрозе провала этот молодчик ныряет в лазейку, которую ему открывают из той зоны, и исчезает под крылышко американцев.

— Я не о нем, меня интересует Эгон.

Вирт сказал, понизив голос:

— Кажется, я знаю, чего ты от него хочешь... Он не станет

заниматься военными проектами.

— Дело не в этом... Я хотел сказать: не совсем в этом.

— Я так и знал! — с усмешкою сказал Рупп.

— Что ты знал?! — внезапно раздражаясь, сказал Зинн. — Ничего ты не знаешь и не можешь знать! — Но тут же, беря себя в руки, спокойно проговорил: — Ты слышал о Винере?

— Имею представление.

— Над чем он работает, знаешь?

— Да.

— Нужно, чтобы Эгон Шверер ещё раз вплотную занялся этими проектами ракет.

— Я же тебе сказал: я знаю, чего ты хочешь от Эгона. Но повторяю: он

на это не пойдёт.

Зинн ударил ладонью по столу.

— Подожди с твоим заключением. Эгон настолько хорошо все знает, что лучше всякого другого может разоблачить эти затеи перед всем миром.

— Ты хочешь, чтобы он выступил?

— Да, с разоблачением, которое разорвалось бы на глазах всех народов с эффектом, в десять раз большим, чем самая страшная атомная бомба.

Несколько мгновений Рупп молча стоял перед Зинном, потом воскликнул:

— Я лопаюсь от зависти, что

такая идея пришла не мне! Честное слово, вот бомба, которую надо сбросить как можно скорее, — правда!

— Не ожидая войны, — со смехом сказал Зинн и тут же увидел, как стало серьёзным лицо молодого человека.

— А ты понимаешь, чего это может стоить доктору Швереру? — спросил Рупп.

— Я ничего не собираюсь от него скрывать.

Рупп задумался. Зинну пришлось переспросить:

— Что же ты думаешь?

И Рупп ответил так, словно предложение было сделано ему

самому:

— Дело должно быть сделано.

— Может быть, ты с ним и поговоришь? — предложил Зинн.

— Мы с ним слишком большие друзья. А уж одного того, что ты пригласил бы его сюда, было бы достаточно, чтобы он поверил в серьёзность дела. Он должен знать, что это нужно для блага Германии, «нам, немцам», как бывало говорил Лемке...

— Ты забыл о том, что сказал сам: в наши дни автор такого разоблачения рискует жизнью.

— А разве ты не рискнул бы?

— Ну, мы с тобой... Мы — члены партии.

— Почему ты думаешь, что мужество — наша монополия?

— Этот Шверер в прошлом...

— Я знаю, он заблуждался.

— И очень сильно!

— И все же Лемке доверял ему, — сказал Рупп. — И, на мой взгляд, Эгон, наконец, понял все до конца и хочет оставаться честным перед самим собой и перед своим народом.

— Этого достаточно, — решительно проговорил Зинн. — Приведи его. И как можно скорей.

— Я тебе говорю: он совсем неплохой человек. Только постарайся насчёт... его безопасности... — Рупп посмотрел на часы. — Ты не забыл

об открытии гимназии?

— Мне пора, — согласно кивнул Зинн. — Кажется, ведь небольшое дело — открытие гимназии, в которую может послать своих детей самый бедный немец.

— Сколько их тебе ещё предстоит открыть!

Рупп был уже в коридоре, когда за ним вдруг порывисто распахнулась дверь и Зинн крикнул:

— Эй, Рупп, погоди-ка! Я забыл показать тебе.

И, сияя радостью, он протянул телеграмму. Рупп прочёл:

«Ура! У нас — сын. Здоровье Ренни отлично. Рудольф».

Рупп рассмеялся:

— Готов вместе с ним крикнуть «ура».

— Уж этот-то новый Цихауэр узнает, что такое счастье в Германии! — уверенно проговорил Зинн.

— Пошли им привет и от меня! — крикнул Рупп, сбегая с лестницы.

— Через несколько дней поздравить их сам тут, — прокричал вслед ему Зинн. — Руди уже выехал в Берлин.

— Тем лучше, тем лучше! А своего малыша они привезут, вероятно, в той самой огромной корзине, которую Ренни когда-то носила на спине?

Зинн рассмеялся:

— Это была, действительно, огромная корзина. Я как сейчас вижу Ренни Шенек, сгибающуюся под тяжестью ноши... И эти похороны в горах у Визенталя...

Шаги Руппа замерли далеко внизу.

Поток воспоминаний нахлынул на Зинна. Он стоял, опершись на перила, и глядел в глубокий провал лестничной клетки, как в пропасть, где перед его взором проходила длинная череда лиц и событий прошлого — такого близкого и вместе с тем уже такого безвозвратно далёкого. К счастью, именно безвозвратно, навсегда ушедшего в

прошлое, как в туман над ущельем Визенталя...

Когда через час Рупп подходил к подъезду Эгона Шверера, ему бросился в глаза автомобиль, на стекле которого виднелся пропуск, какой выдаётся для въезда из западных зон в советскую. Первой мыслью Руппа было: «Эрнст!» Он с беспокойством вошёл в дом и сразу заметил, что там царит некоторый переполох. Раскрасневшаяся Эльза водила утюгом по тугому, как броня, пластрону крахмальной мужской сорочки.

— Доктор Шверер собирается куда-нибудь ехать? — спросил Рупп,

стараясь сообразить, куда может ехать Эгон на американской машине. И вздохнул с облегчением, когда Эльза сказала:

— Он ведёт Лили в гимназию, которая сегодня открывается.

— А этот автомобиль?

Эльза приложила палец к губам и глазами показала на неплотно притворённую дверь, за которой слышались голоса.

— Приехала из Франкфурта бабушка Эмма, — прошептала Эльза.

Из-за двери был отчётливо слышен голос генеральши Шверер:

— Отцу кто-то сказал такую глупость, будто ты намерен отдать нашу Лили в эту новую гимназию.

— Кто-то позаботился о том, чтоб сказать сущую правду, — ответил спокойный голос Эгона.

— В бесплатную школу?!
Словно дочь нищего?

— Теперь тут все учатся бесплатно, мама, — все так же спокойно проговорил Эгон.

— Но отец этим очень обеспокоен, Эги, — взволнованно проговорила старуха. — Он очень обеспокоен. Ты видишь, я ехала всю ночь, чтобы...

В голосе Эгона зазвучала насмешка:

— Это очень трогательно, что американцы не пожалели несколько галлонов бензина ради такого

маленького человечка, как моя Лили. Но вы истратили их бензин напрасно.

— Я тебя не понимаю.

— Лили поступает сегодня в школу, именно в эту школу.

— Там, наверно, царят здешние идеи, Эгон! — воскликнула фрау Эмма.

— Безусловно. — ответил Эгон. — Я и отдаю мою дочь туда потому, что не хочу, чтобы с нею произошло то, что случилось с её отцом: только став седым, я понял, что значит быть немцем.

— Я тебя все ещё не понимаю.

— И не поймёте.

— Ты, что же, думаешь, что я не

способна?..

— Я сам тоже когда-то не понимал многого и, вероятно, так и не понял бы, если бы не решился тогда... бежать.

— Боже мой!.. Не вспоминай об этом позоре!

— Только тогда, скрываясь в чужой стране и глядя оттуда на всё, что происходило тут...

— Не смей, не смей! — крикнула старуха. — Это было позором. Для тебя, для нас всех... Я никогда не решалась сказать тебе, как называл тебя отец, узнав о твоём бегстве из Германии!

Эгон рассмеялся:

— Наверно, дезертиром?

— Он сказал, что ты... изменник! В те тяжкие для отчизны дни...

— Не для отчизны, а для гитлеризма. Это не одно и то же.

— Когда твой отец и твои братья дрались уже на самых границах Германии, чтобы спасти её от русских...

— Они спасали не Германию, а Гитлера и самих себя.

— Ты говоришь, как настоящий... большевик. Я не хочу, не хочу тебя слушать, ты марксист!

— К сожалению, ещё далеко нет.

— Ты издеваешься надо мною! — По голосу старухи можно было подумать, что ей сейчас будет

плохо. Несколько мгновений из комнаты доносилось только её частое, взволнованное дыхание. Потом она прерывающимся голосом, негромко сказала:

— Что же я должна передать её дедушке?

— Единственно правильным было бы сказать ему правду.

— О, конечно, правду, только святую правду! — напыщенно воскликнула она.

— Тогда скажите ему, что у него нет больше внучки.

— Эгон!

— Да, род Швереров, тех Швереров, которые из поколения в поколение служили в 6-м

кавалерийском его величества короля прусского полку, кончился.

— Эгон!

— Он кончился на Отто и Эрнсте. Я всегда был не в счёт.

— Ты не смеешь так говорить об Отто! — Она поднесла носовой платок к глазам. — Мы даже не знаем, где его могила там в России... Я всегда заступалась за тебя перед отцом, но теперь я вижу, ты и вправду не в счёт.

— На сцену выходит новое поколение немцев, обыкновенных маленьких немцев, которые войдут сегодня в эту новую бесплатную школу. Среди них будет и моя дочь, моя Лили.

— Я не хочу, не хочу тебя слушать! — прокричала старуха.

Но Эгон продолжал:

— И я от всей души хочу, чтобы учителя вложили в их маленькие головы правдивое представление о грядущем уделе Германии, который будет уделом свободы и труда, счастьем равных среди равных, а не глиняным величием воинственных бредней.

— Я не могу сказать все это ему! — в отчаянии произнесла фрау Эмма.

— Напрасно. Он должен это знать, — твёрдо проговорил Эгон, — если хотите, я напишу ему.

— Упаси тебя бог! Может быть,

я не должна говорить тебе, но... я не могу молчать: он боится за вас всех, за тебя, за нашу маленькую Лили и даже за твою жену. — Она говорила торопливо, не давая перебить себя. — Ведь когда начнётся война, все, кто находится здесь, по эту сторону, обречены на смерть, на истребление.

— Это слово вы слышали от него? — с неподдельным интересом спросил Эгон.

— Да, да, пойми же: поголовное истребление! — с жаром воскликнула она.

Тут Рупп и Эльза услышали громкий смех Эгона, и он сказал:

— Так скажите же ему, мама,

что это чепуха!

— Эгон, Эгон!

— Бредни выживших из ума двуногих зверей, тех, чьё поколение быстро шагает к могиле, чтобы навсегда исчезнуть с лица Германии. Это вы тоже можете сказать: простые немцы, шестьдесят миллионов немцев, постараются помешать обезумевшим банкротам затеять новую бойню.

— Эгон! — Старуха всплеснула руками. — Ты говоришь об отце!

— Нет, — Эгон покачал головой. — Так же как у генерала Шверера нет больше сына Эгона, так у меня нет больше отца.

Неподдельный ужас старухи

дошёл до предела, она в страхе повторяла только:

— Нет... нет... нет!..

Эгон чувствовал, что именно сейчас окончательно закрепляется тот поворот в его жизни, на который он столько лет копил решимость и который совершил после такой борьбы со своим прошлым. Этот поворот представлялся ему не только победой над тяготевшим над ним грузом прошлого, но и началом новой жизни, пусть более короткой, чем та, которую он прожил, но бесконечно более полной и неизмеримо более нужной ему самому и его народу. Ещё одно последнее усилие — преодолеть

жалость к этой женщине, такой чужой и даже враждебной, несмотря на то, что она была его матерью. Покончить со всем этим!.. Он заставил себя твёрдо повторить:

— Именно это и передайте: у него нет больше сына, а у меня отца... Вот и все...

— Нет, нет... Этого не может быть! — Старуха поднялась и, театрально раскрыв объятия, шагнула к Эгону.

Эгон попятился и, заложив руки за спину, сделал отрицательное движение головой. Выражение растерянности сбежало с лица старухи. Морщины, с которых осыпался густой слой скрывавшей их

пудры, сложились в гримасу, и старуха, задыхаясь от бешенства, крикнула:

— Я проклиная тебя!.. Проклинаю вас обоих!.. Но знай: мы ни за что не оставим нашу внучку в твоих руках, в ваших руках, в руках марксистов. Слышишь: мы позаботимся о том, чтобы она не пошла по твоему пути!

Старуха хотела ещё добавить, что об этом позаботится Эрнст, который со своими сообщниками ждёт за углом её появления с Лили, чтобы схватить ребёнка и увезти на запад. Но она во-время вспомнила, что ей было строго-настрого приказано молчать о том, что она

приехала сюда вместе с Эрнстом, что цель её поездки — похищение девочки, которая должна послужить приманкой для захвата самого Эгона. Старуха даже схватилась рукою за рот, будто ловя едва не вырвавшееся неосторожное признание. Она круто повернулась и пошла к двери. Уже с порога плаксиво бросила Эгону:

— Проводи же меня.

Но он не изменил позы и только снова молча отрицательно качнул головой.

Когда мать исчезла за порогом, он подошёл к оставшейся распахнутой двери и медленно, плотно её затворил. Он навсегда и накрепко захлопывал дверь своего

прошлого.

Эгон хмуро поздоровался с Руппом.

— Когда-то я думал, что два враждебных лагеря — это я и Эрнст, но я никогда не допускал мысли о возможности такого... Отцы против детей, деды против внуков. И где их разум, где совесть и честь?

— Для них вопрос стоит просто: честь или кошелёк, совесть или жизнь... Я к вам по делу, доктор. С поручением от Зинна.

И Рупп рассказал ему о плане разоблачения махинаций Винера и американцев.

— Бросить счётный аппарат? —

в испуге спросил Эгон.

— Может быть.

— Когда он почти готов?

— Вспомните, что вы говорили пять минут назад.

— Вы правы, вы правы... Я подумаю, я, конечно, подумаю над вашим предложением. — Он остановился и, нахмурившись, смотрел на сверкающую крахмальной белизной рубашку, которую держала перед ним Эльза. Потом прошёл в кабинет, снял с полки книжку, вернулся к Руппу и, отыскав интересовавшее его место, прочёл:

— «Выиграть войну с Германией значит осуществить великое

историческое дело. Но выиграть войну ещё не значит обеспечить народам прочный мир и надёжную безопасность в будущем. Задача состоит не только в том, чтобы выиграть войну, но и в том, чтобы сделать невозможным возникновение новой агрессии и новой войны, если не навсегда, то по крайней мере в течение длительного периода времени».

Заметив устремлённый на него удивлённый взгляд Руппа, Эгон сказал:

— Видите, я уже и сам знаю, где искать правду! — И продолжал читать вслух: — «После поражения Германии она, конечно, будет

разоружена как в экономическом, так и в военно-политическом отношении. Было бы, однако, наивно думать, что она не попытается возродить свою мощь и развернуть новую агрессию. Всем известно, что немецкие заправилы уже теперь готовятся к новой войне. История показывает, что достаточно короткого периода времени в 20-30 лет, чтобы Германия оправилась от поражения и восстановила свою мощь. Какие имеются средства для того, чтобы предотвратить новую агрессию со стороны Германии, а если война все же возникнет, — задушить её в самом начале и не дать ей развернуться в большую войну?»

Эгон посмотрел на Руппа блестящими глазами.

— Это замечательно! — воскликнул он. — Ведь это написано четыре года назад. Четыре года тому назад он предвидел то, что мы с трудом и недоверием постигаем сегодня. И не является ли то, что предлагает мне Зинн, одним из тех средств, направленных к предотвращению войны, о которых говорил Сталин?

— Я думаю, что это именно так!

— Дорогой друг, — загораясь все больше, сказал Эгон, — не примите это за самомнение, я вовсе не хочу себе приписывать больше, чем заслужил, но все моё существо

наполняется гордостью при мысли, что и я, маленький человек, немец, жестоко заблуждавшийся и принёсший так много вреда народу, могу сделать что-то, о чём говорит Сталин...

Некоторое время он стоял, положив руки на грудь, и горящими глазами смотрел на Руппа.

— Эльза! — крикнул он. — Скорее мою рубашку! Мы не должны опоздать в школу. — И снова повернулся к Руппу: — Это смешно, но я волнуюсь так, как будто в гимназию поступаю я сам, будто я сам иду в первый класс, чтобы приобщиться к какой-то новой, ещё совершенно незнакомой мне,

прекрасной жизни моего народа.

Они сидели рядом на торжестве открытия школы, и Руппу передавалось волнение, все ещё владевшее Эгоном.

Когда собрание уже подходило к концу, когда были сказаны речи представителей магистрата и гостей, когда новые маленькие школьники прочли приветственные стихи и советский комендант пожелал успеха новой школе, когда её директор собирался поблагодарить присутствующих и закрыть собрание, Эгон внезапно поднялся и, к удивлению Руппа, дрожащим от возбуждения голосом попросил

слова. Он заговорил о волнении, которое вызвало в нём сегодняшнее событие и вид маленьких немцев, пришедших сюда, чтобы научиться смотреть на мир новыми глазами. Он говорил торопливо, непоследовательно, перебивая самого себя. Зинн и Рупп следили за ним с удивлением: они ещё никогда не видели таким этого всегда сдержанного, подобранного инженера.

Эгон говорил:

— Нашим детям не суждено будет стать честными, мирными тружениками, если мы с вами не вырвем оружия из рук тех, кто снова готовит его к войне, если мы не

обезвредим ослеплённую жадностью и властолюбием реакцию и мировой милитаризм, уже подсчитывающие барыши от кровавой бойни, в которую они намерены снова свергнуть мир и нашу несчастную отчизну. Друзья мои, никогда до этих минут я так остро не чувствовал своих обязанностей в отношении будущего. Сегодня, когда я увидел наших детей, пришедших в этот дом, где они должны сформироваться как граждане свободной, трудолюбивой Германии, процветающей в мире и сотрудничестве со всеми народами, сегодня я до конца понял... — Эгон нетерпеливо дотронулся до стягивающего его шею тугого

воротничка и повторил: — Да, я до конца понял... — И снова потянул воротничок, словно он душил его.

Зинн пододвинул ему стакан с водой, но Эгон отстранил его.

— Я должен участвовать в смертельной борьбе с врагами мира, с носителями агрессии. Я буду разоблачать, я буду драться, я раскрою всю грязную кухню, которую господа винеры и их заокеанские хозяева скрывают за занавесом так называемых мирных усилий. Я напишу не статью, а целую книгу, из которой мир узнает, что такое «фау» и как их снова тайно готовят руками наших братьев-немцев в западных зонах...

— Этого не может быть! —
послышалось из зала.

— Не может быть... Это было
бы ужасно.

— Именно то и ужасно, что это
так! — крикнул Эгон. — Я докажу
это с фактами в руках! Я докажу!

Это было сказано с такою
железной твёрдостью, что Зинн с
удивлением посмотрел на оратора:
куда девалась былая неуверенность
этого интеллигента, где мягкость его
формулировок, где его колебания?

И тут в напряжённую тишину,
повисшую над залом, упал
спокойный, твёрдый голос Зинна:

— Но вы должны знать, доктор
Шверер: большая борьба связана с

большим риском.

— Знаю!

На одно мгновение Эгон потупился, и краска сбежала с его лица.

— Знаю! — твёрдо повторил он. — Знаю и клянусь, что ничто не остановит меня на пути к правде, которую должен знать мир. Я хотел бы жить во имя счастья наших детей. Стремясь к миру, мы должны объявить войну всему, что может породить нового преступника, способного опять послать на смерть миллионы людей. Война войне и её поджигателям — вот долг каждого, кто хочет, чтобы их уделом, — Эгон широким жестом обвёл стоящих в

зале детей, — были мир и счастье равных среди равных! — Его голос звучал ясно, голова была поднята, и глаза сияли радостью.

Ни сам Эгон, ни кто-либо из его слушателей не заметил, как из двери за спиною президиума появился человек и, подойдя к Зинну, положил перед ним листок.

Зинн поднял руку, требуя внимания, но тишина и без того была такой острой, что слышно было, как звякает о стекло обручальное кольцо Эгона на руке, которою он машинально касался стакана.

Зинн встал.

— Дорогие сограждане... на заводах «ИГ Фарбениндустри» в

Людвигсгафене, расположенном, как известно, в западных зонах оккупации нашей страны, сегодня произошёл новый взрыв огромной силы. Взрыв разрушил корпуса, где, как выяснилось, готовилось взрывчатое вещество для реактивных снарядов «фау». Под обломками разрушенных зданий погибло несколько сотен немцев, тысячи ранены.

Эгон на минуту закрыл глаза рукой. Потом спустился с кафедры и уверенно пошёл навстречу Зинну.

Несколькими днями позже Зинн не спеша, как терпеливый учитель, отвечал на вопросы Эгона. Сначала

Эгон задавал вопросы смущённо, несколько стыдясь того, что вот он, уже такой немолодой и, казалось бы, образованный человек, и вдруг должен сознаваться, что не может разобраться в вещах, которые, вероятно, ясны каждому рядовому члену коммунистической партии. Но Зинн с первых же слов разбил это смущение.

— Не думайте, пожалуйста, что каждый член партии — философ или хотя бы непременно вполне зрелый марксист, до конца усвоивший всю глубину её программы. Ленин совершенно ясно указывал, что членом партии считается тот, кто признает программу и устав партии,

платит членские взносы и работает в одной из её организаций. Это очень чёткая формулировка, и когда кое-кто стал толковать её так, будто коммунист тот, кто усвоил программу, Сталин, великий продолжатель дела Ленина, ещё раз разъяснил, что если бы наша партия встала на эту неверную позицию, то в ней пришлось бы оставить только теоретически подготовленных марксистов, учёных людей, интеллигентов.

Эгон вздохнул с облегчением:

— А мне было стыдно признаться, что я кое-чего не усвоил.

— Кое-чего?.. — Зинн добродушно рассмеялся. — А не

думается ли вам, товарищ Шверер, что вы ещё очень многого не усвоили?

— Может быть...

— Но это исправимая беда. Вы преодолеете её, если хорошенько поработаете над литературой и посидите в одном из наших кружков.

Эгон не заметил, как пролетело время. То, что говорил Зинн, было не только просто и понятно, но и увлекательно, интересно. Эгон все больше убеждался, что отнюдь не поздно и в его годы сделать тот поворот, который он сделал. Да, сегодня он мог сказать с полной уверенностью: путь от признания к усвоению он пройдёт. И на этом пути

он обретёт окончательную уверенность в правоте, которой не мог почерпнуть в своих прежних блужданиях.

На прощанье он сказал:

— Самое важное для меня теперь — успеть сделать для окончательной победы то, что я ещё могу сделать.

— Исход нашей битвы с капитализмом предрешён историей, — ответил Зинн. — Вопрос во времени, когда будет повалено это сгнившее дерево.

— А сколько вреда ещё могут принести его гнилые ростки! Когда я думаю хотя бы о нашей немецкой военщине или об американцах, с

такой цинической откровенностью повторяющих её азбуку...

— Скажите лучше: «её ошибки»!

— Пусть так, но и ошибки милитаристов пахнут кровью. Я почти с ужасом думаю о том, что делает сейчас генерал Шверер и другие. Что, если им все же удастся ещё раз затеять то, что они затевали уже дважды?!

— Во-первых, это им не удастся, — со спокойной уверенностью произнёс Зинн, — а во-вторых, если вы проследите исторический путь германского империализма, то поймёте, на что обречён его новейший выученик, последователь и кредитор —

империализм американский.
Современный германский
империализм начал свою
«блестящую карьеру» звонкими, но
довольно лёгкими победами над
прогнившей двуединой монархией
Габсбургов и над шатавшейся
империей бесталанного тёзки
Наполеона. Седан — начало этого
пути. Карликовая Австрия Дольфуса,
взорванная изнутри Чехословакия
Гахи, разложившаяся бековская
Польша и снова Франция, на этот раз
Франция откровенных предателей —
Петэна, Вейгана, Лавалля, и, наконец,
дёшево доставшиеся «победителю»
Дюнкерк и развалины Ковентри —
вот конец пути. Таков порочный круг.

За его пределами, при столкновении германского империализма и его «военной доктрины» с подлинно научным, единственно научным пониманием проблем войны — с марксистским пониманием, какое дал Сталин, — колосс германской военной машины превратился в кучу железного лома. Он рухнул вместе со всеми теориями всяких «кригов», со всею кровавой идеологией, восходящей к Клаузевицу и всосанной немцами вместе с философией Ницше, со всем этим вредным, античеловеческим, антинародным хламом, который германский милитаризм нёс на своих знамёнах. Он рухнул и не

поднимется, кто бы и как бы ни пытался его возродить...

— Хорошо бы!

— Можете быть уверены: ему не встать.

— А Америка? — нерешительно проговорил Эгон.

— Какая Америка? Те сто сорок миллионов простых американских тружеников, которые так же хотят войны, как мы с вами? А ведь в них — её сила.

— А материальные ресурсы правящих групп Америки?..

— Чего стоят материальные ресурсы, если им противостоят люди! Вспомните: в лапах Гитлера были ресурсы всей Западной Европы,

в его активе было скрытое потворство так называемых «союзников», на него работал картелированный капитал половины мира — и что же?

— Американские биржевики и генералы, наверно, учтут уроки последней войны.

Зинн отрицательно покачал головой:

— Самая их природа, природа их класса и всего капитализма на достигнутой им фазе развития, делает их неспособными понять основное: их судьба определена всем ходом истории, и сопротивление — только оттяжка их гибели. Почему же вы хотите, чтобы они, чьи «лучшие»

умы, так сказать, философы и идеологи, не понимают этого, сами поняли вдруг, что их политика так же авантюристична, как авантюристична была и политика германского империализма? Вы о них более высокого мнения, чем они заслуживают. Поджигатели новой войны слепы там, где речь идёт об уроках последней войны. Ведь и англо-американцы, как некогда германские империалисты, рассматривают захватническую войну в качестве основного способа достижения своих политических целей. Ведь они поставили своею целью утверждение господства монополистического капитала во

всем мире и во веки веков. Уже одно это говорит: они слепы и глухи к урокам истории и в том числе к кровавым урокам недавней мировой войны.

— Но они дьявольски коварны! — в волнении воскликнул Эгон. — Они не остановятся ни перед чем. Генерал Шверер не раз повторял мне заученный им наизусть, как заповедь, и хорошо запомнившийся мне кусок из Клаузевица: «Война — это акт насилия, имеющий целью заставить противника выполнить нашу волю. Тот, кто этим насилием пользуется, ничем не стесняясь и не щадя крови, приобретает огромный перевес над

противником, который этого не делает. Введение принципа ограничения и умеренности в философию войны представляет собою абсурд...» Я боюсь людей с такой философией.

— Одну минуту, — проговорил Зинн и, сняв с полки книжку, открыл её. — Вот, товарищ Сталин не так давно писал одному русскому военному: «Мы обязаны с точки зрения интересов нашего дела и военной науки нашего времени раскритиковать не только Клаузевица, но и Мольтке, Шлифена, Людендорфа, Кейтеля и других носителей военной идеологии в Германии. За последние тридцать

лет Германия дважды навязала миру кровопролитнейшую войну, и оба раза она оказалась битой. Случайно ли это? Конечно, нет. Не означает ли это, что не только Германия в целом, но и её военная идеология не выдержали испытания? Безусловно, означает». Если мы с вами разовьём эту мысль в применении к обстановке сегодняшнего дня, то напрашивается вывод: поскольку идеология современного нам американского империализма — родная сестра идеологии германского империализма, вполне логично предположить, что и судьба, которая постигнет американский империализм, будет родной сестрой

судьбы германского империализма.

— Для меня это большие и очень важные вопросы, — задумчиво сказал Эгон.

— Не думаете ли вы, что эти вопросы меньше значат для меня? — с усмешкою спросил Зинн. — Ведь это же судьба нашей отчизны, судьба моего народа, судьба всего трудящегося человечества!

— Вы правы, вы правы... — повторял Эгон.

— Когда я вспоминаю, что на протяжении нескольких веков своей истории германский милитаризм, от псов-рыцарей до «великого» в делах международного разбоя Фридриха и от его «лучшего из лучших» Зейдлица

до Кейтеля, тоже «лучшего из лучших» другого мастера разбоя Гитлера, был бит не кем иным, как русским солдатом, я благословляю этого солдата... Именно потому, что я немец с головы до пят, именно потому, что я немецкий патриот! — воскликнул Зинн с жаром, какого Эгон не мог подозревать в этом всегда спокойном, уравновешенном человеке. — Именно потому, что я немец и коммунист, я вам говорю; если бы, вопреки всему, поджигателям новой войны удалось развязать её, то в этой последней для них войне я стоял бы плечом к плечу с русским солдатом, с советским солдатом. — Зинн шагнул к Эгону с

протянутой для пожатия рукой: — И уверен, что в этом строю мы будем вместе.

Эгон принял протянутую руку и крепко пожал.

— Это было бы очень большой честью для меня... Честью и счастьем.

Была ещё одна, вторая, мировая война — и ещё одна часть Европы пришла к концу войны созревшей для свободы. Простые люди другой её половины ещё бились за освобождение от векового кошмара капитализма. Миллионы людей все лучше понимали, что даже самые скромные жизненные условия трудовых масс несовместимы с существованием капиталистического общества.

Бастующие горняки Франции понимали, что танки и кавалерия были пущены против них не столько потому, что рабочие предъявили

экономические требования, сколько потому, что их борьба была борьбой за новую жизнь, за народ, за свободу миллионов, за право на хлеб, на труд, на мир. Их борьба была борьбой против фашизма и войны, так же как война против горняков, против их требований была борьбою за сохранение старого порядка, за фашизм, за войну.

«Мира!» — требовали миллионы. «Войны!» — вопила банда поджигателей.

Призрак войны снова шествовал за непосильными налогами, за голодным пайком, за рабскими условиями труда для масс, за новыми сверхприбылями для военных

промышленников. Призрак войны
виднелся за американскими
каторжными займами,
предназначенными вовсе не для того,
чтобы накормить и одеть
обнищавшую Западную Европу, а для
того, чтобы окончательно, раз и
навсегда убить её конкуренцию с
Америкой на мировых рынках; чтобы
заставить её ещё раз вооружиться за
свой собственный счёт, но на этот
раз оружием, купленным у
американских промышленников;
чтобы опутать народы Европы
бременем вечных неоплатных долгов.

Все они — американские
заимодавцы и европейские
побирушки — хотели снова сжигать

трудовые накопления наций в стволах пушек; они хотели снова разрушать жилища и заводы, они хотели снова перемалывать под гусеницами танков миллионы простых людей. Они жаждали крови, разрушения, ужаса, потому что всё это превращалось для них в золото, в дивиденды.

Снова, как десять, двадцать и тридцать лет тому назад, возникала навязчивая идея капиталистов о «крестовом походе» против Советского Союза. Правда, вместо всяких Антант — больших и малых — теперь пошли в ход «блоки» — атлантические, западные, северные и иные, но суть оставалась та же, что

прежде: прикрываясь криками об обороне, империалисты ковали цепь агрессии вокруг СССР.

Так же как тридцать, как двадцать и как десять лет назад, «святой отец» из Рима, «наместник Христа на земле», ниспослал своё апостольское благословение инициаторам этого бредового «похода».

Чтобы дать это благословение, нынешний папа не нуждался ни в чьём поощрении. Пий XII готов был благословить всякого, кто соглашался нанести Советской России вред: удар или булавочный укол, в области материальной или духовной, в Москве или на самой далёкой

окраине, — все годилось духовному пастырю римской церкви. В католическом мире ни для кого, кроме тех, кто не хотел видеть и слышать, не было больше секретов, что агрессивные планы Ватикана плотно сомкнулись с американскими планами мировладения.

Все понимали, что такой политик, как Пий XII, согласился плыть в кильватер Майрону Тэйлору вовсе не из предосудительной симпатии к этому протестанту и уж, во всяком случае, не по слабости своего характера. Давно уже все римские воробьи чирикали, что Ватикан, со всеми потрохами, закуплен Тэйлором и курсом ковчега

римской церкви управляют по радио из Вашингтона. А факты подтверждали, что все сотни тысяч римско-католических священников и монахов, все сотни ватиканских епископов и десятки кардиналов стали не кем иным, как агентами американской разведки; из всех трехсот восьмидесяти миллионов католиков, разбросанных по земному шару, пытались сделать рекрутов американского империализма.

Не смел не считаться с этим фактом и преподобный отец Август Гаусс. Он понимал, что прошли времена, когда можно было с успехом жить, лавируя между немецким абвером и британской Интеллидженс

сервис. Интеллидженс сервис меньше платит. А абвер уже передала свой живой инвентарь, и в том числе, наверно, и его, преподобного Августа Гаусса, американской секретной службе. Значит, если он и как немецкий агент и как агент Ватикана оказывался теперь американским агентом, то за каким же чортом было ему сноситься со своими подлинными хозяевами через каких-то подставных лиц? Август по опыту знал, что гораздо выгоднее иметь дело с первоисточником доходов. Поэтому он обрадовался приказу немедля отправиться в Рим.

Отец Август не был новичком в «вечном городе», и прежде чем

отправиться в отдел Ватикана, ведавший папской разведкой, Август решил использовать старые связи и в точности выяснить, с кем, где, когда и как следует вести разговор по интересующему его делу.

Когда он с пропуском в руках подошёл к воротам папской резиденции, некоторые черты плана действий были им уже намечены. Но нерешённой оставалась основная дилемма: если все то, что он знает, если все связи, которые у него есть, если весь накопленный им опыт разведывательной и диверсионной работы нужны американцам — он на коне и с полным кошельком; если же эти знания, эти связи и опыт

являются, с точки зрения американцев, балластом — пуля в затылок ему обеспечена. Живой разведчик, который чересчур много знает, не архивная бумажка, которую можно подшить в секретное досье и спрятать в сейф до времени, когда она понадобится для какого-нибудь шантажа; живой разведчик, отыгравший свою роль, — опасная возможность шантажа самих шантажистов. Таких людей не любили ни в одной разведке — ни в Интеллидженс сервис, ни в абвере, не любят, наверно, и в УСС и в федеральной разведке.

На душе Августа заскребли кошки, когда он прошёл мимо

блеснувших по бокам алебард папских гвардейцев и взгляделся в физиономию человека, проверявшего его пропуск. На жандарме была такая же треуголка, какие Август видывал десятки раз во время прежних наездов в Ватикан, и такой же мундир. Но Август готов был отдать голову на отсечение, что этот жандарм не был итальянцем. Его выпяченная челюсть и холодный взгляд серо-зелёных глаз, его огромный рост и здоровенный кулак с зажатой в нём дубинкой — все обличало солдата американской военной полиции. Ему куда более к лицу была бы белая кастрюля «МП», чем опереточная треуголка. Она

плохо гармонировала с автоматическим пистолетом последней модели, висевшим на поясе жандарма Август отметил про себя это обстоятельство: святейший отец не доверял больше охрану своей жизни и тайн Ватикана итальянцам.

Внутри Ватикана Августу не нужен был проводник. Он уверенно шагал по тёмным дворам, шнырял по узким лестницам и коридорам, пока не добрался до двери с маленькой дощечкой. «Чентро информационе про део». И это обстоятельство тоже отметил Август: на отделе разведки вывеска оставалась итальянской, так же как и треуголка на жандарме. Август осторожно приотворил дверь

и просунул нос в щель. Приёмная была пуста. За год её обстановка не изменилась: те же потрёпанные портьеры на окнах, те же большие просиженные кресла с неудобными спинками, тот же стол с большим распятием, тот же смешанный запах воска, ладана и плесени и та же мертвящая тишина и в комнате, и за тремя выходящими в неё дверями кабинетов, и, пожалуй, во всем крыле дома.

Август не удивлялся этой тишине, так как нарочно выбрал для своего посещения время, когда служащие расходились на обед.

Август проскользнул в приёмную и прислушался. Тот, кто

увидел бы его в этот момент, не узнал бы прежнего, уверенного в себе, немного тяжеловесного и грубоватого патера Августа Гаусса из бывших немецких офицеров, ещё так недавно покрикивавшего на Блэкборна и издевавшегося над своим собратом Роу. Сейчас он был больше похож на старую, облезшую крысу, тревожно нюхающую воздух.

Дверь в соседнюю комнату была неплотно затворена, но щёлку прикрывала опущенная с той стороны портьера. Август прислушался — было тихо. Он кашлянул. Ещё раз. Подошёл к двери и почтительно произнёс:

— Во имя отца и сына... прошу

дозволения войти...

Ответа не последовало.

Убедившись в том, что рядом никого нет, Август чуть-чуть раздвинул портьеру. За нею был просторный кабинет: его узкие забранные решётками окна упирались в каменную кладку какой-то стены. Август с трудом поборол профессиональное искушение войти, быстро проглядеть лежащие на столе бумаги.

Заложив руки за спину, он несколько раз прошёлся по приёмной, чтобы заставить себя сосредоточиться на предстоящем свидании. Уселся в кресло. Он раздумывал над первыми фразами

своего обращения к фра Джорджу Уорнеру, иезуиту-американцу. Друзья советовали ему поговорить в первую очередь с Уорнером. Ему даже показали этого монаха в городе, когда тот проезжал в автомобиле, — судя по физиономий, это был как раз тот тип, с которым можно говорить откровенно.

Размышления Августа были прерваны шумом шагов в коридоре. Кто-то миновал вход в приёмную. Послышался стук двери, ведущей из коридора в кабинет. Август хотел было кашлянуть, чтобы дать знать о своём присутствии, но решил, что меньше всего нужно встречаться с кем-либо, прежде чем он поговорит с

Уорнером. Он бесшумно приблизился к двери кабинета и заглянул в щель между косяком и портьерой. То, что он увидел, заставило его ноги прирасти к полу: в рыжей сутане капуцина в кабинете стоял Доллас. В первый миг Август готов был бы отдать голову на отсечение, что это Аллен Доллас, недавно заседавший во Франкфурте. Только редкий седой, а не рыжий пух вокруг тонзуры натолкнул его на мысль, что это и есть старший брат Аллена — Фостер Доллас, тот самый Фостер, о чьём сенсационном отречении от сует мира недавно кричала вся американская пресса.

А Доллас, повидимому, не

спешил. Развалившись в кресле, он любовался теперь кольцами дыма, всплывавшими к потолку от раскуренной им сигары.

Скоро дверь кабинета, выходящая в коридор, снова отворилась, и Август узнал в вошедшем иезуита Уорнера.

Август на цыпочках вернулся к своему креслу и, взяв в руки один из лежавших на столике журналов, стал прислушиваться к тому, что происходит в кабинете.

Уорнер замер у порога и почтительно склонился перед Долласом, ожидая благословения. Но тот, небрежно махнув рукой, сказал:

— Можно без церемоний, Уорнер, никого нет, — и ногою пододвинул иезуиту кресло. — Садитесь.

Уорнер с облегчением выпрямился.

— Меня здесь просто замучил этикет. До чего дома все проще, господа!

— Сигару?

Уорнер молча взял сигару и, пошарив в глубоком кармане сутаны, достал спичку и зажёг её о поверхность стола.

— Проклятая жара, — сказал он, распахивая ворот сутаны.

— Да, берега Тибра не берега Флориды, — с незнакомой Августу

игривостью ответил Доллас.

— Не раз вспомнишь купальный халат, золотой песок Майями и хорошую девчонку.

— Но, но, фра Джордж! — с иронической укоризной остановил его Доллас.

— Надеюсь, когда Спеллман станет папой, тут пойдут другие порядки.

— Его святейшество папа чувствует себя пока отлично.

— Чорт побери! — вырвалось у Уорнера. — Можно объявить его трижды святым, но ведь не вечен же он!

— На земле? Конечно... Однако что нового?

— Про вести из
Константинополя знаете?

— Нет, а что? — с
любопытством встрепенулся Доллас.

— Наши упрятали патриарха
Максимоса в сумасшедший дом.

— Здорово! — Доллас потёр
потные руки и с особенным
удовольствием затянулся сигарой.

— Афиногор уже сдал дела Нью-
Йоркской епархии и вылетел в
Константинополь. Его избрание
вселенским патриархом — вопрос
той или другой суммы. В
«выборных» делах у наших
достаточно опыта.

— Отлично, очень хорошо! — с
удовольствием повторил Доллас. —

Это значительно облегчит нам работу. Афиногор не будет артачиться, как Максимос.

— А вы не боитесь, монсиньор, что новое кадило, которое Ванденгейм раздувает с экуменическим движением, может нам помешать?

— Именно потому, что там за дело взялся старина Джон, нам с этой стороны ничто не угрожает. Они не станут с нами бороться за души негров из Конго. Ванденгейм правильно рассудил, что нужно собрать в единый кулак разбросанных по свету христиан всяких толков. Если этот кулак будет подчинён Ванденгейму, то он только

поможет толкнуть боевую колесницу именно туда, куда нам нужно, — на восток.

— Скорей бы уж... — пробурчал Уорнер.

— А куда нам торопиться? Святая римская церковь мыслит категориями вечности! — с серьёзной миной сказал Доллас. — Столетием позже или раньше, — важно, что в конечном счёте человечество будет подчинено единой державе христовой, в лице её святейшего владыки папы.

— Это вы мне или репетируете речь по радио? «Категории вечности»! — передразнил Уорнер. — Нет, я не согласен ждать

годы. Хочется ещё в царстве земном пощупать вот этими руками то, что приходится на мою скромную долю.

— Грешная душа! — Фостер, прищулив один глаз, уставился на собеседника. — Мало вам того, что именно церковь спасла вас от электрического стула? — При этих словах Уорнер сделал резкое движение, как бы намереваясь вскочить и броситься на собеседника, но Доллас только рассмеялся и движением руки усадил его на место. — Ну, ну, спокойно!

— Это нечестно, — задыхаясь от злобы, проговорил Уорнер. — Меня уверили, что никогда никто не напомнит мне...

— Я нечаянно.

— Не советую вам, Фосс...

— Как? — Доллас приставил руку к уху, делая вид, будто не расслышал слов Уорнера, который с угрозой повторил:

— Никому не советую напоминать мне об этом.

— Не думал, что вы так впечатлительны, брат мой, — с усмешкой ответил Доллас. — А что касается ваших ухваток, то должен вам сказать...

— Мои ухватки — это мои ухватки, сэр!

— Фра Фостер, — поправил Доллас.

— Ладно, забудем...

— И всё-таки не советую вам таскать при себе пистолет.

— С чего вы взяли?..

Доллас рассмеялся.

— Не схватились же вы за задний карман потому, что у вас там лежит евангелие.

— Ладно, ладно...

— И все же — вы монах, Уорнер, а не военный разведчик.

— Особой разницы не вижу.

Доллас состроил кислую гримасу.

— Честное слово, Уорнер, став духовной особой, вы сохранили замашки... — Он покрутил в воздухе пальцами.

— Стесняетесь произнести

слово «гангстер»? Не смущайтесь, пожалуйста. Меня это не может обидеть... Тем более, что работа у меня сейчас примерно такая же, как и была.

— Повторяете пропаганду красных, брат мой?

— Кой чорт! Правда есть правда!

— В первый раз вижу вас в роли борца за этот прекрасный тезис.

— Вольно же вам напоминать мне об электрическом стуле...

— А вы заплатили мне за молчание? — иронически спросил Доллас.

Уорнер исподлобья посмотрел на него и угрожающе проговорил:

— В конце концов, если это вас

устроит, можете огласить мой
послужной список хотя бы с
амвона...

— Ну, ну, — примирительно
промямлил Доллас, — это не в
интересах дела.

— То-то... Я ведь тоже не
попрекаю вас тем, что вы избежали
каторги по делу о подложном чеке...

— Эй, Джордж!

На этот раз Уорнер не обратил
на этот крик никакого внимания и
продолжал:

— ...только потому, что были
сенатором и тот судья, к которому
попало пело, тоже был «в деле». Я же
молчу.

Доллас побагровел так, что

казалось, кровь сейчас брызнет сквозь все поры его щёк. Его голос стал похож на шипение пылесоса, когда он сквозь зубы процедил:

— Когда у меня будет красная шапка...

— Ого!

— Она будет вот на этой голове!.. — Доллас постучал крючковатым пальцем по своему черепу. — Тогда я буду иметь счастье напомнить вам об этом разговоре, который смахивает на что-то вроде подрыва авторитета святой церкви, брат мой.

— Ну, за красного-то вы меня не выдадите, тут я спокоен. Пусть бы вы влезли даже на папский трон!

— Политика есть политика; не только вы, но даже я не могу сказать сегодня, какие взгляды мы будем исповедовать завтра. Если верх возьмут красные...

— То могу вас уверить: они не предложат вам вольтеровского кресла... Тогда мы вспомним разговор об электрическом стуле, — со смехом закончил Уорнер.

— Ну, довольно! — сердито отмахнулся Доллас. — У вас шутки висельника. — И он перешёл на деловой тон: — Когда мне представят проект нового устава третьего ордена?

— Мы с ним ознакомились, и оказалось, что там почти нечего

менять. Мы только повычеркивали к чертям всю эту ритуальную белиберду.

— Я же вам говорил: нужно сделать освобождение членов ордена от присяги земным властям не условным, а безусловным. Принимая обет терциара, человек тем самым автоматически перестаёт быть подданным своего земного государства и становится беспрекословным исполнителем единственной воли — его святейшества папы. При трудности сношений с Римом для агентуры, находящейся на востоке Европы, нельзя рассчитывать, чтобы терциар мог быстро получить отсюда

разрешение от своих обязательств и присяг. Из-за этого он может оказаться связанным, если он истинно верующий католик. Нужно развязать руки всем, у кого есть шансы пролезть в административный аппарат, на руководящие посты. Нужно поставить в особую заслугу терциару и обещать ему отпущение всех грехов на всю жизнь вперёд и безусловное царство небесное, если он сумеет добыть себе билет коммуниста.

— Такие вещи в устав не впишешь, — хмуро проговорил Уорнер.

— Но каждый терциар должен это знать. Церковные каналы ещё

дают нам возможность проникнуть в Восточную Европу.

— Н-да!.. — многозначительно протянул Уорнер и потянулся огромной пятернёй к затылку.

— Знаю я вас: вам что-нибудь попроще! Кирпичом по витрине — и дело сделано! Но Восточная Европа — не лавка ювелира. Учитесь работать, чорт дери! Мы удовлетворили все ваши требования, вы получили нужных вам людей, действуйте же, чорт дери, в тех масштабах, о которых я вам толкую каждый день. Предстоит не ограбление банка, а нечто покрупнее!

— Послушайте, Фосс... Я хотел сказать: фра Фостер... Как будто я не

понимаю, что дело не в паршивом сейфе. Речь идёт о том, чтобы выпотрошить целые страны.

— И поставить на колени несколько народов!

— Все ясно, но ведь нужно время, вы сами только что говорили о веках...

— Бросьте болтать чепуху, вы не перед микрофоном радио! — вспылil Доллас. — Мне нужна работа, а вы с вашей шайкой возитесь, как старые бабы!

— Я попрошу вас... фра Фостер! — обиженно сказал Уорнер. — У меня была не «шайка», а первоклассное дело, сэр! Одно из лучших дел в Штатах.

— Это вы сообщите сборщикам рекламы, а мне давайте работу!

— Я привёл вам две тысячи отборных малых...

— Мы платим им жалованье сенаторов!

— Они сделали честь вместе со мной перейти на службу его святейшества и едят честно заработанный хлеб.

— Пусть они жрут хотя бы священные облатки, но дают мне дело!

— Две тысячи ребят, собранных в этот кулак, — Уорнер поднял над столом лапу, сжатую в огромный, как кувалда, кулачище, — равноценны...

— Шайке Аль-Капоне?

— Вы обижаете нас, сэр... то-
есть брат мой...

— Ставите себя на одну доску с
Костелло?

— Нет, монсиньор, я скромно
полагаю, что кое в чём мы можем
потягаться и с государственным
департаментом, — с хорошо
разыгранной скромностью
проговорил Уорнер. — Именно так...
брат мой. — Он ещё больше
распахнул сутану. — Честное слово,
нечем дышать!.. Завели бы у себя хоть
виски со льдом.

— Терпение, брат мой, все будет.
И холодильники и электрические
вентиляторы тоже... Дайте срок.

— Если так чувствуешь себя в

«святом городе», то что же ждёт в преисподней?

— За хорошие деньги сам сатана разведёт под вашей сковородкой бутафорский огонь.

— «За хорошие деньги»! Тут заработаешь, как бы не так.

— Не хнычьте, деньги будут. Ванденгейм обещал создать особый фонд для поощрения работы по моему отделу «Про Руссия».

— Старый чорт! Тоже тянется к России...

— А кто к ней не тянется?

— Кстати о Ванденгейме! — оживился вдруг Уорнер. — Говорят, будто Дюпончик перехватил у вашего Джона заказ на производство

новейших реактивных штучек для военного министерства.

— Глупости, не может быть!.. А
впрочем, кто вам говорил? —
озабоченно спросил Доллас.

— Так я вам и выложил! — с
усмешкой сказал Уорнер.

Доллас с заискивающим видом
похлопал Уорнера по колену.

— Но вы же знаете, старина, что
я немного заинтересован в
реактивных делах Ванденгейма.

— Тем хуже для вас, старина, —
фамильярно заявил Уорнер. —
Заказик, перехваченный Дюпоном,
оценивают в несколько сотен
миллионов.

— Нет, право, кто вам

говорил? — Доллас в волнении ткнул сигару в пепельницу так, что она сломалась и погасла.

Но Уорнер только рассмеялся.

Доллас посмотрел на часы.

— Пора, вон уже звонят к торжественной мессе.

— Хорошо, что мне не приходится принимать участие хотя бы в этом цирке, — не скрывая удовольствия, сказал Уорнер. — А по какому поводу месса?

— Господь-бог вразумил королевских судей в британской зоне оккупации Германии: они оправдали шайку немецких эскулапов.

— При чем тут врачи, не понимаю?

— Они испытывали на военнопленных средства бактериологической войны. Убили несколько тысяч человек.

— Чего доброго, среди убитых были и католики?

— Кажется, несколько тысяч поляков, но это не беда. Папа не очень щепетилен насчёт католиков из стран Восточной Европы.

— А именно там-то и нужно браться за дело!

— Да, нужно работать засучив рукава! — согласился Доллас. — У нас нет ни одного лишнего дня.

— Какая муха вас укусила? — весело воскликнул Уорнер. — Вы же только что уверяли, будто готовы

ждать века.

Доллас посмотрел на Уорнера так, словно перед ним сидел сумасшедший, и ничего не ответил.

— Никогда не поймёшь, врёте вы или говорите серьёзно, — недовольно пробормотал Уорнер.

— Видно, вскрывать сейфы не то же самое, что делать политику, — сокрушённо покачав головою, сказал Доллас.

— А политический босс Нового Орлеана и Луизианы бывал мною доволен, — хвастливо произнёс Уорнер.

— Другое дело, там можно работать почти в открытую, а эти европейцы ещё не привыкли к нашим

приёмам...

— Этикет! — презрительно сказал Уорнер.

— Во всяком случае, вы должны запомнить, что завоёвывать ватиканскую державу должны итти не молодчики с кастетами, а «крестоносцы воинства пречистой невесты христовой, святой римской церкви, паладины святого Петра». Ясно?

— Откуда вы взяли эту чепуху? — сдерживая смех, спросил Уорнер.

— Формула его святейшества.

— Ах, старый мул! — Уорнер прыснул со смеху. — Мои молодцы в роли паладинов!

— Вы удивительная тупица, Уорнер, — с укоризною сказал Доллас. — Неужели вы не понимаете: ваша же собственная польза требует усвоения всеми католиками без исключения, что у них нет и не может быть иного отечества, как только святая римская церковь, как вселенская держава Христа? Нужно заставить их забыть национальность и все земные обязательства и привязанности, кроме обязательства перед нами.

— Что-то вроде католического варианта Соединённых штатов мира?

— Отцы иезуиты зря потратили деньги на ваше образование, Джордж: не что-то вроде, а именно

Соединённые штаты мира. Сначала Европы, а потом именно мира.

— А знаете что, брат Фостер?! — Уорнер, кривляясь, подмигнул Долласу. — Такая лавочка меня устроит, если за мною сохранят должность главного эксперта по вскрытию всех сейфов, какие достанутся нам в качестве трофеев, а?

— Разговор с вами может вогнать в пот даже на Северном полюсе, — со вздохом сказал Доллас. — Попробуйте-ка впустить сюда немного свежего воздуха.

— Окна здесь, как в Синг-синге, — насмешливо ответил Уорнер, показывая на толстые

старинные решётки, — но воздуху мы вам сейчас впустим из приёмной. — И он направился к выходу в приёмную...

Обливавшийся потом отец Август невольно перевёл взгляд на широкое окно приёмной, выходившее на площадь, в конце которой высилась громада собора святого Петра. В последние минуты Август уже плохо следил за разговором прелатов. В голове его гудело так, словно она была наполнена горячим, звонким металлом. Он торопился придумать оправдание тому, что сидит здесь один. Американцы, конечно, поймут, что он мог слышать их разговор. Тут, в помещении

апостольской секретной службы, это могло окончиться для него худо. Он поспешно вскочил и, перебежав приёмную, громко хлопнул дверью.

— Кто тут? — спросил вошедший с другого конца комнаты Уорнер и сумрачно уставился на склонившегося перед ним священника.

— Я к отцу Уорнеру, ваше преподобие, — негромко ответил Август.

Уорнер движением тяжёлого подбородка указал на кресло и неприветливо буркнул:

— Подождите... — словно через силу прибавил: — ...брат мой. — И снова скрылся в кабинете, плотно

притворив за собою дверь.

История шла своим неумолимым путём.

Два лагеря стояли во всеоружии друг против друга: лагерь мира и лагерь войны. Борьба развернулась по всему земному шару; она сорвала все покровы, обнажила все тайны реакции.

Забыв кровавые уроки недавней войны, забыв позор немецкой оккупации, забыв о море благородной крови лучших французов, пролитой гитлеровцами и их пособниками из петэновско-лавалевской шайки, предатели во фраках дипломатов, изменники в

потрёпанных сюртучках министров и провокаторы в депутатских пиджачках действовали по указке всех тех же пресловутых «двухсот семейств», что и прежде. Они объявили преступной самую мысль о том, что Франция никогда не станет воевать со своим союзником и освободителем — Советским Союзом. Отвыкшая краснеть наёмная шваль вопила о необходимости лишить депутатской неприкосновенности поседевших в боях за независимость и достоинство Франции, за жизнь и свободу трудового французского народа Кашена и Тореза: ведь это была их мысль — «Франция никогда не будет

воевать против Советского Союза!» С
бессовестностью американского
судьи французский прокурор
требовал санкций не только для
«Юманите», пустившей в мир эту
«крамольную» идею, но и для всех
печатавших её левых газет. Кабинету
не стыдно было обсуждать вопрос об
этих диких требованиях
распоясавшейся реакции. Министры
Франции уже не считали нужным
скрывать, что у себя, в прекрасной
Франции, ещё три года тому назад
так высоко, с такой гордостью
державшей знамя сопротивления
фашизму, они приветствовали бы
линчевание коммунистов.

Буржуазная пресса изо всех сил

раздувала психоз войны.

Этот психоз всходил на дрожжах страха. Главный смысл «войны нервов» заключался не столько в том, чтобы попытаться запугать людей, живущих в народно-демократических странах Восточной и Юго-Восточной Европы и в Советском Союзе, сколько в том, чтобы шантажировать выдуманной опасностью тех, кто жил в границах самих капиталистических стран. Той же цели в самой Америке и в Англии служила и крикливая возня вокруг атомной бомбы. Английские «лейбористы» вместе с американскими миллиардерами визжали от страха утратить

преимущества владения пресловутой «тайной» этой бомбы. А единственное, что ещё действительно было в этом деле тайной от простых людей, — это то, что день, когда было бы достигнуто соглашение о запрещении атомного оружия и открылась бы возможность применения атомной энергии в мирных целях, был бы днём краха многих капиталистических монополий. Вылетели бы в трубу всякие «короли» электростанций и нефти, «капитаны» промышленности. Монополистическая дипломатия дралась из-за страха своих хозяев потерять военные прибыли от

замораживания величайшего
научного достижения последних
веков и командовать народными
массами в Америке, в Азии, в
Европе...

Не чем иным, как
истерическим, животным страхом
вызвано было рычание, издаваемое
по другую сторону океана старым
бульдогом Черчиллем. Так же как он
делал это десять, двадцать и
тридцать лет назад, Черчилль
пытался скалиться в сторону СССР и
грозить ему «священной войной»
капитализма. Но и те немногие зубы,
что ещё торчали в слюнявой пасти
бульдога, были теперь вставные. В их
силу не верили больше даже его

собственные союзники. Недаром же крайняя правая пресса в самой Англии иронически писала после пресловутой речи в Лландэдно: «Наш бывший премьер заявил, что англичане должны были захватить Берлин, прежде чем к нему подошли русские. Это, на наш взгляд, так. Но почему же господин премьер не отдал такого приказа? Ведь тогда только он мог и именно он должен был отдать его!.. Мы вам скажем, почему он его не отдал: потому, что впервые за всю свою историю Англия не была уже первым партнёром коалиции. Она была её третьим партнёром!»

На этот раз не соврали даже и

испытанные лгуны — консерваторы: британский бульдог был не тот. От него уже очень мало что зависело — и в 1945 году, когда Советская Армия добивала гитлеровцев под Берлином и в Берлине, и в 1948-м, когда мистер Черчилль брызгал старческой слюной в Лландэдно и в последующие годы.

Настало то критическое для капитализма время, когда политическим шулерам уже нечем было прикрыть вопиющую наготу американского империализма. Это была уже откровенная по цинизму борьба за войну, за возможность развязать её и навязать народам. Потому что под ударами советских

разоблачений безнадёжно рушились все их попытки выдать стремления к войне за жажду мира. Народы прозрели. Они видели преступников за их грязным делом. Греческие монархо-фашисты воевали с народом американским оружием, на американские деньги, с помощью американских генералов, офицеров и солдат. На американские деньги формировались банды немецко-фашистского сброда для помощи голландцам и французам в их войне с народами Индо-Китая и Индонезии, поднявшими знамя освободительной борьбы. Уже нечем было маскировать отправку военного снаряжения из Соединённых Штатов, стремившихся

поддержат пламя войны во всей Юго-Восточной Азии, в Индии, в Бирме, в Малайе. Британская и американская секретные службы уже и не скрывали роли своих эмиссаров в кровавой распре, которую им удалось зажечь на Ближнем Востоке; американские разведчики шныряли по Южной Корее, подготавливая братоубийственную войну и интервенцию против корейского народа, только что стряхнувшего с себя кошмар полувекового японского рабства.

Но повсюду поджигателям противостояли народные массы — повсюду, во всем мире. Погибли безвозвратно миллиарды, вложенные

американскими колонизаторами в дело китайской реакции, в преступное предприятие «тигра» Чан Кай-ши, ставшего больше похожим на пыльную шкуру, набитую опилками, чем на «царя джунглей». Великая народная революция выбила из-под этого предателя и его явных и замаскированных ставленников последние подпорки, волна всепокрушающего гнева героического пятисотмиллионного народа заливала последние островки китайской реакции, и над головою старого разбойника уже болталась петля, свитая терпеливыми руками китаянок. Вашингтон скрежетал зубами от бессильного гнева.

Так же последовательно и настойчиво, как они делали это десять, двадцать и тридцать лет назад, советские политики продолжали бороться за мир и отстаивать дело мира.

На Информационном совещании представителей коммунистических партий Жданов доказал, что пресловутый план Маршалла — не что иное, как возвращение к порочному пути, с которого американские монополисты четверть века назад начинали завоевание Старого Света, вызывая к жизни немецкий фашизм как ударную банду американского империализма в Европе. Повидимому, они, эти

империалисты, забыли, что их затея привела к осуществлению гениального прогноза, данного Сталиным за полтора десятилетия до описываемых дней:

«...они получили разгром капитализма в России, победу пролетарской революции в России и — ясное дело — Советский Союз. Где гарантия, что вторая империалистическая война даст им „лучшие“ результаты, чем первая? Не вернее ли будет предположить обратное?»

Затеявшие вторую мировую войну капиталисты получили усиление влияния коммунистов на народы Европы, Азии и Америки,

они получили целую плеяду стран народной демократии в Европе, они получили неугасимое пламя народно-освободительных войн по всей Азии, они получили революционный Китай. Что могли они получить от столь желанной им третьей мировой войны?

В дни ожесточённой «холодной» войны на Генеральной ассамблее Организации Объединённых Наций Вышинский доказал, что пришедшие туда под маской миротворцев капиталистические дипломаты имели одну единственную цель: не допустить запрета атомного оружия, спастись от разоружения и избежать какой бы то ни было договорённости

с СССР.

В те дни на весь мир прозвучали исполненные мудрости, спокойствия и веры в человечество слова:

«Это может кончиться только позорным провалом поджигателей новой войны. Черчилль, главный поджигатель новой войны, уже добился того, что лишил себя доверия своей нации и демократических сил всего мира. Такая же судьба ожидает всех других поджигателей войны. Слишком живы в памяти народов ужасы недавней войны и слишком велики общественные силы, стоящие за мир, чтобы ученики Черчилля по агрессии могли их одолеть и повернуть в

сторону новой войны».

Весь прогрессивный мир, затаив дыхание, внимал этим словам. И не было во всем мире ни одного здравомыслящего человека, которому не стал бы ясен истинный смысл американской политики и действительные цели Вашингтона, когда человечество узнало, как реагировал Белый дом на ответы товарища Сталина Кингсбери Смиту. Сотни миллионов простых людей во всем мире послали в тот день проклятие лицемерам с Уолл-стрита и их изолгавшимся лакеям из Белого дома. Все стало ясно всем, даже самым наивным, самым доверчивым и самым прекраснодушным людям во

всем свете. Не осталось ни надежд, ни даже иллюзий: те, на ком лежала кровь десятков миллионов жертв второй мировой войны, хотели третьей; те, на чьих деньгах выросли гитлеры и Муссолини, искали новых палачей человечества; те, кто десятилетиями оплачивал целые армии шпионов и диверсантов, подготовлявших вторую мировую войну, засылали новые полчища своих агентов во все страны, в тыл всем народам, чтобы с новой силой развернуть подрывную работу для подготовки третьей мировой войны. Всюду: в военное дело, в энергетику, на транспорт, в промышленность, в философию и искусство, в дела веры

и воспитания, в учреждения и в семьи, — всюду стремились проникнуть наёмные агенты англо-американского империализма, чтобы шпионить, вредить, разлагать. Опытные разведчики в ранге послов и разжалованные капралы, кардиналы и попы-расстриги, миллионеры и мелкие спекулянты — все, кому удавалось проникнуть в пределы стран народной демократии, все, кому удавалось пролезть в Советский Союз, все вели разведывательную работу, враждебную миру и народам миролюбивых стран.

Но в мире произошли коренные сдвиги. Прошли те времена, когда

фашистская агрессия неудержимо развивалась. Прошла пора, когда поджигатели войны могли дурачить народные массы, готовить войну в глубокой тайне и потом внезапно навязывать её народам, застигнутым врасплох. На пути новых агрессоров стала такая могучая сила, как Советский Союз и сплотившиеся вокруг него страны народной демократии. На пути агрессоров стояло такое препятствие, как возросшее классовое самосознание трудящихся в странах Западной Европы. На пути агрессоров стояло такое препятствие, как коммунистические партии, уверенно возглавившие освободительную

борьбу трудящихся за независимость их стран, за неприкосновенность их национального суверенитета, борьбу со всеми попытками навязать народам ярмо фашизирующей Америки под ярлыком проповедуемого её агентами космополитизма. На пути агрессоров стало всемирное движение за мир. Среди трудящихся всех стран, независимо от их партийной принадлежности, все яснее утверждалась истина, что их национальные интересы не имеют ничего общего с интересами буржуазии, ибо буржуазия предаёт интересы всей нации во имя собственных корыстных интересов.

Для пролетариата правильно понятые интересы нации совпадают с его классовыми интересами.

Все происходившее в Западной Европе и в ряде стран Азии было яркой иллюстрацией к положению Ленина о том, что когда «дело доходит до частной собственности капиталистов и помещиков, они забывают все свои фразы о любви к отечеству и независимости», что когда дело касается прибылей, «буржуазия продаёт родину и вступает в торгашеские сделки против своего народа с какими угодно чужеземцами... таков закон классовых интересов, классовой политики буржуазии во все времена

и во всех странах».

Трудящимся во всех странах становилось ясно, что наиболее последовательными и единственно неподкупными патриотами являются коммунисты.

Каждая весть, приходившая с фронтов освободительной борьбы в Европе и в Азии, говорила, что там против народов действует кровавый союз капиталистических агрессоров всех стран. Для трудящегося человека уж не могло быть сомнений в том, что национальные интересы совпадают с его классовыми интересами и что его долгом является защита своей страны против капиталистов, защита своей свободы

и чести в братском сотрудничестве с отечеством трудящихся всего мира — СССР. Никого не могли больше обмануть вопли геббельсовских выучеников из Вашингтона, Лондона, Парижа, Мадрида, Анкары и из других клоак, где копошилось продажное паучье платной армии пропагандистов войны, клеветавших на государство трудящихся.

Простые люди всего мира уже знали цену этой пропаганде и давали ей отпор. Подытоживая настроения простых французов, всегда бывших в передовых рядах борьбы за права народа, Морис Торез первым бросил клич о том, что если советские войска, отражая предательский удар

напавших на них армий капиталистических агрессоров, должны будут переступить границы Франции, то французы знают, на чьей стороне они будут. Ни один честный француз, любящий своё отечество, не повернёт оружия против советских воинов-освободителей! Этот благородный призыв французских коммунистов был тотчас подхвачен итальянцами, и пламенный Тольятти провозгласил принцип единства трудящихся Италии с советским народом. За итальянскими коммунистами так же ясно и твёрдо высказались руководители рабочих всех стран Европы. Это был моральный натиск

такой гигантской силы, что правительства всех маршаллизованных стран ответили диким воем испуга, а Уолл-стрит разразился воплями бешенства и пустил в ход весь аппарат полицейских репрессий, какой был в его распоряжении.

Но ничто не могло уже остановить роста антивоенного движения и затмить для народов смысл ленинских слов, что «все события мировой политики сосредоточиваются неизбежно вокруг одного центрального пункта, именно: борьбы всемирной буржуазии против Советской Российской республики, которая

группирует вокруг себя неминуемо, с одной стороны... движения передовых рабочих всех стран, с другой стороны, все национально-освободительные движения колоний и угнетённых народностей...»

Поток народного возмущения растекался по миру все шире, все прочнее становилось единство передовых отрядов человечества, преграждавших путь поджигателям новой, третьей мировой войны.

В те дни один за другим собирались конгрессы и конференции сторонников мира. Съезжались учёные и рабочие, женщины и юноши; собирались по признакам профессиональным и

национальным; собирались везде, где можно было не бояться дубинок и слезоточивых газов полиции. Особенно охотно простые люди всего мира съезжались в те дни в города молодых стран народной демократии в Восточной Европе. Их влекли симпатии к братьям, нашедшим своё освобождение в народоправстве, интерес к жизни, о которой в их собственных странах простые люди могли только мечтать.

Одним из центров притяжения демократических сил мира стала и древняя Злата Прага. В то время, о котором идёт рассказ, в одном из её старых дворцов, глядевшем седыми стенами в воды Влтавы, заседал

конгресс сторонников мира. Тут были люди десятков национальностей и сотен профессий. Сюда пришли испанцы со своей родины, задавленной режимом гнусного палача Франко; сумели обойти рогатки госдепартамента американцы; не побоялись своей полиции кубинцы и многие южноамериканцы. Из далёкой, но теперь такой близкой Азии и Океании приехали китайцы и корейцы, явились представители Вьетнама и Индонезии. Индусы и финны, датчане и арабы, египтяне и норвежцы... Не было ни одной страны народной демократии, делегация которой не заняла бы мест

в зале братской Праги. Флаг Советского Союза стоял на столе во главе длинной вереницы маленьких цветных полотнищ.

Председательствовавший по праву старейшего Вильгельм Пик, открывая первое заседание конгресса, предложил почтить вставанием память мужественных борцов за мир и свободу, павших от руки фашистских палачей, замученных в застенках Италии Муссолини, гитлеровского рейха и продолжающих страдать в бесчисленных тюрьмах франкистской Испании. В голосе Пика зазвучала особенная теплота, и он даже, кажется, дрогнул при

упоминании бессмертного имени славного вождя немецких трудящихся Эрнста Тельмана и имён его сподвижников, погибших на своих партийных постах, — Иона Шеера, Эдгара Андрэ, Фите Шульце, Гойка, Люкса, Лютгенса...

Несколько минут царила тишина, торжественная, как гимн. Она царила так безраздельно, что можно было подумать, будто неподвижно стоящие делегаты боятся спугнуть вошедшие в зал славные тени.

Но вот скрипнуло чьё-то кресло. Звякнул о стекло стакана графин в руке Пика, наливавшего воду. В чьей-то руке зашуршала бумага.

— Слово для предложения о повестке дня имеет член германской делегации Алоиз Трейчке, — сказал Пик.

На трибуну взошёл худощавый человек с седыми волосами, гладко зачёсанными над высоким узким лбом.

Сидевший прямо напротив трибуны коренастый усач старательно переложил блокнот из левой руки в непослушные пальцы протеза, заменявшего ему правую руку, вынул из кармана карандаш и всем корпусом подался в сторону оратора, выражая напряжённое внимание...

...Заседание конгресса было окончено. Пик не успел ещё сказать «до вечера», как над залом повис громкий, произнесённый ясным молодым голосом возглас:

— Матраи!.. Генерал!

Сидевший в первых рядах плотный мужчина оглянулся. Их взгляды встретились: этого человека и того, что крикнул, — венгра Тибора Матраи и испанца Хименеса Руиса Матраи порывисто поднялся, и тотчас же в разных концах зала поднялось ещё несколько фигур и на разных языках слышалось радостное: «Матраи!», «Генерал!», «Матраи!» К нему с радостными лицами бежали бывшие бойцы

интернациональной бригады. Тут были француз Луи Даррак, эльзасец Лоран, немец Цихауэр, американец Стил, чех Купка.

С высоты эстрады президиума Ибаррури увидела эту сцену. Она вся загорелась от радости и крикнула:

— Слава бойцам интернациональных бригад!.. Слава братьям-освободителям!

Зал ответил рукоплесканиями, и Пик, улыбаясь, сказал несколько приветственных слов.

Через полчаса все старые друзья, счастливые и оживлённые, сидели в ресторане, который был ближе всего к месту заседаний и потому всегда бывал полон делегатов.

Сыпались расспросы, приветствия, поднимались тосты. Подчас вспыхивали и короткие, горячие споры. Громче всех раздавался звонкий голос Матраи.

— Извините меня, — слышалось вдруг поблизости, и все увидели подошедшего к их столу худенького старичка, маленького и согбенного, с лицом, словно изъеденным серной кислотой, и с седыми клочьями бороды неравномерно покрывавшей обожжённую кожу лица. — Извините меня, — повторил старик. — Я хотел бы представиться: Людвиг Фельдман. Я делегат профсоюза берлинских портных, и мне хотелось

бы сказать несколько слов о социал-демократах, которых, как я слышал со своего места, вы тут довольно сильно и отчасти заслуженно браните...

— Отчасти?! — горячо возразил Лоран. — Нет, вполне заслуженно, вполне!

— Согласен: «вполне», пока речь идёт о тех, кого мы сами называем не иначе как бонзами и предателями, — о всяких шумахерах. Но если вы валите в одну с ними кучу и нас, бывших рядовых социал-демократов, то уж позвольте! — Фельдман выпрямил своё хилое тело и поднял голову. — Тут уж я прошу других слов... Вот я только что

рассказывал своему соседу по столику, как вели себя мои товарищи, прежние социал-демократы, в лагере смерти под названием «Майданек».

— Вы были в Майданеке? — с сочувствием воскликнули сразу несколько человек.

— Да, именно в Майданеке и уже почти в печи. Даю вам слово, если бы советские солдаты пришли на полчаса позже, я уже не имел бы радости видеть это изумительное собрание всего лучшего, что имеет в своих рядах человечество.

— А что же вы рассказывали своему соседу? — спросил Стал.

— Я хотел сказать ему кое-что о разнице, которая существует между

нами, бывшими простыми немцами, которые пришли под знамёна социал-демократии так же, как шли туда наши отцы и даже деды, когда эти знамёна держали над их головой Вильгельм Либкнехт и Бебель, и теми, кто покрыл эти знамёна позором. Но оказалось, что господин английский профессор все отлично знает и без меня, он даже знает больше меня. Потому что он был не только в Германии, как я, но жил и в Англии, и во Франции, и бывал даже в Америке. Он очень много видел и очень много знает. Вот спросите его о том, как и сейчас ведут себя простые люди в Западной Германии, те, кто прежде были рядовыми

членами социал-демократической партии, спросите...

С этими словами Фельдман повернулся к своему столику, намереваясь, повидимому, представить своего соседа, но тот уже стоял за его спиной и с улыбкой слушал его. Грузный старик в мешковатом потёртом костюме, он кивком большой головы поздоровался с «испанцами» и просто сказал:

— Меня зовут Блэкборн. Вероятно, вы меня не знаете. — И лицо его отразило искреннее удивление, когда он увидел, как один за другим из-за стола поднялись все, а Купка, на правах хозяина,

почтительно подвинул ему стул.

— Садитесь к нам, профессор, — сказал Матраи. — Если вы любите простых людей, то тут как раз компания, какая вам нужна. И вы, Фельдман, тоже присаживайтесь к нам.

— Должен сознаться, — сказал Блэкборн, — что мой новый друг Фельдман сильно преувеличил мою осведомлённость в вопросах политики. Я в ней новичок. И самый-то разговор о социал-демократах у нас с ним вышел из-за того, что я, вполне отдавая себе отчёт в отвратительном облике так называемых лидеров социал-демократии и всяких там правых

социалистов, лейбористов и тому подобной гнили, все же не очень уверен в том, что при общем подъёме, которым охвачены народные массы почти всех стран, эти одиночки могут быть опасны. Они представляются мне чем-то вроде одиноких диверсантов, заброшенных врагами в тыл миролюбивых народов. Не так давно судьба привела меня в компанию таких грязных типов, настоящих разбойников, и я пришёл к выводу: это конченные люди. Я не верю, что такими грязными и слабыми руками можно остановить огромные силы, которые поднимаются на борьбу с врагами великой правды простых

людей. Не верю, господа!

Старый физик не мог, да, повидимому, и не старался скрыть волнения, все больше овладевавшего им по мере того, как он говорил. Это волнение тронуло Матраи. Как писатель, он лучше других понимал, какой тяжёлый путь сомнений и исканий прошёл учёный. От атомного концерна к конференции друзей мира; от чванных заседаний Королевского общества к тому столику, за которым он сейчас сидел рядом с портным Фельдманом, с каменщиком Силом, со слесарем Лораном; от клуба консерваторов на Пэл-Мэл к компании коммунистов.

Матраи поднял стакан.

— Здоровье тех, кто приходит к нам, здоровье тех, кому седины не мешают найти дорогу к правде, к свободе, к сердцу простого человека, которого великий Горький писал с большой буквы... Здоровье Блэкборна, товарищи!.. А теперь я хотел бы сказать несколько слов нашему новому товарищу Блэкборну, чтобы рассеять возникшие у него сомнения. — Матраи поставил стакан и несколько мгновений молчал, собираясь с мыслями. — Вы не верите тому, что пигмеи из породы блюмов и шумахеров, сарагатов и бевинов могут остановить поток народного гнева, который сметёт с лица земли их и их

хозяев с кровавыми режимами, со всей подлостью, жадностью и человеконенавистничеством?..

— Не верю! — Блэкборн даже пристукнул стаканом по столу.

— Мы тоже не верим, никто не верит, что им удастся остановить ход истории, — согласился Матраи. — Вы не верите тому, что наёмные разведчики и диверсанты могут помешать историческому движению к коммунизму? Мы тоже не верим. Но поверьте, профессор, что мы были бы очень плохими коммунистами, если бы хоть на минуту забыли, чему нас учат Маркс, Ленин, Сталин. А Ленин учил тому, что победа не падает в руки, как

спелый плод. Её нужно брать с боя. Тому же учил и учит нас Сталин. Что до тех пор, пока рядом даже с такой крепостью коммунизма, как Советский Союз, существуют капиталистические страны, ни один из нас не имеет права об этом забывать. Сталин говорил: всем ходом истории доказано, что когда какая-нибудь буржуазная страна намеревалась воевать с другим государством, она прежде всего засылала в его тылы шпионов и диверсантов, вредителей и убийц. Вспомните, профессор, убийство Кирова, вспомните трагическую смерть Куйбышева, вспомните злодейское умерщвление Горького!

Враги стремились обезоружить своего противника, убивая его командующих, правителей и духовных вождей. Они зажигали восстания в его тылу. Они подло и тайно вредили ему всюду, куда только могли проникнуть. По поручению своих хозяев разведчики разрушали моральные устои и подрывали доверие к руководителям другой стороны. Они разжигали войны, как война в Вандее против якобинской Франции; мятежи, как мятеж Франко против Испанской республики. Вы говорите, профессор, что они одиночки, эти продажные мерзавцы? Да, их ничтожно мало по сравнению с армиями свободы, но

вспомните, профессор: чтобы построить мост, по которому мы с вами пришли сюда из зала заседаний, нужны были тысячи человеческих рук и годы труда, а чтобы взорвать его, нужна одна рука подлеца; чтобы построить электростанцию, дающую нам этот свет, нужен был огромный творческий труд учёных, конструкторов, строителей, нужны были миллионные затраты, а чтобы взорвать эту станцию в первый же день войны, достаточно одного разведчика и несколько килограммов тола. Чтобы победить врага в сражении, нужен тонко, умно и втайне разработанный план операции, нужна творческая работа

большого коллектива штабных работников, а чтобы выдать этот план врагу, нужен один предатель. Вот чего мы никогда не должны забывать, мой дорогой профессор. Когда вы продумаете это, то поймёте, чем опасны все эти социал-демократические агенты-космополиты, оплёвывающие национальную гордость народов, их мораль, их чувство чести и патриотизма.

Никто из увлечённых разговором собеседников не заметил, как к их столику, неслышно ступая, подошёл небольшого роста коренастый мужчина со скуластым лицом цвета старой бронзы. Его карие глаза

пристально глядели из узкого разреза, словно пронизывая по очереди каждого из сидевших за столом, и остановились на говорившем Матраи. Этот человек долго стоял неподвижно, как изваяние, с лицом замершим и с плотно сжатыми губами. Но, как только умолк Матраи, он вдруг заговорил с большим жаром, старательно подчёркивая каждое из чётко произносимых по-французски слов:

— Извините, меня не приглашали говорить, но я позволяю себе думать, что господину английскому другу будет полезно узнать, что думает по этому поводу

МОНГОЛЬСКИЙ народ, который на опыте убедился в том, как опасны отвратительные, аморальные одиночки из разведок всех стран, которых вам довелось видеть. Вы поймёте, почему именно сейчас, когда, как никогда, обострилась борьба между великим лагерем демократии и лагерем империализма, между лагерем всего честного и прогрессивного, что есть на свете и что непреодолимо движется к исторически неизбежной победе, и лагерем реакции, пытающейся любыми средствами затянуть свою также исторически неизбежную агонию, именно сейчас мы должны быть бдительны, как

никогда прежде; мы должны научиться распознавать врага в любой маске, в любом обличье; врага, пытающегося пролезть в наш лагерь сквозь любые щели; врага, который ещё не раз попытается использовать все — от прямого вредительства в области материального достояния наших народов до самого подлого вредительства в области его величайших духовных ценностей; врага, который попытается залезть нам в душу; врага, который попытается для маскировки прикрыться членством в любой прогрессивной партии, а иногда и билетом коммуниста. Не думайте,

профессор, что господа ванденгеймы своими руками полезут в грязь; за них это делают их разведчики — тайные, но прямые исполнители воли империалистов. Никогда не забывайте об этом, профессор! Но верьте, до конца верьте: с народами-борцами за мир и счастье людей вы придёте к победе, зарю которой разум и честь помогли вам увидеть на горизонте. Извините, меня не приглашали говорить, но, наверно, английскому гостю никогда не приходилось слышать, что думают о британской разведке народы далёкой Азии. Я монгол, меня зовут Содном Дорчжи... Извините.

Он с достоинством поклонился

и отошёл такими же мягкими, неслышными шагами, как приблизился.

Блэкборн медленно поднялся со своего места и, отыскивая самые убедительные, самые простые слова, сказал:

— Мне нечего ответить вам, кроме того, что поворот сделан. Я рад, что на этом повороте нашёл именно таких, как вы. Обратно я не пойду. Я хочу увидеть победу. — И тут лицо его озарилось улыбкой, разогнавшей его морщины и сделавшей его лицо светлым и молодым. — Может быть, вы будете надо мною смеяться, друзья мои, но всякий раз, когда мне доводится

думать об окончательной победе, она предстаёт мне в образе большого поля, поросшего необыкновенной, огромного роста, золотой-золотой пшеницей. А вокруг этого поля — сад. Тоже удивительный, пышный и зелёный сад, как в сказке! — Блэкборн смущённо улыбнулся. — Это, вероятно, оттого, что мне очень хочется своими глазами увидеть эти необыкновенные сады Сталина и эту пшеницу... Выпейте за это, друзья мои!

— Пойдите! — крикнул вдруг Даррак. Он подбежал к одному из музыкантов, сидевших на эстраде, и, взяв его скрипку, вернулся к столу. — Осколок франкистского снаряда

оторвал мне пальцы, — он поднял левую руку, — которые были так нужны мне, музыканту. Я думал тогда, что больше никогда уже не смогу взять в руки скрипку, но один мой немецкий друг, он был у нас в бригаде комиссаром, и мои друзья по Испании его хорошо знают, — я говорю о Зинне, товарищи, — да, Зинн спросил меня: «Ты смиришься с тем, что в день победы не сможешь сыграть нам наш боевой марш?» Право, если бы не Зинн, я, может быть, и не подумал бы, что ведь у человека две руки... И вот несколько лет работы над собой — и скрипка снова у меня в руках. Ты помнишь, генерал, помнишь, Стил, песни

нашей бригады?

— Играй, Даррак! Играй! — сверкая глазами, крикнул Руис. Он обратился на Матраи такой восторженный взор, что можно было с уверенностью сказать: двенадцать лет разлуки не погасили в бывшем адъютанте восторженной привязанности к генералу. — Играй же, Даррак!

И Руис первым запел под скрипку:

Франко и гитлеры, плох
ваш расчёт...

Матраи,

улыбаясь,

присоединился к нему. Запели и Стил, и Лоран, и Купка. Не знавшие слов Блэкборн и Фельдман начали было тоже несмело подтягивать, но вдруг оглушительные аплодисменты зала покрыли их голоса. Все лица обратились ко входу. Матраи увидел стоящего в дверях высокого стройного мужчину с румяным молодым лицом, но с совершенно серебряной от седины головой. Одно мгновение Матраи смотрел на него в радостном недоумении, потом вскочил и побежал ему навстречу.

— Боже мой! — почти с благоговением прошептал Фельдман. — Я же знаю его! Это советский офицер, он открыл нам

двери Майданека. Если бы он со своими танками опоздал на полчаса... Даю вам слово, господа, это он!

Но портного никто не слушал. Все смотрели на входящего. Кто-то громко крикнул:

— Слава русским!.. Слава советским людям — освободителям!

И сразу несколько голосов подхватило:

— Слава СССР!.. Слава Сталину!

На десятках языков гремело: «Сталин!.. Сталин!..»

Русский с улыбкой поднял руки, как бы спасаясь от обрушившегося на него шквала рукоплесканий. В этот

момент к нему подбежал Матраи. Одно мгновение они смотрели друг на друга.

— Генерал Матраи?.. Тибор?!

— Миша?!

И, крепко обняв гостя за плечи, Матраи повернул его лицом к своему столу. Обращаясь к старому Фельдману, больше чем ко всем другим, сказал:

— Этот советский человек со своими танками, кажется, никогда и никуда не опаздывал. Советские люди вообще всегда приходят вовремя, всюду, где нужна рука их помощи... — Он подвёл гостя к столу. Матраи наполнил стаканы и поднял свой. — Сначала мы выпьем

за советских людей, за их
прекрасную родину и за того, чья
мудрость сияет над всем как
путеводная звезда свободы, братства
народов, как яркая звезда
побеждающего коммунизма. За
Сталина, друзья!

Зал рукоплескал...

В эти же дни в одной из советских комендатур Берлина шли своим чередом дела — повседневные дела города, который англо-американцы тщились, вопреки всем доводам разума и чести, сделать яблоком раздора с Советским Союзом и предлогом для политической распри мирового значения.

К концу рабочего дня помощник коменданта вставал из-за рабочего стола совершенно вымотанный. Дни, которые ещё год тому назад, когда он возился с допросами Кроне, казались ему такими загруженными,

вспоминались теперь, как интересная экскурсия в историю. Он отлично помнил, как извивался тогда Кроне, пытаясь угадать дальнейшую судьбу своих стенограмм. Советский офицер, прочитав предыдущий допрос Кроне, испещрённый сотнею вставок и исправлений, сделанных сведущими людьми, узнавал таким образом всё, что пытался от него скрыть американский разведчик в шкуре немецкого эсесовца, и всё, что тот и сам не знал. После этого офицер должен был приступить к следующему допросу, не подавая виду, что знает что-нибудь, кроме того, что говорил Кроне.

Какова-то судьба этого типа?

Какова участь тёмных героев его мрачного повествования?

Офицер закурил и подошёл к окну кабинета, выходящего во двор комендатуры. Улыбка пробежала по его губам. Он отлично помнит: именно в тот день, когда к нему привели пойманного Кроне, советский старшина посадил во дворе вон то деревцо. Оно росло, тянулось и зеленело, словно в пример остальным, посаженным немецким садовником.

И только было пробуждённая воспоминаниями мысль офицера понеслась в родные советские края, как её тут же оборвал заглянувший в кабинет старшина:

— К вам, товарищ майор!

— Приём окончен.

— Очень просит.

Офицер с досадою придавил в пепельнице папиросу и вернулся к столу. Его взгляд без особой приветливости остановился на вошедшем в кабинет крепком мужчине с необыкновенно красным лицом.

Тот развязно взмахнул шляпой и громко сказал:

— Я американский журналист. Хочу познакомиться кое с чем в вашем районе, комендант.

Офицер уже выработавшимся движением протянул руку. Посетитель вложил в неё визитную

карточку: «Чарльз Друммонд.
Корреспондент».

Помощник коменданта и американец перебрасывались незначущими, обычными в таких случаях фразами, и офицер машинально вертел в руках визитную карточку американца, как вдруг в его глазах блеснул огонёк любопытства: «Чарльз Друммонд?..» Чтобы скрыть вспыхнувший у него интерес, он прищурился и как бы невзначай ещё раз по складам прочёл: «Чарльз Друммонд...»

Офицер поднял взгляд на американца: «Так вот он каков, мистер Фрэнк Паркер, впервые пересёкший океан из Америки в

Европу на борту „Фридриха
Великого“!...»

Паркер с нарочитой
старательностью раскуривал
папиросу, чтобы дать себе время
исподтишка рассмотреть
коменданта. Он много слышал о
простодушии русских, на лицах
которых будто бы отражаются их
мысли. Но, черт побери, на лице
этого офицера он не мог уловить
ничего. Единственное, что можно
было, пожалуй, сказать с
уверенностью, судя по равнодушному
взгляду, которым офицер скользил то
по его визитной карточке, то по нему
самому: он не имеет представления о
том, кто перед ним в

действительности. Да, в этом-то Паркер был уверен.

Ответы офицера были все так же спокойны и неторопливы, какими американцу казались и его собственные вопросы. Паркер обдумывал теперь ход, который позволил бы ему свободно передвигаться по советской зоне, отыскать конспиративную квартиру доктора Зеегера и через него помочь диверсионной группе Эрнста Шверера заманить Эгона Шверера на ту сторону.

Чтобы отвлечь внимание коменданта от главного, ради чего пришёл, Паркер сказал:

— А не кажется ли вам, майор,

что правы всё-таки не вы, русские, а мы, американцы, дав немцам кое-что в долг?

— Дать в долг и заставить взять — не одно и то же.

С напускной беспечностью американец сказал:

— Все-таки важно то, что они взяли, и взяли немало!

Комендант ответил без тени шутливости:

— А вам не приходит в голову, что под видом хлеба вы, американцы, вложили в руку немцев камень?

— Чепуха! — уверенно воскликнул Паркер. — Мы даём им возможность не околеть с голоду.

— Чтобы не потерять живую

силу — людей, которых хотите сделать своими рабами?

— Покупатели и должники нужны нам не меньше рабов, — с усмешкой сказал Паркер. — Важно то, что мы не уйдём отсюда, пока не вернём своего. А вы? Скоро у вас не будет никаких оснований торчать тут.

— Мы не задержимся здесь ни одного дня... Мы скоро уходим.

— Чтобы потерять Германию!

— Или прочно приобрести в ней друга!

— Уйдя-то? — Удивление Паркера было так неподдельно, что он даже приподнялся в кресле. — Вы собираетесь чего-то достичь, бросив Германию на произвол судьбы?

— Нет, передав её в руки немецкого народа.

Паркер рассмеялся.

— Сделай мы подобную глупость, — прощай не только проценты, но и все долги. Это было бы противно здравому смыслу! — Он потёр лоб, и его красное лицо расплылось в улыбке. — До тех пор, пока у нас в залоге сердце должника, мы можем быть уверены, что возьмём своё.

Глаза коменданта сузились, и он несколько секунд молча смотрел на американца. Потом вздохнул так, как если бы ему было жалко этого самоуверенного и такого глупого человека.

— Шейлок думал так же, —
сказал он и опять вздохнул.

— Что вы сказали? —
встрепенулся Паркер, услышав
знакомое имя, но комендант ничего
не ответил, и Паркер, пожевав
губами, спросил: — Как насчёт
прогулки по вашей зоне?

Комендант опустил взгляд на
визитную карточку: «Чарльз
Друммонд...»

Подавляя усмешку, он посмотрел
в глаза американцу и, извинившись,
вышел в другую комнату.

Там он, закуривая на ходу,
медленно, почти машинально,
приблизился к окну и, задумавшись,
поглядел на деревцо. Да, вот оно, уже

совсем крепкое, и листья его уже утратили наивную беспомощность, и корни его не нужно больше поливать из лейки, как делал когда-то старшина. Немец-садовник уже поливает его из шланга и уже не смотрит на это дерево, как на забаву русского солдата, которая никогда не пригодится немцам: он теперь даже усмехается в усы, вспоминая глупые свои мысли. Тот советский солдат очень хорошо сделал, что посадил деревцо на месте вырванной снарядом старой липы. Оно ведь растёт на немецкой земле и, навсегда останется немецким. В этом не может быть уже никаких сомнений. Сейчас уже почти все простые

немцы понимают, что жизнь опять распустится здесь полным цветом, и они хотят её видеть, хотят строить её своими руками и верят тому, что построят на своей земле, принадлежащей не какому-нибудь толстобрюхому, а простым немцам — народу...

Офицер оторвал взгляд от окна и поднял трубку телефона.

— Военная прокуратура?.. Человек, организовавший попытку похищения инженера Эгона Шверера, у меня. Да, это Фрэнк Паркер... Да, тот самый Паркер, о котором столько говорил Кроне... Слушаю, сейчас будет доставлен.

Он положил трубку и

повернулся к старшине, молча
стоявшему у двери:

— Двух автоматчиков!

В течение долгого времени у Аллена Долласа сохранялась надежда на то, что Паркер-Друммонд не подаёт о себе вестей из соображений конспирации. Доллас молчал. Затем один из людей Эрнста Шверера доставил сообщение доктора Зеегера об аресте Паркера.

Дважды перечитав расшифрованную записку Зеегера, Доллас сидел, не поднимая глаз на Александера, примостившегося на кончике кресла по другую сторону стола. Тот, кто посмотрел бы теперь на Александера, не узнал бы в нём прежнего начальника

разведывательного бюро
вильгельмовской армии,
штреземановского рейхсвера и
гитлеровского вермахта. Усы его
были попрежнему тщательно
подстрижены, но они стали редкими
и серо-жёлтыми, как вытертая зубная
щётка. Монокль ещё держался в
глазнице, но глаз генерала глядел из-
под стекла усталый и тусклый, как
пуговица из серого эрзац-металла на
кителе отставного эсесовца.
Движения Александера оставались
мягкими, но это уже не была хищная
повадка тигра, подстерегающего
очередную жертву абвера. То была
вкрадчивость лакея, боящегося
получить расчёт. Одним словом, то

не был уже прежний Александер. Он сидел в позе почтительного внимания и следил за выражением зеленовато-прозрачной физиономии Долласа. Он принёс ему сообщение Зеегера, чтобы показать, что американские агенты ни к чорту не годятся: Паркер сам, как глупый телёнок, полез в берлогу русского медведя.

— Вызовите сюда этого Зеегера, — раздался, наконец, скрипучий голос Долласа.

От удивления и испуга Александер даже откинулся к спинке кресла.

— Абсолютно невозможно, сэр.

— Это единственный толковый

парень... там. Я хочу с ним поговорить.

— Абсолютно невозможно, сэр, — повторил Александер. — Этот человек не должен потерять лицо. Он пронёс его чистым через разгром социал-демократии при фюрере, сохранил его после поражения...

— После победы! — поправил Доллас.

Взгляд Александера не отразил ничего. Он настойчиво повторил:

— Зеегера нельзя трогать. Его даже не следовало бы сейчас использовать ни для каких побочных заданий.

— Вытащить Кроне и Паркера — не побочное дело.

— По сравнению с тем, что предстоит доктору Зеегеру...

— Я не давал ему никаких поручений.

— Но я дал, сэр, — возразил Александер. — Общая директива о введении наших людей в ряды СЕПГ. Для этого Зеегер самый подходящий человек: его роль в социал-демократической партии не слишком значительна. Его измена социал-демократам не отразится на их деятельности. Шумахер легко подыщет ему замену для работы в Берлине.

— Вы воображаете, что Пик встретит вашего Зеегера с трубами и барабанным боем?

— Очередная задача СЕПГ — Национальный фронт. Они заявили, что даже бывшие рядовые нацисты, если они патриоты и готовы драться за единую Германию, — желанные попутчики. А Зеегер никогда не был скомпрометирован сотрудничеством с нами. Мы берегли его. Наша предусмотрительность...

Но Доллас без церемонии перебил его:

— Ваш очередной просчёт?

Александр молча отрицательно покачал головой.

— Хорошо, — сказал Доллас, — оставим в покое вашего Зеегера. И все же мне нужен надёжный человек: если Кроне нельзя вытащить, нужно

заставить его замолчать.

— При одном условии... —
подумав, проговорил Александер.

Маленькие глазки Долласа
вопросительно уставились на
генерала. Видя, что он молчит,
американец сердито буркнул:

— Ну?!

— Замолчать... навсегда...

Доллас был далёк от
предрассудков, которые помешали бы
ему дать утвердительный ответ. Это
было слишком обыкновенным делом:
агенты провалились, один уже
болтает, другой может начать болтать
— они должны быть уничтожены.
Мак-Кронин и Паркер не были бы
первыми в этом счёту, не были бы и

последними, убранными по распоряжению Аллена Долласа. В этом отношении он перенял все приёмы своего старшего брата, но действовал с большей решительностью. Фостеру

приходилось начинать дело, Аллен получил его на ходу. Фостеру ещё мешала необходимость соблюдать декорум демократии рузвельтовского периода, Аллен плевал на всякие декорумы — он работал во времена Фрумэна, а не Рузвельта.

И тем не менее на этот раз он заколебался. Эти двое — Мак-Кронин и Паркер — были людьми хозяина. Ванденгейм ценил этих агентов и время от времени

интересовался их донесениями. Ему взбрело на ум, что они его крестники. Как тот король, что пустил в ход при дворе блоху... Нельзя было уничтожить Паркера и Мак-Кронины, не сказав Джону. А сказать ему — значит признаться в ошибках своей службы, в собственных ошибках. И под какую руку попадёшь? Может начаться крик, топание ногами, в голову Аллена полетит первое, что попадёт под руку хозяина. И вместе с тем...

Вместе с тем — свой провалившийся разведчик опаснее вражеского непровалившегося. Мак-Кронин и Паркер должны быть изъяты или уничтожены.

— Мы испробуем путь официального нажима, — сказал Доллас Александру. Заметив на его лице выражение сомнения, добавил: — Я того же мнения, но нужно испробовать. Реакция русских бывает иногда совершенно необъяснимой...

— Как пути господа-бога? — усмехнулся Александр.

— Нет, как поступки людей с совершенно иной психологией, чем наша. Вспомните, как они обошлись с немецкими инженерами, пытавшимися нарушить у них электроснабжение. И как цепляются за каждого русского ребёнка, которого откапывают на нашей стороне: точно это принцы крови, от

возвращения которых на родину зависит весь ход истории!.. Все как раз обратно тому, что делали бы мы: повесили бы инженеров, а впридачу к каждому ребёнку отдали бы ещё десяток.

Александр вызвал на лице подобие улыбки.

— Более сорока лет я пытаюсь разгадать душу этого народа и... — он развёл руками.

— Если бы в войне четырнадцатого-восемнадцатого годов вместо разгадывания русской души немцы покончили с нею отравляющими газами, у нас с вами не было бы теперь столько хлопот.

— Позвольте узнать, сэр, —

иронически спросил Александер, — почему же вы не исправили эту ошибку?

— Потому, что вы оказались мягкотелее и глупее, чем мы надеялись, давая вам в руки всё, что нужно для победы над большевиками, — с нескрываемой неприязнью ответил Доллас.

— Одною рукой давая нам оружие, вы другою рукой пытались схватить нас за горло. Вы думаете, мы не знали: «поддержать Гитлера, если ему придётся плохо, но если худо будет русским — помочь им»? Вы хотели, чтобы та и другая — сильная Россия и сильная Германия — исчезли с вашего пути. Нас это не

устраивало.

В голосе Долласа прозвучала откровенная насмешка:

— А вас устраивает то, что вы имеете теперь?

— Да.

Этот неожиданный ответ поверг американца в такое удивление, что, глядя на него, Александер счёл нужным повторить:

— Да, да! Нас это вполне устраивает, потому что это незабываемый урок вам: из-за нечистой игры вы получили ошмётки победы.

— Скоро вы узнаете, что это за «ошмётки», — злобно проговорил Доллас.

— Никому не дано знать будущего. Зато все мы достаточно хорошо знаем прошлое. Мы знаем, что настоящими победителями вышли из войны русские. Половина Европы стала коммунистической, завтра будет коммунистическим весь Китай...

Доллас резко перебил:

— Никогда!

— Будет! Потому что там вы ведёте ту же двойную игру, что пытались вести здесь: хотите чистыми вылезти из грязи. Это не удавалось даже вдесятеро более умным людям. — На миг Александеру показалось, что он сказал лишнее, но он уже не мог

сдержаться. Не мог и не хотел. Быть может, это был первый случай в его жизни, когда он говорил то, что думал; когда он хотел сказать этому самоуверенному приказчику самовлюблённых хозяев: «Грош вам цена! Такие немцы, как я, имеют с вами дело потому, что оказались в положении париев, с которыми никто другой не хочет говорить». Хотелось сказать, что...

Его быстро бегущие мысли были прерваны замечанием, которое Доллас сделал как бы про себя, ни к кому не обращаясь:

— Их устраивает победа России!..

Александр с непривычным

раздражением быстро проговорил:

— Да, нас устраивает эта победа России. Теперь вы не посмеете вести двойной игры. Вы не захотите, чтобы из следующей войны Россия вышла с ещё большей победой. А это вовсе не исключено: коммунистической может стать вся Европа, коммунистической, почти наверно, станет вся Азия! Только попробуйте схитрить и подставить нас под удар в надежде, что и наша голова будет расколота и русский кулак разбит. Не выйдет, мистер Доллас! Не выйдет!.. Честная игра: выигрыш пополам!

Доллас рассмеялся. Он смеялся скрипучим, прерывающимся смехом, похожим на вой подыхающего

шакала. Между припадками смеха он взвизгивал:

— Пополам!.. Это великолепно: пополам! А что у вас есть, чтобы ставить такие условия?.. Что вы можете выложить на стол, кроме нескольких миллионов тупиц, умеющих стрелять и по команде своих офицеров — таких же тупиц, как они сами, — поворачиваться налево и направо?.. Что, я вас спрашиваю?..

— Это не так мало, как вам хочется показать! — зло крикнул Александер.

— Если бы не мы, они проделывали бы свои упражнения в подштанниках и на пустой

желудок...

Александр не дал себя прервать:

— Попробуйте поискать таких солдат у себя... — Ему очень хотелось сказать «в паршивой Америке», но он удержался: — в своей Америке.

— И найдём, найдём, сколько будет нужно! — провизжал Доллас. — Да не такого дерма, как ваши молокососы, а прекрасный, тренированный народ — чистокровных янки.

— Тренированы бегать за девочками. Видели! Знаем! Один раз мы на них как следует нажали: в Арденнах...

Упоминание об этом позоре американской армии вывело Долласа из себя:

— Замолчите, вы ничего не знаете!

Но Александер не сдавался:

— Если бы не русское наступление... Всякий раз только русские, именно русские. Это они помешали нам войти в Париж в прошлую войну. Они помешали нам сделать из вас шницель в эту войну... Всегда русские!.. Если на этот раз не будете играть честно, придётся иметь с ними дело вам. Вам самим. Тогда узнаете, что такое война с Россией!.. Не пикник, проделанный Эйзенхауэром. Навстречу ему наши

дивизии бежали с единственным намерением не попасть к русским. — И, выронив монокль, со злобой закончил: — Крестовый поход!.. Хотел бы я посмотреть на ваших крестоносцев там, под Сталинградом, под Москвой...

Он сидел бледный, с плотно сжатыми тонкими губами, с неподвижным взглядом бесцветных глаз. Доллас давно знал его, но таким видел впервые. Лопнуло в нём что-то или просто переполнилась чаша терпения? Придётся выкинуть его в мусорный ящик, или старый волк станет ещё злее?

Доллас молча пододвинул Александеру бутылку минеральной

воды. Некоторое время тот недоуменно смотрел на бутылку, потом перевёл взгляд на американца. Размеренным, точным движением вставил монокль и прежним покорным тоном негромко проговорил:

— Итак, о Паркере...

Доллас вздохнул с облегчением и быстро спросил:

— Вы лично знаете этого... Шверера?

— Которого?

— Главаря шайки на той стороне.

— Эрнста?.. Знаю.

— Ему можно поручить дело Кроне и Паркера?

— Полагаю... полагаю, что можно... Особенно, если речь идёт об их ликвидации.

— Пока нет. Подождите, это в резерве, — быстро заговорил Доллас. — Живые они нам нужнее.

— После такого провала?

— У нас дела не только в Германии. Завтра мы возбудим вопрос: американский журналист, совершавший невинную экскурсию по восточному Берлину, под арестом? Это же неслыханно!

— Этим вы русских не проймёте.

— Тогда поднимем на ноги прессу: американский журналист, среди бела дня похищенный

советскими войсками. Это подействует.

— Лучше бы не терять времени.

— Избавиться от них вы всегда успеете.

— Далеко не всегда, сэр... Только до тех пор, пока они в Берлине и пока их возят из тюрьмы на допросы. Если завтра эти допросы прекратятся, арестованные станут недосыгаемы и для Эрнста Шверера.

— Не прекратятся! — уверенно возразил Доллас. — Русские достаточно любопытны.

— При чем тут русские? — возразил Александер. —

Арестованные переданы германским властям.

— Извините, забыл.

— Поскольку мы уже заговорили о Шверерах: как решён вопрос о старшем, об Эгоне, инженере? — спросил Александер.

— Он попрежнему нужен нам.

— А если я использую его по-своему? Для обмена на этих двух?

— Едва ли он нужен тем.

— Вы сами говорили: это люди с необъяснимой психологией. Ради того, чтобы спасти ненужного им немца, они могут вернуть двух нужных нам.

— Если вы так думаете... — без всякого подъёма проговорил Доллас. Он не верил в возможность такого трюка. — Да и, для того чтобы

менять, нужно иметь его в руках.

— Я сам возьмусь за это. Вопрос в том, в какой мере для вас действительно ценны те двое?

Доллас быстро прикидывал в уме. Только страх перед Ванденгеймом мог заставить его пойти на такую возню...

— Попробуйте... — вяло сказал он. — Но умоляю: без «битья посуды», как говаривал наш покойный президент.

Александр подытожил:

— Значит, соблюдаем последовательность: а) официальное обращение, б) скандал в прессе, в) похищение при перевозке, г) обмен на старшего Шверера.

— Мой старший брат, которого вы, к вашему счастью, не знали, — насмешливо проговорил Доллас, — в своём нынешнем положении, вероятно, произнёс бы: «Аминь».

Для Александера Мак-Кронин продолжал оставаться Вильгельмом фон Кроне. Американцы не считали нужным посвящать немецкую разведку в то, что пятнадцать лет в её недрах сидел их агент. Вероятно, поэтому, строя свои планы освобождения обоих провалившихся разведчиков, Александер больше думал о Кроне, чем о Паркере. Кроне не только был в глазах Александера немцем, но и человеком, обладающим слишком большим

количеством немецких секретов. Их не следовало знать не только русским, но и американцам. Пожалуй, теперь, в силу создавшейся обстановки, Александер больше боялся выдачи секретов Кроне американцам, чем русским. Поэтому он решил подождать несколько дней, чтобы не раздражать Долласа и дать ему возможность использовать официальные пути освобождения арестованных. Но не веря в успех этих попыток, он заранее подготовил всё, что было нужно, для осуществления своего собственного плана. Эрнсту Швереру была дана строжайшая директива: при малейшем сомнении в возможности

освободить — убить обоих. Пусть потом американцы разбираются, по чьей вине это произошло. Младший Шверер умеет держать язык за зубами и может свалить все на чинов народной полиции восточного Берлина, которой переданы оба арестанта.

Итак: в один из ближайших дней Кроне и Паркер перестанут доставлять ему хлопоты и быть предметом неприятных разговоров с проклятым рыжим американцем.

Эгон смотрел, полный радостного удивления. Заново отстроенная школа не только не была хуже той, что стояла на этом месте прежде, но выглядела гораздо веселей и нарядней, хотя — Эгон это знал — со строительными материалами было туго. Дом был сооружён на площадке, расчищенной среди развалин квартала, сравнённого с землёй в один из первых же американских налётов.

Это было неизмеримо более ярко, чем все читанное и слышанное о политике СЕПГ, о программе нового правительства

Демократической германской
республики.

«Демократическая германская республика»... Это до сих пор кажется ещё несбывшейся мечтой. Ведь там, на западе, где стоят войска «великих демократий», никто ещё не говорит о том, что немцы могут самостоятельно управлять своим государством, там не говорят даже о немецком государстве как о чём-то, что может быть. Там побеждённые и победители. Там оккупация, разгул и насилие одних, голод и озлобление других. Там снова «пушки вместо масла». Американские пушки вместо масла для немцев и немецкое масло для завоевателей. Там опять

гаулейтеры, именуемые верховными комиссарами. Там снова фюреры и лейтеры, называемые уполномоченными. Там наново старые крупы, пфердеменгесы, стиннесы. Снова заговорившие в полный голос гудерианы и гальдеры. Там бурлящие хриплыми криками спекулянтов биржи Кёльна, Гамбурга, Франкфурта; акции стальных и химических концернов, лезущие вверх благодаря заказам на военные материалы. Там снова танки, сходящие с конвейеров Борзига и Манесманна, снова истребители, вылетающие из ворот Мессершмитта...

Пушки вместо масла!.. Война

вместо мира! Вместо жизни
смерть...

Эгон потрянул головой и на
минуту приложил ладонь к глазам,
чтобы отогнать эти навязчивые
параллели.

Звоном торжественных
колоколов отдавались у него в ушах
удары мячей. Мячи отскакивали от
высокой стены разрушенного дома,
выходившей во двор школы. Мячи
были большие, раскрашенные
красным и синим. Ударяясь в стену,
они издавали короткое гудение.
Каждый мяч своё. А все вместе
сливалось в своеобразную
симфонию, множимую гулками
руинами квартала. Лучи солнца

делали прыгающие сине-красные шары такими яркими, что у Эгона зарябило в глазах. Он рассмеялся. Праздничное мелькание красок, весёлый гул мячей, беззаботные возгласы девочек, игравших на школьном дворе, — все сплеталось в единую картину торжества жизни. Эта жизнь пробила себе путь сквозь страшное море закопчённых развалин, голод и нищету, слезы вдов и проклятия калек. Сквозь стыд преступления большого, разумного, трудолюбивого народа, позволившего сделать из себя тупое, бездумное орудие смерти и разрушения. И снова жизнь, весёлая немецкая речь, без оглядки в прошлое, со взорами,

устремлёнными вперёд, только вперёд...

Однако как он очутился здесь?.. Что это — простая рассеянность или опасное отсутствие контроля над самим собой? Как могли ноги принести его сюда без участия воли? Тут учится теперь его Лили, но он шёл не к ней, а к Вирту. Он должен сказать Руппу, что решил отправиться к тому советскому офицеру, который был комендантом их района. Эгон обязан ему первым вниманием, которое было оказано Эгону как инженеру; он обязан этому усталому человеку с покрасневшими от бессонницы глазами тем, что не покончил с собой, что сохранил веру

в себя, в свои силы и в своё право творить. Он непременно должен отыскать этого советского офицера и просить у него прощения: счётная машина так и не построена. А ведь на неё комендатура дала столько денег, на неё были отпущены самые дефицитные материалы. С Эгона не было взято ни пфеннига. Только обещание, что он достроит машину. И вот — обещание не выполнено. Он не может больше прикоснуться к этой машине. Её чертежи кажутся Эгону чужими, ненужными. Её недостроенный корпус и весь сложный механизм выглядят теперь, как плод баловства от безделья. Не счётную машину, а ракету, свою

старую ракету, он должен строить! Нужно сделать то, чего нехватало Винеру, чтобы «фау-13» стало реальностью. Эгон не может не довести до конца это дело. За океаном лихорадочно работают над созданием новых бомб, предназначенных для разрушения этой вот новой школы, для убийства его Лили, для того, чтобы снова ввергнуть в ужас ещё не забытых страданий его народ, чтобы отбросить во тьму первобытности его Германию. Значит, он не имеет права заниматься пустяками вроде счётной машины. Пусть этим занимаются те, кто ищет покоя, кому нужно уйти от жизни, от реальной

трудности борьбы. Прошли, навсегда миновали те времена, когда он был готов продать дьяволу душу за право на покой, когда был готов стать и действительно становился соучастником самых страшных преступлений гитлеризма, когда он закрывал глаза, чтобы не видеть жизни! Все это в прошлом, в ужасном прошлом, которому нет возврата, которое взорвано правдой, принесённой русскими. Теперь он смотрит жизни в лицо и полагает, что его обязанность отдать родному народу все свои силы, все знания для обороны от того, что готовят за океаном. Их бомба опасна? Да. Но чтобы сбросить её сюда, нужны

самолёты. Чтобы вести самолёты, нужны люди. А что скажут американские лётчики, если будут знать, что за каждую бомбу, сброшенную на голову немцев, или русских, или поляков, или румын, или болгар, или чехов, или всякого человека, чья вина заключается только в том, что он не желает быть рабом шестидесяти семейств американских дзайбацу, — что за каждую бомбу их собственные американские города получают по снаряду, удара которого не может остановить ни страх, ни сомнение, ни ошибка пилота. «Фау-13», «фау-13»!.. Эгон увидел, что стоит перед дверью бюро Вирта.

Конечно, Вирт для Эгона не то, что был Лемке, но Вирт — ученик и преемник Франца. Именно ему, а не кому-нибудь другому, Эгон должен открыть свои планы. Именно Рупп, а не кто-либо другой, скажет Эгону, что так и должно быть: миролюбивой демократической республике Германии нужен инженер Эгон Шверер.

Эгон толкнул дверь и вошёл в бюро.

Когда Эгон рассказал Руппу свои планы, тот в волнении поднялся из-за стола и принялся ходить по комнате. Эгон начал уже беспокойно ёрзать на стуле — так долго тянулось

молчание Руппа. Наконец тот сказал:

— К сожалению, вы уже ничего не можете сказать тому советскому офицеру: комендатуры

ликвидированы. Все

административные функции

переданы органам нашего

республиканского правительства.

— Я очень сожалею, — сказал Эгон. — Я так виноват перед ним: моя счётная машина...

— Об этом можете не беспокоиться. Подозреваю, что она не так уж нужна русским, чтобы они огорчились из-за вашей неаккуратности.

— Вы полагаете? А ведь они дали мне материал и значительный

аванс.

— Скажите им за это спасибо — и все. Гораздо важнее то, что я не могу решить ваших сомнений, но из этого не следует, что они неразрешимы. Их решат старшие товарищи. Быть может, даже они уже решены. Если бы дело шло о моем личном мнении, то я, пожалуй, сказал бы: вы правы и не правы. Вам, конечно, нужно приложить свои силы в той области, где вы можете дать наибольший результат.

— Я так и думал! — с облегчением воскликнул Эгон, но осёкся, остановленный предостерегающим жестом Руппа.

— Это лишь половина

вопроса, — сказал Рупп. — Вторая заключается в том, что, по-моему, работать следует не над снарядами для разрушения и умерщвления. Пусть это будет машина, которая даст нашей молодой республике место, принадлежащее ей по справедливости в первых рядах бойцов за будущее, за прекрасное будущее человечества, за открытие новых, необозримых горизонтов интернациональной науки. Мы, немцы, внесли так много в науку истребления, что искупить эту вину можем только самыми большими усилиями в области науки восстановления и прогресса. Познание того, что творится за

пределами нашей планеты, вовсе не такая уж далёкая перспектива, чтобы нам, немцам, об этом не задуматься. Я не слишком много понимаю в таких делах, но мне сдаётся, что и в проблеме сообщений в пределах нашей собственной земли ракета сыграет свою роль. Притом в совсем недалёком будущем. Видите, инженеру вашего размаха есть о чём позаботиться. Если вас не интересует такая мелочь, как ракетное путешествие из Берлина в Пекин — сделайте одолжение, проектируйте, пожалуйста, аппарат для посылки на Луну. Это нас тоже занимает, и в этом мы тоже найдём средства помочь вам.

Эгон рассмеялся:

— Вы фантазёр, Рупп! Я пришёл для серьёзного разговора о сегодняшнем дне.

— А разве мы работаем сегодня не для того завтра, о котором я говорю?

— Это завтра нужно защищать сегодня, — возразил Эгон. — Я вовсе не намерен делать из своей машины орудие смерти, нет, нет! Если её придётся применить для кругосветных путешествий или для полёта на Луну, тем больше будет моё удовлетворение. Но иметь в запасе такие же ракеты с атомным снарядами вместо пассажирской кабины необходимо, чтобы держать в узде

банду одичавших кретинов вроде Фрумэна и его друга Ванденгейма. Недавно я прочёл у Сталина: «Коммунисты вовсе не идеализируют метод насилия. Но они, коммунисты, не хотят оказаться застигнутыми врасплох, они не могут рассчитывать на то, что старый мир сам уйдёт со сцены, они видят, что старый порядок защищается силой, и поэтому коммунисты говорят рабочему классу: готовьтесь ответить силой на силу, сделайте все, чтобы вас не раздавил гибнущий старый строй...» Я не думаю, чтобы у американцев оказались слишком крепкие нервы, если дело дойдёт до бомбардировки их собственных

городов. Они чересчур привыкли к мысли, что будут воевать на чужой земле, а то и чужими руками. Такие снаряды, как мои, быстро приведут их в чувство. В конце концов вы же не станете отрицать того, что сто сорок миллионов простых американцев такие же люди, как мы с вами?

Рупп усмехнулся. Эти слова в устах Эгона звучали для него совсем по-новому: «мы, простые люди». Прекрасно! Как жаль, что этого не может слышать Лемке! Рупп ответил:

— Не стану спорить: простые американцы почти такие же люди, как мы с вами. Но не совсем, а только почти. Ста тридцати пяти

миллионам из них ещё не довелось не только побывать под бомбами и пулями, но даже видеть развалины Европы. Картинки в журналах не то. В сытых людях, сидящих под крепкой кровлей, эти картинки только возбуждают любопытство. Да и те пять миллионов, что ходили в касках, избалованы войной. Им не пришлось платить кровью за каждый сантиметр отвоёванной земли. Один раз, когда германская армия как следует огрызнулась, янки бежали, подобрав подолы. Если бы гитлеровские генералы оказали на Западном фронте такое же сопротивление, какое они оказывали на востоке, если бы они так дрались

во Франции в течение четырех лет, как дрались в России, — вот тогда янки могли бы сказать: мы знаем войну. А засыпать податливого, как квашня, противника снарядами и бомбами и догонять его на полной скорости «джипов» — это ещё не война. Этого они больше не увидят.

— Ещё не так давно меня тошнило от разговоров о войне, но клянусь вам: именно потому, что я страстно и как никогда сознательно хочу мира, я перестал бояться войны. Война ужасна, но поскольку от неё нельзя спрятаться, я готов зубами драться с виновниками этого ужаса. Мне довелось в последнее время немало поговорить с рабочим людом

наших заводов, с теми новыми немцами, которые впервые почувствовали себя подлинными хозяевами своей страны, своей жизни и судьбы. И я говорю вам: так же, как я, они готовы на смертный бой со всяким, кто поднимет руку на мир, на наш труд, на наше право воспользоваться доставшейся нам свободой. Ни один из них не сказал мне: «Занимайтесь счётной машиной, не стоит возвращаться к вашей ракете, она нам не понадобится».

— А разве я сказал вам так? — спросил Рупп.

— Но путешествие на Луну не то, о чём я сейчас забочусь, —

энергично сказал Эгон.

Помолчав, Рупп раздельно и задумчиво спросил:

— Хотите поговорить с нашими старшими товарищами?

— Если бы это было возможно... — в сомнении проговорил Эгон.

Вскоре после того как Эгон пришёл домой, его размышления были прерваны телефонным звонком. Рупп сообщил, что не дальше как сегодня вечером Эгон будет принят президентом.

Ещё долго после того, как Рупп закончил разговор, Эгон стоял с трубкой в руке. Он не мог опустить её на рычаг, словно боялся, что от

этого прервётся та воображаемая линия, которая тянется от этой минуты куда-то далеко вперёд, к окончательному пониманию того, что казалось Эгону большой, но ещё не до конца оформившейся правдой...

— Что с тобой? — спросила Эльза и осторожно разжала его пальцы, сжимавшие эбонит трубки.

Он протянул руки и, охватив жену за плечи, привлёк к себе.

— Сегодня со мною будет говорить президент... Наш новый президент... Понимаешь?..

Нежным прикосновением своих губ Эльза закрыла его удивлённо полуоткрытые губы.

— У тебя такой вид, словно ты немного выпил, — сказала жена, взглянув на вошедшего Руппа. — Разве сегодня праздник?

А он схватил её за руки и, крепко притопывая, прошёл с нею целый круг по комнате.

— Да, да! Может быть, на твой взгляд, и не такой уж большой, но всё-таки праздник! — весело крикнул он. — Понимаешь ли, Густхен, я, кажется, завоевал душу человека, о котором учитель Франц сказал мне: «Слушай-ка, Рупп, я знаю, что у тебя нет оснований любить семейство Шверер, но в нём есть один, совсем не безнадёжный

член. Это господин Эгон Шверер, мой бывший офицер. Когда-то он был человеком и снова может им стать. Да, да, мы должны сделать его опять человеком. Германии нужны люди, настоящие люди во всех слоях общества. Человек всюду остаётся человеком, и мы не имеем права терять его, если он не безнадёжен...» Франц Лемке не успел сделать из Эгона Шверера человека, но, кажется, я сделаю это за него. Понимаешь, Густа, это для меня очень важно: сделать хорошее дело в память моего учителя...

Густа немного надула пухлые губы:

— Ты говоришь это так, будто я

знала дядю Франца хуже твоего.

— Потому я и говорю с тобою так, моя Густхен, что ты его знала не хуже, чем я, и должна меня понять... Теперь-то ты понимаешь, почему мне сегодня весело?

Тут он остановился так неожиданно, что юбка Густы плотно обвилась вокруг её ног. Рупп зажал ладонями румяное лицо жены и звонко поцеловал её в немного вздёрнутый нос, покрытый веснушками.

Увидев, что он взялся за шляпу, Густа воскликнула:

— Не уходи! Ты не знаешь, кто приехал...

— Ну же?..

— Тётя Клара!

— Она здесь?!

Рупп, отбросив шляпу, снова ухватил было жену, намереваясь пройти с нею новый круг, но Густавовка увернулась.

— Тётя Клара обещала скоро опять прийти.

— О, тогда-то уж действительно нужно сбегать за бутылкой вина! — крикнул Рупп и, схватив шляпу, выбежал из комнаты.

В тот же сверкающий полдень курьерский поезд Брест-Берлин подкатил к перрону Силезского вокзала. Из спального вагона Москва — Берлин вышел высокий сухопарый старик с маленьким саквояжем в одной руке и увесистым кожаным портфелем в другой. Старик был одет в хорошо сшитый штатский костюм, но каждое его движение говорило о том, что он чувствует себя в нём неудобно. Он кивком головы подозвал носильщика и, передав ему багаж, металлически сухим голосом, в котором звучало недовольство, словно он заранее готов был

услышать отрицательный ответ, спросил:

— В этом городе существуют автомобили?

Носильщик с удивлением посмотрел на него:

— Разумеется.

— Тогда — в министерство внутренних дел!

Пока автомобиль катился по указанному адресу, старик все с тем же недовольным видом косился по сторонам. Однако по мере того как он смотрел, гримаса недовольства исчезала с его лица, суровые складки вокруг тонких губ расходились, морщина над носом разглаживалась. К концу поездки он уже с

нескрываемым удовольствием поглядывал на кипевшую почти всюду работу по восстановлению разрушенных домов, удовлетворённо покачивал головою, когда попадались крошечные скверики, разбитые на месте уничтоженных бомбами строений, и даже велел два-три раза остановиться, чтобы внимательно рассмотреть новые дома, школы и больницы.

Когда шофёр назвал цифру, показываемую счётчиком, старик долго отсчитывал деньги. Он на вытянутую руку отодвигал каждую монету и внимательно разглядывал её дальнотзорными глазами. Наконец протянул шофёру требуемую сумму и

отдельно двадцатипфенниговую монету.

— На рюмку анисовой, — сказал он таким тоном, точно делал строгий выговор за непорядок.

В вестибюле министерства он тем же жестом, что совал вещи носильщику, ткнул швейцару саквояжик и шляпу. Все так же непримиримо-сухо прозвучал его вопрос:

— Отдел репатриации военнопленных?

Швейцар назвал этаж и комнату. Старик медленно, словно отсчитывая шаги, шёл по коридору. Он несколько раз останавливался перед дверьми, разглядывая номера и дощечки с

надписями. Можно было подумать, что каждую из них он тщательно изучает: то он удовлетворённо усмехался, то его губы недовольно выпячивались. Иногда он даже укоризненно покачивал головой из стороны в сторону, как бы порицая наличие того или иного отдела или должностного лица.

Он остановился перед нужной ему дверью, вынул из кармашка монокль и привычным движением вставил его в глаз. Только одёрнув пиджак и крякнув как бы для того, чтобы удостовериться в том, что голос ему не изменит, он, наконец, отворил дверь.

На сидевшего за столом

служащего старик посмотрел сверху вниз и, несколько помедлив, словно оценивая, стоит ли разговаривать с этим человеком, протянул ему визитную карточку. Она имела несколько необычный вид. Часть напечатанного была перечёркнута:

***Вернер Оттокар Мария
фон Гаусс,***

генерал-полковник

кавалер орденов

Хотя Гаусс давно привык к виду

инвалидов, его несколько покорило, когда он увидел, что его собственная карточка очутилась в обтянутых чёрной лайкой негнущихся пальцах протеза. Только тут он заметил, что служащий однорук. Его дисциплинированный мозг тотчас реагировал на это наблюдение заключением, что, повидимому, однорукий — инвалид, следовательно, солдат или офицер, значит с ним можно и разговаривать, как полагается военному. Он без обиняков резко бросил:

— Передать руководителю отдела!

Однако на однорукого этот тон не оказал ожидаемого Гауссом

действия. Взглянув на карточку, он спокойно поднял взгляд на посетителя и, вежливо приподнявшись, без всяких признаков страха или подобострастия, предложил ему сесть. Тот неохотно опустился на кончик стула, ещё раз внушительно, как бы предостерегающе, крикнув.

— Вы давно выехали из Советского Союза? — спросил однорукий.

— Как только узнал об образовании Германской демократической республики, — с подчёркнутой сухостью ответил Гаусс. — В Берлин прибыл полчаса тому назад. Желаю видеть

руководителя отдела репатриации.
Прошу вас...

— Меня зовут Бойс, —
подсказал однорукий.

— Прошу вас, господин Бойс,
доложить руководителю отдела о
моем желании.

— Минуту терпения, господин
Гаусс, — все так же спокойно
ответил Бойс и отдал по телефону
приказание принести карточку
военнопленного генерал-полковника
Гаусса.

Всем своим видом нахотленного
старого индюка и взглядом,
устремлённым куда-то поверх головы
Бойса, Гаусс говорил, что не имеет
желания болтать с этим мелким

служащим. Поэтому те несколько минут, пока длились поиски карточки где-то там, за стенами этой комнаты, протекли в молчании, нарушаемом лишь шелестом бумаг, которые перебирал Бойс. Когда карточка была принесена, Бойс исчез с нею в кабинете, но быстро вернулся и молча уселся на своё место за столом. Гаусс понял, что за дверью происходит изучение его биографии. Несколько лет, отделяющих его от того момента, когда он отдал своё оружие советскому офицеру, научили его терпению. Он сидел на своём стуле, вытянувшись, как истукан, не прикасаясь спиной к спинке, со сдвинутыми каблуками и с руками,

покоящимися так, словно они лежали на эфесе сабли.

Наконец коротко вспыхнула лампочка на столе Бойса, и он сказал:

— Доктор Трейчке просит.

«Мог бы, собственно говоря, отворить дверь», — подумал Гаусс, но, не меняя выражения лица, все такой же прямой, деревянный, поднялся и проследовал в кабинет.

При появлении Гаусса Трейчке отложил карточку:

— Рад приветствовать вас на родине, — проговорил он.

Гаусс сдвинул каблуки, как бы намереваясь звякнуть шпорами.

— Я без предупреждения, —

сказал он, — но обстоятельства таковы, что переписка казалась лишней.

Усевшись в предложенное кресло, неизменно прямой и строгий, он молча вынул из кармана сложенную газету, не спеша развернул её и протянул Трейчке. В глаза бросились строки, жирно подчёркнутые красным.

Трейчке вслух прочёл:

— «4. Восстановление полного суверенитета немецкой нации...»

И вопросительно взглянул на Гаусса. Тот ответил лаконически:

— Дальше!

— «Преступной является мысль о том, чтобы обескровленный

немецкий народ был ещё раз
ввергнут в войну и катастрофу». —
На этот раз Гаусс молчаливым
кивком головы пригласил
продолжать чтение. — «В вопросе
восстановления национальной
самостоятельности и суверенитета
немецкого народа на
демократической основе между
честными немецкими патриотами не
может быть никаких
разногласий». — Гаусс опять
кивнул. — «Содержащиеся в
Манифесте Национального фронта
демократической Германии
требования могут быть с чистой
совестью подписаны каждым
честным немцем, независимо от его

партийной принадлежности или мировоззрения».

— Совершенно согласен, — заявил Гаусс. — Прошу дальше.

— «Огромные задачи, которые перед нами стоят и которые должны быть выполнены в интересах спасения немецкой нации, не позволяют нам такой роскоши, как раздробление и парализация сил немецкого народа в междоусобной борьбе. Национальный фронт всех честных немцев, которые принимают к сердцу будущее своей родины, создаёт реальные предпосылки для преодоления национального бедствия».

— Ещё дальше! — бросил Гаусс.

Трейчке закончил:

— «Программа немецкого правительства является программой немецкого народа. Мы не променяем конституцию на оккупационный статут».

— Никогда! — сердито отчеканил Гаусс. — Поэтому я здесь.

Некоторое время царило молчание. Трейчке делал вид, будто перечитывает хорошо знакомые столбцы газеты. Гаусс пристально следил за его лицом. Стараясь казаться таким же холодным, как его собеседник, Трейчке сказал:

— Говорят, в плену вы работали над историей французской живописи?

Гаусс положил на стол свой толстый портфель.

— Пусть специалисты скажут, годится ли это куда-нибудь. Но... это так, вроде дамского рукоделья от скуки. А я солдат и пришёл к вам как солдат. Это, может быть, достойно сожаления, но, по-моему, Германии опять понадобятся солдаты.

— Республика не имеет армии, — проговорил Трейчке.

— Но должна иметь, — уверенно отчеканил Гаусс. — Не думаете же вы, что защищаться от моих бывших коллег, подпёртых американской техникой, можно будет чем-нибудь в этом роде, — и он брезгливо ткнул костлявым пальцем

в свой портфель. — Если бы, сидя в русском плену, я мог предположить, что дело опять дойдёт до того, что я снова понадобится, то, поверьте, не стал бы терять времени на подобную работу. — На лице его снова промелькнула гримаса. — Можно было гораздо полезнее истратить время: у русских есть чему поучиться в военных делах. Кое-кто у нас ещё болтает, будто дело могло кончиться иначе, не соверши господа гитлеры и риббентропы ошибки, не втяни они нас в войну на два фронта. Ерунда-с! Все кончилось бы так же плачевно. Закон истории! Я никогда не был сторонником войны на востоке, но избежать её было невозможно, коль

скоро немцы решили подчиняться
безумным приказам своего
«национального барабанщика». — В
словах Гаусса звучало такое
искреннее презрение, что ему нельзя
было не верить, несмотря на
насторожённость, с которою Трейчке
слушал старика. — Если бы с этим
кошмаром русские не покончили в
сорок пятом, они похоронили бы его
в сорок седьмом или в пятидесятом.
Я не знаю, когда именно, но знаю
твёрдо: миссия освобождения нас от
шайки Гитлера была бы выполнена
русскими. Это так же неизбежно, как
то, что теперь в этом здании сидите
вы, а не какой-нибудь паршивый
штурмфюрер из бывших взломщиков

или разукрашенный галунами
бакалейщик. К сожалению, этого не
могут понять мои коллеги,
находящиеся в той половине
Германии, которая временно
называется «федеральной
республикой». Они не постигли того,
что постигнуто мною в России. Они
не могут понять: всё, что они ещё
называют военным искусством, не
больше чем военная истерия.
Впрочем, не это главное.
Отвратительно то, что они перестали
быть немцами. Вот это непоправимо!
Швейцарцы, поступающие в
ватиканскую гвардию, чтобы за
деньги охранять иноверца папу,
знают: им никогда не придётся

воевать с родной Швейцарией. А мои бывшие коллеги на западе?.. Они заранее уверены в обратном: им придётся не только служить иноземцам, но и драться с немцами. Я же хочу служить моему отечеству, а не в иностранном легионе американских лавочников.

— Значит, дело только за тем, что у нас нет армии?

— Видите ли, — проговорил Гаусс, — в плену я не только писал это, — его палец снова упёрся в портфель. — Я занимался изучением Маркса и Ленина. Я прочёл работы Сталина, сударь!

Трейчке был несколько ошеломлён.

— Вот как?

— Да-с!.. Должен сознаться: я приступил к их изучению с целью понять, почему же я в конце концов в плену? А по мере знакомства с вопросом все больше убеждался: только безумцы могут спорить с историей. Да! Безумцы, не желающие смотреть в глаза правде!

— Вроде тех... на той стороне?..

— Можете договаривать: Гудериан, Гальдер, Манштейн, Кессельринг, Рундштедт, Шверер и остальные. Безумцы, подписавшие приговор себе и своей чести. — При каждом восклицании старик сердито стучал костяшками пальцев по столу. — Мы будем их судить

полевым судом за измену отечеству!

— Вы или народ? — как бы невзначай спросил Трейчке.

Гаусс смутился и, спохватившись, сказал:

— Вы правы: народ потребует у них ответа.

Подумав, Трейчке снял телефонную трубку и попросил у кого-то разрешения приехать вместе с генерал-полковником Гауссом.

— Бывшим, — поправил Гаусс, — я этого никогда не забываю: бывший генерал-полковник. А ныне?.. Ныне что-то вроде офицера, проходящего трудный курс академии. Да, да, именно так...

Как солдат, я говорю: когда на

наш континент ворвались новые гунны из-за океана, одним из важнейших условий сохранения мира является безусловная готовность к отражению их попытки нарушить мир. Так мне кажется, сударь. Как я сказал вам, курс своей последней военной академии я проходил уже, так сказать, экстерном, в плену. Но из этого прошу не делать вывода, будто я такой уж недоучка. Я был не самым ленивым учеником русских, помогавших нам разобраться в сложных уроках истории. Мои выводы могут показаться вам несколько трудными в смысле перспективы, которую они рисуют, но я настаиваю на них. Если хотите,

вам как человеку не военному...

— Прошу вас, — сказал Трейчке, которому было интересно узнать, что творится в голове этого генерала. Трейчке ещё не очень верил тому, что старый кадровик, с молоком матери всосавший все пороки прусской школы, был способен на склоне лет понять, что вся школа и весь его личный опыт почти ничего больше не стоят.

Трейчке подвинул было Гауссу ящик с сигарами, но тот заявил:

— Отвык. Курю теперь только русские папиросы. Это гораздо удобней: табак не лезет в рот. — Он достал коробку папирос с длинными мундштуками. — Итак... Я пришёл к

несколько парадоксальному заключению: все они там — немцы и американцы, англичане и французы, — все, кто планирует новое нападение на эту половину Европы, — ошибаются. Воображают, будто совершенство, достигнутое современным оружием, способствует сокращению сроков войны. Чепуха! Как раз наоборот: эти средства сделают войну более затяжной, чем прежние. Я уже не говорю о пресловутых бомбах — атомной, водородной и тому подобных, — на которые, как на панацею от поражения, возлагал надежды ещё Гитлер. Бредли и Гальдер, Эйзенхауэр и Монтгомери — они

думают, что достаточно будет стереть с лица земли несколько наших городов, и мы поднимем лапы вверх. Они воображают, что смогут уничтожить промышленные центры Советской России и положить её на обе лопатки. Их вывод: тем самым сроки войны сократятся до минимума, необходимого их бомбардировочной авиации для воздушного вторжения и уничтожения баз промышленного питания армии. При этом они упускают из виду: страны Восточной и Юго-Восточной Европы и, самое главное, Советский Союз тоже примут свои меры. К тому же прошу не забывать: в игру вошёл новый

фактор, мною ещё почти не учтённый. Этому фактору суждено сыграть первостепеннейшую роль в борьбе. Китай! Его пространства, его людские резервы — это грандиозно. Поистине грандиозно, говорю вам! В ближайшем будущем я должен буду пересмотреть свои соображения, учитывая влияние Китая как фактора новой истории.

— Все это, — заметил Трейчке, — сильно расходится с тем, как я рисую себе будущее.

— Потому что вы мыслите поштатски, — самоуверенно проговорил Гаусс. — Вам полезно дослушать меня... Утверждаю: в разговорах моих бывших коллег о

возможности проведения ими
некоего блицкрига ровно столько же
добросовестной ошибки, сколько
намеренного желания ввести в
заблуждение и тех, кто им
противостоит, и тех, на кого они
намерены опираться. Они
обманывают наш немецкий народ,
они готовят его к истреблению.

— Вероятно, удастся обойти эту
страшную перспективу, — сказал
Трейчке. — Война не неизбежна.
Немцы в Западной Германии все
яснее понимают, где лежит правда. У
народа очень острое зрение.

— Я хотел бы думать так же, но
весь мой опыт восстаёт против такой
уверенности, — проговорил Гаусс.

— А вам не кажется, что вы всё-таки недостаточно знаете людей, простых людей мира, чтобы оценить их роль в решении: война или мир?

— Я всегда уважал простого человека в моем солдате...

— Но никогда не знали его по имени. Вы, вероятно, даже перестали различать солдатские лица, как только переступили через должность командира роты.

Гаусс неопределённо крякнул и, вставив монокль на место, пристально уставился на Трейчке, который продолжал с некоторой иронией:

— Я уже не говорю о том, чтобы немного поинтересоваться

внутренним миром ваших солдат, хотя бы когда-нибудь спросить кого-нибудь из них, о чём они думают...

— Солдат не должен был думать, — проговорил Гаусс.

— Да, так казалось вам в то время, а он думал.

— Это было его делом, так сказать, совершенно частным делом, не имеющим отношения к его служению отечеству.

— Не всегда. Многие из них больше думали о пользе отечества, чем их командиры.

Тут Гаусс снова издал своё неопределённое:

— Хм-хм...

Трейчке улыбнулся:

— Вижу, вы не слишком склонны мне верить.

— О-о!..

— Ничего, это ваше право. Но именно в знаменательный для вас день возвращения на родину вам будет, пожалуй, полезно узнать о том, что думал и делал ваш солдат... ну, скажем, в то время, когда вы были командиром корпуса... скажем, в 1918 году... скажем, в...

Гаусс на мгновение поднял взгляд к потолку.

— В то время я действительно командовал корпусом, входившим в состав экспедиционных сил генерал-фельдмаршала Эйхгорна. Это был очень короткий период. Я не

сочувствовал мероприятиям
господина генерал-фельдмаршала
Эйхгорна на Украине и считал этот
поход авантюрой, обречённой на
провал. Нам не следовало оставаться
врагами народа, не желавшего
воевать с нами. Мы гораздо больше
получили бы путём мирного
урегулирования отношений с
русскими. История показала, что я
был прав.

— Мы не знаем, что думали
тогда вы, но мы хорошо знаем, что
думали тогда ваши солдаты.

— Меня это не интересовало...
тогда.

— А теперь?

— Теперь? — Гаусс сжал тонкие

губы и, подумав, пожал плечами. — Быть может, теперь я отнёсся бы к этому несколько иначе.

— А как хорошо было бы для вас самого и для многих, очень многих немцев, если бы вы и тогда относились к этому иначе. Если бы вы и тогда уважали своего солдата, знали его мысли и попытались бы считаться с ними, как с мыслями немцев, мыслями представителей немецкого народа...

— Это были очень трудные времена, господин доктор. Мы были на грани революции. Спрашивать мнения солдат — значило окончательно разрушить то, что готово было и само развалиться —

армию... Да и едва ли наши солдаты тогда понимали происходящее. Особенно в тех условиях, о которых вы только что упомянули: там, в России...

Трейчке нажал кнопку и, когда вошёл Бойс, сказал:

— Садитесь, Бойс... Если мне не изменяет память, вы окончили свою военную службу в первую мировую войну на Украине?

— Да, доктор, в украинском овраге под названием «Чёрная балка», будучи солдатом 374-го ландверного полка.

Трейчке взглянул на Гаусса:

— Этот полк входил в ваш корпус?

Гаусс ответил утвердительным кивком. Он с удивлением и даже, может быть, некоторым страхом смотрел на Бойса, как на привидение, явившееся из какого-то далёкого, нереального прошлого. Между тем Трейчке продолжал, обращаясь к Бойсу:

— Я был бы вам очень благодарен, Бойс, если бы вы как-нибудь, когда господин Гаусс пожелает, рассказали ему о том, что произошло с вами на Украине, каковы были там мысли и настроения солдат, чего они хотели.

— Я с удовольствием объясню господину Гауссу всё, что ему неясно... — И Бойс с улыбкой

прибавил: — Надеюсь, он узнает много интересного и неожиданного для себя.

При этих словах Гаусс поднял взгляд на Бойса и с оттенком иронии спросил:

— Вы полагаете?

— Видите ли, господин Гаусс, — в раздумье ответил Бойс, — чтобы итти служить народу, нужно быть совершенно уверенным, что у тебя вполне чистые руки...

Гаусс поймал себя на том, что при этих словах он критически посмотрел на свою руку, лежащую на письменном столе Трейчке.

— Я всегда был уверен, что ни в чём не виноват перед моим

народом, — с неудовольствием проговорил он. — Но разумеется, если господин Бойс хочет...

— Я хочу укрепить вас в этой уверенности. Но укрепить — это значит помочь сознательно проанализировать свой путь. И если вы для начала разберётесь хотя бы в вашем отношении к простому немцу...

— Я всегда любил и уважал немецкого солдата, — упрямо, с обидою пробормотал Гаусс: ему совсем не нравилось, что этот солдат 374-го ландверного поучает его.

— Да, солдата, как сочетание костей и мышц, на которое можно надеть мундир и ранец; вы уважали

послушный механизм, который можно было научить ползать, стрелять, заряжать оружие, ездить верхом, рыть окопы... Только это уважали вы в солдате, — твёрдо проговорил Трейчке. — Теперь вы должны были бы совсем иначе уважать его, если бы вам пришлось иметь с ним дело. Перед вами был бы человек, немец, гражданин и строитель своего государства...

Гаусс слушал его с опущенной головой, сжимая в пальцах выпавший из глаза монокль.

— Именно поэтому, — сказал он, поднимая голову, — мне теперь вдвое труднее, чем прежде. Ведь в планах американских купчишек и их,

с позволения сказать, стратегов немецкому солдату отведено место, которое мы в своё время отводили мешку с песком. Немец должен служить прикрытием для всей этой швали, для их механизмов, которыми они намерены превратить Европу в пустыню. Ввержение целой половины мира в первобытное состояние — вот их мечта. Сделать всех русских, китайцев, восточных немцев и всех, кто населяет страны новой демократии, простыми землепашцами, заставить нас одеваться в звериные шкуры, охотиться с луком и стрелами — вот чего они хотели бы. Тут нет почти никакой разницы с тем, что мне

говорил когда-то Гитлер. Но тому ещё нужны были пространства, недра и рабы. Этим не нужны пространства — у них достаточно своих; им не нужны недра, так как с окончанием войны у них сразу образовался бы переизбыток всего, что можно достать из земли. Наконец им не нужны рабы. У них самих десятки миллионов людей, которым они не могут дать работы. Поэтому планы американцев представляются мне чем-то маниакальным: владычество ради владычества; победа ради того, чтобы их система могла стать единственной; уничтожение всех других народов ради того, чтобы

могли спокойно существовать
шестьдесят семейств Америки.
Напрасно думают нынешние
правители Франции, Западной
Германии, Англии и других стран,
что им найдётся место в той
системе, которую заокеанские
пришельцы намерены создать после
своей победы. Если в Европе
случайно уцелеют люди, способные
думать, творить и сопротивляться,
американцы будут травить их ядами,
как вредных насекомых.

— Но уже по одному тому, что
шестьдесят семейств желают
истребить полтора миллиарда
человек, использовав для этого
полторы сотни миллионов

одураченных американцев, — уже по одному этому план их обречён на провал! — с усмешкой сказал Трейчке.

— Это и я понял в советском плену, — ответил Гаусс. — Ту половину мира, к которой я имею честь причислять теперь и себя, нельзя ни уничтожить, ни покорить, ни заставить изменить идеалам, которые руководят её народами... Каждый честный немец с лёгким сердцем подпишется под Манифестом Национального фронта! И я хочу быть таким немцем.

— Из нашего всеобщего и страстного желания мира вы сами сделали правильный вывод: его

нужно уметь защитить. Когда-то товарищ Сталин учил нас: на разбойников уговоры не действуют, от их нападения необходимо защищаться. Но защищать не означает непременно воевать. Впрочем, мне хочется, чтобы об этом вам сказали люди более авторитетные, чем я. Они должны решить вопрос о вашей собственной роли в огромной работе, которую ведёт немецкий народ. Он восстанавливает своё государство, отстаивает свою национальную независимость и единство, борется за мир вместе с простыми людьми всего мира. Если вы согласны взяться за такую работу, какую вам поручил

бы немецкий народ, — нам по пути. — Подумав, Трейчке добавил: — Здесь, в демократической Германии, мы даём каждому немецкому патриоту ту работу, какую он лучше всего умеет делать.

Некоторое время Гаусс вопросительно смотрел на собеседника.

— Я уже в том возрасте, — сказал он, — когда чины и прочие пустяки имеют значение... только как внешнее отражение престижа...

Трейчке взглянул на часы и поднялся из-за стола:

— Если позволите...

— Да, да, — спохватился Гаусс. — Я и так уже отнял у вас

непозволительно много времени.

— Вы меня не поняли: я хочу предложить вам немного отдохнуть с дороги и после этого проехать со мной... в одно место.

Гаусс прикрыл глаза рукой. Вот! Его предупреждали, но он считал это пустыми сплетнями: длинные допросы, потом тюрьма...

Он отнял руку от глаз и, вскинув голову, сухо проговорил:

— Отдых мне не нужен. Могу ответить за все совершенное...

— Вы не поняли меня, — поспешно сказал Трейчке. — Вас примет министр.

Гаусс поднялся со всею проворностью, какую оставили ему

годы. Он стоял, выпрямившись, и глядел прямо в лицо Трейчке. Руки его были вытянуты по швам, каблуки сдвинуты. Монокль поблёскивал в левом глазу.

Из этого транса неподвижности его вывел вопрос Трейчке:

— Итак?..

Гаусс оглядел самого себя, провёл рукою по борту пиджака, и на лице его появилась мина пренебрежения:

— В этом виде?

— Лучший вид для строителя миролюбивой Германии, — с улыбкой ответил Трейчке.

Гаусс по-солдатски повернулся кругом и деревянными шагами

направился к выходу. Проходя мимо Бойса, он простился с ним холодным кивком головы.

Час, проведённый в кабинете президента, показался Эгону началом новой жизни. Из слов этого спокойного седого человека стало ясно все. Глаза Эгона радостно блестели, походка стала лёгкой и быстрой. Выйдя из президентского кабинета, Эгон неожиданно увидел сидевшего в приёмной Зинна. Они улыбнулись друг другу. Эгон потому, что ему было приятно именно в эту минуту увидеть именно этого человека; Зинн потому, что нельзя было не ответить на радостную улыбку Эгона.

Зинн знал от Руппа о

предстоящем визите инженера к президенту. Теперь по его лицу он понял, что все обошлось именно так, как и должно было обойтись: президент помог Эгону окончательно найти себя.

Спустившись со ступеней подъезда, Эгон отпустил ожидавший его автомобиль президентской канцелярии: он должен был пройти, побыть с самим собой. Он снял шляпу и посмотрел на усыпанное яркими звёздами небо. Что же, может быть, не так уж далёк день, когда ничто не будет стоять на пути человека к этим сияющим далям...

Эгон шёл, не торопясь. Слово за

словом он переживал недавнюю беседу. Одну за другой миновал он улицы. Одни глядели на него тёмными громадами ещё не восстановленных развалин, другие радостно сверкали рядами освещённых окон. Часто попадались крошечные скверики — там, где стояли когда-то исчезнувшие под бомбами дома. Из-за оград тянуло запахом зелени. Какая-то ветка по небрежности садовника так далеко высунулась на улицу, что Эгон коснулся её головой. Он остановился. Осторожно, боясь сломать её, притянул к себе ветку. Листья были прохладны Эгон с жадностью втянул в себя их аромат. Захотелось оборвать

листок и воткнуть в петлицу. Но Эгон раздумал и бережно заправил ветку обратно в ограду, будто боялся, что кто-нибудь другой не совладает с искушением её обломить.

Все в том же состоянии давно не испытанной лёгкости он вышел на ярко освещённую улицу. Прохожих уже почти не было. Витрины слабо светились ночными лампами.

Вдруг из-за поворота улицы послышался резкий гудок и оттуда выехала тёмная коробка тюремного автомобиля. Эгон едва успел отскочить, чтобы не попасть под колеса, как перед носом машины сверкнуло яркое пламя, грохот взрыва хлестнул по ушам. Эгону показалось,

что передок автомобиля поднялся в воздух и снова рухнул на мостовую. Карета резко остановилась. Её боковая стенка отвалилась, как доска расколотого ящика.

С обеих сторон улицы раздалось несколько выстрелов. Эгону казалось, что он слышит, как пули стучат по стенкам кареты. Из неё выскочило несколько чинов народной полиции.

Эгон прижался спиной к какому-то подъезду. Из разбитой тюремной кареты выползли два человека. Это были Кроне и Паркер. Кроне бросился бежать, но навстречу ему от стены противоположного дома отделилась фигура человека с

автоматом в руках, и длинная очередь, казалось, перерезала Кроне пополам. Он сложился, как переломленное чучело, и головой вперёд упал на мостовую. Несколько мгновений он лежал неподвижно, потом медленно пополз, оставляя на мостовой, видимую даже в темноте, полосу крови. При виде этого Паркер стремглав бросился обратно в автомобиль. И в наступившей на какой-то миг тишине, той особенной, остро ощутимой тишине, какая иногда врезается в грохот перестрелки, Эгон услышал доносившийся из фургона истерический крик Паркера:

— Спасите... умоляю... скорее в

тюрьму!

Эгон сделал несколько шагов к автомобилю. Ему хотелось заглянуть внутрь, увидеть этого отвратительно вопящего американца, молящего спасти его от пули его же сообщников. Но тут снова по стенам домов, по черным стёклам окон заметались, запрыгали жёлтые зайчики отсветов, и умножаемый тесниной улицы грохот очереди опять заполнил все пространство. Оглянувшись туда, откуда сверкали вспышки выстрелов, Эгон внезапно узнал стрелявшего — то был Эрнст. Да, Эгон не мог ошибиться: стрелял его брат Эрнст Шверер.

Это было так ошеломляюще

неожиданно, что Эгон растерянно закричал:

— Эрнст!..

Но его голос утонул в грохоте новой длинной очереди автомата, и Эгон увидел, как около автомобиля один за другим упали двое полицейских. Эгон никогда впоследствии не мог ответить себе: что помешало ему крикнуть ещё раз и броситься к брату, вырвать у него оружие... Повлиял ли на него отрезвляюще вид раненых полицейских или то, что Эрнст не обратил внимания на его крик, но в те минуты брат, даже не взглянувший в его сторону, не обернувшийся на призыв брата, — это, именно это

подействовало на Эгона сильнее всего. Ему казалось, что, несмотря на полумрак, царящий на улице, он отчётливо видит каждую чёрточку в лице Эрнста. Он слишком хорошо знал Эрнста, чтобы не сомневаться в малейшем изменении, какое происходило в лице Эрнста при тех или иных обстоятельствах. Эгону казалось даже, что он может представить себе вид худых, воровато проворных рук, судорожно сжимающих вздрагивающий автомат.

В ту минуту ему казалось, будто все тёмные силы недавнего страшного прошлого Германии сосредоточены именно в нем, в согнувшемся в позе хищного

напряжения Эрнсте Шверере. В памяти Эгона коротко, но отчётливо, как сверкание молнии, промелькнул образ отца таким, каким он видел его в последний раз, покидая Звёздную гору в Гдыне: такой же хищный наклон тела, готового вцепиться в жертву, вероятно, тот же плотоядно оскаленный рот на заострившемся лице, те же сузившиеся щёлки маленьких глаз и при всём том что-то трусливое во всей позе, в облике — словно сознание автоматически распределило силы поровну: если можно будет броситься вперёд, чтобы покончить с жертвой, — вперёд; если жертва окажется живуча и захочет огрызнуться, — такой же

бросок назад.

Эрнст был для него в тот миг воплощением фашизма. Да, вот так ему тогда казалось: недобитый фашизм, пытающийся вырвать у народного правосудия своих сообщников и протянуть отвратительную мохнатую лапу в будущее Германии. Именно это заставило тогда Эгона, не обращая внимания на огонь автоматов, подбежать к раненому полицейскому, выхватить из его руки пистолет и, повернувшись к Эрнсту, пойти на него. В этот миг и Эрнст узнал его.

— Эгон! — крикнул он, опуская автомат. — Эгон!

Эгон не видел и не слышал

ничего, что происходило вокруг него, как хлопали двери подъездов, как сбегавшиеся отовсюду люди, безоружные, но полные решимости, рождённой ненавистью к фашистам, окружили диверсантов и оттеснили их прямо в руки подоспевшему отряду полиции. Перед глазами Эгона был только «недобитый фашизм — Эрнст». Эгон продолжал подвигаться к нему, поднимая руку с оружием. Чем выше поднималась эта рука и чем меньше делалось расстояние между братьями, тем медленнее становились шаги Эгона.

Очевидно, в лице брата Эрнст увидел что-то такое, что заставило его сделать шаг назад... второй...

третий.

Эгон наступал, Эрнст пятился. Но вот он наткнулся спиной на пену, а пистолет в руке Эгона уже был на уровне его груди Эрнст уже видел чёрное очко ствола. Оно поднималось и поднималось. Вот оно — напротив его подбородка, на линии глаз...

— Эгон!..

А Эгон все шёл.

— Эгон!..

Эрнст вскинул автомат, но смотревший в него чёрный зрачок пистолета вдруг сверкнул ярким, ослепительным светом...

— Кого вы убили?

Эгон провёл рукой по лицу и обернулся: прямо на него смотрели два голубых глаза.

«Эрнст?..»

Нет, это не Эрнст... У того давно уже не было такого ясного взгляда... Но кто же это? Ах да, ведь это же русский!.. Да, да, русский офицер — бывший комендант.

— Кого вы убили? — повторил русский, указывая на что-то тёмное, бесформенное, лежавшее на тротуаре.

Эгон пошатнулся и прижался затылком к холодной стене дома.

— Я провожу вас, — сказал русский, подавая руку.

— В комендатуру?..

Русский улыбнулся:

— Что вы, никакой комендатуры больше нет... И я сегодня уезжаю...

И вдруг Эгону стало безотчётно стыдно того, что он опирается на чью-то руку, как больной. Ведь с ним же ничего не случилось!

Он освободил свой локоть из руки офицера:

— Позвольте... я сам...

И медленно, неуверенными шагами пошёл рядом с русским.

— Понимаете, — негромко проговорил он, — это было неизбежно... Прошрое не должно стоять на нашем пути... Вы понимаете?..

— Я понимаю, — и Эгон

почувствовал на своём локте
дружеское пожатие сильной руки
русского.

* * *

Годы прошли с тех пор, как
Советский Солдат, стоя на рейхстаге,
смотрел на каменное море развалин
фашистской столицы.

За эти годы Солдат побывал в
разных городах Германии; был и на
реке Эльбе, откуда глядел на
похаживающих за «демаркацией»
американских и британских часовых.
Видел он, как живут и трудятся
простые немцы в советской зоне

оккупации, закладывая фундамент новой, свободной народной Германии. Он видел, как такие же простые люди живут и голодают в западной Тризонии. Он видел, как немцы в Тризонии, сжавши зубы от затаённой ненависти, снова усталым шагом тащатся к воротам заводов и шахт. Он видел на этих воротах имена прежних хозяев-кровососов, сменивших нацистские мундиры всяких «лейтеров» и «фюреров» на штатские пиджаки или даже на защитные куртки американо-британских администраторов и уполномоченных.

Всякое видел за эти три года Солдат. И чем больше он смотрел,

тем жарче загоралось его солдатское сердце презрением к темноте мира, лежащего на запад от Эльбы, где человек человеку и теперь был волком.

Чем больше смотрел Солдат на запад и чем больше он думал над виденным, тем твёрже становилось его убеждение: нет и не может быть иного пути к торжеству Великой Победы на свете, как только путь, ведущий к коммунизму, путь, указанный великим Сталиным.

Заглянувши к концу своего пребывания в Германии в Берлин, Солдат подошёл к рейхстагу и среди тысячи полустёртых надписей на его фронте поискал свою. Он стоял и

думал:

— А теперь я написал бы: «Живи счастливо», но того, что написал тогда, не сотру — такова справедливость...

Был февраль. Проездом в родную далёкую Сибирь Солдат сошёл с подъезда московского вокзала. Шары фонарей, светясь сквозь морозный туман, как жемчужные бусы, тянулись вдоль широкой улицы. Вдали ярко алели рубины кремлёвских звёзд.

При виде этих звёзд Солдата непреодолимо потянуло туда, к самому сердцу Великой Родины, о котором он столько думал все четыре

года боев и походов и за эти три года странствий по Германии. Солдат шёл по пустынной улице, мимо спящих тихих домов, ко все ярче загорающейся в вышине алой кремлёвской звезде. Колкий ветер хватал его за щеки, и свежавыпавший снег хрустел под ногами, но Солдат не замечал холода. Он радовался Москве, мимо которой семь лет назад прошёл по снежным сугробам в морозные январские дни, отбрасывая врага на запад.

Солдат вышел на Красную площадь. Темнел силуэт мавзолея. К нему тянулись два ряда елей, словно лесная дорога из самого сердца страны к далёкой родной Сибири.

Солдат осторожно, боясь спугнуть тишину, висевшую над снежным простором площади, приблизился к мавзолею. В луче прожектора белели полушубки парных часовых и тёмным багрянцем просвечивал мрамор сквозь седину инея. Солдату захотелось сказать что-нибудь душевное неподвижно застывшим у мавзолея часовым. Но не посмел — помнил твёрдо: пост — место священное. Молча приложил пальцы к своей заслуженной серой ушанке и отошёл на середину площади. Теперь прямо на него глядело слово:

ЛЕНИН

Солдат поднял руку к ушанке и медленно стянул её с головы. Ветер посвистывал за спиною в башенках длинного серого здания, путал русые волосы Солдата, сыпал в лицо крупичатым снегом; мороз подхватывал дыхание и уносил клубами пара, а Солдат все стоял, и казалось, рука его не могла подняться, чтобы надеть шапку, пока глаза видят:

ЛЕНИН

На башне Кремля звонким перебором колоколов пробило четыре. Солдат сделал было

несколько шагов, но, глянув поверх кремлёвских зубцов, замер на месте: с тёмного дома за стеной глядело, будто прямо в глаза Солдату, светлое окошко. И подумалось Солдату, что, может быть, за таким вот окошком, склонясь над работой, сидит тот, чьё имя дало ему силу пройти от Волги до Берлина, взойти на рейхстаг... Солдат стоял и глядел, не в силах оторвать взгляда. Потом в пояс поклонился светлому квадрату окна и пошёл прочь...

Мороз все усиливался, вились в воздухе колючие снежинки, и туман заволакивал город, а Солдат неторопливо шагал по гулкому асфальту улицы, неся в сердце

большое тепло. Он шёл обратно к вокзалу и думал, что не даром заехал в Москву, что увозит отсюда домой такую большую награду, как познанную его солдатским сердцем до конца великую простоту двух людей — самых великих, самых простых и самых близких. С их именами он дойдёт до конечной победы, даже если бы её пришлось отвоёвывать не мирным трудом, а снова взяв в руки сданный на хранение оружейнику автомат № 495600.

Конец

Москва
1942-1951

notes

Примечания

Дзайбацу — японские
монополии.